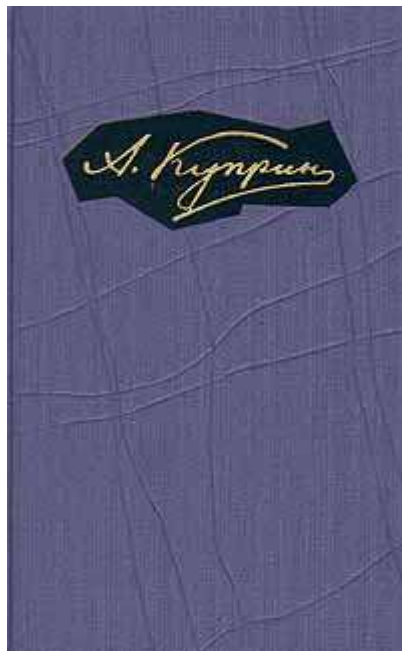


Александр Иванович Куприн
Том 9. Очерки, воспоминания, статьи

Серия: Собрание сочинений Куприна в девяти томах – 9



*«Собрание сочинений в девяти томах»:
Правда; Москва; 1964;*

Аннотация

В девятый том вошли: очерки, воспоминания, статьи и фельетоны.

Очерки

Киевские типы

Студент-драгун

Фуражка прусского образца, без полей, с микроскопическим козырьком, с черным вместо синего околышком; мундир в обтяжку с отвороченной левой полой, позволяющей видеть белую шелковую подкладку; пенсне на широкой черной ленте; ботинки без каблуков и белые перчатки на руках вот обыкновенный костюм студента-драгуна, которого вы ежедневно видите на Крещатике. С тайной грустью думает он о том, что «как-то не принято» носить постоянно шпагу (это ведь так красиво, когда из-под мундира выглядывает золоченый кончик ножен), но по свойственному ему отсутствию инициативы он все-таки не решается ввести в своем кругу эту моду, уже давно не новую для петербургских студентов-гвардейцев. Наружности своей он старается придать возможно более корректный отпечаток, посвящая ей по крайней мере часа три-четыре в сутки. У него всегда найдется в карманах целый ассортимент туалетных принадлежностей, флакончик *Vera-Violetta*¹, напильничек, замша, розовый порошок и крошечные ножницы для ногтей, складное зеркальце, миниатюрная пудреница, палочка фиксажура и коллекция щеточек для коротко стриженных волос, закрученных усиков и маленькой остроконечной бородки.

Тем не менее эти заботы никогда не скрывают ни умственной, ни душевной пустоты студента-драгуна, ни раннего его знакомства с радостями жизни, за которые в старое доброе время добродетельные и чадолубивые отцы исправно посекали своих девятнадцатилетних сыновей. Эти качества сквозят в мутном, безжизненном взгляде из-под устало полуопущенных ресниц, в нездоровой бледности лица, в резких чертах около глаз и носа и в том плотоядном выражении глаз и губ, с которым студент-драгун оглядывает встречающихся ему на улице женщин.

Университет он, конечно, иногда посещает: там, в коридорах и в курилках, в антракте между лекциями, всегда очень шумно и весело, можно встретиться со «своими» и условиться насчет вечерней партии винта и ужина у Рейнера, услышать свежую новость или пикантный анекдот и, наконец, из любопытства (это, право, презабавно) посидеть минут десять на лекциях, глядя с презрительной усмешкой на *этих, в поношенных тужурках, которые там что-то слушают* и даже записывают *какую-то ерунду*.

Нечего уже и говорить о том, что он поразительно равнодушен к науке, искусству и общественным вопросам. Все печатное вызывает в нем род душевных судорог. Однако у него в распоряжении всегда есть десятка два или три общих мест, с помощью которых он прикрывает от неопытного наблюдателя свое убожество. «Шекспир? О! Это был великий знаток человеческого сердца. Вы знаете, его Гамлет так глубок, что его не могут до сих пор постичь лучшие комментаторы. Впрочем, говорят, что вовсе даже и не Шекспир его написал, а Бэкон». «Пушкин? Какая красота! Какая легкость и безыскусственность... *Когда весь день стоит как бы хрустальный...* Пушкин истинный создатель русского языка». «Вагнер? Вот где музыка будущего!» и так далее. Впрочем, надо оговориться: студент-драгун знаком отчасти с современной французской беллетристикой и цитирует наизусть целые порнографические страницы из Золя, Мопассана, Катюль Мендеса, Лоти и Бурже. При этом он питает слабость к бульварным французским восклицаниям вроде: «*Tiens!.. fichtre!.. oh-la-la!.. il a du chien!..*»² и проч.

Но в чем он истинный гений, что занимает *целый день его тоскующую лень*, это карамбольный бильярд у Штифлера, и, право, студенту прежнего времени похвала Грановского или Пирогова не доставляла столько гордого и стыдливого удовольствия, как современному студенту-драгуну брошенное вскользь одобрение всегда полупьяного маркера Якова: «Вот этого шара вы ничего, чисто сделали». Другое его развлечение винт, и непременно самый хищнический открытый, с присыпкой, гвоздем, винтящимися коронками и тройными штрафами. Нередко, встав

¹ название духов- фр.

² Каково!.. черт возьми!.. о-ла-ла!.. он с изюминкой!.. — фр.

из-за карточного стола, он с небрежно-рассеянным видом и бегающими глазами объявляет, что, «кажется, господа, я не захватил своего бумажника... пусть останется за мною».

Студент-драгун ходит в самые модные рестораны. Ничто так не щекочет его мелкого тщеславия, как фамильярно-почтительный поклон франтоватого и фаворизованного местною золотою молодежью лакея. При этом студент-драгун топорщится, выпячивает грудь, говорит популярному лакею «ты» и «братец», брезгливо морщится, читая menu, но изредка бросааемые им на посетителей ресторана быстрые взгляды выдают его радостное волнение.

Случается, что, окончив завтрак, он отзывает великолепного лакея в темный угол пустого кабинета и там, краснея, умоляющим голосом упрасивает его взять на себя и *этот счет*, «а на той неделе мне, ей-богу, пришлют из деревни, так я за все расплачусь сразу». Когда же лакей, после продолжительного колебания, соглашается, наконец, на его просьбу, лицо студента-драгуна озаряется самой живой радостью. Он с усилием сдерживает рефлективное движение своей руки, стремящейся крепко пожать лакейскую руку, и выходит из ресторана, ковыряя во рту зубочисткой, с видом пресыщенного и равнодушного *gourmand'a*³.

Не меньше удовольствия доставляет этому милому молодому человеку близость с лихачом Карлом или Ачкасом, близость, приобретенная ценою трех рублей «на чай», выпрошенных у товарища по кутежу с громадными усилиями и унижениями. Студент-драгун по своему происхождению принадлежит чаще всего к богатым, безалаберным семьям. Впрочем, между разновидностями этого типа попадаются нередко и дети бедных, но благородных фамилий, в которых они обыкновенно состоят на положении милых *enfants terribles*⁴, боготворимых всеми членами семьи.

«Положим, у Сонечки башмаки каши просят, а у Гришутки из пальто вата давно вывезла, рассуждает мать семейства над какими-нибудь десятью рублями, сколоченными усилиями героической экономии, но как же отказать Мишеньке? Ведь он взрослый, он *мужчина*, он *студент*, надо же ему на разные... там... мелочи!»

Правда, надо отдать справедливость этой самоотверженной матери: она и не подозревает о том, что на Другой же день ее *Мишенька*, фланируя с приятелями по Крещатику и завидев издали свою мать в поношенном бурнусишке, юркнет в первый попавшийся магазин, повинувшись неодолимому чувству подлого, низменного стыда за бедно одетую мать, у которой еще, кроме того, такое ласковое (очень смешное на улице) выражение лица. Если же бегство почему-либо не удастся и товарищи спросят его: «С какой это ты сейчас салопницей раскланивался?» он ответит, весь пунцовый и даже вспотевший от стыда: «Так... это... там... одна бедная знакомая».

Всего интереснее наблюдать студента-драгуна в то время, когда в холостом кругу «своих», после сильных возлияний Бахусу, он откровенничает о своих «маленьких грешках». Кто не знает этого молодого человека, у того от его рассказов станут на голове дыбом волосы: все виды сладострастия как перенесенные к нам с дряхлого Востока, так и изобретенные современным нервным аппетитом разврата давно уже испытаны⁵ этим двадцатилетним, хорошеньким, безбородым мальчиком и даже перестали «астикотировать»⁵ его желание. Он, по его словам, *наскучив всем обыденным, постоянно ищет чего-нибудь новенького, острого и неиспробованного*. Он вменяет себе в особенную честь знать безошибочно имена всех выдающихся кокоток и их биржевую котировку. Заветная мечта студента-драгуна иметь своих собственных серых рысаков, абонемент в театр, всегда толстый бумажник и дюжину хорошего вина в буфете для своих друзей, таких же, как и он, студентов-драгунов. Для достижения этого современного «идеала» он не побрезгует ничем, ни даже продажей своей молодости и любви какой-нибудь мумии, упрямо не желающей подчиниться влиянию разрушительной руки времени.

Впрочем, в виде утешения, можно думать, что этот тип явление наносное, временное. Уже теперь в студенческой среде слышатся (пока еще неясные) голоса против такого тлетворного и мелочного направления учащейся молодежи.

³ гурмана — фр.

⁴ сорванцов — фр.

⁵ дразнить — фр.

<1895>

Днепровский мореход

Он все лето совершает один и тот же очень короткий рейс от Киева до... «Трухашки» и обратно. Надо отдать ему справедливость: он обладает недюжинными навигаторскими способностями, потому что ухитряется даже на таком микроскопическом расстоянии устроить изредка маленькое «столкновеньице» с конкурентным пароходом или какую-нибудь иную «катастрофочку» увеселительного характера.

Он обыкновенно называет себя «штурманом дальнего плавания». Не верьте ему. Он не был даже и на каботажных курсах, а просто поступил на пароход помощником капитана (вернее сказать кассиром и контролером билетов) и «достукался» всеми правдами и неправдами до капитанского звания. Это не мешает ему, однако, за бутылкой доброго коньяку с увлечением рассказывать о своих приключениях, о стычках с малайскими пиратами, об авариях в Индийском океане, о пребывании в плену у людоедов и о прочих ужасах, от которых у слушателей бегают по спине мурашки. Один очень достоверный свидетель передавал мне, как однажды, в критическую минуту, какой-то из днепровских мореходов обнаружил свои специальные знания и присутствие духа. На пароходе, шедшем от Киева вниз, лопнула рулевая цепь, и его понесло течением прямо на быки Цепного моста. Между пассажирами поднялся страшный переполох. Все суетились, бегали и кричали, объятые ужасом; некоторые собирались уже бросаться в воду...

– «Капитана! Капитана!» раздавались отовсюду испуганные голоса. Но капитан не внимал воплям своих жертв. Он метался взад и вперед по палубе, ломал в отчаянии руки и кричал:

– Оставьте меня! Какой я, к черту, капитан? Я даже и плавать не умею. Спасайся, кто может!

С этими словами доблестный капитан надел на себя единственный, имевшийся на пароходе спасательный пояс и с поразительным спокойствием стал дожидаться крушения парохода...

Более серьезные рейсы совершает днепровский мореход зимою, когда, имея право носить довольно красивую (хотя несколько фантастическую) форму, получая половинное жалованье и ровно ничего не делая, он попадает в свою сферу. Он отдаст якоря в «Юге», нагружается в этой бухте, разводит пары и под сильным боковым ветром плывет в «Тулон», заходя по дороге и в другие гавани... Случается нередко, что он, претерпев жестокую «аварию», становится на «мертвый якорь» в ближайшем полицейском участке.

Впрочем, и во время летних рейсов он редко бывает «не под парами».

С публикой он груб, игрив с дамами и побаивается своего лоцмана, который хотя и подчинен ему официально, но на самом деле руководит движением парохода и знает днепровский фарватер гораздо лучше своего капитана. В разговоре с сухопутными людьми любит иногда щегольнуть английским восклицанием, вроде: «all right» или «Goddam». («Все в порядке» или «Черт возьми» – англ.).

С внешней стороны днепровский мореход представляет собою рослого, здорового мужчину, на котором красиво лежит коротенькая тужурка с прилепленными к ней со всех сторон якорями. Он всегда к услугам тех дам, которые даже и на таком небольшом расстоянии, как от Киева до Кременчуга, не могут обойтись без флирта. Стоя у рулевого колеса и положив на него руку, он рисуется, принимает пластичные, мужественные позы и с чувством необычайного достоинства кричит, наклоняясь к рупору:

– «Задний ход! Стоп! Полный ход!»

Сурков, Фельман и прочие участники Тарханкутской тарарабумбии несомненно принадлежат к описанному классу мореходов.

Злые языки дали днепровским морякам прозвище «швейцарских моряков».

<1895>

Будущая Патти

Ее можно встретить на Крещатике, часа в три-четыре пополудни, когда торопливой походкой, с озабоченным видом и с кожаным портфелем «Musique» под мышкой, она возвращается

из музыкального училища. «Да, тоже, поди, не легко дается известность этим будущим Патти», – думает, глядя на нее, встречный обыватель.

Артистическая карьера будущей Патти начинается с того, что, при наличии маленького «домашнего» сопрано и небольшого музыкального слуха, она довольно мило мурлыкает в своем кругу: «Si tu m'aimais» и «Віют вітры», – в тот час между вечерним чаем и партией винта, когда гости более всего щедры на поощрения маленьким «семейным» талантам.

– Манечка, ты бы того... спела бы нам что-нибудь, – говорит благодушный папаша, поглаживая бороду и смеющимися глазами приглашая гостей присоединиться к его просьбе.

– Спой, светик, не стыдись, – вставляет какой-нибудь неисправимый холостяк, знавший Манечку «еще вот такую».

Манечка идет к роялю и без всяких претензий, слабым голоском, с неправильными придыханиями, но не без приятности, поет о том, как «аж деревья гнутся».

– Очень, очень хорошо... прелесть что такое, – одобряют гости, косясь на двери соседней комнаты, где уже раскрыты зеленые столы. – Вы знаете, в наше время голос – это целый капитал. Только ведь учиться да учиться надо. Школа вот что самое главное, а там- почему знать? Может быть... хе-хе-хе... из вас, барышня, будущая Патти выйдет.

Постоянные упоминания о школе, похвалы гостей, рассказы о почестях и баснословных гонорах, получаемых знаменитыми артистами, в конце концов гипнотизируют будущую Патти, которая, в свою очередь, гипнотизирует нежных, но расчетливых родителей. Ее настоятельные просьбы еще и потому находят отклик в родительских сердцах, что Манечка никак не может пойти в гимназии дальше четвертого класса, а между тем кому не известно, что небогатой девице трудно составить приличную партию, не обладая средним образованием, или трогательной склонностью к хозяйству, или, наконец, каким-нибудь приятным талантом?

– А ведь Манечку бы нужно... того... отправить к профессору, попробовать голос... Кто ее знает, может быть, и в самом деле у нее... того... талант скрывается? – говорит в одно прекрасное утро, пробегая за стаканом чая газету, отец семейства. – Кстати, вот и в газете напечатано, что какой-то вновь прибывший профессор Маккарони «ставит» самые дурные и испорченные голоса... К тому же и дешево. Разве попробовать?

На другой же день будущая Патти пробует у профессора Маккарони голос. Профессор – подозрительная личность в потертом фраке, с плешивой головой, нафабранными усами и чудовищным кадыком – в восторге от голосовых средств Манечки. «Правда, есть небольшие дефекты... слабость средних нот, недостаток школы... ну, и так далее... Но я берусь в два года сделать из вашей дочери звезду русской оперы... Только берегите, mademoiselle, берегите ваш голос».

С этого дня для всех родных и знакомых семейства, заключающего в своих недрах будущую звезду русской оперы, начинается миллион терзаний. Вместо «легонького винтика» и «прохождения по маленькой» на сцену выступают бесконечные разговоры о диафрагме, о постановке голоса, о среднем регистре, о головных нотах, о придыханиях, о носовых и лобных «хоанах» и о тысяче подобных технических предметов. Манечка вызывается к пианино, но она не в духе, она боится злоупотреблять голосом, – ей запретил ее профессор петь по вечерам. Наконец, уступая тайному чувству честолюбия, она, как будто бы нехотя, соглашается и поет что-нибудь из Чайковского или Лишина,

«Черт ее знает, эту школу, – думают гости в то время, как у них от высоких нот будущей Патти бегают по спинам холодных мурашки. – Я, может быть, по своему невежеству и не чувствую, а оно и на самом деле... школа»..

Однако очень скоро будущая Патти остается недовольна уроками профессора Маккарони: и сам профессор неинтересный, и ученики у него какие-то всё подозрительные, и скука страшная на уроках, и никогда не бывает концертных вечеров, С ней охотно соглашается и папаша, давно уже подозревавший в профессоре беглого итальянского каторжника.

– Знаете ли, – говорит он, – как-то страшно верить такое сокровище, как голос, каким-то сомнительным субъектам. Вы бы послушали, что у нее за «ut bemol». Соловей, да и только.

Будущая Патти держит экзамен в музыкальное училище, приводя в трепет своим знаменитым ut bemol'ем нервных экзаменаторов. Однако она все-таки принята, и восхищенные родители немедленно заказывают ей у Барского новый роскошный «Musique».

С этого времени Манечка становится деспотом в семье. «Манечке нужно спокойствие, Манечка такая нервная, Манечка отдыхает. Тсс... Манечка занимается, Манечке нельзя кисло-

го...» Целый день с утра до вечера из ее комнаты раздаются бесконечные «аааа, оооо, уууу», настойчивые, пронзительные, беспощадные... Вся семья терпит их, скрежеща зубами, веруя в будущность Манечки, и только один младший брат, гимназист, тщетно усиливающийся понять под эти звуки сущность неправильных глаголов на «і», швыряет с озлоблением грамматику Кюнера в угол и восклицает:

– Черт!.. Визжит, точно кошка драная!

Манечка ходит в музыкальное училище, трепещет перед именем господина Эверарди, обожает господина Пухальского, третирует свысока учениц господина Блюменфельда и вводит в дом множество будущих Тамберликов и Мазини, от вокального нашествия которых папаша спасается бегством к соседям. Однако успехи будущей Патти подвигаются вперед очень медленно. Она остается на первом курсе, не выдержав экзамена. На следующий год повторяется та же история, через год – то же. Манечка из подростка становится девицей, из девицы – барышней, из барышни – старой девой. Она с негодованием непризнанного таланта покидает училище.

– Зависть!.. Покровительство бездарностям!.. Рутиня!.. Слабость к смазливим личикам!

При этом один из наиболее известных профессоров непременно обвиняется в умышленной порче голоса будущей Патти. Вообразите себе, – говорят возмущенные родители, – этот Эверарди совершенно «сорвал» голос нашей Мими (все Манечки после двадцати пяти лет обращаются в Мими). Это просто ужас, как он обращается с голосами!

Окончив таким образом музыкальное училище (тремя годами раньше окончания курса), будущая Патти становится ревностной участницей всех домашних концертов. Оперных певиц она бранит с беспощадным ожесточением, вызывающим даже у нее на губах пену. В то же время потребность «обожания» она с профессоров переносит последовательно на Тартакова, Медведева и в конце концов на Мышугу, приставая к ним с просьбами подарить на память карточку или носовой платок и поднося им ко дню бенефиса вышитые гарусом туфли и подушки.

В тех летах, когда надежда сделаться со временем звездой русской оперы становится очень сомнительной, Мими начинает, с «неподражаемым шиком» аккомпанируя себе на гитаре, исполнять цыганские романсы, вроде Шмитгофовского:

Ты сиводни сапрасила с укорам,
Атачего я при вастречи малачу.

Вместе с летами растет ее поклонение оперным тенорам, обращаясь наконец в настоящую фанатически яростную манию. Она уже не довольствуется одним «посмотрением» своего идола, – у нее является ничем не удержимое желание повергнуться к его божественным ногам и прикоснуться к его священной особе собственными руками... И нередко случается, что Мими, не будучи в силах превозмочь своего психопатического вождения, с блуждающим взором, с растрепанной прической, кидается в фойе оперного театра к ногам своего кумира и, к великому соблазну присутствующих, начинает покрывать полы его сюртука горячечными поцелуями.

Здесь, впрочем, мы уже имеем дело с типом оперной психопатки, о которой в свое время поговорим подробнее, так же как и о «будущей Рашели» и «будущей Софии Ментер».

До конца дней своих Мими глубоко убеждена, что в ней погиб великий талант, не признанный завистливыми профессорами, и великолепный голос, «сорванный» их варварским методом.

<1895>

Лжесвидетель

Его отнюдь нельзя смешивать с так называемым «благородным» свидетелем. Благородный свидетель это тот незнакомец с громким голосом, внушительной осанкой, чаще всего в дворянской фуражке, который в критический момент уличного или трактирного «недоразумения» тянет первого попавшегося из действующих лиц за рукав и многозначительно шепчет ему:

– Мусью, валяйте их к мировому. Даю вам бла-арод-ное слово дворянина, что с них присудят за бесчестие.

Профессия лжесвидетеля более солидная и постоянная. Разновидности этого типа так мно-

гочисленны и неуловимы, что нет возможности проследить все его изменения. Тем не менее довольно ясно обозначаются три группы или класса, на которые можно разделить всех лжесвидетелей:

а) *Лжесвидетель нотариальный*⁶. Большею частью он штабс-капитан в отставке, уволенный, по его собственному выражению, «для пользы службы». Он медлителен в движениях, важен, простодушен, неряшлив в одежде, фабрит усы, равнодушен к женскому полу и питает к своему нотариусу благоговейное почтение, почти суеверный ужас.

Обязанность его заключается в том, чтоб явиться в одиннадцать часов утра в контору нотариуса, прослушать с видом специалиста акт духовного завещания или закладной и затем, степенно надев очки и громко высморкавшись, подписать внизу листа свое звание, имя, отчество и фамилию. Впрочем, он так верит в своего патрона и так мало понимает прочитанное, что охотно подпишется даже под собственным смертным приговором.

За каждую подпись он получает рубль. Средний его доход равняется восьмидесяти ста рублям в месяц. Однако деньги плохо держатся в его кармане, потому что он большею частью подвержен «слабости».

Характерной его чертой является его долголетнее пребывание в конторе. Случается, что переменяются в конторе и клерки, и клиенты, и даже сам нотариус, а он, как старый дуб среди молодых отпрысков, стоит на своем посту, непоколебимый, степенный, все еще не научившийся понимать хоть одну строчку из прочитанного в его присутствии акта.

б) *Лжесвидетель у «аблакаты»*. Это тип сравнительно редкий, так сказать, вымирающий. До реформы шестьдесят третьего года каждый частный поверенный имел у себя небольшой штат субъектов подозрительного вида и мрачного темперамента, готовых за добрую рюмку водки засвидетельствовать где угодно, когда угодно и что угодно. В настоящее время, с постепенным исчезновением с лица земли частных поверенных, исчезает и тип лжесвидетеля. Он остался еще у подпольных «аблакатов», пишущих витиеватые кляузы в грязных кабачках, помещающихся на улицах, прилегающих к Софиевской площади.

Свое вознаграждение он получает обыкновенно натурою в тех учреждениях, где его патрону открыт кредит. В это же учреждение отправляется «аблакат», когда ему нужен свидетель по его специальности.

– Свидетель Мастодонтов, что вы можете сказать по этому делу? спрашивает мировой судья лжесвидетеля, предстоящего перед лицом Фемиды с опухшим и подбитым кое-где лицом, со значительно поредевшей левой бакенбардой, в сильно поношенной «цивильной одежде».

Свидетель Мастодонтов выступает вперед, откашливается в руку и начинает давать свое показание густым и хриплым басом, перемежающимся с сиплым фальцетом:

– Так что, васкродь... этта... иду я по Хвундуклеевской улыци... тильки бачу, якись чоловік... несе якись сапоги. Я ему кажу...

– Позвольте, прерывает судья лжесвидетеля, здесь дело вовсе не в сапогах. Вас вызвали свидетелем по делу Иванова, обвиняемого в краже кадки масла у лавочника Обиралова.

– Точно так, ваше превосходительство, я по этому самому делу и доказываю. Вин иде с сапогами... Ну, я и думаю: нехай вин себе иде... А потим я бачу, що другий якись несе кадку...

Нередко защита «аблакаты» и показания свидетелей кончаются тем, что всю компанию приговаривают к заключению на полтора года в арестантские роты. Это я говорил о постоянных лжесвидетелях. Но есть лжесвидетели временные, так сказать, лжесвидетели-гастролеры. Их нанимают обыкновенно на толчке. Особенно интересна такса, по которой оплачивается их участие в деле. Еврей никогда не получает за выход более полтинника, русский берет рубль, полтора и даже два в зависимости от важности и продолжительности дела. Между ними есть субъекты положительно талантливые, схватывающие суть дела на лету и даже не нуждающиеся в репетициях.

⁶ Надо объясниться. Лжесвидетелями я называю людей этой категории не для того, чтобы бросить тень на их добросовестность, но просто в силу установившегося, может быть даже несколько жестокого, ходячего прозвания. (Прим. автора.)

в) *Лжесвидетель бракоразводный*. Он всегда причесан по последней моде и как денди лондонский одет. К сожалению (впрочем, может быть, и к счастью), этот тип в Киеве культивируется туго и является лишь случайно в ответственной роли свидетеля. Его обязанность заключается в том, чтобы, устроив пантомиму «падения» с одной из сторон, быть застигнутым в самом комичном и неприятном положении, в которое когда-либо попадает смертный.

<1895>

Певчий

1. *Дискант новичок*. Он только что поступил в хор, куда его отдала мать-бедная прачка или поденщица, обремененная многочисленным и прожорливым потомством. Его рожица не успела еще утратить детской наивности, миловидности и свежести. Волосы на голове торчат в разные стороны непослушными вихрами, за которые регент нередко тяпнет его на высоких котах. Он так мал ростом, что, одетый в парадный кафтан, болтается в нем, как горошина в пустом стручке. Трогательное и смешное впечатление производит этот малыш, когда, подобрав левой рукой подол своего кафтана, а правой поддерживая целую грудку ежеминутно расплзающихся взрость толстых нотных тетрадей, он едва поспекает вприпрыжку за капеллой, идущей в церковь.

В свободное время он состоит на побегушках у регента и чистит ботинки франтоватым тенорам. Басов боится пуще огня и величает их «дяденьками». Иногда, по неопытности и легкомыслию, доносит регенту о каком-нибудь грандиозном дебоше, произведенном в прошедшую ночь «перепившимися» басами, за что впоследствии получает от них хорошую встряску. Идя с хором впереди похоронной процессии, он и здесь не может умерить природной живости темперамента: толкает в бок соседа справа, дергает за волосы идущего впереди товарища и потом ругается с обоими своим звонким, еще не осипшим голосом.

2. *Дискант опытный*. Он уже вполне освоился с жизнью, нравами, обычаями и жаргоном капеллы. Со взрослыми певчими состоит в полуприятельских отношениях, служа нередко поверенным и посредником их интимных делишек. Втихомолку курит, попивает и предается порокам, которые развивает среди мальчуганов замкнутая жизнь. Лицо у него желтое, поношенное, глаза окружены зловещими синими тенями, голос сиплый. Жалованья дисканты, как новички, так и опытные, обыкновенно не получают никакого, разве за исключением солистов.

3. *Тенор*. Высокий, худощавый молодой человек, с меланхолическим выражением лица. Франт. Питает слабость к пестрым панталонам и ярким галстукам. Бреет бороду, но зато носит усы «в иголочку». Занят сильно своей внешностью, душит цветным одеколоном и при помощи помады «мусат» устраивает на голове чудовищный «алайкапуль». Глубоко уверен в своей неотразимости перед женщинами и втайне лелеет мечту завести интрижку с эксцентричной графиней или княгиней, плененной его голосом. Когда поет в церкви соло, то живописно облакачивается на стену, скрещивает по-наполеоновски на груди руки, закатывает глаза к потолку и изящным движением пальцев расправляет воротник. Сентиментален, обладает возвышенными чувствами, говорит выпреним слогом, любит читать уголовные романы и пьет только благородные вина, причем отдает предпочтение тенерифу и аликанту.

4. *Бас*. Высок, грузен, носит волосы в виде львиной гривы. Глаза заплыли и опухли от хронического пьянства; в небритой бороде часто заметен пух и остатки вчерашней закуски. Одет небрежно, большею частью в широкий, длиннополый, засаленный на животе и локтях сюртук.

Любит поспать и вылить; к прочим земным радостям относится скептически, а женщин прямо-таки презирает самым искренним образом. Во хмелю либо ревет «многолетие», либо вступает в баталии с городовыми, – смотря по темпераменту. Выпить может целую четверть.

Бас важен и медлителен в движениях, говорит мало, но всегда веско и на густых нотах. Хранит в памяти предания о знаменитых октавах и протодьяконах и рассказывает о них с благоговением.

Среди басов наибольшим почетом пользуется «октава». Он гордость и баловень всего хора. Сам регент называет его по имени-отчеству. Ему прощаются и страсть к спиртному, и буйный характер, и даже иногда отсутствие слуха. Он невелик ростом, но очень широк, крижист и звероподобен.

<1895>

Пожарный

«Слава и смелость лучшие ходатаи перед женщинами», говорит Шекспир. Поэтому нет ничего удивительного, что «кавалерские» фонды пожарного стоят на кухнях чрезвычайно высоко: трудно поверить но иногда даже не ниже фондов интендантского писаря, этого единогласно признанного, профессионального «тирана» и «погубителя» женских сердец, которому «только бы достигнуть своей цели», чтобы потом «надсмеяться» самым коварным образом.

Да и трудно, чтобы слабое женское сердце не замерло в сладком испуге, когда среди глубокой ночи, с оглушительным грохотом, звоном и треском, мчится мимо окон бешеным карьером пожарный обоз. Кровавое пламя факелов колеблется высоко в воздухе над повозками и вспыхивает зловещим блеском на медных касках, венчающих темные, неподвижные фигуры пожарных, сохраняющих в этой бешеной скачке какое-то суровое, роковое спокойствие. И в этом спокойствии чувствуется привычная готовность ежедневно ставить свою жизнь на карту.

Положительно не ошибешься, если скажешь, что большинство пожарных служит не из нужды, а по призванию. Во всех классах общества есть пылкие, беспокойные головы, которых неудержимо привлекает все исключительное, выходящее из рамок обыденной серой жизни, все сопряженное с ежеминутной опасностью для жизни. Правда, и между пожарными находятся, как исключение, трусы и лентяи, но они недолго уживаются в этой среде и всегда служат мишенью для презрения и насмешек товарищей.

Наиболее смелый, вернее сказать отчаянный, ловкий и сильный пожарный назначается «трубником». Во время пожара он направляет, куда нужно, струю воды, держа в руках наконецник рукава. Отвага его поразительна. При мне однажды пожарные работали вокруг запертого сарая, набитого сеном, которое, по чьей-то неосторожности, загорелось. Во что бы то ни стало нужно было направить струю внутрь сарая. И вот один из трубников, с концом рукава в руках, бросается к дверям; быстро сбивши топором замок дверей, распахивает их настежь и в тот же миг исчезает в целой буре пламени, вырвавшегося из сарая. Товарищи не видят его, но наугад направляют струи воды в то место, где исчез трубник. Через несколько секунд пламя заметно утихает, и всем становится видно, как внутри сарая вьюном вьется трубник, вертя по всем направлениям трубой. Наконец огонь совсем утихает. Из сарая валит только густой, черный дым. Трубник выходит на воздух весь черный, с волдырями на лице и руках, едва держащийся на ногах. Если вы спросите у пожарных, каким образом этот смельчак не задохся, вам ответят, что «он умеет подолгу задерживать дыхание».

У наиболее известных есть свои поклонники, почитатели среди тех зрителей, которые ни за что не пропустят ни одного пожара. Эти любители испытывают чувства несравненно более сильные, чем зрители боя быков в Испании. Яркий свет огня, жар, треск горящего дерева, запах дыма, суэта, хриплый крик брандмейстера:

– «Лыбедская, ката-ай!» резкий топот испуганных и разгоряченных лошадей все это напрягает нервы зрителей до высочайшей степени. И когда появляется среди толпы пожарных любимый трубник, публика разражается восторженными криками:

– Пророков! Пророков! Bravo, Пророков! Визирь молодчинище! Валяй, визирь!

Пророков является всегда героем пожара. Он не теряет даром ни секунды. С озверевшим лицом, испуская каждую секунду страшнейшие ругательства, он бежит с рукавом в самый густой огонь. Горе какому-нибудь франту в цилиндре, самоотверженно явившемуся «помогать», а иногда даже и «руководить», если он попадет под ноги Пророкову во время его стремительного бега. Он пустит ему в лицо (и это еще на хороший конец) такой ужасный заряд озлобленной ругани, что самоотверженный «руководитель» невольно отскочит далеко в сторону. И брандмейстеры и пристава знают хорошо характер трубника: они не рискнут сунуться к этому зверю с советами во время его героического экстаза, потому что для него нет тогда ни начальника, ни указчика. Опьяненный безумной скачкой, суетой, близостью опасности, чувствуя на себе глаза тысячной толпы, он впадает в то состояние, в которое впадали скандинавские «берсеркеры».

С пожара он нередко возвращается «на крючьях»⁷.

В свободное время широкая натура трубника разгуливается совсем иным образом. Он пьян с утра до вечера⁸ и во хмелю непременно вступает в кровопролитные баталии с людьми всякого чина и звания. Когда, после долгих усилий, удастся его завлечь в ближайший участок, он, после долгих и крупных объяснений со «стражей», валится камнем на нары и потом уже не показывает никаких признаков жизни.

Но полиция уже знает до тонкости его железную натуру. Чуть только прозвонил пожарный звонок и безжизненному трубнику крикнули на ухо «пожар» совершается мгновенное чудо. Труп оживает. Ни в лице его, ни в движениях нет и следа страшного опьянения. Застегиваясь по дороге, он бежит на пожарный двор, на бегу вскакивает на мчащуюся повозку и опять несется в огонь и опасность, прицепившись где-нибудь на подножке и высоко подпрыгивая на ямах и пригорках.

<1895>

Квартирная хозяйка

Чаще всего она вдова пехотного капитана, и потому называет себя штаб-офицершей. Она толста, нечистоплотна, ходит целый день в широкой белой ночной кофте; лицо у нее красное, решительное, голос резкий, манеры и жесты воинственные. Любит пить кофе с кипячеными сливками и часто раскладывает пасьянс «могила Наполеона». Сама с удовольствием ходит утром на базар, где давно уже, благодаря энергичности фигуры и характера, пользуется боязливым уважением со стороны овощных торговков, не признающих иногда авторитета даже самого городского. В разговоре любит употреблять иностранные слова, а квартиранта непременно называет «мусью».

Когда будущий жилец, бедный студент, чиновник, приказчик или репортер, увидев на оконном стекле белый билетик, заходит узнать условия, на которых отдается квартира, он видит перед собой не хозяйку, а ангела.

– Кровать у вас своя есть? Нет? Ну, так я вам завтра же куплю. И матраца нет? Это ничего, ничего, все это завтра же будет. Вы не думайте, что я как прочие хозяйки... Я, слава богу, могу понимать положение... Деньги вперед дадите?.. Мой супруг, царствие ему небесное, служил в Н-ском полку... Мы четыре года ротой командовали... Только три рубля?.. Ах, молодой человек!.. Знаете, я вам, как мать, скажу: дайте вперед за месяц! Потом сами довольны будете. А то что хорошего? Туда-сюда, глядь, денежки и разошлись.

В продолжение первых дней квартирант положительно уничтожен любезностью своей хозяйки. Возвращаясь со службы или с лекций, он застаёт ее развешивающей у него в комнате то кисейные гардины, то олеографические пейзажи. После обеда хозяйка скромно стучится в дверь и появляется с кофейником и молочником.

– Мусью, может быть, кофейку? – спрашивает она со сладкой улыбкой. После обеда это очень полезно. Мой покойный супруг, царство ему небесное, всегда любил после обеда побаловаться.

Она присаживается к столу и начинает занимать квартиранта бесконечными рассказами из своей штаб-офицерской жизни. Она была первая во всей дивизии дама. На балах в ротонде у нее от кавалеров отбоя не было, и однажды, из-за чести танцевать с нею третью кадрили по значению, вставляет она с многозначительной улыбкой, прапорщик Пуля вызвал на дуэль штабс-капитана Неспокойного... А когда она с полком выступила из города, то ее провожала вся местная молодежь за четыре станции. Выпито было пятнадцать дюжин шампанского, а ей каждый из провожавших поднес по букету. «Двадцать шесть букетов и все из одних белых роз! Какое это вам покажется, мусью?»

Если жилец занят вечером какой-нибудь работой, хозяйка входит в его комнату на цыпоч-

⁷ «на крючьях»: Раненых и убитых пожарных отвозят домой на той повозке, где помещаются крючья.

⁸ «Он пьян с утра до вечера»: Трубники не дежурят ни на каланче, ни у казарменных ворот. (Прим. автора.)

ках.

– Занимаетесь? Вот это с вашей стороны, мусью, прекрасно, что вы занимаетесь. Ну, занимайтесь, занимайтесь, занимайтесь, я не буду вам мешать. У меня спокойно будет заниматься, не то что у других хозяев. У меня, если, например, музыкант квартиру снимает, ни за что не пущу. Потому что, согласитесь, может быть, другим эта музыка совсем не симпатична?

Таким порядком проходит дней пять, шесть, даже целая неделя. В одно прекрасное утро хозяйка входит к жильцу, говорит с ним о погоде и вдруг, как будто бы вскользь, произносит:

– А об чем я вас, мусью, попрошу? Там за квартиру еще с вас следует несколько... там... рублей... Так, может быть, вы будете так любезны... Ну, конечно, если только у вас есть... Я ведь, слава богу, умею понимать людей... Может быть, у вас и нет в настоящее время, но я знаю, что вы, как человек благородный, и все такое... Не то что некоторые (здесь голос хозяйки умышленно возвышается и лицо обращается к перегородке, за которой живет очень бедный и очень тихий телеграфист), которые живут вот уже месяц и до сих пор даже половины не заплатили! Нет-с! (Голос еще более возвышается). Так благородные квартиранты не поступают. Так поступают только жулики-с! Да-с!..

В этот день квартирант уже не получает послеобеденного кофе.

На другое утро хозяйка, не прибегая к дипломатической прелюдии о погоде, прямо напоминает:

– Мусью, а насчет того, что я вас вчера просила?.. Так пожалуйста... Вы ведь знаете, я бедная вдова, и за меня некому вступиться, а с меня тоже хозяева спрашивают. Нынче, честное слово, последний рубль издержала на базар.

Вернувшись со службы, жилец застаёт хозяйку в своей комнате: она снимает гардины с окон и картины со стен.

– Я вижу, мусью, вам не особенно это нужно, говорит она, отрясая с гардин пыль под самым носом молодого человека, а у меня здесь квартирант новый нанял комнату... так вот, хочу ему...

Новый квартирант даёт о себе скоро знать. Вечером, когда старый жилец садится за изучение лекций по римскому праву или за проверку кассовой книги, из соседней комнаты неожиданно раздаются крики грудного младенца, крики тягучие, пронзительные, гнусавые... Крики восходят вверх по хроматической гамме, спускаются вниз, проделывают сложные пассажи, и квартирант с отчаянием в сердце убеждается, что рядом с ним поселился ученик музыкального училища по классу гобоя.

С этого дня требования хозяйки уже теряют снисходительный и небрежный характер. Она начинает длинные рассуждения на тему, что так благородные люди не делают, что она сама благородная дама и такого странного обращения с собою допустить не может, что вот соседний жилец это сразу видно человек благородный: заплатил деньги вперед за месяц, и она к нему никаких претензий не имеет.

Потом неисправный квартирант, против желания, слышит через тоненькую перегородку, как в комнате гобоиста звенят после обеда ложки и стаканы и как хозяйка резонирует в повышенном тоне о *некоторых*, которые вот уже целый месяц и так далее.

Случается, что немилости хозяйки подвергаются все жильцы одновременно, причем всегда составляет исключение какой-то таинственный мужчина высокого роста, с большими черными усами и в ботфортах, живущий на хозяйской половине и целый день фальшиво насвистывающий арию: «*Понапрасну, юнкер, ходишь* ». Этот таинственный незнакомец иногда прибавляет к сентенциям хозяйки и свой внушительный бас:

– Это вы верно, сударыня. Так только мерррзавцы могут поступать, а не благородные люди.

В одно прекрасное утро действия хозяйки сразу принимают решительный характер. Она не входит, а врывается в комнату неисправного квартиранта и начинает громко, с драматической жестикуляцией доказывать, что она имеет свое полное право, что она женщина бедная, но благородная, что она не хочет держать разной голи. Во время ее монолога из-за дверей раздается сочувствующий бас незнакомца с черными усами:

– Да что вы, сударыня, с этими шерамыжниками разговариваете? В шею их гоните, и дело с концом... Только нервы свои расстраиваете понапрасну. Через два дня после нового объяснения хозяйка, как буря, стремится в кухню, и оттуда слышится ее зычный голос:

– Гапка, ступай, вынь у этого прохвоста вьюшки из трубы! И чтобы больше грубку ему не топить!..

Гапка входит в комнату жильца самым сенсационным образом, громко шлепая ногами и особенно нагло вертя толстыми бедрами. Вытащив с грохотом из трубы вьюшки, она с такой же помпой исчезает.

Возвратившись в этот день домой поздним вечером, квартирант, по обыкновению, робко нажимает звонок. Дверь тотчас же с треском распахивается, и из нее последовательно вылетают: сначала чемодан квартиранта, потом его подушка, обернутая одеялом, и, наконец, узелок с бельем, причем в отверстие двери квартирант видит свою хозяйку в ночной кофте, со свечой в руках, и таинственного незнакомца в одном белье. После всего к ногам несчастного квартиранта летит его документ, и густой бас незнакомца злорадно произносит:

«Вот теперь попляши-ка на морозе-то!» Дверь с таким же треском захлопывается, как и отворилась...

Если же, не дождавшись такого неприятного окончания, квартирант как-нибудь умудрится заплатить деньги, обращение хозяйки мгновенно изменяется.

– Вы не думайте, мусью, что я вам хочу неприятность сделать, когда о деньгах напоминаю. Но вы понимаете? Я женщина бедная, вдова, долго ли меня обидеть? Поверите ли: сегодня последний рубль на базар издержала. Вот только вы и помогли, дай бог вам здоровья.

<1895>

Босяк

В Петербурге его называют «вяземским кадетом», в Москве «золоторотцем», в Одессе «шарлатаном», в Харькове «фраклом». В Киеве имя ему «босяк».

Жалкая фигура с зеленым, опухшим и лоснящимся лицом, украшенным синяками и кровоподтеками, с распухшим носом, отливающим фиолетовым цветом, с потрескавшимися синими губами... Голова уходит в приподнятые кверху плечи, руки плотно прижаты к трясущемуся на морозе телу, тщетно стараясь его обогреть и в то же время запахнуть расходящиеся полы одежды, ноги одна в калоше, другая в зияющей ботинке полусогнуты и стучат коленом о колено...

Вот внешний вид босяка, вид, к которому, для полноты картины, необходимо еще прибавить «нечто», надетое на туловище, весьма похожее на женскую кацавейку, висящее длинной грязной бахромой на рукавах и заплатанное на груди и спине случайными кусками брезента или выцветшего байкового одеяла...

Летом босяку живется лучше и привольней, сравнительно с зимою. Даровой ночлег всегда готов для него или в кустах по берегу Днепра, или в Царском саду, где под густой тенью вековых лип можно найти уголок, недоступный для зорких полицейских глаз.

И работа всегда найдется летом для босяка, потому что хозяева барок, пристающих к Киеву, нуждаются постоянно в рабочих руках для разгрузки товара. Приходя рано утром на пристань, вся босая команда соединяется в плотную, дружную артель. Одного, наиболее влиятельного в их среде, самого грамотного, босяки избирают своим счетоводом, казначеем и отчасти даже распорядителем. Он уже не работает со всеми, а стоит на берегу с записной книжкой в руках и принимает от работающих товарищей вырученные ими деньги.

По окончании работ вся накопившаяся у казначея сумма делится аккуратно между членами артели или с общего согласия дружно пропивается в ту же ночь. Расчет ведется самым тщательным образом, и никому из босяков не придет в голову утаить хотя незначительную часть выручки. Действия артели основаны на строжайшем взаимном контроле и на честности, гарантированной двумя дюжинами крепких кулаков. Говорят, что в удачные дни заработок босяка простирается до трех рублей. Посторонний работник, знакомый с нравами босой команды, никогда не рискнет конкурировать с артелью.

Зато зимою босяку приходится очень туго, лишь изредка навертывается дешевая работишка вроде рубки дров или очистки снега. Очень часто у него нет пятачка для ночлежного дома, а в бесплатные приюты так много охотников, что они еще задолго до открытия ворот приюта стоят около них густою толпою. Хорошо еще, если ночная темнота и беспечность зазевавшегося дадут босяку возможность проскользнуть в чужой двор, устроиться на ночь в пустом сарае. В против-

ном случае ему приходится бродить по улицам, согревая свое дрожащее тело у костров, если они зажжены.

Конечно, «кутузка» в этих тяжелых обстоятельствах является желательным и наилучшим исходом.

Зимой, под давлением нужды, босяк волей-неволей обращается к двум побочным промыслам: нищенству и воровству.

Ворует он, конечно, очень неловко. У него нет ни дерзости, ни навыка профессионального мазурика, и потому на первом же, по крайней мере на втором дебюте он попадает в руки полиции. Нищенствует же он гораздо успешнее, хотя и это ремесло требует ловкости и своеобразных технических знаний.

Особенно благоприятна для нищенства суббота. Этот день богобоязненные лавочники, в силу освященного давностью времени обычая, посвящают раздаче нищим медных денег и залежалых съестных припасов. С самого раннего утра в субботу киевские улицы наводняются таким множеством хромых, слепых, безруких, одетых в страшные лохмотья субъектов, что незнакомый с обычаем наблюдатель только диву дается. Правда, вечером в тот же день половина этих калек каким-то чудом выздоравливает в «Зеленом кабинете» или в «Свидании друзей». Слепые прозревают, и хромые, откинув костыли и развязав согнутую ногу, откалывают трепака.

Иные, прося милостыню, бьют на оригинальность, прибегая или к возвышенному слогу, или к наивно-бесстыдной откровенности. «Господа почтенные, обращается босяк к подгулявшей компании, пожертвуйте пятак на выпивку бедному учителю, изгнанному из службы за многочисленные пороки». Если же он бывший офицер, то непременно прибегнет к французскому языку:

– «Доне келькшоз пур повр офисье».⁹

Есть такие, которые произносят импровизированные речи.

– «Господа филантропы! Обратите внимание на мое исключительное бедственное положение. Получал когда-то сто рублей пьянствовал, получал двадцать пять пьянствовал. Теперь я, как видите, босяк и все-таки пьянствую. Да здравствует босая команда!» Не так давно один субъект мрачного вида и внушительного телосложения практиковал еще более оригинальный способ. Он на людной улице подходил к какому-нибудь хорошо одетому господину, провожавшему даму, и говорил ему с таинственным видом:

– Мусью, на два слова.

И когда недоумевающий прохожий, оставив свою даму, отходил в сторону, босяк самым решительным тоном высказывал категорический ультиматум:

– Рупь или в морду!

В публике почему-то укоренилось мнение, что среди босой команды влачат свое жалкое существование бывшие богатые помещики, гусарские офицеры, чуть ли даже не бывшие ученые, которых заставила так низко упасть слабость к спиртному. Без сомнения, эти слухи весьма преувеличены, однако в них есть доля правды: почти всегда между босяками есть пять-шесть человек, бывших когда-то учителями, армейскими капитанами, подающими надежды музыкантами... Но большинство членов босой команды все-таки составляется из пропившихся мастеров и подгородних крестьян, дошедших вследствие безработицы, лености или пьянства до ночлежного дома.

В босой команде есть и женщины, жалкие, бессмысленные создания, влачащие жизнь между кабаком и больницей... В двадцать пять лет они выглядят пятидесятилетними старухами. О них мы говорить не будем.

<1896>

Вор

Сведущее лицо, то есть учитель, или как он зовется на воровском argot¹⁰ «маз», очень ско-

⁹ Подайте что-нибудь бедному офицеру — искаж. фр.

¹⁰ Жаргон (франц.).

ро и безошибочно определяет, к какой именно из более узких отраслей своей специальности способен ученик. Направление ума, свойства души, наружность, наконец, даже телосложение ученика ясно говорят, будет ли он «марвихером», или «скачком», или «бугайщиком», или «блакатарем», или «аферистом».

«Марвихер» это вор, занимающийся исключительно карманными кражами. Он невелик ростом, худощав, ловок и быстр в движениях. Одевается, как средней руки мещанин или зажиточный рабочий (за последнее время между «марвихера-ми» вошли в моду короткие мохнатые бушлаты из светло-желтого драпа). По натуре труслив, любит «звонить» (болтать, хвастаться) и на крупные предприятия, благодаря этим качествам, вовсе не приглашается.

На «дело» «марвихер» никогда не идет один, а берет с собою помощника или помощницу, большею частью подругу сердца, которая называется «марвихершей». Свечные ящики в церквях излюбленное место, около которого эта компания являет искусство рук. «Стырить» кошелек из пальто растерявшейся в тесноте дамы для опытного карманщика дело одной минуты. Еще быстрее передается этот кошелек в третьи, четвертые и пятые руки, так что на случай обыска «марвихер» может с легким сердцем выражать свое благородное негодование. Многолюдные гулянья и зрелища также посещаются «марвихерами».

Но, чтобы «дело» вышло «клевое», то есть удачное, они стараются работать наверняка, то есть сначала выследить «карася» в момент, когда он платит и меняет деньги, и удостовериться, в какой карман он их положит. Затем остается только стиснуть со всех сторон намеченную жертву или завести с ней общую драку, во время которой и обчищается «кайстра» (мешок) карман, кошелек и касса одинаково называются этим техническим термином). Рассказы о том, что своих учеников воры заставляют практиковаться сначала на манекенах, увешанных звонками, преувеличены, по крайней мере по отношению к киевской ассоциации. Просто-напросто «маз» пускает ученика на дело одного, а сам издали следит за ним, критикует его работу и в случае надобности и возможности подает помощь... Окончательную же шлифовку «марвихер» получает в «гостинице» (тюрьме), где рассказы о ловких «делах», обратясь в легенды и преданья, с уважением передаются из поколения в поколение.

Нечего говорить о том, что «марвихеры», как и прочие воры, выработали свой собственный условный язык. Так, например, часы у них называются «стукалы», сапоги «коньки», панталоны «шкάρы», манишка и галстук «гудок», сыщик «лягавый», городской «барбос», тюремный надзиратель «менто», военный «масалка» и так далее.

У воров есть и свои собственные песни, навеянные тюремными музами. Песни эти говорят большею частью о суде и о горькой участи «мальчишки», отправляющегося на каторгу. В одной из них, например, поется о том, что

Судей сберется полк,
Составит свое мнение
И скажет, что я вор,
Сослать на поселение.

Защитник у глазах
Обрежет прокурора
И скажет, что нельзя
Его считать за вора.

И тут же неожиданно глупый припев:

Всегда, всегда с утра и до утра.

Другая песня, с очень трогательным мотивом, похожим на похоронный марш, чрезвычайно популярна. Она начинается так:

Прощай, моя Одесса,

Прощай, мой карантин,
Нас завтра отвозят
На остров Сахалин.

И припев, печальный, почти рыдающий припев:

Погиб я, мальчишка, погиб навсегда.
А годы проходят, проходят лета.

Однако мальчишка вовсе не заслуживает этого сожаления, потому что дальше очень подробно перечисляются его прежние подвиги:

Зарезал мать родную,
Отца я убил,

и опять «Погиб я, мальчишка...» и так далее до бесконечности, куплетов что-то около со-рока.

За «марвихером» следует лицо высшей категории «скок», иначе «скачок» или «скокцер». Его специальность ночные кражи через форточки и двери, отворяемые при помощи отмычек. «Скачку» не надо обладать художественной ловкостью «марвихера», но зато его дело требует несравненно большей дерзости, присутствия духа, находчивости и, пожалуй, силы. «Скачок» никогда не упускает из виду, что неловкость или случай могут натолкнуть его во время работы на человека, готового «надеть тарараму» («тарарам» означает шум, скандал). Потому всякий «скачок» не расстается с ножом, который на воровском жаргоне называется очень разнообразно: «пером», «хомкой», «жуликом» и другими именами.

По большей части «скачок» бывший слесарь, и наружность его долго сохраняет следы, налагаемые его прежней профессией. На дело «скачок» редко идет в одиночку; ему необходимо, чтобы кто-нибудь «стремил» (стерег, наблюдал) в то время, когда он работает. Стоящий на стреме, или по-киевски¹¹ «штемп», выбирается, из второстепенных воришек, неспособных к ответственным подвигам или не успевших еще зарекомендовать себя. Почувяв опасность, «штемп» дает условный сигнал. Большею частью он кричит: «шесть!» или «зекел!», иногда же сигнал состоит из свистка или покашливания, смотря по обстоятельствам. За свои услуги «штемп» получает из «дувана» (добычи) самое мизерное вознаграждение. Заметим, кстати, что «скачок» производит кражи почти всегда при помощи прислуги «карасей», и гораздо чаще женской, чем мужской, обязанность которой заключается в «подводке», то есть, иным словом, в приуготовлении дела.

Специальность «бугайщика» не так опасна, как специальность «скачка» или «марвихера», и требует несравненно менее наглости и физической ловкости.

«Бугайщик» работает не руками, а головой и языком. Он спекулирует на человеческой глупости, доверчивости и жадности. Самый излюбленный прием «бугайщиков» состоит вот в чем. Наметив на улице «карася», один из них идет впереди его и, как будто бы нечаянно, роняет какой-нибудь предмет — медальон, брошку, кольцо или что-нибудь в этом роде. «Карась» нагибается и поднимает этот предмет, но его тотчас же хватает за руки другой «бугайщик», идущий за ним следом, и требует «честного дележа», а в противном случае угрожает «скричать городского». «Карась» волей-неволей подчиняется требованию. Тогда «бугайщик» увлекает его в «свой» полутемный трактир, где и получает с него деньгами половину стоимости брошки, причем экспертом в оценке является «сторонний», незнакомый якобы ни тому, ни другому посетитель, то есть третий «бугайщик». В конце концов, конечно, найденная драгоценность оказывается медянкой, со стеклами вместо камней, а то и просто шпильмаркой¹².

Так же охотно занимаются «бугайщики» и продажей фальшивых ассигнаций в виде так

¹¹ Говорим «по-киевски» потому, что многие термины, как, напр., «стремить», «жулик» и др., повсеместны, а некоторые принадлежат только киевскому воровскому языку.

¹² Фишкой (от нем. Spielmarke).

называемых «кукол», то есть пачек простой бумаги, сверху и снизу которых лежат настоящие кредитные билеты. Такая «кукла» всовывается простаку за приличную плату.

Из сказанного ясно, что работа «бугайщика» заключается в том, чтобы «забить баки» «карасю», «наморочить ему голову». Но «бугайщики» всегда действуют по избитым, определенным шаблонам. Изобретателем и творцом новых кунштюков является «аферист».

«Аферист»¹³ это пышный, великолепный цветок воровской профессии. Он одевается у самых шикарных портных, бывает в лучших клубах, носит громкий (и, конечно, вымышленный) титул. Живет в дорогих гостиницах и нередко отличается изящными манерами. Его проделки с ювелирами и банкирскими конторами часто носят на себе печать почти гениальной изобретательности, соединенной с удивительным знанием человеческих слабостей. Ему приходится брать на себя самые разнообразные роли, начиная от посыльного и кончая губернатором, и он исполняет их с искусством, которому позавидовал бы любой первоклассный актер. Слушая или читая о проделках Шпейера, Корнета Савина, Золотой ручки и других знаменитых «аферистов», которые выказывали сплошь да рядом такую страшную силу воли, такой недюжинный ум и такую смелость, поневоле задумаешься над тем, какую пользу принесли бы обществу эти люди, если б их качества были направлены в хорошую сторону...

Описывая различные категории киевских воров, мы упустили из виду некоторые интересные специальности. Так, например, вор, занимающийся исключительно кражей со взломом, называется «шнифером», а самое его занятие «шнифом». Нечего и говорить о том, что профессия «шнифера» сопряжена со значительной ловкостью и нахальством, вследствие чего к «шниферам» относятся с уважением как вся воровская ассоциация, так и тюрьма, где «шнифер» считается почетным гостем.

Есть воры, промысел которых состоит в том, что они «ходят на доброе утро», то есть забираются по утрам в гостиницы, как будто бы разыскивая знакомых. При этом они заходят последовательно во все номера, покамест не найдут оставленного легкомысленным «пассажиrom» и незапертого номера. Застигнутые на месте действия, они извиняются, ссылаясь на то, что ошиблись дверью... Воры этого разряда, для того чтобы не возбуждать преждевременного подозрения, одеваются почти прилично.

Здесь уже кстати будет упомянуть о «христославцах». Они собираются на рождественских праздниках в небольшие компании и ходят по домам «со звездой», выискивая удобный случай стянуть в передней пальто или калоши. Этот промысел не требует никакого искусства, и занимаются им только начинающие артисты.

Гораздо опаснее так называемые «хиписницы» («хипис» вообще значит кража) или «кошки». Они ходят по магазинам во время распродаж и окончательных ликвидации и, пользуясь толкотней, всегда находят возможность прицепить к изнанке ротонды штуку материи или моток кружев. Также «кошки» не брезгуют и тем, чтобы соблазнить какого-нибудь уличного селадона, напоить его до положения риз и потом обобрать при помощи постоянного друга сердца, который на их жаргоне называется «котом». Впрочем, здесь мы подходим уже к весьма интересному миру сутенеров, или, по-киевски, «зуктеров», о котором поговорим в своем месте.

Когда вор «откопал» (окончил) дело, то на сцену является новое и чуть ли не самое важное в воровской профессии лицо «блакатарь», то есть покупатель и укрыватель краденого. Каждому порядочному мошеннику известно, что о всякой более или менее крупной краже потерпевший тотчас же сообщает полиции, и «лягавые» особенно тщательно начинают следить за ломбардами и магазинами, принимающими в лом драгоценные металлы. Волей-неволей приходится идти к «блакатарю», который, по-своему добросовестно оценив вещь, выдает за нее половину ее стоимости. Исключение составляют те случаи, когда «блакатарь» сам дает дело, то есть указывает место и сообщает все необходимые для воров сведения. В этих случаях «блакатарь» выдает за вещи только треть их цены.

Все «блакатари» мира соединены между собою наподобие звеньев гигантской цепи. Предмет, украденный сегодня в Киеве, через два-три дня уже находится в Петербурге, если не за границей. Большинство «блакатареи» для вида занимается перекупкой старого платья или содер-

¹³ Читатели дальше увидят, что выражение «аферист» на языке воров имеет значение, весьма различающееся с общепринятым. (Прим. автора.)

жанием трактира.

Промежуточную ступень между ворами и обыкновенными людьми составляют «блатные», то есть пособники, покровители или просто только глядящие сквозь пальцы люди всяких чинов и званий. Сюда относятся: разного рода пристанодержатели, дворники, прислуга, хозяева ночлежных домов и грязных портерных.

<1897>

Художник

Влечение к «святому искусству» почувствовал весьма рано. В самом нежном детстве зарисовывал углем заборы, вследствие чего бывал нередко таскаем за уши местным «будочником».

Потом растирал краски в «ателье» лаврского маляра. Своєю бойкостью обратил на себя внимание заезжей помещицы-филантропки и был на ее средства отправлен обучаться живописи.

Просидев на первом курсе училища четыре года, разошелся во мнениях с профессорами и вернулся в Киев, где и возлег с подобающим почетом в лоне местных талантов.

Взгляды свои на искусство исповедует коротко, определенно и отрывисто:

– Рафаэль – младенец... Головки с бонбоньерок... Пасхальные херувимы... Микельанджело тоже... Рибейра, Сальватор Роза, Вандик, Тициан, фламандцы и французы, итальянцы и немцы – все они пачкуны и кисляи... Живопись вывесок... Рембрандт еще туда-сюда, но и тот... Будущее принадлежит нынешней молодежи «с настроением».

Про современников отзывается неодобрительно:

– Профессора ничего не понимают. Старье, рухлядь, развалины... Унижают искусство... Я с ними расплевался... Айвазовский пишет подносы. Клевер яичницу с луком... Шишкин – колоссальная бездарность... «Передвижники» – это генералы, насильно захватившие гегемонию... Глядеть совестно... Блины какие-то, а не картины... Нет-с. Не из Петербурга и не из Москвы, а из Киева воссияет свет истинного искусства.

– Мы – импрессионисты! – восклицает он в артистическом задоре и на этом основании пишет снег фиолетовым цветом, собаку – розовым, ульи на пчельнике и траву – лиловым, а небо – зеленым, пройдясь заодно зеленой краской и по голове кладбищенского сторожа.

На выставку киевский художник посылает исключительно пейзажи, уморительные пейзажи, где на первом плане торчат цветы ромашки с чайное блюдечко величиною, а непосредственно за ромашкой виднеется микроскопический Днепр с неизбежным пароходом.

Киевский художник – исключительно пейзажист. О рисунке и перспективе он знает только понаслышке из десятых уст, а пейзаж всегда можно писать теми сочными, небрежными и размашистыми мазками, которые служат несомненными признаками оригинального таланта. Если же посетитель и встретит случайно на выставке жанр или портрет, то долго стоит перед ним в недоумении, пока не решит, что это, должно быть, одна из загадочных картин: «Куда делась собака колбасника?» или «Где здесь Наполеон?».

Однако публика изредка покупает эти «апрельские утра» и «зимние вечера». Я долго удивлялся: чем руководствуются при своих покупках эти меценаты, и, наконец, решил спросить об этом одного из них, только что купившего за десять рублей полуторааршинный «Разлив Днепра».

– Видите ли, батенька, – отвечал добродушно меценат, толстый конотопский помещик, – первое дело: рамка довольно приличная, а второе – это все-таки не олеография, а масляная краска... Пусть висит себе над диваном в гостиной... Кто же ее будет разглядывать-то? А вид все-таки комнате придает...

Как только картина приобретена, художник немедленно спекулирует на ее успех и в тот же вечер при лампе пишет к ней «панданчик». Оставляя фон нетронутым, передний план чуть-чуть изменяет: там, где были скамейки, ставит камень, а на месте камня пишет скамейку.

Любит выставить «этюды». Этюдом у него называется деревянная дощечка вершков трех в квадрате по ней в длину два мазка: голубой – небо и зеленый земля.

– Этюд художника – это все равно, что черновая рукопись Пушкина! – кричит он вдохновенно. – Сокровище!.. Исторический документ!.. В нем видно «настроение», виден «момент»,

выхваченный из природы, видно, как душа выливалась и как отразился мир в творческих глазах!

Справедливость требует заметить, что все эти излияния и моменты «с настроением», все эти исторические документы отправляются обыкновенно с выставки полностью на квартиру художника, где «творческие глаза» могут их созерцать вплоть до следующей выставки.

Киевские художники разделились по крайности десятка на два или на три групп. Есть между ними общество «осенников», общество «весенников», «декабристов», «независимых» и так далее. Некоторые товарищества состоят всего-навсего из двух человек, между которыми все-таки существует трогательное согласие в том, что художники прочих групп – маляры и бездарности. Так же крепко они уверены, что солнце искусства взойдет непременно с их палитр.

Средства к существованию киевский художник добывает писанием образов по заказу киевских монастырей и в этом отношении так наловчился, что любого святого может нарисовать с закрытыми глазами.

Беспечного веселья, шума, артистических проказ, талантливых и остроумных шалостей – нет в мастерских киевских художников. В них господствует самое кислое уныние, винт «по маленькой», профессиональное злоязычие и услаждение своих самолюбий.

– Помните вы мои «Барки в дождь»? Каков колорит? – «Да, удивительный колорит». – А каковы дали в моем «Китаеве»? – «Чудные дали». – А мои «Караваевские дачи»? – Ну-ка, пусть попытаются академисты передать эти эффекты осеннего заката. – «Куда им, этим неряхам, этим ходульным малярам!»

Надо в конце оговориться. Двое или трое художников вырвались из этой инертной, бездарной среды, и теперь имена их известны всей России.

<1896>

«Стрелки»

Существует в Киеве несколько полуофициальных и даже совсем неофициальных ночлежных домов, называемых «постоялками». В нижнем этаже такой «постоялки» ночует обыкновенно народ темный и оголтелый «босяки»; верх же занимается бывшими привилегированными людьми. (Впрочем, это подразделение не совсем точно: дело только в том, что за ночлег в нижнем этаже платится пять копеек, а в верхнем десять.)

Обитатели верхнего этажа преимущественно «стрелки». Так они и сами себя называют, производя это название от глагола «стрелять», что означает просить или, вернее, выпрашивать.

В «стрелковом клубе» (полуироническое местное название «постоялки») живут бывшие чиновники, пропившиеся актеры, выгнанные со службы офицеры и, наконец, люди самого неопределенного происхождения. Все они могут уподобить свою жизнь утлону судну среди волн, у всех у них есть в прошедшем полоса радужных воспоминаний.

Большую часть стрелки обращаются к филантропам не лично, а письменно. Наверно, каждому из наших читателей знакомы эти кудреватые, слезоточивые письма:

«Милостивый государь! Желал бы излить все свои страдания, читаете вы строки, написанные каллиграфическим почерком, облегчить наболевшую душу, но, конечно, вам уже не нова печальная повесть о несчастьях неудачника. Сын херсонского помещика в роли нищего! Контраст поистине ужасный! Обратите же внимание на эту печальную ситуацию и внемлите голосу погибающего!»

Есть письма почти юмористические, начинающиеся, например, так:

«Хотя и в отставке, но мужественно проливавшего кровь на алтарь отечества, штабс-капитана такого-то прошение»...

При этом от изобретательности стрелка в связи с характером благодетеля зависит, кем стрелок рекомендует себя в своем прошении: офицером, дворянином, хористом без места и так далее. Это называется: бить на офицера, на дворянина, на учителя...

Заветная мысль стрелка найти «хороший адрес», то есть щедрую, неоскудевающую руку. И

такие места берегутся, как зеница ока. «Дай скверному, неопытному стрелку хороший адрес, так он его вмиг испортит, говорит поседелый в стрельбе обитатель «постоялки». Ничего, знаете ли, нет легче, как превратить «хороший адрес» в «избитое», «обстрелянное место».

За указание «хорошего адреса», адреса «гуманной» личности (вообще, между стрелками преобладает слог возвышенный), взимается в пользу указавшего треть полученной суммы. Своеобразная корпоративная честь никогда не позволяет в этом случае утаить хоть самую малую долю из полочки. Также платится известная сумма и за составление письма.

Есть между стрелками субъекты, которые сами не стреляют, а занимаются только разыскиванием и сообщением «хороших адресов». У некоторых из них имеются довольно объемистые рукописные календари, где значатся все «гуманные личности» определенного района, например, Липок, Подола, Старого города или Печерска. Против фамилии в этих календарях можно найти краткие заметки о семейном положении «гуманной личности», о ее приемных часах, о характере прислуги (в последней графе обыкновенно стоит: «Собака!», потому что между стрелками и прислугой редко господствуют добрые отношения). Есть практические указания о манере стрелка в разных местах, например: только лично... ловить на улице... трудно достигнуть... избитый адрес... только заказным и тому подобное.

Стрелки иногда варьируют свою деятельность. Некоторые из них посылают заказным письмом вместе с прошением свои документы. Нам известен случай, когда такое заказное письмо странствовало за графом П. чуть ли не полгода и, наконец, догнало его в Париже. Другие подбрасывают письма в коляски. Не так давно один стрелок явился к известному в Киеве филантропу и со слезами на глазах просил денег на похороны жены. Просьба имела успех, и стрелок получил деньги, но каково же было его удивление, когда на другой день «гуманная личность» прислала на указанную квартиру катафалк и целую погребальную процессию! Стрелок этот никогда не был женат.

Нельзя сказать, чтобы ремесло стрелка не было выгодным. В горячее время контрактов искусники по этой части успевают «настрелять» рублей до двадцати в день. Бывают даже случаи, когда щедрый благотворитель, тронутый письмом или слезливым тоном стрелка, пожертвует пятьдесят, а то и сто рублей. Казалось бы, что при такой удаче вовсе не трудно было бы бросить «стрелковый» промысел и заняться более почетным делом... Но «стрельба» засасывает людей легкостью добычи и беззаботной кочевой жизнью. Между стрелками не в редкость субъекты, изучившие Россию не хуже любого учителя географии, но изучившие ее практически, во время своих странствований «стрелковым порядком», то есть где пешком, где на попутной телеге, где зайцем по железной дороге, останавливаясь там день, там месяц, там год, уклоняясь от пути или даже совсем забывая о нем, чтобы завернуть в гости к вновь отысканной «гуманной личности».

На улице порядочный стрелок редко просит (это дело уличных стрелков, попросту нищих), а если и просит, то делает это в оригинальной форме.

– Милостивый государь, говорит он патетическим тоном, на вас енотоя шуба, а я два дня, с позволения сказать, не ел-с. Одолжите полтинник!

Или вдруг обращается к прохожему, как будто сообщая ему нечто весьма курьезное:

– Вообразите себе положение ни копейки денег и ни крошки табаку!

Описанный нами стрелок существо весьма безвредное. Самая большая неприятность, какую он может причинить, это стянуть из вашей гостиной чью-нибудь визитную карточку с фамилией «погромче», чтобы потом написать на ней лестную рекомендацию о самом себе, как об очень достойной, но временно впавшей в нужду личности.

Стрелок обыкновенно человек веселый, общительный, со слабостью к произведениям казенной монополии. Чтобы составить о нем ясное понятие, надо послушать его, когда вечером, после дневных трудов, сидя на своей койке, он болтает с товарищами по профессии.

Тут можно наслушаться самых удивительных приключений, своеобразных характеристик людей и событий, почти невероятных рассказов. Но, как и всякий охотник по влечению, а бродяга по натуре, стрелок часто украшает свое повествование блесками художественного вымысла.

Заяц

«Желаю получить пять тысяч под вторую (после банка) закладную. Четыреста десятин плодородной земли со всеми усадьбами. Посредников и комиссионеров просят не являться».

Однако, несмотря на последнее условие, желающий получить пять тысяч все-таки никак не обойдется в конце концов без зайца. Под тем или другим видом юркий заяц непременно проникнет к помещику, и вмиг образуется длинная цепь из посредников, нужных людей, сведущих человечков в сущности таких же зайцев цепь, начинающаяся помещиком и кончающаяся капиталистом. Два-три дня зайцы, высунув языки, рыщут по городу: один разузнает адрес залогодателя, другой находит наиболее удобную к нему лазейку, третий знакомит, четвертый ведет переговоры, пятый сам не может дать себе отчета, какую он роль играет в этой суматохе, однако суетится больше всех взятых вместе...

Наконец, сделка кончена, помещик получает деньги, заключает, при участии шестого и седьмого зайцев, нотариальную закладную и выдает куртаж¹⁴, который сейчас же и делится между всеми звеньями цепи на основании какого-то специального правила товарищества, непонятного для непосвященных: кому приходится рубль, кому два, кому десять, а кому и львиная доля в целую сотню.

Такова в общих чертах деятельность обыкновенных, так сказать, «полевых» зайцев. Кроме них, есть еще порода биржевых зайцев, которые к своим собратьям относятся так же, как, например, борзая собака к дворняжке: она смелее, неутомимее и способна на травлю даже очень крупного зверя.

Этих хищников называют зайцами исключительно за их внешний вид. Впалый живот, поджарые длинные ноги, вечная торопливость походки и движения, настороженные и как будто бы прядающие во все стороны уши, нос, постоянно точно разнюхивающий что-то в воздухе, вот типичные черты зайца, конечно, большею частью еврея.

Неутомимость и выносливость зайца-еврея поистине изумительны. Весь день он в непрерывном суетливом движении, рассчитывает, комбинирует, знакомит, бегаёт с поручениями, обманывает, просит, страшит. Ест он, как и все евреи, очень мало, минимум того, чем может насытиться человек, и все-таки это не мешает ему никогда не терять энергии, никогда не ослабевать в упорном стремлении «иметь свой собственный миллион». Если неблагоприятный ветер сбросит его в то время, когда он карабкается через тысячи препятствий к заветной цели, он не падает духом, а становится на ноги и опять начинает сначала. Он не откажется ни от какого поручения, как бы оно ни было ничтожно, и в то же время не побоится, имея в руках большие деньги, рискнуть ими самым отчаянным образом.

Заяц славянского происхождения уступает во многом зайцу только что описанной породы. Он менее подвижен, при неудаче раскисает и имеет национальное тяготение кончать сделки в ресторане. Но зато он берет корректностью внешнего вида, медлительностью движений, хорошим покроем сюртука и наигранным апломбом. Он умеет иногда не без достоинства поговорить со своим клиентом о падении псовой охоты, о шестой книге дворянских родов и о последнем городском скандале.

<1895>

Доктор

Интересно иногда бывает послушать только что окончившего курс медика (в особенности, если он человек искренний и любящий свое дело), когда разговор коснется его призвания и его будущей деятельности.

– Боже мой, боже мой, говорит он, в отчаянии хватая себя за волосы, ну, ровнехонько ни-

¹⁴ Комиссионные (от франц. *courtage*).

чего в памяти не осталось. Сотни книг, тысячи лекций, сотни тысяч терминов и в результате какой-то невообразимый хаос в голове. Даже некогда и повторить прослушанного в университете, потому что медицина идет вперед гигантскими шагами, и просто нет возможности следить за ее успехами. Каждый день слышишь и читаешь о новых средствах, до сих пор никому не известных, узнаешь, что те методы и приемы, которые только вчера считал последним словом науки, сегодня уже сделались смешною рутиной. Да как еще подумаешь, что что ни человек, то новый, совершенно отличный от другого организма и что поэтому от одной и той же болезни Ивана следует лечить иначе, чем Петра, так просто руки опускаются!

Если этот горячий монолог услышит старый, поседелый в шупанье пульса врач, он улыбнется так же, как улыбается окуренный пороховым дымом ветеран, когда новобранец передает ему свои первые боевые впечатления.

– Как мне приятно, молодой collega, воскресить в ваших словах мою юность. Все мы так думали в ваши годы. Это в вас говорит просто недостаток опыта. Вот поживите-ка с наше да попрактикуйтесь, тогда совсем другое скажете. Опыт, опыт самое главное.

Вывесив у своих дверей медную дощечку с обозначением приемных часов и с добавлением, что бедные принимаются бесплатно, молодой врач считает свою священную обязанностью аккуратно и безнадежно отсиживать приемное время. Первый пациент, являющийся к нему на квартиру, просто подавлен его внимательностью.

Никогда впоследствии, сделавшись знаменитостью, оценивающей на вес золота каждое свое слово, этот врач не исследует так тщательно доверившихся его искусству особ, как первого пациента, зашедшего к нему потому только, что его дощечка первая бросилась в глаза. Больной, склонный, как и все больные (да, кажется, и большинство здоровых людей), находить у себя всевозможные болезни и видящий поощрение в чрезвычайной внимательности доктора, припоминает все свои болезненные ощущения, даже самые мельчайшие и мгновенные.

– Гм... А в спине вы не чувствуете боли? спрашивает врач, многозначительно хмуря брови.

Больной напрягает память и вспоминает, что действительно, проспав однажды четырнадцать часов подряд на спине, он ощущал в ней некоторую ломоту.

– Да, да, вот именно. Иногда такие странные боли бывают, что просто вытерпеть невозможно.

– Гм... А не чувствуете вы, что вас как будто бы перепоясывает что-то?

Больной в продолжение двух или трех секунд колеблется и потом заявляет нерешительно:

– Да, вот... именно... перепоясывает... Как будто бы меня кто-нибудь так... взял и затянул туго.

«*Tabes dorsalis*¹⁵, думает про себя врач. Плохая штука».

Таким же образом у пациента отыскивается наследственный аневризм, первые симптомы подагры, незначительные каверны в верхушках легких, сильное общее нервное расстройство и много других болезней, тогда как первоначально он жаловался исключительно на упорный насморк.

В рецепт, который прописывает молодой врач своему первому пациенту, неизбежно входят по крайней мере пятнадцать новоизобретенных «инов», и только одна *aqua destillata*¹⁶ оказывается в нем старым ингредиентом. На прощание пациент очень крепко жмет руку доктора, оставляя в ней рублевую бумажку, причем оба стараются не встретиться глазами. Но так как пальцы молодого врача не приобрели еще достаточной ловкости («опыт, опытсамое главное»), то бумажка падает на пол, и врач, покраснев, тщательно наступает на нее ногой.

Но опыт все-таки самое главное. Проходит год, другой. В приемной молодого врача уже дожидаются иногда по двое, по трое посетителей зараз; желтые бумажки заменяются зелеными, несравненно искуснее переходящими из рук в руку. Иван и Петр, страдающие одной и той же болезнью, но представляющие собою совершенно отличные друг от друга организмы, сливаются в одном собирательном лице пациента, который для уменьшения жара должен глотать фенацетин, а от расстройства нервов принимать *kali bromati*¹⁷.

¹⁵ Сухотка спинного мозга (лат.)

¹⁶ Дистиллированная вода (лаг.)

¹⁷ Бромистый калий (лат.)

Вскоре приемная оказывается тесной для посетителей. Доктор меняет старую квартиру на новую да кстате приобретает и новую дверную дощечку, на которой звание врача заменяется званием доктора, а бесплатный прием бедных исчезает бесследно. Наступает тот период, когда доктор уже может считать себя достаточно умудренным опытом. К этому же времени он приобретает характерные черты и приемы, свойственные одной из нижеследующих четырех категорий:

1. Доктор веселый.

Большую часть специалист по нервным и детским болезням. Подходит к кровати больного с открытым лицом и дружеским смехом. «Ну, что? Мы захворали немножко? Посмотрим, сейчас посмотрим. Ну-с, покажите наш язычок. Язычок нехоро-ош. Желудочек-то у нас, должно быть, не в порядке? А мы его возьмем да и очистим, этот самый желудочек, чтобы он не шалил. Микстурку ему пропишем сладенькую».

При этом он осторожно обнимает больного или гладит его по голове. Полученный гонорар с легоньким смешком опускает в карман, обещая завтра опять заехать и непременно в то же самое время.

Обыкновенно веселый доктор бывает невелик ростом, с кругленьким брюшком. Дети его любят и слушаются, истеричных женщин он подкупает своим участливым видом и готовностью слушать об их необыкновенно тонких и впечатлительных нервах в связи с ужасным семейным положением.

2. Доктор женский.

Красавец высокого роста, с выхоленной черной бородой и белыми мягкими руками. В часы приема надевает на себя белый фартук. С пациентками своими проникновенно любезен и знает толк в женских туалетах. Постоянно окружен плеядой поклонниц таких же многочисленных и таких же фанатичных, как и поклонницы знаменитых теноров, актеров, музыкантов и так далее. Эти психопатки любят в интимном кружке, захлебываясь от удовольствия, рассказывать о том, как им было страшно идти к доктору, какой доктор обворожительный, как им стало стыдно и как душка-доктор сказал им: «Не стыдитесь. Нечего стыдиться. Доктор не мужчина».

Гонорар свой женский доктор получает в крупных бумажках, запечатанных большую часть в маленький конверт. В благодарность за благополучное лечение, а также ко дню именин непременно получает от своих пациенток вышитые полотенца и подушки.

Женский доктор всегда хороший собеседник и сумеет, если понадобится, и занять, и развлечь, и рассмешить больную.

3. Доктор-пессимист.

Сохраняет постоянно мрачный вид. Осмотрев больного, страдающего, например, глазами, морщится и говорит отрывисто:

– Трахома. Неизлечимая.

И, видя испуг на лице больного, считает не лишним несколько утешить его:

– Но вы не беспокойтесь. Теперь наука делает такие громадные успехи, что лет через пять, много через шесть, эта болезнь будет такими же пустяками, как простой насморк.

Пациенты его побаиваются, но верят ему.

– Что ни говорите, а все-таки опытный врач. Всегда так напрямик и скажет, если болезнь опасна. Зато уж если за кого возьмется, непременно на ноги поставит.

4. Доктор-спекулянт.

Самый несимпатичный из всех докторских типов. Рекламирует себя с такой же бесстыдной развязностью, как различные изобретатели рекомендуют свои составы от клопов, мозольные пластыри и растительные элеопаты.

Призванный к постели даже такого больного, в близкой смерти которого невозможно усомниться, доктор-спекулянт ни на секунду не теряется.

– Пустяки! Уверяю вас, у меня один пациент еще в худшем положении находился, но я его

в неделю поставил на ноги. До сих пор прекрасно себя чувствует. А этого мы живо поднимем. Только покажите-ка мне сначала, чем это его мои уважаемые коллеги пичкали? Ну, так и есть! Выкиньте эту стряпню сейчас же за окно и дайте мне бумаги и чернил!

Получив гонорар, доктор-спекулянт тут же, не стесняясь, разворачивает бумажку, щупает ее, чуть ли даже не смотрит на свет и только после этих манипуляций решается опустить ее в карман. Если его пациент умирает и родственники обращаются к доктору с упреками, он разводит руками с видом крайнего недоумения:

– Господ-да! Ведь я же не бог наконец! Я принял все зависящие меры, но что же сделаешь против природы?

Кроме описанных разновидностей, есть еще доктор грубый (это большею частью знаменитость или кандидат в знаменитости), доктор молчаливый, доктор соболезнающий, доктор, заранее знающий, что ему скажут, и т. п.

В конце концов, если хорошенько разобраться, эта непринужденность, или самоуверенность, или фамильярно-веселое обхождение, или грубость, или учтивость, или тонкое внимание не что иное, как внешние наигранные приемы, заменяющие по отношению к больному роль внушения. Находятся скептики, уверяющие, что именно эти-то приемы и составляют во всем медицинском искусстве единственную положительную сторону, сообщая больному уверенность в том, что он непременно должен выздороветь при заботах такого знающего и внимательного врача.

<1895>

«Ханжушка»

Таким насмешливым прозвищем окрестили в Киеве профессиональных богомолок, созданных молитвенными потребностями города, на всю Россию славящегося своими монастырями и святынями. Эти особы служат посредницами и проводницами между наиболее популярными отцами и схимниками, с одной стороны, и чающей благодати публикой с другой. Они заменяют для прибывших откуда-нибудь из Перми или Архангельска купцов-богомольцев самые полные путеводители, являясь неутомимыми и словоохотливыми гидами, имеющими везде знакомство или лазейку.

В монастырях их терпят, отчасти как необходимое зло, отчасти как ходячую рекламу, а отец-эконом нередко «благословляет» их то медком, то свежее испеченным хлебом, то осетровой солянкой. Впрочем, молодой монах, не усвоивший еще в достаточной степени внешнюю степень «ангельского чина», никогда не утратит случая, увидев ханжушку, обозвать ее «мокрохвосткой» и «дармоедкой».

Они, конечно, безукоризненно знают все престолы и праздники и особенно торжественные служения. Им известны дни и часы приемов у святых отцов, отличающихся либо наиболее строгой жизнью, либо даром провидения, либо умением видеть человека «наскрозь» при исповеди, либо еще какими-нибудь особенностями и странностями. Впрочем, у каждой есть свой излюбленный отец, которого она «обожает» предпочтительно перед прочими, состоя при нем, так сказать, личным адъютантом. За «своего» она готова перегрызть конкурентке горло, если только у них зайдет спор о сравнительных достоинствах двух отцов.

Есть две разновидности этого типа: «ханжушка-постница» и «ханжушка-лакомка». Первая высока, необыкновенно костлява и всегда как будто бы наклонена вперед; лицо у нее зеленое, длинное и хищное, с длинным шурьим носом и квадратною нижнею челюстью. Она строго блюдет среду и пятницу, когда не вкушает вина, не ест зайца, который по достоверным сведениям был в числе «семи пар нечистых», а видом напоминает дикую кошку, двадцать девятого августа отказывается от арбуза, потому что он, разрезанный пополам, напоминает «усекновенную главу» и так далее. Если благодетели по ошибке или незнанию предложат ей отведать что-нибудь из «запрещенного», она тотчас же изображает и лицом, и жестами, и голосом такой нечеловеческий испуг и такое обиженное негодование, что самим благодетелям становится жутко.

Ханжушка-лакомка мала ростом, кругла и жирна, как хорошо откормленный в мясной лавке кот. Она вся проникнута добродетелями и набожными чувствами, и даже ее лицо, на котором едва видны щелочки глаз, светится маслянистым глянецом. Она, в противность ханжуш-

ке-постнице, не откажется ни от рюмки доброй старой вишневки, ни от чашки «кофию», если только угощение следует от солидной и «стоящей» компании. К закату дней своих она непременно приобретет где-нибудь на Шулявке или на Приорке маленький, дикой краски, домик в три окна, где желанным гостем бывает здоровенный монах в франтовской рясе.

Во всем остальном обе разновидности поразительно похожи. Во-первых, обе говорят необыкновенно быстрым полусшепотом, причем произносят слова не только из себя, но и в себя, то есть одновременно и произнося слова и вдыхая воздух, отчего получается впечатление беспрестанного, монотонного журчания... Во-вторых, и та и другая косноязычат, картавят или пришептывают, потому что так выходит и трогательнее и жалче.

Даже и костюм они носят одинаковый, полупоношенный черное платье и черный платочек с бахромой на голове.

Друг к другу ханжушки относятся нетерпимо, потому что им волей-неволей приходится сталкиваться в одних и тех же домах в качестве рассказчиц, приживалок и проводниц благочестия. Здесь, вероятно, кроме опасения конкуренции, примешивается более острое и тонкое чувство, нечто вроде взаимного стыда, нечто вроде того, что испытывают друг к другу двое профессиональных жрецов или двое зайк в присутствии посторонних глаз.

У них есть своя специальная терминология и для наиболее излюбленных «отцов» даже особенные, ласкательно-интимные прозвища.

– Так ты говоришь, мать моя, была нынче на служении? спрашивает одна ханжушка другую.

– Ах была, была, матушка. Какое, я вам скажу, благолепие! Уж такое благолепие, такое благолепие, что просто не знаешь, на небе ты или на земле!

– В мантиях служили-то?

– В мантиях, родная, в мантиях. «Бутон» предстоящим был.

– А «Пернатый» не сослужил?

– Сослужил и «Пернатый». Удостоилась я к ручке приложиться, когда к кресту подходили. Ручки-то у него беленькие такие да пухленькие... ма-асенькие, масенькие, точно у ребеночка безгрешного... и французскими духами надушены. Ханжушки знают про своих «благодетелей» самые интимные подробности и с видом благочестивого сокрушения («как лукавый-то силен ныне стал!») переносят из дома в дом соблазнительные вести.

В круг их обыденных занятий входит множество мелочей. Они разгадывают сны, лечат от дурного глаза, растирают у благодетелей болящие места освященным маслицем с Афонской горы, исполняют всякие поручения к соседнему лавочнику, с которым «язычничают» о тех же благодетелях. При свадьбах, крестинах, похоронах, благословениях образом и прочих обрядных происшествиях они являются в соответственной роли церемониймейстеров. Перед тем как на отпевании закрывают гроб, ханжушка непременно развяжет и возьмет себе платок, связывающий ноги покойного. «От зубов, батюшка, помогает», объяснит она любопытному.

Если вы хотите видеть ханжушку во время самого кипучего момента ее жизни, зайдите в лавру во время большого праздника. Вы увидите ее в гостинице сидящей в кругу купеческого семейства, пьющей «с угрызением» тридцатое блюдечко чаю и рассказывающей своим непрерывным полусшепотом:

А то еще показывали той страннице иноци афонстии вздох святого Иосифа Аримафейского. Когда этта, значит, завеса-то раздрася он, батюшка, и воздохнул от своего сокрушенного сердца, а ангели святии тот вздох и собрали в малую скляницу, на манер пузырька аптекарского. Так он, этот вздох, в склянице и содержится, бычачьим пузырем сверху зятянут, и кто на его, на батюшку, с верою смотрит, тому от запойной болезни очень даже помогает.

<1895>

Бенефициант

Эскиз

Насколько мне известно, в Киеве нет ни одного специально игорного дома. В этом отно-

шении, несмотря на свою американскую внешность, праматерь русских городов далеко отстала от Петербурга, Москвы и даже Одессы. Впрочем, старожилы рассказывают, что когда-то на Соломинке был целой компанией, во главе с каким-то отставным ротмистром, основан игорный притон. Однако это солидное учреждение недолго продолжало свои операции, потому что своевременно было разрушено полицией.

С прогрессирующим падением «контрактов» исчезнет даже и обыкновенный тип ярмарочного шулера, действующего в одиночку, на собственный риск и страх, и надеющегося единственно на «проворство рук», тип господина со сдобным голосом и мягкими ладонями, с необыкновенно утонченными манерами, надушенного, с громадным солитером на указательном пальце правой руки...

Впрочем, любитель сильных ощущений может и теперь еще вкусить прелесть карточного азарта на одном из так называемых «бенефисов». В Киеве есть десятка три или четыре игроков, собирающихся почти ежедневно по вечерам для стуколки и штосса. Во избежание столкновений с полицией, они постоянно меняют место своих сборищ, назначая их заранее то у одного, то у другого члена компании. День сборища называется на их жаргоне «бенефисом», потому что приносит хозяину квартиры несомненные выгоды.

Собираются игроки поздно вечером. Бенефициант предлагает им чай, холодную закуску, водку и пиво «*сколько кто потребует*», как сказано в условии. Затем начинается игра, длящаяся большею частью до утра и даже до полудня следующих суток. Здесь уже бенефициант с избытком наверстывает затраченные на закуску и вино деньги, потому что за каждую игру карт получает по три и даже по четыре рубля. Карты же меняются: при штоссе перед каждым новым банком, а при стуколке после каждых двух кругов. Кроме того, с каждого выигрыша бенефициант получает десять процентов.

Чистая прибыль хозяина бенефиса очень непостоянна: она колеблется между двадцатью и пятьюстами рублями в один вечер. Но сам бенефициант не имеет права участвовать в игре. Его обязанность ухаживать за гостями и в случае надобности предупреждать их о близости полиции.

Нередко на бенефисе появляется «карась», с толстым бумажником и с наивной доверчивостью провинциала. Тогда члены компании соединяются вместе для общей цели. В ход пускаются условные стуки, покашливанья и мимические знаки. Содержимое бумажника «карася» делится потом самым честным образом между всеми участниками «общего» бенефиса.

Если нет «карася» игра ведется между собою. В этих случаях общество, так сказать, пожирает сама себя, и благодаря неосторожному употреблению условных знаков, игра нередко кончается общей кровопролитной баталией...

Контингент посетителей бенефисов очень пестрый, чаще всего попадают: мелкий чиновник, содержатель извозчичьей биржи, разбогатевший лавочник, купеческий альфонс и, наконец, личности загадочных профессий и подозрительного вида.

<1895>

«Поставщик карточек»

Небольшая, худосочная фигура. Бледное, малокровное лицо. Рыжие усы и рыжая маленькая бородка. Очки в золотой оправе. Губы толстые, красные и слюнявые... Это поставщик «карточек», тех самых «карточек», которые сжигает целыми дюжинами почти каждый холостяк при вступлении в первый законный брак.

Трудно поверить, но, однако, такая профессия существует и что страннее всего заставляет людей заниматься ею, как призванием. Представители этого рода индустрии являются в то же время почти бескорыстными «служителями идеи».

Может быть, многим покажется, например, невероятным, что в Киеве есть люди, истратившие целые родовые состояния на составление коллекций порнографических карточек, собранных ими во всех странах света.

Разорившись, они начинают широкую торговлю предметами своей узкой специальности. Они прекрасно знают вкусы публики. Каждому из своих клиентов будь то гимназист или студент, офицер или штатский человек, старик или молодой они умеют в совершенстве угодить...

Промышленность свою этот господин обставляет интимной таинственностью.

– Только для вас, шепчет он, внушительно поднимая брови, только для вас! Самому не хочется расставаться с таким прекрасным экземпляром... да ничего уж не поделаешь, очень вы хороший человек.

Конечно, ему знакомы все тонкие подробности его занятия. Он безошибочно, издали, отличает лондонские репродукции от лейпцигских и французские от константинопольских. Как мастер и знаток своего дела, он оскорбится, если ему скажут, что какой-нибудь из новых «вариантов» незнаком ему. Он стоит *au courant*¹⁸ своего дела и внимательно следит за его успехом.

Полиция почти никогда не трогает его. «Мало ли что делается в узком семейном кружке... Вольному воля, спасенному рай. Никто никого не тянет покупать карточки!»

В заключение я должен сказать, что описанный нами тип не составляет большой редкости. Вносит он в общество свое растлевающее влияние с какой-то принципиальной наивной последовательностью.

Один знакомый мне доктор-психиатр уверял меня, что поставщики «карточек» представляют собою весьма любопытный материал для клинических исследований.

<1897>

Юзовский завод

Было около полуночи, когда наш поезд подходил к станции Юзовке. Далеко на горизонте, за цепью холмов, виднелось на темном небе огромное зарево, то вспыхивавшее на несколько мгновений, то ослабевавшее. Оно обратило наше внимание еще тогда, когда мы находились верст за двадцать от Юзовки. На станции мы нашли экипаж, нечто вроде линейки, с сиденьями по обеим сторонам, поставленной на упругие дроги, заменяющие рессоры. Такой экипаж повсеместно на юге России носит ироническое название «кукушки». Я и мой спутник Б. сидели рядом на одной стороне «кукушки», а на другой – спиной к нашим спинам – поместился очень грузный мужчина купеческого вида, в длинной чуйке, сапогах бураками и прямом высоком картузе, степенно нахлобученном на глаза.

С полверсты мы проехали молча. Наконец мужчина купеческого вида полуобернулся к нам и спросил:

– По службе на завод-то едете?

– Нет, – отвечал Б., – мы просто из любопытства... Слышали очень много про здешний завод... так вот хотим посмотреть...

– Тэ-эк. А сами-то вы будете из каких? По торговой части или тоже мастеровые люди?..

– Мастеровые. По электрической части, – храбро соврал Б.

– Тэк, тэк... Что ж, конечно, посмотреть всякому лестно. Такого заводича, пожалуй, во всей империи не сыщешь другого. Агра-амадное дело!

– Не знаете ли вы, сколько приблизительно рабочих занято на Юзовском заводе?

– Как вам сказать? В одних шахтах тысячи полторы народу работает, да месячных рабочих тысяч семь, да поденных еще сколько, да от подрядчиков... Тысяча двести подвод пароконных ежедневно работает... Трудно, конечно, с точностью сказать, сколько всего-то народу, однако люди говорят, что тысяч пятнадцать, а то и двадцать будет.

– Неужто так много?

– Да оно и не мудрено-с. Ведь вы подумайте только: пять домен и одна «вагранка»¹⁹ к ним в придачу. А доменную-то как распалили, так она уже пять лет подряд и не тухнет, все ей и подавай и подавай есть. Ну, стало быть, работа ни днем, ни ночью не перестает. От шести до шести. Как отбарабанили дневные рабочие свою упряжку, двенадцать часов кряду, сейчас их ночные сменяют. И так целую неделю. А на другую неделю опять перемена: дневные ночными становятся, а ночные – дневными. И так устроено, что через одно воскресенье каждый рабочий

¹⁸ В курсе (франц.).

¹⁹ вагранка — печь малых размеров для плавления чугунного лома. (Примеч. А. И. Куприна.)

свободен.

– А не знаете ли, какое жалованье получают рабочие?

– Жалованье! Жалованье разное идет. Мастер первой руки два рубля получает, два десять, два с полтиной, второй руки – полтора рубля, руль. Поденным дают летом восемьдесят копеек, зимой – шестьдесят. Больше всех формовщики получают и монтеры²⁰, есть такие, что и по триста рублей в месяц берут. Эти больше из англичан... Страсть, какие расходы. Одного жалованья завод выплачивает в месяц тысяч до трехсот.

– Вот как! Какой же в таком случае у завода оборот должен быть?

– А вот-с какой оборот. В день завод приготавливает двенадцать тысяч пудов одних рельс; это если считать по один рубль восемьдесят копеек за пуд – выйдет двадцать одна тысяча шестьсот рублей в день. А кроме рельс, еще выделывают проволоку, узловое железо, литое железо, гайки, болты. Однако что вы думаете? – рельсовое-то производство им ведь не больно выгодно, хотя они и получают от правительства субсидию, двадцать копеек на пуд.

– Куда же Юзовский завод поставляет рельсы?

– Главным образом в этом году на Московско-Курскую. На Сибирскую тоже. Ведь эти заводы в начале каждого года от правительства получают наряд: куда именно поставлять рельсы.

Некоторое время мы ехали молча.

– Большущее дело, – заговорил опять наш собеседник. – Вы знаете, сколько земли у завода? Шестнадцать тысяч десятин. Вся земля у светлейшего князя Ливена куплена. И любопытно, как это дело началось. Покойный Иваныч Юз после Севастопольской кампании служил простым котельным мастером в Кронштадте. Ну-с, пришлось ему как-то в конце шестидесятых годов в Екатеринославской губернии побывать; видит, богатеющая земля: и руда, и уголь каменный, и известняк – все, что только хочешь... Он сейчас в Лондон. Подался к одному тамошнему миллионщику, к другому, к третьему да так дело двинул, что в несколько месяцев огромный капитал собрал... И пошла работа. Это ведь не то, что у нас... Взять теперь вот хоть бессемеровы котлы... У нас в России один мастер до них тогда еще додумался, когда англичанам они и не снились. И что же? Куда он ни лез, везде его на смех подымали с его системой. Так он и бросил эту музыку и спился с горя. Однако... прощения просим. Позвольте вам пожелать всего хорошего. Мне здесь слезать...

Он сошел с «кукушки», а мы продолжали наш путь. Чем ближе подвигались мы к заводу, тем больше и больше разгоралось над заводом огненное зарево. Наконец, когда мы въехали на длинную и довольно крутую гору, перед нашими глазами внезапно открылась такая необычайная, такая грандиозная, фантастическая панорама, что мы невольно вскрикнули от изумления. На всем громадном пространстве, расстилавшемся вдаль, рдели разбросанные в бесчисленном множестве кучи раскаленного докрасна известняка. На их поверхности то и дело вспыхивали и перебегали сверху донизу голубоватые и зеленые серные огни...²¹ На кровавом фоне зарева стройно и четко рисовались темные верхушки высоких труб, между тем как нижние их части расплывались в сером тумане, подымавшемся от земли. Разверстые пасти этих великанов безостановочно изрыгали густые клубы дыма, которые смешивались в одну общую, сплошную, хаотическую, медленно ползущую на восток тучу, местами белую, как комья ваты, местами – грязно-сизую, местами желтоватого цвета железной ржавчины. Под тонкими длинными дымоотводами, придавая им вид исполинских факелов, трепетали и метались яркие снопы горящего газа. От их неверного отблеска нависшая над заводом дымная туча, то вспыхивая, то потухая, принимала причудливые, странные оттенки. Железные крупные корпуса доменных печей возвышались в центре завода, как башни легендарного замка. Огни коксовых печей тянулись длинными правильными рядами, иногда один из них вдруг вспыхивал и разгорался, точно огромный красный глаз. Время от времени, когда по резкому звону сигнального молота опускался вниз колпак доменной печи, сбрасывая внутрь руду и уголь, то из устья ее, с ревом, подобным грому, вырывалась к самому небу целая буря пламени и копоти. Тогда на несколько

²⁰ Монтер — мастер, собирающий машины. Формовщик приготавливает форму для литья. (Примеч. А. И. Куприна.)

²¹ Известковые печи устраиваются таким образом. Складывается из известняка холм величиною с человеческий рост и разжигается дровами или каменным углем. Этот холм раскаляется около недели, до тех пор, пока из камня не образуются негашеная известь. (Примеч. А. И. Куприна.)

мгновений весь завод резко и грозно выступал из мрака, со своими огромными зданиями, бесчисленными трубами, подъемными колесами, торчащими в воздухе... Электрические огни при- мешивали к пурпурному свету раскаленного железа свой голубоватый мягкий блеск. Несмолка- емый лязг и грохот металла вместе с удушливым запахом горячей серы несли с завода нам навстречу.

Казалось, гигантский апокалипсический зверь ворчит там в ночном мраке, потрясая стальными членами и тяжело дыша огнем.

Ни я, ни мой компаньон Б. долго не могли заснуть в эту ночь. Во-первых, из окон гости- ницы (конечно, «Европейской»), где мы остановились, была видна вся сказочная иллюминация завода, и мы поминутно вскакивали с постелей, чтобы еще раз на нее поглядеть. А во-вторых, под самым нашим номером, в ресторане, целую ночь довольно скверный оркестрион играл из- вестный романс «Зачем ты, безумная, губишь того, кто увлекся тобой».

Рано утром мы отправились в главную заводскую контору просить разрешения осмотреть весь завод. Нам сказали, что за этим нужно обратиться к управляющему, англичанину. Мы уже не один завод посетили вместе с Б., и, говоря откровенно, испрашивание позволения всегда бы- вало неприятнейшей частью в наших путешествиях. Правда, мы уже приобрели значительную практику в обращении с «начальством» и были настолько умудрены опытом, что вперед могли сказать, кто как нас примет. Немцы подавляли нас величием своих колоссальных фигур и упор- ным непониманием самых простых вопросов. Французские инженеры (без исключения евреи) большею частью нам сразу отказывали, и только прекрасный французский язык Б-ова обыкно- венно спасал нас, хотя все-таки не избавлял от полицейского глаза проводника. Русские бывали всегда любезны, но только чересчур подробно расспрашивали, кто мы, да откуда, да что нас, собственно, интересует, и в конце концов уже почти дружеским тоном просили нас признаться, по чистой совести, положила руку на сердце, «не корреспонденты ли мы».

Как обращаются с путешественниками «просвещенные мореплаватели», мы еще не знали и были приятно удивлены лаконичной любезностью управляющего. Выслушав нашу просьбу, он показал нам на стулья и сказал:

– Take place²².

Потом написал три слова на бланке и, подавая его нам, прибавил:

– If you please²³.

И больше ничего: ни расспросов, ни генеральского тона. Это нас так тронуло, что и мне и Б. пришла одновременно счастливая мысль – отблагодарить любезного англичанина на его род- ном языке. Но когда мы сделали это, то англичанин быстро поднял голову и так вытаращил на нас глаза, что я испугался, как бы от нас не отобрали назад пропуска. Однако он, по-видимому, тотчас же убедился в нашей невинности и только засмеялся, показав великолепнейшие белые зубы. Мы начали осмотр с доменных печей. Представьте себе башню сажен в пятнадцать выши- ною, то есть с добрый четырехэтажный дом, и сажен четырех, пяти в поперечнике. Башня эта сложена из огнеупорного кирпича и снаружи обтянута толстым котельным железом; внутри оставлена пустота бочкообразной формы. Пять таких исполинов, выстроенных в ряд, производят очень грандиозное впечатление. Около каждой доменной печи, совсем близко от нее, помещает- ся по четыре «каупера» (рабочие их называют «калуперами»), по четыре железных цилиндра та- кой же величины, как и доменная печь, но немного уже ее. Каупера, названные так по имени их изобретателя, служат для нагрева воздуха, которым производится дутье. Атмосферный воздух, хотя бы и в самое горячее летнее время, считается холодным сравнительно с температурой (в 1600° по Цельсию) доменной печи. Поэтому, прежде чем ввести воздух в печь, его пропускают по чугунным трубам через каупер, внутри которого горят проводимые туда доменные газы.

– Скоро ли будет выпуск чугуна? – спросил я одного из рабочих. Рабочий ответил, что из четвертой печи, должно быть, через полчаса начнут выпускать, и даже вызвался нас проводить. Мы пошли узким коридором между доменными печами и кауперами, оглушаемые их непре- станнным свистом и гудением, чуть не задыхаясь от серного дыма. По пути рабочий расспраши-

²² Садитесь (англ.).

²³ Пожалуйста (англ.).

вал нас, дорого ли стоит прожить на Нижегородской выставке недели две.

– А то вот господу Юзы, – объяснил он, – предлагают тем рабочим, что служат на заводе больше двенадцати лет, ехать осматривать выставку. Главное дело, и проезд бесплатный, и с сохранением жалованья... Только мы боимся, что дорого будет. Если бы по пятнадцати рублей с человека издержать можно было, это еще куда бы ни шло...

Из четвертой печи выпускали шлак, нечто вроде пенки, собирающейся под расплавленным чугуном. Из отверстия, в человеческую голову величиной, била широкой струей и стекала по желобу ослепительно-белая жидкая масса. Голубые серные огоньки прыгали от нее в разные стороны и таяли в воздухе. По желобам масса текла сажен семь или восемь, из белой становясь красной и покрываясь сверху корой. Наконец она сливалась в подставленные под желоба котлы и застывала в них, как зеленоватый густой леденец. В десяти шагах этот огненный ручей нестерпимо обжигал лицо. Мы должны были, разговаривая, кричать друг другу на ухо, – так силен был свист, с которым стремился расплавленный шлак вырваться сквозь отверстие доменной печи.

В ожидании выпуска чугуна, наш провожатый предложил нам взобраться на самый верх доменной печи посмотреть, как в нее забрасывают руду и горючий материал. Мы согласились и влезли наверх, следом за ним, по узкой и почти отвесной железной лесенке. Доменная печь и каупера соединены между собою большой сплошной площадкой, имеющей форму креста, посередине – громадное отверстие – устье печи, или «калошник». Калошник прикрыт массивным колпаком, висящим на цепи. Другой конец этой цепи может наматываться на лебедку и таким образом приподымать и опускать колпак. Лебедка защищена железной будкой, так как при подымании вверх колпака из печи вырываются горящие газы.

С площадки под домной виден весь завод как на ладони. Во всех направлениях с короткими свистками мчатся маленькие четырехколесные паровозы, влеча за собою на платформах котлы с металлом. На мгновение они исчезают в туннелях под мостами и вырываются оттуда, окутанные облаками пара. Везде, куда ни глянет глаз, тянутся длинные железные красные крыши разных цехов и под ними целый лес пышущих дымом, паром и искрами, больших и маленьких, толстых и тонких труб. Штабели камня и леса, кучи железных и чугунных кусков, пирамиды песка покрывают землю. У самого основания домен, во всю их длину, нагромождены высокие горы руды. Одни рабочие сваливают ее с вагонов-платформ, другие подносят на носилках, третьи наполняют ею вагонетки подъемной машины. От этой красной руды у рабочих и одежда, и лица, и руки, и локти – красные.

Когда две вагонетки наполнены доверху рудой, их вкатывают в ящик подъемной машины, канат которой проходит через два колеса, вращающиеся в железных рамах высоко над доменной печью. Поршень паровой машины приходит в движение, и через несколько секунд полный ящик уже наверху, между тем как на его место опустился сверху пустой.

На площадке над доменной печью работают пять человек. Они быстро вытаскивают вагонетки из ящика, влекут их к устью домны и, переверачивая их, высыпают руду поверх колпака. Когда на колпаке наберется достаточно руды, его опускают на цепях вниз, и руда падает в печь. За слоем руды идет слой каменного угля, потом опять слой руды и так далее. Засыпка не прекращается ни днем, ни ночью, потому что, если доменная печь погаснет, остается только ее разломать. Поэтому каждая незначительная настыль внутри домны, называемая «жуком», может со временем грозить опасностью; большая настыль – «козел» – внушает уже серьезные заботы, а «медведь» вызывает переделку печи. И так как доменная печь работает круглый год, то поневоле должны круглый год работать и шахты, и литейная, и рельсопрокатка.

Когда на колпак уже навалили достаточно руды, один из рабочих зазвонил молотком по железному листу. Наш провожатый поспешно схватил нас за руки и потащил в сторону.

– Отойдите, отойдите подальше. Сейчас будут калошу²⁴ забрасывать. Мы видели, как рабочие принялись вертеть колесо лебедки, видели, как поднялся колпак... но что произошло потом, совершенно не поддается описанию. Площадка, на которой мы стояли, затряслась и заходила под нами, оглушительный рев раздался из недр печи, и из устья ее с бешенством (я не найду другого слова) вырвалось целое море пламени. Несколько секунд я и Б. молча смотрели

²⁴ «Калошей» называется опускаемое за один раз количество руды. (Примеч. А. И. Куприна.)

друг на друга. Не знаю, был ли я так бледен, как мой компаньон, но должен сознаться, у меня в голове мелькнула мысль, что внутри домны произошла какая-то катастрофа и что сейчас огонь разорвет на мелкие части ее железные стены... Но раздался вторично звон сигнального молотка, колпак поднялся, и пламя скрылось с ворчанием, которое долго еще, утихая, слышалось под нашими ногами. Мы вздохнули свободно и стали уверять друг друга, что все это было очень интересно и весело.

Доменные газы, горение которых мы только что видели, обыкновенно не выпускаются из домны, а по особым трубам отводятся в каупера, где продолжают гореть и нагревают проходящий по трубам воздух²⁵. Но, отработав в кауперах, горячий газ идет еще в плавильные печи, где раскаляет и расплавляет железо, и уже после всего этого выходит из газоотводов.

Когда мы спустились вниз, рабочие уже приготовились к выпуску чугуна. Один из них – «горновой мастер» – приставил острый лом к небольшой глиняной затычке, закрывавшей отверстие домны. Четверо рабочих, взявшись за длинную чугунную балду и раскачавши ее, ударили по концу лома, потом ударили еще раз, и еще, и еще. Чугун внезапно брызнул ослепительным фонтаном из-под лома. Рабочие разбежались, и жаркая струя цвета огненной охры медленно полилась из отверстия, разбрасывая вокруг себя, точно фейерверк, тысячи больших, трещащих в воздухе звезд. Чугун, не спеша, как будто бы лениво, тек по ровной борозде, проделанной для него в песке литейного двора. Там, где площадь двора оканчивалась отвесной каменной стеной, чугун протекал по желобу и с бульканьем, напоминая сливаемое варенье, лился в котел. Когда два котла наполнились таким образом доверху и их увез маленький паровозик, горновой мастер, посадив на стальную палку кусок мокрой огнеупорной глины, быстро всунул ее в отверстие и загородил выход чугуна...

Операция выпуска чугуна производится в сутки три, четыре, пять и даже до шести раз, когда печь идет «спелым ходом». Из доменной печи жидкий чугун идет или прямо в литейную, если предвидится отливка чугунных изделий, или в бессемеровы котлы для получения литого железа и стали, или в пудлинговые печи для последующего изготовления рельс, или, наконец, отливается здесь же, около домны, в виде неправильных продолговатых кусков, называемых «свинками». Прежде чем пустить чугун в дело, берут в лабораторию его пробу. Для этого рабочий забивает в землю колышек вершков семи-восьми длиной, потом осторожно вытаскивает его наружу и в образовавшуюся пустоту льет из ковшика чугун. Когда масса затвердеет и остынет, ее извлекают из земли, разламывают и отправляют для анализа.

В большом пустом сарае помещаются два бессемеровских конвертора, которые на языке рабочих называются «биксами». Эти котлы напоминают формой грушу, но только острую с обоих концов и сажени в три длиной. У этой груши снаружи, как раз посередине, приделаны две цапфы, которыми она лежит на двух каменных постаментов и на которых может вращаться. Паровоз с котлом, наполненным жидким чугуном, входит в сарай, рабочие лопатками снимают с металла пенку шлака, затем наклоняют котел ручной лебедкой и выливают его содержимое в воронку конвертора. После этого через массу жидкого чугуна пропускают сильную струю воздуха. Если желают получить сталь, то процесс бессемерования заключают раньше; литое железо требует более продолжительного обезуглероживания. Внутренность конвертора выложена доломитовым кирпичом с примесью дегтя, подвергнутому предварительному прокаливанию. Готовый металл выпускают из нижнего конца груши в разливные котлы. Литейная мастерская представляет из себя длинный каменный двухэтажный очень светлый сарай. Чугун, привезенный из доменных печей, выливают в большой разливной котел, привешенный на цепях к ручному крану. Этот котел может подниматься вверх и опускаться, двигаться вперед, назад и в стороны; с помощью лебедки его также можно наклонять носиком вниз. Из разливного котла чугун поступает в тигли, из которых уже выливается в готовые формы. Отливка нескольких тиглей в одну форму требует большого умения, так как струя металла не должна прерываться. Поэтому, прежде полного опорожнения одного тигля, следует начать литье из другого.

Форма готовится из дерева. Работа эта требует большого искусства и навыка, почему формовщики и получают, обыкновенно, весьма значительное жалованье. Приготовленная форма

²⁵ Атмосферный воздух накачивается особыми машинами в каупера и, выходя из них горячим, идет через отверстия (фурмы) в доменную печь, усиливая ее плавление. (Примеч. А. И. Куприна.)

распиливается надвое, и каждая половина ее вытесняется в сырой формовочной земле. Когда земля высохнет, дерево удаляют прочь, обравнивают форму особыми ножичками, смазывают графитным порошком и тогда уже льют в нее чугун. Отлитые таким образом изделия, после их сварки, тщательно шлифуются и проверяются, если надо, по лекалу. Вполне готовыми отливаются в формах из массы железнодорожные колеса, колокола и зубчатые приводы.

Вслед за паровозом, увозившим от доменной печи котлы с чугуном, мы попали в отделение пудлинговых и пламенных печей.

Вообразите себе сарай с круглыми арками вместо окон²⁶, с высокой железной крышей, поддерживаемой стальными стропилами и распорками; сарай такой длины, что, стоя на одном его конце, вы видите другой конец, как едва заметный просвет. У правой стены, во все ее протяжение, идет каменная платформа, на которой правильным рядом стоят пудлинговые печи – около двадцати громадных железных ящиков. Левая сторона свободна, и на ней проложены рельсы для движения паровых кранов.

Паровой кран – это небольшой паровозик с вертикальным котлом, узкой трубой и длинным массивным хоботом. Машинист, помещающийся высоко над поверхностью земли, имеет в своем распоряжении около десятка рукояток и ножных педальей, которыми он может придавать крану какие угодно положения. Таких паровых кранов в пудлинговом сарае работает одновременно около пяти или шести.

Привезенный чугун вливается во внутренность одной из пудлинговых печей, где он перемешивается с рудой и флюсом. Когда смесь из тестообразной превратится в жидкую, тогда один из кранов начинает устанавливать около печи штамбы, металлические футляры, пустые внутри, без дна, с петлей на крышке. Он хватается их крючком за петли и ставит у основания каменной платформы. Затем жидкую массу пускают вниз по вертикальным трубам, которые, изгибаясь под землей, другим концом проходят в пустоту штамбы и наполняют ее, как сифоны. Как только металл застынет в штамбе, другой кран хватается ее за петлю, поднимает вверх, и из штамбы вываливается раскаленный добела прямоугольный длинный кусок стали. Третий кран берет эти куски и наваливает их на платформу, прицепленную к четвертому. Четвертый кран подвозит их к подземным пламенным печам и один за другим опускает в открываемые подземные люки, наполненные горящим газом. Наконец, пятый вытаскивает раскаленные штуки из пламенных печей и тащит их в щипцах к громадному, вращающемуся со страшной быстротой зубчатому колесу, которое разрезает их на две части в длину, как куски мягкого пряника.

Из-под ножа куски стали поступают в сварочные печи и вслед за тем на рельсопрокатные вальцы. Я уже описывал в «Киевлянине» Дружковскую рельсопрокатку и потому не хочу больше повторять ее, тем более что вальцы Дружковского завода представляют собою последнее слово обработки стали на товар²⁷.

Да кроме того, и я и Б. совершенно ошалели от этого адского грохота, невыносимого угара и непрестанного судорожного движения. Каждую минуту мы слышали за своими спинами крик: «поберегись» и едва успевали отскакивать в сторону, как мимо нас двое рабочих бегом тащили на тележке раскаленную двадцатипудовую штуку стали, обдававшую нас угаром. Мы изнемогали от жажды, но не могли удовлетворить ее теплой водой, которую нам радушно предлагали мастера. По временам, ступая на землю, мы сквозь обувь обжигали себе подошвы ног. В горле и в груди мы чувствовали осадок сернистого дыма и угара. И мы дивились терпению рабочих, которые спокойно работали, чуть не касаясь лицами раскаленного металла.

Последнее, что обратило на себя наше внимание в этот день, – была машина, приготовляющая гайки, – нечто вроде двух громадных, железных, регулярно чавкающих челюстей. Рабочие, накалив в горне длинную стальную палку, суют ее в эту раскрытую пасть. И чудовище, методично откусывая куски красного мягкого металла, тотчас же выплевывает их в виде готовых гаек. Потом перед нами промелькнул токарный цех, где одни колеса вертелись с поразительной быстротой, а другие делали по одному обороту в минуту. И те и другие оставляли на полу медные и железные стружки в виде длинных, правильных, красивых спиралей. Потом мы видели

²⁶ Говоря об окнах, я подразумеваю отверстия в стенах. Рам и стекол в этих окнах мы нигде не заметили, что и понятно, принимая во внимание очень высокую температуру и угар, идущий от железа. (Примеч. А. И. Куприна.)

²⁷ См. № 147 «Киевлянина» за 1896 год. (Примеч. А. И. Куприна.)

паровой молот, сплюсывающий одним ударом, как кусок воска, разогретую штуку чугуна весом в пять или шесть пудов. При этом нам объяснили, что с такою же легкостью этот семисотпудовый молот может разбить обыкновенный орех, не тронув его зернышка.

В конце концов от массы впечатлений у Б. закружилась голова, и он начал заговариваться. Тогда я увел его с завода домой, в «Европейскую» гостиницу, где мы подкрепили наши силы двумя ломтями жареной сапожной кожи, по ошибке названной в обеденной карточке: «филе сое пекан».

На другой день, рано утром, мы пошли в горную контору завода попросить разрешения осмотреть каменноугольную шахту. Горный инженер Я., весьма любезно принявший нас, вручил нам записку, предлагавшую старшему десятнику центральной шахты «спуститься вниз вместе с подателями и показать им работу угля в ближнем забое».

– Рекомендую вам, господа, – сказал г. Я. на прощанье, – одеться во все самое старое и, тотчас же по возвращении домой, переменить белье и обувь. Иначе вы рискуете схватить такой насморк, что потом и сами не рады будете.

Мы поблагодарили инженера за его предупредительность и направились к центральной шахте.

Шахта – огромное каменное здание о двух этажах. На крыше его возвышаются два колеса, приблизительно около сажени в диаметре. По желобкам этих колес скользят канаты, спускающиеся в шахту и поднимающие из нее вагоны. В ожидании старшего десятника мы осмотрели отделение паровой машины. Два поршня, ходящие в цилиндрах, обитых деревянными планками, приводят в движение гигантский маховик. Поршни, в свою очередь, приводятся в движение двумя рукоятками, которыми управляет машинист. Машинист соотносит свои действия с указаниями стрелки, ходящей по диску и означающей своим положением относительное положение опускаемого вагона. Один и тот же канат скользит и по маховику и по колесам над шахтой.

– Скажите, пожалуйста, как велика окружность маховика? – спросил я машиниста.

– Восемь сажен.

– А сколько он делает оборотов, чтобы опустить вагон?

– Он делает семнадцать с лишним оборотов.

– Позвольте... Это значит, что центральная шахта идет в глубину на... на...

– На сто тридцать сажен без малого. Иными словами, на девятьсот десять футов. При этой солидной цифре мы с Б. переглянулись, и он, точно угадывая мою мысль, спросил:

– Вероятно, все-таки при спусках бывают несчастные случаи?

– О нет. Канаты стальные, надежные, спуск и подъем производятся по сигналам. Вот, посмотрите, сейчас снизу дадут знать, что вагон готов.

Укрепленный над дверью молоток звонко стукнул по железной дощечке. Машинист двинул рукоятку, и маховое колесо завертелось, наматывая канат. В то же время стрелка на указанном диске стала плавно двигаться по окружности. Пришел десятник, худой и мрачный мужчина. Он прочел записку инженера и пригласил нас следовать за собою.

– Вам сейчас дадут лампочки и клеенчатые плащи, – сказал он по дороге. – Кроме того, попрошу вас оставить спички наверху, если они у вас есть. Такое правило.

Следуя за десятником, мы зашли в ламповое отделение. Там человек двадцать рабочих сидело за столом, наполняя лампочки деревянным маслом, вставляя новые фитили и чистя стекла. Готовые лампы они вешали на занумерованные крючки, каковых, по-видимому, было несколько больше шестисот. Лампочка представляет из себя стеклянный цилиндр, обтянутый частой металлической сеткой с острым крючком наверху. Когда лампочка совершенно снаряжена, то в запирающее ее ушко влагается свинцовая пломба и расплющивается в нем щипцами. После этого лампочку нельзя открыть без помощи тех же щипцов. Принимаются такие меры во избежание взрывов гремучего газа, обильно накапливающегося в каменноугольных шахтах.

Мы взяли свои лампочки, оделись в плащи с капюшонами, закрывавшими голову, и пошли к главному «стволу» шахты. Там уже дожидали нас пятеро шахтеров, которые должны были спуститься вместе с нами.

Я заглянул в отверстие ствола. На меня пахнуло сыростью, но я ничего не увидел, потому что подъемные вагоны ходят вверх и вниз, совершенно плотно прилегая к пазам, проделанным в стенках ствола.

Почти каждую минуту снизу подымался вагон, нагруженный двумя тележками угля.

Верхние рабочие тотчас же ставили эти тележки на рельсы, сцепляли их по четыре зараз и припрягали к ним лошадь, которая тащила их крупной рысью. Вагоны подымались совсем мокрыми, и с цепей, соединявших их с канатом, капала вода. Показываясь на поверхность, вагоны механически приподнимали барьер, окружавший отверстие ствола, а опускаясь, также механически его захлопывали.

Старший десятник подал ударом молотка условный знак вниз: «Люди спускаются». Наверх поднялся пустой вагон. «Выходите скорее», – сказал нам десятник, и мы очутились в тесной мокрой клетке среди шестерых угрюмых, молчаливых шахтеров.

Послышался звон молотка. Пол вагона заколебался под нашими ногами. Хлопнула упавшая решетка барьера. «Не лучше ли оставить эту затею? – мелькнуло у меня в голове. – Мир так хорош, жизнь так коротка и прекрасна, солнце такое яркое. Может быть, еще не поздно сделать вид, будто бы забыл в номере бумажник, и выскочить из клетки... Вот и Б., вероятно, того же мнения, недаром же он так крепко вцепился рукою в плечо десятника».

И вдруг я почувствовал необычайную, почти невыносимую легкость во всем теле. Мне показалось, что сию секунду я должен повиснуть в воздухе. Вагон летел вниз со страшной быстротой... Сначала в просветы клетки мелькала какая-то круглая стена из серых кирпичей. Потом стало темно. Я качался на ослабевших ногах, и сердце замирало у меня в груди.

Потом... я никогда не забуду этого ощущения... мне стало душно, и в ушах появилась острая боль, точно вся кровь прихлынула к барабанной перепонке. В тот же момент вагон, не останавливаясь, так же плавно и так же быстро понесся наверх.

– Послушайте... мы поднимаемся? – воскликнул Б. дрожащим голосом.

– Ничего... ничего, – успокоил его шахтер, стоявший с ним рядом. – Это обман такой... стало быть... всем так кажется, когда вагон на середине...

Это было странное зрелище. Узкая клетка, несущаяся не то вверх, не то вниз... девять человек, прижавшиеся в мраке друг к другу... красноватый свет лампочек, блиставший на мокрых черных стенках вагона... общее молчание... глухой шум скользящего каната...

Вагон вдруг опять начал падать вниз, а через секунду толчок, заставивший всех нас подпрыгнуть, убедил меня, что мы остановились. Мы вышли из клетки, орошаемые крупным проливным дождем. Это падали собиравшиеся в главном стволе грунтовые воды... Шахтеры, ставившие в вагоны тележки, работали здесь в клеенчатых плащах, по которым звонко и часто барабанили капли. Пройдя с десятков шагов, мы были уже на сухом месте, под широкой каменной аркой главной продольной шахты. Хотя воткнутые в ее стены трехсветные коптящие факелы и освещали дорогу, но первое время мы стояли неподвижно, ничего не видя. То и дело старший десятник дергал нас за рукава; мы сторонились, и мимо нас, совсем близко, пробегала лошадь, влача за собою по рельсам три-четыре вагончика с углем. Эти несчастные животные, раз спущенные в шахту, так там и остаются до конца своих дней. На глубине девятисот десяти футов для них устроена конюшня, и они так привыкают к мраку, что отлично ориентируются во времени: когда наступает шесть часов, конец упряжки, лошадь сама уже неудержимо стремится в конюшню и находит туда дорогу из самой отдаленной штольни.

Когда мы прошли шагов двести, каменный свод кончился, его заменил деревянный, бревенчатый, покоящийся на таких же стенах. Было свежо и душно, как в бане, и по нашим лицам струился пот. Где-то за стеною журчала вода. Ощущение было такое, как будто бы мы зашли ночью, в незнакомом доме, в неосвещенный погреб и чего-то ищем.

То и дело далеко во мраке показывалась красная огненная точка. Точка приближалась и росла... Через несколько минут мы уже слышали шум колес, скользящих по рельсам, мы сторонились, и мимо нас пробегала лошадь, таща за собою тележки, на одной из которых сидел шахтер с лампочкою в руках. Дорогою старший десятник объяснял нам расположение шахты. Кроме продольных, есть еще шахты верхние, нижние и поперечные. Наклонный ход, соединяющий две шахты, называется «штольней», широкий и очень низкий проход, устроенный только с целью разработки материала, носит название «лавы», узкий тупик – «печка». В отдаленных штольнях нельзя работать лошадьми, и потому приходится тележки подымать и опускать руками или воротом на канатах. Когда весь уголь из шахты выбран, а работа уткнется в «породу», тогда из дальних пунктов возвращаются к стволу, уничтожая подпорки и вынимая остатки угля. Таким образом, шахта постепенно заваливается и, наконец, окончательно бросается. Говорят, что угля в юзовской шахте хватит еще лет на двадцать, хотя она и разработана на полторы версты в длину.

Когда нам все это рассказывал старший десятник, голос его звучал глухо и уныло, точно в пустой бочке, а красные мутные полосы света от наших ламп бегали и дрожали на потолке шахты.

Наконец, пройдя версту с лишним, мы очутились в ближнем забое. Трое рабочих, нагие до пояса и черные, как негры, отрывали слой угля аршина в полтора вышиною. Они уже проделали довольно длинный ход и теперь сидели в нем скорчившись и с трудом отбивали куски угля. Их лампочки были зацеплены крючками в уступы породы.

За свой труд шахтеры получают по 1 руб. и 1 руб. 10 к. за двенадцать часов «упряжки». В некоторых местах есть работа с кубической сажени, но условий ее нам, к сожалению, узнать не пришлось.

Мы пробыли в шахте всего с полчаса, но нам уже стало невтерпеж. Воздуха было мало, подземная тишина утомила нервы, тупая, безграничная скука сдавливала сильнее и сильнее душу. Чем ближе подходили мы к стволу, тем шире и чаще становились поневоле наши шаги... Наконец мы опять под каменной аркой... Принимаем вторично маленький душ... Слышим звон сигнального молотка и летим вверх. На полдороге та же боль в ушах... вагон быстро падает вниз (но мы уже не верим ему, зная его любовь к мистификациям)... Грудь дышит сильнее и глубже, сердце бьется нетерпеливо и крепко, как перед любовным свиданием... И вот, ослепляя нам глаза, льется сверху золотой свет... Нет, положительно всех ипохондриков, меланхоликов, неврастеников, всех больных детей XIX столетия я советую докторам отправлять на полчаса в глубокие шахты. Поднявшись наверх, эти бедняки, наверно, горячо обрадуются кусочку зеленой травки, освещенной солнцем.

На другой день мы уехали. А *groros*²⁸: два слова по адресу Екатерининской железной дороги. Там иногда ходит один пассажирский поезд в сутки, иногда два, а иногда один в четыре дня. Если же вы будете глядеть на расписание поездов, то ничего не поймете. Вы увидите (как в рассказе Д.-К. Джерома) поезда, идущие со станции, но неизвестно куда направляющиеся, увидите поезда, бог весть откуда пришедшие на станцию, и, наконец, убедитесь, что поезд, отошедший со станции в шесть часов утра, приходит на следующую станцию в пять с половиной часов утра того же самого дня. Но того поезда, с которым вам надо ехать, вы не найдете.

Путевые картинки

I

От Киева до Ростова-на-Дону

Не прошло еще и полутора суток, а уже перед моими глазами промелькнули в вагонном окне четыре замечательнейшие губернии русского юга: Киевская, Херсонская, Екатеринославская и Земля Войска Донского. Сначала прошли, точно в панораме, уютные и грациозные уголки благословенной Украины: мазаные, беленькие хатенки, окруженные плетнем и тонущие в зелени «садков», традиционная «криница» дорюриковской архитектуры и возле нее традиционная дивчина в запаске и плахте, с коромыслом на левом плече и с правой рукой, художественно упирающейся в бок; вынырнет иногда из-за дальних холмов зеленая острая крыша деревенской колокольни и, убегая назад, уже прячется за синей, туманной, чуть приметной полоской леса; порою особенно громко застучит поезд, пробегая по мосту и под ногами у тебя, глубоко внизу, блеснет узкая извилистая речонка, вся такая чистенькая и кокетливая в зеленых, свежих, опрятных берегах; у переезда пара серых круторогих волов в деревянном яме равнодушно провожает своими прекрасными темными влажными глазами несущееся мимо них огненное чудовище.

Утром после кошмарной, почти бессонной ночи, проведенной в грязном, насквозь прокуренном и заплеванном вагоне, выходишь с тяжелой, как свинец, головой на платформу и распахиваешь дверцу. Что за наслаждение! И справа и слева густой, сплошной лиственный лесок. Внизу у его корней еще таятся сырые, холодные ночные тени, а верхушки, обласканные ранним солнцем, уже засверкали яркой праздничной пестротой осенних красок. Светло-лимонные листья берез, пронизанные солнечными лучами, блестят, как золото, осины стоят совсем пурпур-

²⁸ Кстати (фр.)

ные, один крепкий устойчивый дуб не хочет менять своей темной, твердой, точно из металла вырезанной зелени. А дальше – море нежных, неуловимых оттенков, от розовых до кроваво-красных и пунцовых, от фиолетовых и лиловых до коричнево-бурых. Стоишь и не надышишься утренним воздухом осеннего леса – крепким, тонким и опьяняющим, как аромат старого драгоценного вина.

Кончился лес – опять идут поля. То и дело попадаются навстречу свекловичные плантации – большие зеленые заплатки на желтом фоне сжатых хлебов. На них копошатся разбросанные там и сям пестрые кучки людей, прильнувших к земле. А вот и высокая, закопченная сверху труба сахарного завода выплывает из-за горизонта... За Знаменкой – дорога гораздо скучнее. Начинается степь – Херсонщина, и чем дальше, тем она все ровнее и безжизненнее. Смотришь в окно, и прямо тоска берет. Гладкая серая скатерть выжженных солнцем полей, и над ней опрокинулось такое же гладкое, безоблачное, мутное от зноя небо, на котором редко-редко увидишь черный силуэт ветряка, растопырившего свои крылья, да задумчивый могильный курган. И весь этот громадный, тяжелый пейзаж медленно вращается навстречу бегущему поезду.

К вечеру местность понемногу меняется. Мы вступаем в область железных руд и каменно-угольных залежей, в страну бельгийских анонимных предприятий, чудовищных appetitov и бешеного заводского delirium tremens'a [*белая горячка – лат.*]. Опаленная до корней трава отливает на низинах зловещим красноватым цветом; между крутобокими холмами и склонами врезались глубокие, узкие балки, мелкая густая пыль висит в воздухе, врываясь в вагон и забираясь в книгу, в подушку, в чай и в рот. Навстречу нам ползут длинные товарные поезда, с открытыми платформами, нагруженными красной, точно ржавой комковатой рудой. То и дело на станциях входят в наш вагон и выходят из него бельгийские мастера. В этом крае они, по-видимому, чувствуют себя, как во втором отечестве; с непринужденной простотой разваливаются на диванах, кладут ноги вам на колени и курят из трубок отвратительный табак.

Вот перед нами проносится знаменитое Криворожье. Декорация – прямо из «Роберта Дьявола». Так и кажется, что подземные силы в страшной демонической ярости всколебали здесь почву и, разворотив ее, нагромодили на поверхности гигантские кучи известковых и железных масс, на которых – то высоко вверху над вашей головой, то внизу под вашими ногами – суетятся, как муравьи, человеческие фигуры. Повсюду подъемные краны, эстакады из дерева и железа, а по обеим сторонам полотна – целые горы руды, так давно и в таком количестве нагроможденные, что в тех местах они уже успели обрасти сверху травой. Все это, взятое вместе, производит дикое, хаотическое, но не лишнее сурового величия впечатление.

Однако на эту картину нам не дают насмотреться как следует. Постояв в Кривом Роге одну минуту, поезд свистит и несется дальше. Поезд, который нас везет, курьерский, а запряжен в него локомотив какой-то совершенно новой американской конструкции. Локомотив этот только что прибыл из мастерских Невского машиностроительного завода и не успел еще на своем веку сделать полных двух тысяч верст, но уже, по-видимому, возбудил неудовольствие своего машиниста. Дело в том, что одна из частей его механизма очень точным и предательским образом отмечает время прихода поезда на станцию и отхода в дальнейший путь. Поэтому на иных уклонах мы летим со скоростью семьдесят пять верст в час, стараясь наверстать время простоя, причем вагоны шатаются, как пьяные. Поэтому же на станциях локомотив визжит капризно и раздражительно, как истеричная дама, когда легкомысленный кондуктор запаздывает со своими свистками. Вероятно, потому же старик машинист, разговорившись со мною во время длинной стоянки, проворчал, неодобрительно косясь на паровоз:

– Оно, конечно, машина, что и говорить, усовершенствованная. Но только в ней одна самая главная трубка действует неправильно.

Во всяком случае, мы подвигаемся вперед с такой скоростью, что я положительно не узнаю Екатерининских дорог. Пять лет тому назад здесь даже курьерские поезда держались мудрого правила «спешить медленно». Отсюда в свое время возникло великое множество чудовищных анекдотов. Рассказывали, например, об одном молодом человеке, который ехал от Харцызска до Дебальцева и на требование контроля предъявил половинный билет. «Но позвольте, – возразил удивленный контролер, – ведь это же детский билет, а вам, по крайней мере, лет двадцать – двадцать пять». – «Совершенно верно, – спокойно ответил молодой человек, – вы не ошибаетесь. Но я взял этот билет в Харцызске еще тогда, когда был маленьким, и вот, как видите, успел достаточно вырасти в дороге».

Злые языки называли прежде эту дорогу «заячьей дорогой», потому что по ней провозилось и под скамейками, и в скотских вагонах, и на крышах, и в других местах чуть ли не 95% безбилетных пассажиров. Как теперь, не знаю.

Наступает ночь – темная, сентябрьская, безлунная ночь. Мы приближаемся к Екатеринославу, и то и дело проходят мимо нас в своем ужасном величии колоссальные металлургические заводы. Я давно уже запорошил себе оба глаза, но все-таки не могу оторваться от окна. Сначала видишь далекое зловещее зарево, потом вырисовываются длинные трубы и мрачные черные башни доменных печей, и вдруг за внезапным поворотом вырастает перед вами весь завод, точно громадный город, подоженный с четырех сторон, – в тучах дыма, в огне, в голубом сиянии электрических фонарей. И с каким-то странным чувством, не то жутким, не то гордым, провожаешь его глазами до тех пор, пока он не скроется в глубокой лощине.

Вот, наконец, и Екатеринослав со своим рельсопрокатным заводом, вытянувшимся около самого полотна, и с мостом через Днепр. Великий старик широко и могущественно протекает внизу, и на его черной, дремлющей поверхности дрожат золотыми полосками отражения редких прибрежных огней.

Утро застает нас в Таганроге. Отсюда до Полтавы дорога идет почти все время берегом Азовского моря. Ветра нет, и гладкая, невозмутимая поверхность моря лежит, точно ровная свинцовая доска, блестя лишь у берегов зубчатой стальной каймой. Ни одного пароходного дымка, ни одного паруса не заметил я за эти два часа на его заснувшей глади; только у берегов кое-где торчат засевшие на мель неуклюжие баркасы. За полверсты от Ростова мы почему-то останавливаемся среди чистого поля и стоим чуть ли не полтора часа. Поездная прислуга играет в три листика, а мы меланхолически созерцаем текущий справа от пути тихий Дон и единственную двухмачтовую старую шхуну, стоящую у берега.

II

От Ростова до Новороссийска. Легенда о черкесах. Тоннели

На пути от Ростова к Новороссийску самый важный железнодорожный пункт – станция Тихорецкая. Это узел, от которого поезда расходятся по трем направлениям: на Новороссийск, на Владикавказ и на Царицын. Отсюда же мы вступаем в Кубанскую область.

Какой привольный, богатый и, по-видимому, сытый край эта Кубанская область! Смотришь в окно и не налюбуешься. На жатных нивах сложены из снопов целые дворцы; на полях гуляет рослый, кормленный и холеный скот; земля, приготовленная под посевы, – черная, жирная, пряник, а не земля! – воскликнул бы в завистливом восторге наш рязанский или смоленский мужик, обиженный на этот счет матерью-природой; большие станицы, разбросанные широко по сочным лощинам, окружены виноградниками. Лесу, правда, совсем нет, так что заборы приходится здесь возводить из дикого камня, накладывая его плиткой на плитку.

За Тихорецкой начинает чувствоваться близость Кавказа. На станциях то и дело видишь стройных, бородатых, смуглых людей в черкесах и папахах, с кинжалами у пояса. В буфетах подают уже не зельтерскую воду, а нарзан в небольших бутылочках, причем услуживает вам восточный человек во фраке, глядящий на вас своими большими, красивыми и печальными глазами. Пассажиры – большей частью армяне, грузины и греки, не считая преобладающего элемента – местных казаков. Как только сойдутся и разговорятся два-три человека, сейчас же сводят речь на вино; это теперь – в разгар виноградного сбора – самый жгучий вопрос. Повсюду на станциях продается окрестными казачками виноград в баснословном количестве и поразительно дешево: пять копеек два фунта.

Едем мы с самой «тихой скоростью», какую только можно себе представить, так что в Новороссийск приходим без всяких уважительных причин с опозданием на два с половиной часа и на станциях стоим страшно долго. Однако никто этим не возмущается и не высказывает по этому поводу гражданского негодования. Вероятно, каждый поступает так, как и я. Умножает количество минут, объявленных кондуктором, на три и успокаивается.

Зато вагоны на Владикавказской железной дороге – прекрасные – длинные-предлинные, пульмановского типа, чистенькие и поместительные. Сидишь и прислушиваешься к ритмическому ходу поезда, покачиваешься на диване плавно и легко, точно в люльке.

Напротив меня сидят рядом: офицер Черноморского казачьего войска и молодой, благооб-

разный батюшка в новой рясе; рядом со мною поместился приземистый, усатый господин в охотничьем костюме, с двумя ружьями в чехлах и с черной сигарой, необыкновенно скверного запаха, во рту. По другую сторону прохода на коротких боковых местах расположилось двое грузин: один лет двадцати трех – двадцати пяти, красивый, задумчивый и молчаливый, другой – пожилой, толстый, с веселыми маленькими глазами и красным носом, общительный и бывалый человек.

Пожилый грузин достает из-под дивана бурдюк и цедит из него вино в большую бутылку через самодельную бумажную воронку. Обхватив нежно и бережно левой рукой бурдюк, он медленно наклоняет его сосочек вниз и, поджав губы и наморщив лоб, напряженно следит за тонкой желтой струйкой, звучно текущей в бутылку. Он священнодействует, и весь вагон с живейшим любопытством следит за его руками.

Наполнив две бутылки, он достает из корзинки провизию: жестянку с зернистой икрой, сыр и вареную курицу. При этом он скороговоркой объясняет нам с веселой и лукавой улыбкой, показывая на своего товарища:

– Он еще молодой. Он еще не знает, как ездить по железной дороге. А я старый, я все знаю, я всегда с собой беру всякий хурда-мурда.

Закусив, они принимают за вино, пьют из одного стакана поочередно и с такой внушительной манерой, как будто бы исполняют какой-то важный, старинный обряд. Возьмет стакан, посмотрит долго и серьезно в лицо товарищу, проговорит какую-то длинную грузинскую фразу, должно быть, приветствие, и выпьет. Господин в охотничьем костюме спросил, не кахетинское ли вино они пьют.

Пожилый грузин тотчас же вновь наполнил стакан и протянул его охотнику.

– Пожалуйста, попробуй... пожалуйста, пожалуйста.

Охотник, улыбаясь, отказывался, но грузин с такой искренней и наивной настойчивостью твердил свое «пожалуйста, пожалуйста», что охотник сдался. Потом грузин обратился со стаканом к офицеру. Офицер, по-видимому хорошо знакомый с местными обычаями, прежде чем пить, также пристально посмотрел в лицо грузину и сказал: «Алла верды!», на что последний радостно и торопливо произнес: «Якши-ол! якши-ол!..» Та же участь не минула и меня с батюшкой. Вино оказалось превосходным: крепким, нежным, с удивительно тонким букетом.

После этого, конечно, завязался общий разговор. Больше всех болтал, жестикулируя, смеясь и забавно, но не неприятно коверкая русскую речь, пожилой грузин. В какие-нибудь три минуты мы успели узнать, что наш собеседник торгует «шкуркам с барашкам», что он едет с нижегородской ярмарки, на которой был в своей жизни уже двадцать один раз, что «шкуркам» в этом году торговали необыкновенно бойко благодаря большому спросу на тулупы для войск, отправляемых в Китай, что и вообще ярмарка была лучше среднего и т. д. Затем он как-то особенно ловко, хотя и не совсем кстати, перескочил на свою благословенную Грузию: какие там богатые виноградники, какой скот, какие леса и горы, какая чистота семейных нравов!..

Батюшка посмотрел в окно, задумчиво погладил бороду и вздохнул.

– Вот тоже была страна, где текли молоко и мед, – произнес он, ни к кому, в частности, не обращаясь.

– Вы это про что, собственно, батюшка? – спросил охотник.

– Да про весь вообще Северный Кавказ. Старики и теперь вспоминают, как здесь жилось при черкесах. Вы поглядите-ка в окно. Голо, пусто, хоть шаром покати. А прежде здесь вековые леса росли, фазаны, дикие кабаны, олени водились, поля каналами орошались – мало ли чего не было... Когда после бунта выселились черкесы в Малую Азию, а сюда пришли на их земли неведомые, хищные люди, все и пошло, и пошло вверх ногами. Смотреть жалко-с.

– А вы слышали когда-нибудь, батюшка, как отсюда черкесов греки перевозили?

– спросил господин в охотничьем костюме.

Батюшка поморщился.

– Слышал я что-то... Да бог знает, правду ли говорят, – произнес он уклончиво и неохотно.

– Нет, отчего же?.. Очень даже правдоподобно. Вы, господа, слышали эту историю? – продолжал охотник, обращаясь ко мне и к офицеру. – Ужасная история! Когда черкесы выразили желание переселиться в Малую Азию, то для них, видите ли, зафрахтовывались греческие фелюги. Вот таким манером какой-нибудь этакий греческий пиндос наберет полное судно черкесов с женщинами и ребятишками и везет. Черкесы, конечно, народ горный, верховой, качка для них

хуже смерти. Как выехали в открытое море, так все пластом и полегли на палубе. А народ на этих шхунах и фелюгах известно какой – сброд самый отчаянный, головорез на головорезе. Даже и в теперешнее время придет иной раз в Новороссийск такое суденышко, так на экипаж и посмотреть-то жутко – прямо разбойники. Сразу видно, что и буря ему никакая не страшна и человеческая жизнь не стоит ни копейки. Да и тут еще, вдобавок, за погибшего черкеса никакой ответственности нельзя было ожидать, потому что, с одной стороны, он от России как бы отрекся, а с другой стороны, не успел еще принять турецкого подданства... Ну вот, и погибали черкесы целыми сотнями на море. Конечно, обирали их раньше... Многие грекосы с тех самых пор поразжились. Теперь миллионеры... Да на что вам лучше: в Гелендушке и по сие время живет грек Попандопуло. Поговорите-ка с ним, он вам все это подробно изложит – как и как, потому что сам грузил черкесов на фелюги... И старики тамошние тоже вам подтвердят.

– Ну уж это вы, кажется, из веселых рассказов, – недоверчиво покачал головою офицер. – Что-то уж очень необыкновенно...

Пожилой грузин вдруг заволновался:

– Зачем веселый? Никакой нет веселый, одна настоящая правда. У нас в городе до сих пор старик живет, его тогда в Трапезунд продали, он все это хорошо помнит.

И грузин, горячась и размахивая руками, рассказывает очень колоритно о том, как его знакомого старика черкеса, в то время бывшего еще десятилетним мальчиком, родители привезли в Трапезунд. Поселиться черкесам было негде, землей их не наделяли, поневоле приходилось бедствовать и голодать. Некоторые семьи, для того чтобы просуществовать неделю-другую, продавали своих детей в рабство. Не избег этой участи и герой рассказа. Его продали оптовому торговцу невольниками за поразительную цену – за один хлеб и девять фунтов зеленого лука. И счастью, мальчик понравился своему новому хозяину – человеку, кстати, бездетному, – и тот, продав весь свой «гурт» другому купцу, выпросил себе мальчика в качестве «бешкеша», вырастил его в своем доме, образовал и поставил на хорошую дорогу. Теперь старик – богатый человек, переехал из Турции на Кавказ и живет там в большом почете от всех знакомых и незнакомых.

– Эта история правдоподобная, – веско заметил священник.

– Значит, здесь не осталось ни одного черкеса? – спросил я.

– Остаться-то остались, – ответил господин в охотничьем костюме, – да что же это за черкесы? Нанимаются сторожами на фермы и заводы... голытьба, безземельные... Даже в хваленую их верность хозяевам что-то перестают нынче верить. А настоящего, прежнего черкеса теперь и на лекарство не найдешь... Однако вот и горы показались, значит, подъезжаем к Северской. Надо собираться.

Я подошел к окну. На горизонте высился темный волнистый хребет; из-за его ложбин поднимались вершины другой более дальней цепи, окруженные фиолетовой дымкой, и наконец самые отдаленные горы белели чуть заметно на заднем плане, точно осевшие вниз легкие облака. Вся местность у подножия гор, куда только мог хватить глаз, была усеяна мелкими круглыми кустиками, похожими издали, если прищурить глаза, на большое разбежавшееся стадо зеленых овец. Странное и сложное чувство испытываешь, когда видишь горы в первый раз. Они и волнуют, и притягивают к себе, но в то же время вам кажется, что вы где-то уже видели все это раньше, не то во сне, не то в детстве на картинках, не то в каких-то смутных, таинственных, давно забытых грезах.

Горы тянутся по одну сторону полотна; по другую – те же поля, с пасущимся на них скотом, станицы, хлеб, сложенный в форме домов, и ветряные мельницы. Целые десятки верст подряд вы видите – налево горы, направо – плодородную равнину. Но понемногу горы начинают забегать вперед, вот они уже высятся впереди поезда, вот показались и с правой стороны, – еще несколько поворотов – и вы мчитесь в глубокой тенистой лощине, между двумя крутыми скатами, густо обросшими мелким кудрявым кустарником.

Перед станцией «Тоннельной» в вагон входит младший кондуктор и зажигает в фонарях свечи. Сейчас поезд должен войти в один из самых длиннейших тоннелей в России.

Начиная от «Тоннельной», я высовываюсь в окно и с любопытством заглядываю вперед. Пройдя с версту, поезд замедляет ход, и я вижу вдали кусочек каменной арки, врезающейся в зеленую гору. Эта арка растет, растет, я уже вижу за ней темную стену каменного свода и... наш поезд медленно поглощается непроницаемым мраком. Холодный сквозняк вместе с запахом сы-

рости и спертого, тяжелого воздуха врывается в вагон. Секунды тянутся мучительно, бесконечно долго. Стоять, высунувшись в окно, и глядеть вперед становится тяжело и жутко, жутко до какого-то острого, болезненного, физического ужаса. Так и кажется, что эта сырая, черная бездна будет продолжаться нескончаемо, что она похоронит поезд в своих холодных недрах. Мелькает вдаль, медленно вырастая, слабая светлая точка, и вы уже собираетесь вздохнуть с облегчением, глубоко, во всю грудь... Нет! это только жалкий, бледно-зеленый железнодорожный фонарик. Поезд проходит мимо него, гроыхая и сотрясаясь на стыках рельс, и опять та же страшная темнота и сырой, затхлый воздух. Вот, наконец, и выход. Вы заметили его сначала в виде длинной, тонкой, как лезвие ножа, светлой щели. С радостью замечаете вы, как шире и шире становится эта щель, как понемногу начинают освещаться тусклым блеском вагонные стенки и влажные темные плиты свода, и вдруг, вместе с торжествующим, пронзительным свистом локомотива, вторгается в вагон яркое сиянье светлого осеннего дня, запах полевых трав и голубое, синеющее небо!.. Целых семь минут мы находились под нависшей над нашими головами горой в несколько миллионов пудов весом.

За тоннелем горы идут по обеим сторонам полотна, которое, как змея, вьется между живописными скалами вдоль глубоких лощин. Склоны гор, точно пестрым ковром, густо одеты кустарником. Среди желтых и зеленых тонов резко выделяются там и сям красные пятна. Это знаменитое кавказское дерево «скампия», по-русски «негной дерево». Нижние части гор обнажены от земли и прослоены пластами правильных серовато-белых плиток замечательного в своем роде камня, который носит местное название «трескун». Назвали его так потому, что, будучи извлечен из земли, он обладает крепостью мрамора, но, пролежав несколько дней на воздухе, быстро выветривается, трескается и обращается в порошок. Все земли в окрестности, годные под виноградники, обыкновенно на целый аршин, а то и больше, покрыты трескуном, и для того, чтобы культивировать в этих местах почву, необходимо раньше произвести плантаж, то есть разрыхлить кирками породу и перевернуть ее сверху вниз.

Через несколько верст мы ныряем в другой тоннель, на этот раз, к счастью, не более как на минуту или полторы, и, когда выскакиваем из него, перед нами разворачивается спокойное, глубоко-синее море и вдаль круглая прекрасная бухта Новороссийска, как кольцом окаймленная со всех сторон горами. Далеко вправо еле-еле мерещится в тумане Анапа. Показываются окраинные домики Новороссийска, величаво проходят мимо нас огромные башни знаменитого элеватора, и мы останавливаемся. Вокзал маленький, темненький и грязненький. Подниматься нужно в него по длинной лестнице, которая оканчивается площадкой. Налево от этой площадки двери вокзала, а направо большой парапет, легко повиснувший в воздухе. С парапета открывается чудный вид на бухту и на Дообский маяк, а на столбе, поддерживающем его крышу, красуется надпись: «Пассажирам III класса вход на террасу строго воспрещается». Очевидно, новороссийские инженеры боятся, что серая публика испачкает им этот очаровательный ландшафт, один из самых живописных в России.

1900

Царицынское пожарище

(Письмо с Волги)

Подъезжаем к Царицыну по Юго-Западной железной дороге. В вагоне только и разговору, что о недавнем пожаре. Более всех, по-видимому, осведомленным оказывается пожилой господин с приятным загорелым лицом и с неторопливой, сдержанной речью, сильно отдающей поволжским оканьем. При дальнейшей беседе выясняется, что он лесопромышленник – из средних по годовому обороту – и тоже потерпел от огня.

– Вот теперь во всех газетах пишут о нашем пожаре. А ведь если сказать по правде, так мы, почитай, две недели горим, не переставая. Каждый день горим. Залетит искра куда-нибудь в сложенную клеть и тлеет там бог знает сколько времени. А потом вдруг и пойдет полыхать.

– Вам известно, как начался пожар? – спрашивается кто-то из слушателей.

– Трудно сказать. Вернее всего, заронил кто-нибудь огонь по нечаянности. Знаю только,

что занялось сначала на берегу, а потом огонь перебросился на беляну, груженную лесом. Беляна эта была купца Соплякова, и лесу на ней было навалено – как бы вам сказать? – пудов тысяч на четыреста или пятьсот. Дерево сухое, вспыхнуло, как бумага, – можете себе представить, какой костер получился! Через несколько минут перегорели канаты (у нас на лесных судах канаты большей частью мочальные), и беляну понесло течением вниз. А внизу у этого же берега стояли другие белянки и баржи, тоже с лесом, купцов Максимова, Захарова и прочих. Когда владельцы увидели, что на них несется такое пожарище, то уж сами приказали у своих судов рубить канаты: рассчитывали, что снесет их лес вниз раньше, чем подойдет горящая беляна. Так оно бы и вышло, да случилась беда. Ветер в эту ночь был не вдоль реки, а поперек и прибил все суда, одно за другим, к Ельцинской мелье. (Эта мель всегда образовывается на правом берегу от илу и песку, который наносится весной из узкой, но бурливой Ельнинской балки.) Туда же прибило и беляну Соплякова. Все суда загорелись почти одновременно. Такая сила была огня, что в городе стало светло, точно днем.

А тут случилось и еще несчастье. Беляны, по мере того как горели, становились все легче и легче, подымались из воды все выше, и одна за другой, благодаря течению, стали переваливать через мель. Перевалили и пошли о берег толкаться... Весь берег запылал. Все лесные пристани, склады, лесопилки, беляны, баржи, расшивы – все затрещало. А беляны плывут да плывут по течению, и ветром их около берега трет. Село Елынское загорелось, за ним Купоросное. Оба выгорели, что называется, дотла. В Ельцинском только церковь и сохранилась, а в Купоросном школа. Мы так уж и решили, что от самого Царицына ничего не останется. Потому что как этакая штука горит, – ведь в беляне-то лесу больше чем на полтысячи вагонов, – то от нее и в ста сажнях не убережешься. Однако, батюшки, господь небесный смилостивился... Пронесло мимо.

Рассказчик снял шапку и истово, с глубоким вздохом перекрестился. Потом вынул из шапки платок и медленно вытер лицо.

– Пишут, что убытку около десяти миллионов, – сказал я.

– Точно сказать невозможно-с. Мы так считаем, что миллионов на тринадцать набегит. Да ведь какие убытки-то! По миллиону и больше. О таких потерях, какую я, например, понес, даже и упоминать совестно.

– Значит, и вы тоже пострадали?

– Ну, моя беда пустяки: десять – двенадцать тысяч. Сравнительно с другими говорить не стоит. Вот Максимов больше чем на полтора миллиона потерял. А застрахован у него был один только лесопильный завод, в ста сорока шести тысячах.

– Почему же не был застрахован лес?

– Леса у нас ни одно общество не принимает. Да и невозможно-с. Как подъедем к Царицыну, вы сами увидите, что у нас на пристани творится. Клеть возле клетки стоят так тесно, что насилу пролезешь, а между ними древесный сор, кора, мочалка. И тут же увидите, пьяный валяется, и трубка у него в зубах. Безобразия-с.

– Говорили что-то о поджогах?..

– Правда, что говорили, но улики веских нет. Один только случай был на днях несколько подозрительный. Рабочие сложили лес в вагоны и ушли. А через минут двадцать в вагонах загорелось точно само собой. Но по-настоящему ничего еще нельзя сказать.

Он помолчал немного и продолжал веско и с убеждением:

– Главная причина – это наша общая халатность и беспорядок. Надзора нет никакого: ни полицейского, ни городского... Предупредительных мер на случай пожара тоже не существует. Нанимают, правда, лесопромышленники каких-то ночных сторожей из инвалидов, но от них нет никакого толку. Каждый из нас, из купцов, признает, что недурно было бы завести то и то: сторожей нанять надежных и трезвых, помпы держать про всякий случай, пожарные пароходы, кадушки с водой между клетями расставить, организовать береговую полицию, строго преследовать курение, ну и так далее. Но только спеться никак не можем. Во-первых, конкуренты, значит, – враги, а во-вторых – лень, халатность, отсутствие почина. Живем спустя рукава. И опять-таки беспорядок и безобразие-с. Выгружают лес как попало, где пришлось. Здесь, скажем, моя клеть, а рядом другая, а через тридцать сажен опять моя и еще в пятом и десятом месте. Вразброс. Ну, вот меня и берет досада: зачем же я буду для соседа стараться? Оттого и для себя-то никто ничего не заводит... Впрочем, надо надеяться, что авось теперь-то, после беды, за ум

возьмутся.

– Вероятно, пожар не обошелся без человеческих жертв?

– К несчастью, да. Дело ведь ночное, внезапное. Теперь, впрочем, ничего еще пока не выяснено. Да и трудно: уж очень у нас много работает на пристанях пришлого люда. А что без крова остались многие, обнищали за одну ночь – это уж совсем верно. Слава богу, в городе теперь хлопчут об организации хоть временной помощи погорельцам...

Поезд круто поворачивает и идет вдоль по нагорному берегу Волги. Внизу, куда только хватает глаз, и влево и вправо, весь берег сплошь завален бревнами, досками, дровами. И только по огромности опустевшей площади можно судить о необычайных размерах пожара. Сгорело все, до последней соринки, черная зола, покрывающая пространство между необозримою сетью рельсов, одна напоминает о том, что несколько дней тому назад здесь кипела работа и возвышались тысячи штабелей прекрасного строевого леса... А на оставшихся не тронутыми огнем местах все так же полагается на волю божью и так же беззаботно покуривает «цыгарку» свою стихийный русский человек.

29 июня <1901>

Царицын

События в Севастополе

Ночь 15 ноября

Не буду говорить о подробностях, предшествовавших тому костру из человеческого мяса, которым адмирал Чухнин увековечил свое имя во всемирной истории. Они известны из газет; вкратце: матросский митинг, выстрелы в Писаревского и одного пехотного офицера, отложение экипажей от армии, присяга и измена брестцев, Шмидт подымает на «Очакове» сигнал: «Командую Черноморским флотом», великолепно-безукоризненное поведение матросов по отношению к жителям Севастополя и, наконец, первые предательские выстрелы с батареей в баржу, подходившую к «Очакову» с провиантом. Но должен оговориться. Длинная, по-жандармски бессмысленная провокаторская статья о финале этой беспримерной трагедии, помещенная в «Крымском вестнике», набиралась и печаталась под взведенными курками ружей. Я не смею судить редактора г. Спиро за то, что в нем не хватило мужества предпочесть смерть насилию над словом. Для героизма есть тоже свои ступени. Но лучше бы он попросил авторов, адъютантов из штаба Чухнина, подписаться под этой статьею. Путь верный: подпись льстит авторскому самолюбию...

Мы в Балаклаве услышали первые звуки канонады часа в три-четыре пополудни. Сначала думали, что это – салюты в честь монарха или кого-то из его августейшей семьи. Но выстрелов было слишком много, более сорока. К тому же вскоре показались первые извозчики из Севастополя с колясками, наполненными людьми, одуревшими от ужаса. Говорили смутно и бестолково, что на «Очакове» пожар, что несколько судов потоплено, что из морских казарм стреляют из пулеметов. Мы вдвоем поехали в Севастополь на обратном извозчике. Это был единственный извозчик, согласившийся вернуться в город, объятый пламенем революции. Надо прибавить, однако, что там у него осталась семья. Вскоре стемнело. Нам навстречу беспрерывно ехали коляски, дроги, телеги. Чувствовалась уже за пятнадцать верст паника. На экипажах навалена всяческая рухлядь, собранная кое-как, впопыхах. В этом было много жуткого. Точно кошмарный обрывок из картины переселения народов, гонимых страхом смерти. Сцеплялись колеса с колесами, люди ругались с озлоблением, со стучащими зубами. Ни у кого не было огней. Наступила ночь. Справа от нас, над горизонтом, по черному небу двигались беспрерывно прямые белые лучи прожекторов, точно световые щупальцы.

Мы окликали, спрашивали. Ни один из беглецов не отозвался. Извозчики отвечали бессмысленно и неопределенно:

– А там пальба идет.

Или:

– Там все друг друга постреляли.

А один сказал с зловещей насмешкой:

– Поезжайте, поезжайте. Сами увидите.

Дорога к Севастополю идет в гору. Когда мы поднялись на нее, то увидели дым от огромного пожара. Весь город был залит электрическим светом прожекторов, и в этом мертвом, голубоватом свете трубы дыма казались белыми, круглыми и неподвижными. Город точно вымер. Встречались только отряды солдат.

Когда при въезде, против казарм, поили лошадей, то узнали, что действительно горит «Очаков». Отправились на Приморский бульвар, расположенный вдоль бухты. Против ожидания, туда пускали свободно, чуть ли не предупредительно. Адмирал Чухнин хотел показать всему городу пример жестокой расправы с бунтовщиками. Это тот самый адмирал Чухнин, который некогда входил в иностранные порты с повешенными матросами, болтавшимися на ноке.

С Приморского бульвара – вид на узкую и длинную бухту, обнесенную каменным парапетом. Посредине бухты огромный костер, от которого слепнут глаза и вода кажется черной, как чернила. Три четверти гигантского крейсера – сплошное пламя. Остается целым только кусочек корабельного носа, и в него уперлись неподвижно лучами своих прожекторов «Ростислав», «Три святителя», «XII апостолов». Когда пламя пожара вспыхивает ярче, мы видим, как на бронированной башне крейсера, на круглом высоком балкончике, вдруг выделяются маленькие черные человеческие фигуры. До них полторы версты, но глаз видит их ясно.

Я должен говорить о себе. Мне приходилось в моей жизни видеть ужасные, потрясающие, отвратительные события. Некоторые из них я могу припомнить лишь с трудом. Но никогда, вероятно, до самой смерти, не забуду я этой черной воды и этого громадного пылающего здания, этого последнего слова техники, осужденного вместе с сотнями человеческих жизней на смерть сумасбродной волей одного человека. Нет, пусть никто не подумает, что адмирал Чухнин рисуется здесь в кровавом свете этого пожара, как демонический образ. Он просто чувствовал себя безнаказанным.

Великое спасибо Горькому за его статьи о мещанстве. Такие вещи помогают сразу определяться в событиях. Вдоль каменных парапетов Приморского бульвара густо стояли жадные до зрелищ мещане.

И это сказалось с беспощадной ясностью в тот момент, когда среди них раздался тревожный, взволнованный шепот:

– Да тише, вы! Там кричат!..

И стало тихо, до ужаса тихо. Тогда мы услышали, что оттуда, среди мрака и тишины ночи, несется протяжный высокий крик:

– Бра-а-тцы!..

И еще, и еще раз. Вспыхивали снопы пламени, и мы опять видели четкие черные фигуры людей. Стала лопаться раскаленная броня с ее стальными заклепками. Это было похоже на ряд частых выстрелов. Каждый раз при этом любопытные мещане бросались бежать. Но, успокоившись, возвращались снова.

Пришли солдаты, маленькие, серенькие, жалкие – литовский полк. В них не было никакой воинственности. Кто-то из нас сказал корявому солдатику:

– Ведь это, голубчик, люди горят!..

Но он глядел на огонь и лепетал трясущимися губами:

– Господи, боже мой, господи, боже мой.

И было в них во всех заметно темное, животное, испуганное влечение прижаться к кому-нибудь сильному, знающему, кто помог бы им разобраться в этом ужасе и крови.

И вот и к ним и к нам подходит офицер, большой, упитанный, жирный человек. В его тоне молодцеватость, но и что-то заискивающее. Это все происходит среди тревожной ночи, освещенной электрическим светом прожекторов и пламенем умирающего корабля.

– Это еще что-о, братцы! А вот когда дойдет до носа – там у них кройт-камера, это где порох сложен, – вот тогда здорово бабахнет!..

Но в ответ – ни обычной шутки, ни подобострастного слова. Солдаты повернулись к нему спиной.

А гигантский трехтрубный крейсер горит. И опять этот страшный, безвестный, далекий крик:

– Бра-а-тцы!..

И потом вдруг что-то ужасное, нелепое, что не выразишь на человеческом языке, крик внезапной боли, вопль живого горящего тела, короткий, пронзительный, сразу оборвавшийся крик. Это все оттуда. Тогда некоторые из нас кинулись на Графскую пристань к лодкам. И вот теперь-то я перехожу к героической жестокости адмирала Чухнина.

На Графской пристани, где обыкновенно сосредоточены несколько сотен частных и общественных яликов, стояли матросы, сборная команда с «Ростислава», «Трех святителей», «XII апостолов» – надежный сброд. На просьбу дать ялики для спасения людей, которым грозили огонь и вода, они отвечали гнусными ругательствами; начали стрелять. Им заранее приказано было прекратить всякую попытку к спасению бунтовщиков. Что бы ни писал потом адмирал Чухнин, падкий на литературу, – эта бессмысленная жестокость остается фактом, подтвердить который не откажутся, вероятно, сотни свидетелей.

А крейсер беззвучно горел, бросая кровавые пятна на черную воду. Больше криков уже не было, хотя мы еще видели людей на носу и на башне. Тут в толпе многое узналось. О том, что в начале пожара предлагали «Очакову» шлюпки, а что матросы отказались. О том, что по катеру с ранеными, отвалившему от «Очакова», стреляли картечью. Что бросавшихся вплавь расстреливали пулеметами. Что людей, карабкавшихся на берег, солдаты приканчивали штыками. Последнему я не верю: солдаты были слишком потрясены, чтобы сделать и эту подлость. Опять лопаются броневая обшивка. Больше не слышно криков. Душит бессильная злоба; сознание беспомощности, неудовлетворенная, невозможная месть. Мы уезжаем. Крейсер горит до утра.

По официальным сведениям – две или три жертвы. Хорошо пишет литературный адмирал Чухнин.

О травле против жидов, социал-демократов, которая поднялась на завтра и которая – это надо сказать без обиняков – исходит от победоносного блестящего русского офицерства, исходит вплоть до призыва к погрому, – скажу в следующем письме...

Настроение солдат подавленное. Хотелось бы думать – покаянное.

1905

Листригоны

I

Тишина

В конце октября или в начале ноября Балаклава – этот оригинальнейший уголок пестрой русской империи – начинает жить своеобразной жизнью. Дни еще теплы и по-осеннему ласковы, но по ночам стоят холода, и земля гулко звенит под ногами. Последние курортные гости потянулись в Севастополь со своими узлами, чемоданами, корзинами, баулами, золотушными детьми и декадентскими девицами. Как воспоминание о гостях, остались только виноградные ошкурки, которые, в видах своего драгоценного здоровья, разбросали больные повсюду – на набережной и по узким улицам – в противном изобилии, да еще тот бумажный сор в виде окурков, клочков писем и газет, что всегда остается после дачников.

И сразу в Балаклаве становится просторно, свежо, уютно и по-домашнему деловито, точно в комнатах после отъезда на шумевших, накуривших, насоривших непрошенных гостей. Выползает на улицу исконное, древнегреческое население, до сих пор прятавшееся по каким-то щелям и задним каморкам.

На набережной, поперек ее, во всю ширину, расстилаются сети. На грубых камнях мостовой они кажутся нежными и тонкими, как паутина, а рыбаки ползают по ним на четвереньках, подобно большим черным паукам, сплетающим разорванную воздушную западню. Другие сучат бечевку на белугу и на камбалу и для этого с серьезным, деловитым видом бегают взад и вперед по мостовой с веревкой через плечи, беспрерывно суча перед собой клубок ниток.

Атаманы баркасов оттачивают белужьи крючки – иступившиеся медные крючки, на которые, по рыбацкому поверью, рыба идет гораздо охотнее, чем на современные, английские, стальные. На той стороне залива конопатят, смолят и красят лодки, перевернутые вверх килем.

У каменных колодцев, где беспрерывно тонкой струйкой бежит и лепечет вода, подолгу, часами, судачат о своих маленьких хозяйских делах худые, темнолицые, большеглазые, длинно-

носые гречанки, так странно и трогательно похожие на изображение богородицы на старинных византийских иконах.

И все это совершается неторопливо, по-домашнему, по-соседски, с вековечной привычной ловкостью и красотой, под нежарким осенним солнцем на берегах синего, веселого залива, под ясным осенним небом, которое спокойно лежит над развалиной покатых плешивых гор, окаймляющих залив.

О дачниках нет и помину. Их точно и не было. Два-три хороших дождя – и смыта с улиц последняя память о них. И все это бестолковое и суетливое лето с духовой музыкой по вечерам, и с пылью от дамских юбок, и с жалким флиртом, и спорами на политические темы – все становится далеким и забытым сном. Весь интерес рыбацкого поселка теперь сосредоточен только на рыбе.

В кофейнях у Ивана Юрьича и у Ивана Адамовича под стук костяшек домино рыбаки собираются в артели; избирается атаман. Разговор идет о паях, о половинках паев, о сетях, о крючках, о наживке, о макрели, о кефали, о лобане, о камсе и султанке, о камбале, белуге и морском петухе. В девять часов весь город погружается в глубокий сон.

Нигде во всей России, – а я порядочно ее изъездил по всем направлениям, – нигде я не слушал такой глубокой, полной, совершенной тишины, как в Балаклаве.

Выходишь на балкон – и весь поглощаешься мраком и молчанием. Черное небо, черная вода в заливе, черные горы. Вода так густа, так тяжела и так спокойна, что звезды отражаются в ней, не рябясь и не мигая. Тишина не нарушается ни одним звуком человеческого жилья. Изредка, раз в минуту, едва расслышишь, как хлюпнет маленькая волна о камень набережной. И этот одинокий, мелодичный звук еще больше углубляет, еще больше настораживает тишину. Слышишь, как размеренными толчками шумит кровь у тебя в ушах. Скрипнула лодка на своем канате. И опять тихо. Чувствуешь, как ночь и молчание слились в одном черном объятии.

Гляжу налево, туда, где узкое горло залива исчезает, сузившись между двумя горами.

Там лежит длинная, пологая гора, увенчанная старыми развалинами. Если приглядишься внимательно, то ясно увидишь всю ее, подобную сказочному гигантскому чудовищу, которое, припав грудью к заливу и глубоко всунув в воду свою темную морду с настороженным ухом, жадно пьет и не может напиться.

На том месте, где у чудовища должен приходиться глаз, светится крошечной красной точкой фонарь таможенного кордона. Я знаю этот фонарь, я сотни раз проходил мимо него, прикасался к нему рукой. Но в странной тишине и в глубокой черноте этой осенней ночи я все яснее вижу и спину и морду древнего чудовища, и я чувствую, что его хитрый и злобный маленький раскаленный глаз следит за мною с затаенным чувством ненависти.

В уме моем быстро проносится стих Гомера об узкогорлой черноморской бухте, в которой Одиссей видел кровожадных листригонов. Я думаю также о предприимчивых, гибких, красивых генуэзцах, воздвигавших здесь, на челе горы, свои колоссальные крепостные сооружения. Думаю также о том, как однажды бурной зимней ночью разбилась о грудь старого чудовища целая английская флотилия вместе с гордым шеголеватым кораблем «Black Prince» [*«Черный принц» (англ.)*], который теперь покоится на морском дне, вот здесь, совсем близко около меня, со своими миллионами золотых слитков и сотнями жизней.

Старое чудовище в полусне щурит на меня свой маленький, острый, красный глаз. Оно представляется мне теперь старым-старым, забытым божеством, которое в этой черной тишине грезит своими тысячелетними снами. И чувство странной неловкости овладевает мною.

Раздаются замедленные, ленивые шаги ночного сторожа, и я различаю не только каждый удар его кованых, тяжелых рыбацких сапогов о камни тротуара, но слышу также, как между двумя шагами он чиркает каблуками. Так ясны эти звуки среди ночной тиши, что мне кажется, будто я иду вместе с ним, хотя до него – я знаю наверное – более целой версты. Но вот он завернул куда-то вбок, в мощный переулочек, или, может быть, присел на скамейку: шаги его смолкли. Тишина. Мрак.

II

Макрель

Идет осень. Вода холодеет. Пока ловится только маленькая рыба в мережки, в эти большие

вазы из сетки, которые прямо с лодки сбрасываются на дно. Но вот раздается слух о том, что Юра Паратино оснастил свой баркас и отправил его на место между мысом Айя и Ласпи, туда, где стоит его макрельный завод.

Конечно, Юра Паратино – не германский император, не знаменитый бас, не модный писатель, не исполнительница цыганских романсов, но когда я думаю о том, каким весом и уважением окружено его имя на всем побережье Черного моря, – я с удовольствием и с гордостью вспоминаю его дружбу ко мне.

Юра Паратино вот каков: это невысокий, крепкий, просоленный и просмоленный грек, лет сорока. У него бычачья шея, темный цвет лица, курчавые черные волосы, усы, бритый подбородок квадратной формы, с животным угибом посередине, – подбородок, говорящий о страшной воле и большой жестокости, тонкие, твердые, энергично опускающиеся углами вниз губы. Нет ни одного человека среди рыбаков ловчее, хитрее, сильнее и смелее Юры Паратино. Никто еще не мог перепить Юру, и никто не видал его пьяным. Никто не сравнится с Юрой удачливостью – даже сам знаменитый Федор из Олеиза.

Ни в ком так сильно не развито, как в нем, то специально морское рыбацье равнодушие к несправедливым ударам судьбы, которое так высоко ценится этими солеными людьми.

Когда Юре говорят о том, что буря порвала его снасти или что его баркас, наполненный доверху дорогой рыбой, захлестнуло волной и он пошел ко дну, Юра только заметит вскользь:

– А туда его, к чертовой матери! – и тотчас же точно забудет об этом.

Про Юру рыбаки говорят так:

– Еще макрель только думает из Керчи идти сюда, а уже Юра знает, где поставить завод.

Завод – это сделанная из сети западня в десять сажен длиной и саженой пять в ширину. Подробности мало кому интересны. Достаточно только сказать, что рыба, идущая ночью большой массой вдоль берега, попадает, благодаря наклону сети, в эту западню и выбраться оттуда уже не может без помощи рыбаков, которые поднимают завод из воды и выпрастывают рыбу в свои баркасы. Важно только вовремя заметить тот момент, когда вода на поверхности завода начнет кипеть, как каша в котле. Если упустить этот момент, рыба прорвет сеть и уйдет.

И вот, когда таинственное предчувствие уведомило Юру о рыбьих намерениях, вся Балаклава переживает несколько тревожных, томительно напряженных дней. Дежурные мальчишки день и ночь следят с высоты гор за заводами, баркасы держатся наготове. Из Севастополя приехали скупщики рыбы. Местный завод консервов приготовляет сараи для огромных партий.

Однажды ранним утром повсюду – по домам, по кофейным, по улицам разносится, как молния, слух:

– Рыба пошла, рыба идет! Макрель зашла в заводы к Ивану Егоровичу, к Коте, к Христо, к Спиру и к Капитанаки. И уж конечно, к Юре Паратино.

Все артели уходят на своих баркасах в море.

Остальные жители поголовно на берегу: старики, женщины, дети, и оба толстых трактирщика, и седой кофейщик Иван Адамович, и аптекарь, занятой человек, прибежавший впопыхах на минутку, и добродушный фельдшер Евсей Маркович, и оба местных доктора.

Особенно важно то обстоятельство, что первый баркас, пришедший в залив, продает свою добычу по самой дорогой цене, – таким образом, для ожидающих на берегу соединяются вместе и интерес, и спорт, и самолюбие, и расчет.

Наконец в том месте, где горло бухты сужается за горами, показывается, круто огибая берег, первая лодка.

– Это Юра.

– Нет, Коля.

– Конечно, это Генали.

У рыбаков есть свой особенный шик. Когда улов особенно богат, надо не войти в залив, а прямо влететь на веслах, и трое гребцов мерно и часто, все как один, напрягая спину и мышцы рук, нагнув сильно шеи, почти запрокидываясь назад, заставляют лодку быстрыми, короткими толчками мчаться по тихой глади залива. Атаман, лицом к нам, гребет стоя; он руководит направлением баркаса.

Конечно, это Юра Паратино!

До самых бортов лодка наполнена белой, серебряной рыбой, так что ноги гребцов лежат на ней вытянутыми прямо и попирают ее. Небрежно, на ходу, в то время когда гребцы почти еще не

замедляют разгона лодки, Юра соскакивает на деревянную пристань.

Тотчас начинается торг со скупщиками.

– Тридцать! – говорит Юра и хлопает с размаху о ладонь длинной костлявой руки высокого грека.

Это значит, что он хочет отдать рыбу по тридцать рублей за тысячу.

– Пятнадцать! – кричит грек и, в свою очередь, высвободив руку из-под низу, хлопает Юру по ладони.

– Двадцать восемь!

– Восемнадцать!

Хлоп-хлоп...

– Двадцать шесть!

– Двадцать!

– Двадцать пять! – говорит хрипло Юра. – И у меня там еще идет один баркас.

А в это время из-за горла бухты показывается еще один баркас, другой, третий, еще два сразу. Они стараются перегнать друг друга, потому что цены на рыбу все падают и падают. Через полчаса за тысячу уже платят пятнадцать рублей, через час – десять и, наконец, пять и даже три рубля.

К вечеру вся Балаклава нестерпимо воняет рыбой. В каждом доме жарится или маринуется скумбрия. Широкие устья печей в булочных заставлены глиняной черепицей, на которой рыба жарится в собственном соку. Это называется: макрель на шкаре – самое изысканное кушанье местных гастрономов. И все кофейные и трактиры наполнены дымом и запахом жареной рыбы.

А Юра Паратино – самый широкий человек во всей Балаклаве – заходит в кофейную, где сгрудились в табачном дыму и рыбьем чаду все балаклавские рыбаки, и, покрывая общий гам, кричит повелительно кофейщику:

– Всем по чашке кофе!

Момент всеобщего молчания, изумления и восторга.

– С сахаром или без сахара? – спрашивает почтительно хозяин кофейни, огромный, черномазый Иван Юрьич.

Юра в продолжение одной секунды колеблется: чашка кофе стоит три копейки, а с сахаром пять... Но он чужд мелочности. Сегодня последний пайщик на его баркасе заработал не меньше десяти рублей. И он бросает пренебрежительно:

– С сахаром. И музыку!..

Появляется музыка: кларнет и бубен. Они бубнят и дудят до самой поздней ночи однообразные, унылые татарские песни. На столах появляется молодое вино – розовое вино, пахнущее свежераздавленным виноградом; от него страшно скоро пьянеешь и на другой день болит голова.

А на пристани в это время до поздней ночи разгружаются последние баркасы. Присев на корточки в лодке, двое или трое греков быстро, с привычной ловкостью хватают правой рукой две, а левой три рыбы и швыряют их в корзину, ведя точный, скорый, ни на секунду не прекращающийся счет.

И на другой день еще приходят баркасы с моря.

Кажется, вся Балаклава переполнилась рыбой.

Ленивые, объевшиеся рыбой коты с распухнувшими животами валяются поперек тротуаров, и когда их толкнешь ногой, то они нехотя приоткрывают один глаз и опять засыпают. И домашние гуси, тоже сонные, качаются посередине залива, и из клювов у них торчат хвосты недоеденной рыбы.

В воздухе еще много дней стоит крепкий запах свежей рыбы и чадный запах жареной рыбы. И легкой, клейкой рыбьей чешуей осыпаны деревянные пристани, и камни мостовой, и руки и платья счастливых хозяек, и синие воды залива, лениво колыхнувшегося под осенним солнцем.

III Воровство

Вечер. Мы сидим в кофейне Ивана Юрьича, освещенной двумя висячими лампами «молния». Густо накурено. Все столики заняты. Кое-кто играет в домино, другие в карты, третьи

пьют кофе, иные просто, так себе, сидят в тепле и свете, перекидываясь разговорами и замечаниями. Длинная, ленивая, уютная, приятная вечерняя скука овладела всей кофейной.

Понемногу мы затеваем довольно странную игру, которой увлекаются все рыбаки. Несмотря на скромность, должен сознаться, что честь изобретения этой игры принадлежит мне. Она состоит в том, что поочередно каждому из участников завязываются глаза платком, завязываются плотно, морским узлом, потом на голову ему накидывается куртка, и затем двое других игроков, взяв его под руки, водят по всем углам кофейни, несколько раз переворачивают на месте вокруг самого себя, выводят на двор, опять приводят в кофейню и опять водят его между столами, всячески стараясь запутать его. Когда, по общему мнению, испытуемый достаточно сбит с толку, его останавливают и спрашивают:

– Показывай, где север?

Каждый подвергается такому экзамену по три раза, и тот, у кого способность ориентироваться оказалась хуже, чем у других, ставит всем остальным по чашке кофе или соответствующее количество полубутылок молодого вина. Надо сказать, что в большинстве случаев проигрываю я. Но Юра Паратино показывает всегда на N с точностью магнитной стрелки. Этаким зверь!

Но вдруг я невольно оборачиваюсь назад и замечаю, что Христо Амбарзаки подзывает меня к себе глазами. Он не один, с ним сидит мой атаман и учитель Яни.

Я подхожу. Христо для виду требует домино, и в то время когда мы притворяемся, что играем, он, гремя костяшками, говорит вполголоса:

– Берите ваши дифаны и вместе с Яни приходите тихонько к пристани. Бухта вся полна кефалью, как банка маслинами. Это ее загнали свиньи.

Дифаны – это очень тонкие сети, в сажень вышиной, сажень шестьдесят длины. Они о трех полотнищах. Два крайние с широкими ячейками, среднее с узкими. Маленькая скумбрия пройдет сквозь широкие стены, но запутается во внутренних; наоборот, большая и крупная кефаль или лобан, который только стукнулся бы мордой о среднюю стену и повернулся бы назад, запутывается в широких наружных ячейках. Только у меня одного в Балаклаве есть такие сети.

Потихоньку, избегая встретиться с кем-либо, мы выносим вместе с Яни сети на берег. Ночь так темпа, что мы с трудом различаем Христо, который ждет уже нас в лодке. Какое-то фырканье, хрюканье, тяжелые вздохи слышатся в заливе. Эти звуки производят дельфины, или морские свиньи, как их называют рыбаки. Многотысячную, громадную стаю рыбы они загнали в узкую бухту и теперь носятся по заливу, беспощадно пожирая ее на ходу.

То, что мы сейчас собираемся сделать, – без сомнения, преступление. По своеобразному старинному обычаю, позволяется ловить в бухте рыбу только на удочку и в мережки. Лишь однажды в год, и то не больше как в продолжение трех дней, ловят ее всей Балаклавой в общественные сети. Это – неписанный закон, своего рода историческое рыбацье табу.

Но ночь так черна, вздохи и хрюканье дельфинов так возбуждают страстное охотничье любопытство, что, подавив в себе невольный вздох раскаяния, я осторожно прыгаю в лодку, и в то время как Христо беззвучно гребет, я помогаю Яни приводить сети в порядок. Он перебирает нижний край, отягощенный большими свинцовыми грузилами, а я быстро и враз с ним передаю ему верхний край, оснащенный пробковыми поплавками.

Но чудесное, никогда не виданное зрелище вдруг очаровывает меня. Где-то невдалеке, у левого борта, раздается хrapенье дельфина, и я внезапно вижу, как вокруг лодки и под лодкой со страшной быстротой проносятся множество извилистых серебристых струек, похожих на следы тающего фейерверка. Это бежат сотни и тысячи испуганных рыб, спасающихся от преследования прожорливого хищника. Тут я замечаю, что все море горит огнями. На гребнях маленьких, чуть плещущих волн играют голубые драгоценные камни. В тех местах, где весла трогают воду, загораются волшебным блеском глубокие блестящие полосы. Я прикасаюсь к воде рукой, и когда вынимаю ее обратно, то горсть светящихся бриллиантов падает вниз, и на моих пальцах долго горят нежные синеватые фосфорические огоньки. Сегодня – одна из тех волшебных ночей, про которые рыбаки говорят:

– Море горит!..

Другой косяк рыбы со страшной быстротой проносится под лодкой, бороздя воду короткими серебряными стрелками. И вот я слышу фырканье дельфина совсем близко. Наконец вот и он! Он показывается с одной стороны лодки, исчезает на секунду под килем и тотчас же проно-

сится дальше. Он идет глубоко под водой, но я с необыкновенной ясностью различаю весь его мощный бег и все его могучее тело, осеребренное игрой инфузорий, обведенное, точно контуром, миллиардом блесков, похожее на сияющий стеклянный бегущий скелет.

Христо гребет совершенно беззвучно, и Яни всего-навсего только один раз ударил свинцовыми грузилами о дерево. Мы перебрали уже всю сеть, и теперь можно начинать.

Мы подходим к противоположному берегу. Яни прочно устанавливается на носу, широко расставив ноги. Большой плоский камень, привязанный к веревке, тихо скользит у него из рук, чуть слышно плещет об воду и погружается на дно. Большой пробковый буюк всплывает наверх, едва заметно чернея на поверхности залива. Теперь совершенно беззвучно мы описываем лодкой полукруг во всю длину нашей сети и опять причаливаем к берегу и бросаем другой буюк. Мы внутри замкнутого полукруга.

Если бы мы не занимались браконьерством, а работали на открытом, свободном месте, то теперь мы начали бы *коладить* или, вернее, шантажировать, то есть мы заставили бы шумом и плеском весел всю захваченную нашим полукругом рыбу кинуться в расставленные для нее сети, где она должна застрять головами и жабрами в ячейках. Но наше дело требует тайны, а поэтому мы только проезжаем от буйка до буйка, туда и обратно, два раза, причем Христо беззвучно бурлит веслом воду, заставляя ее вскипать прекрасными голубыми электрическими буграми. Потом мы возвращаемся к первому буйку. Яни по-прежнему осторожно вытягивает камень, служивший якорем, и без малейшего стука опускает его на дно. Потом, стоя на носу, выставив вперед левую ногу и опершись на нее, он ритмическими движениями поднимает то одну, то другую руку, вытягивая вверх сеть. Наклонившись немного через борт, я вижу, как сеть бежит из воды, и каждая ячейка ее, каждая ниточка глубоко видны мне, точно восхитительное огненное плетение. С пальцев Яни стремятся вниз и падают маленькие дрожащие огоньки.

И я уже слышу, как мокро и тяжело шлепается большая живая рыба о дно лодки, как она жирно трепещет, ударяя хвостом о дерево. Мы постепенно приближаемся ко второму буйку и с прежними предосторожностями вытаскиваем его из воды.

Теперь моя очередь садиться на весла. Христо и Яни снова перебирают всю сеть и выпрастывают из ее ячеек кефаль. Христо не может сдержать себя и с счастливым сдавленным смехом кидает через голову Коли к моим ногам большую толстую серебряную кефаль.

– Вот так рыба! – шепчет он мне.

Яни тихо останавливает его.

Когда их работа кончена и мокрая сеть вновь лежит на носовой площадке баркаса, я вижу, что все дно застлано живой, еще шевелящейся рыбой. Но нам нужно торопиться. Мы делаем еще круг, еще и еще, хотя благоразумие давно уже велит нам вернуться в город. Наконец мы подходим к берегу в самом глухом месте. Яни приносит корзину, и с вкусным чмоканьем летит в нее охапки большой мясистой рыбы, от которой так свежо и возбуждающе пахнет.

А через десять минут мы возвращаемся обратно в кофейню один за другим. Каждый выдумывает какой-нибудь предлог для своего отсутствия. Но штаны и куртки у нас мокры, а у Яни запуталась в усах и бороде рыба чешуя, и от нас еще идет запах моря и сырой рыбы. И Христо, который не может справиться с недавним охотничьим возбуждением, нет-нет да и намекнет на наше предприятие.

– А я сейчас шел по набережной... Сколько свиней зашло в бухту. Ужас! и метнет на нас лукавым, горящим черным глазом.

Яни, который вместе с ним относил и прятал корзину, сидит около меня и едва слышно бормочет в чашку с кофе:

– Тысячи две, и все самые крупные. Я вам снес три десятка.

Это моя доля в общей добыче. Я потихоньку киваю головой. Но теперь мне немного совестно за мое недавнее преступление. Впрочем, я ловлю несколько чужих быстрых плутоватых взглядов. Кажется, что не мы одни занимались в эту ночь браконьерством!

IV Белуга

Наступает зима. Как-то вечером пошел снег, и все стало среди ночи белым: набережная, лодки у берега, крыши домов, деревья. Только вода в заливе остается жутко черной и беспокой-

но плещется в этой белой тихой раме.

На всем Крымском побережье – в Анапе, Судаке, Керчи, Феодосии, Ялте, Балаклаве и Севастополе – рыбаки готовятся на белугу. Чистятся рыбачьи сапоги, огромные до бедер сапоги из конской кожи, весом по полупуду каждый, подновляются непромокаемые, крашенные желтой масляной краской плащи и кожаные штаны, штопаются паруса, вяжутся переметы.

Набожный рыбак Федор из Олеиза задолго до белужьей ловли теплит в своем шалаше перед образом Николая Угодника, Мир Ликийских чудотворца и покровителя всех моряков, восковые свечи и лампадки с лучшим оливковым маслом. Когда он поедет в море со своей артелью, состоящей из татар, морской святитель будет прибит на корме как руководитель и податель счастья. Об этом знают все крымские рыбаки, потому что это повторяется из года в год и потому еще, что за Федором установилась слава очень смелого и удачливого рыбалки.

И вот однажды, с первым попутным ветром, на исходе ночи, но еще в глубокой тьме, сотни лодок отплывают от Крымского полуострова под парусами в море.

Как красив момент отплытия! Сели все пятеро на кормовую часть баркаса. «С богом! Дай бог! С богом!» Падает вниз освобожденный парус и, похлопав нерешительно в воздухе, вдруг надувается, как выпуклое, острое, торчащее концом вверх белое птичье крыло. Лодка, вся наклонившись на один бок, плавно выносится из устья бухты в открытое море. Вода шипит и пенится за бортом и брызжет внутрь, а на самом борту, временами моча нижний край своей куртки в воде, сидит небрежно какой-нибудь молодой рыбак и с хвастливой небрежностью раскуривает верченую папиросу. Под кормовой решеткой хранится небольшой запас крепкой водки, немного хлеба, десяток копченых рыб и бочонок с водой.

Уплывают в открытое море за тридцать и более верст от берега. За этот длинный путь атаман и его помощник успевают изготовить снасть. А белужья снасть представляет собою вот что такое: вообразите себе, что по морскому дну, на глубине сорока сажен, лежит крепкая веревка в версту длиной, а к ней привязаны через каждые три-четыре аршина короткие саженные куски шпагата, а на концах этих концов наживлена на крючки мелкая рыбешка. Два плоских камня на обеих оконечностях главной веревки служат якорями, затопляющими ее, а два буйка, плавающих на этих якорях на поверхности моря, указывают их положение. Буйки круглые, пробковые (сотня бутылочных пробок, обернутых сеткой), с красными флажками наверху.

Помощник с непостижимой ловкостью и быстротой насаживает приманку на крючки, а атаман тщательно укладывает всю снасть в круглую корзину, вдоль ее стен, правильной спиралью, наживкой внутрь. В темноте, почти ощупью, вовсе не так легко исполнить эту кропотливую работу, как кажется с первого взгляда. Когда придет время опускать снасть в море, то один неудачно насаженный крючок может зацепиться за веревку и жестоко перепутать всю систему.

На рассвете приходят на место. У каждого атамана есть свои излюбленные счастливые пункты, и он их находит в открытом море, за десятки верст от берега так же легко, как мы находим коробку с перьями на своем письменном столе. Надо только стать таким образом, чтобы Полярная звезда очутилась как раз над колокольной монастыря св. Георгия, и двигаться, не нарушая этого направления, на восток до тех пор, пока не откроется Форосский маяк. У каждого атамана имеются свои тайные вехи в виде маяков, домов, крупных прибрежных камней, одиноких сосен на горах или звезд.

Определили место. Выбрасывают на веревке в море первый камень, устанавливают глубину, привязывают буюк и от него идут на веслах вперед на всю длину перемета, который атаман с необычайной быстротой выматывает из корзины. Опускают второй камень, пускают на воду второй буюк – и дело окончено. Возвращаются домой на веслах или, если ветер позволяет лавировать, под парусом. На другой день или через день идут опять в море и вытаскивают снасть. Если богу или случаю будет угодно, на крючках окажется белуга, проглотившая приманку, огромная остроносая рыба, вес которой достигает десяти-двадцати, а в редких случаях даже тридцати и более пудов.

Так-то вот и вышел однажды ночью из бухты Ваня Андруцаки на своем баркасе. По правде сказать, никто не ожидал добра от такого предприятия. Старый Андруцаки умер прошлой весной, а Ваня был слишком молод, и, по мнению опытных рыбаков, ему следовало бы еще года два побыть простым гребцом да еще год помощником атамана. Но он набрал свою артель из самой зеленой и самой отчаянной молодежи, сурово прикрикнул, как настоящий хозяин, на занывшую было старуху мать, изругал ворчливых стариков соседей гнусными матерными словами и вышел

в море пьяный, с пьяной командой, стоя на корме со сбитой лихо на затылок барашковой шапкой, из-под которой буйно выбивались на загорелый лоб курчавые, черные, как у пуделя, волосы.

В эту ночь на море дул крепкий береговой и шел снег. Некоторые баркасы, выйдя из бухты, вскоре вернулись назад, потому что греческие рыбаки, несмотря на свою многовековую опытность, отличаются чрезвычайным благоразумием, чтобы не сказать трусостью. «Погода не пускает», – говорили они.

Но Ваня Андруцаки возвратился домой около полудня с баркасом, наполненным самой крупной белугой, да, кроме того, еще приволок на буксире огромную рыбину, чудовище в двадцать пудов весом, которое артель долго добывала деревянными колотушками и веслами.

С этим великаном пришлось порядочно-таки помучиться. Про белугу рыбаки вообще говорят, что надо только подтянуть ее голову в уровень с бортом, а там уж рыба сама вскочит в лодку. Правда, иногда при этом она могучим всплеском хвоста сбивает в воду неосторожного ловца. Но бывают изредка при белужьей ловле и более серьезные моменты, грозящие настоящей опасностью для рыбаков. Так и случилось с Ваней Андруцаки.

Стоя на самом носу, который то взлетал на пенистые бугры широких волн, то стремительно падал в гладкие водяные зеленые ямы, Ваня размеренными движениями рук и спины выбирал из моря перемет. Пять белужонков, попавшихся с самого начала, почти один за другим, уже лежали неподвижно на дне баркаса, но потом ловля пошла хуже: сто или полтора ста крючков подряд оказались пустыми, с нетронутой наживкой.

Артель молча гребла, не спуская глаз с двух точек на берегу, указанных атаманом. Помощник сидел у ног Вани, освобождая крючки от наживки и складывая веревку в корзину правильным бунтом. Вдруг одна из пойманных рыб судорожно встрепенулась.

– Бьет хвостом, поджидает подругу, – сказал молодой рыбак Павел, повторяя старую рыбачью примету.

И в ту же секунду Ваня Андруцаки почувствовал, что огромная живая тяжесть, вздрагивая и сопротивляясь, повисла у него на натянувшемся вкось перемете, в самой глубине моря. Когда же, позднее, наклонившись за борт, он увидел под водой и все длинное, серебряное, волнующееся, рябящее тело чудовища, он не удержался и, обернувшись назад к артели, прошептал с сияющими от восторга глазами:

– Здоровая!.. Как бык!.. Пудов на сорок...

Этого уж никак не следовало делать! Спаси бог, будучи в море, предупреждать события или радоваться успеху, не дойдя до берега. И старая таинственная примета тотчас же оправдалась на Ване Андруцаки. Он уже видел не более как в полуаршине от поверхности воды острую, утлую костистую морду и, сдерживая бурное трепетание сердца, уже готовился подвести ее к борту, как вдруг... могучий хвост рыбы плеснул сверх волны, и белуга стремительно понеслась вниз, увлекая за собою веревку и крючки.

Ваня не растерялся. Он крикнул рыбакам: «Табань!» – скверно и очень длинно выругался и принялся травить перемет вслед убежавшей рыбе. Крючки так и мелькали в воздухе из-под его рук, шлепаясь в воду. Помощник пособлял ему, выпрастывая снасть из корзины. Гребцы налегли на весла, стараясь ходом лодки опередить подводное движение рыбы. Это была страшно быстрая и точная работа, которая не всегда кончается благополучно. У помощника запуталось несколько крючков. Он крикнул Ване: «Стоп травить!» и принялся распутывать снасть с той быстротой и тщательностью, которая в минуты опасности свойственна только морским людям. В эти несколько секунд перемет в руке Вани натянулся, как струна, и лодка скакала, точно бешеная, с волны на волну, увлекаемая ужасным бегом рыбы и подгоняемая вслед за ней усилиями гребцов.

«Трави!» – крикнул наконец помощник. Веревка с необычайной быстротой вновь побежала из ловких рук атамана, но вдруг лодку дернуло, и Ваня с глухим стоном выругался: медный крючок с размаха вонзился ему в мякоть ладони под мизинцем и засел там во всю глубину извила. И тут-то Ваня показал себя настоящим соленым рыбаком. Обмотав перемет вокруг пальцев раненой руки, он задержал на секунду бег веревки, а другой рукой достал нож и перерезал шпагат. Крючок крепко держался в руке своим жалом, но Ваня вырвал его с мясом и бросил в море. И хотя обе его руки и веревка перемета сплошь окрасились кровью и борт лодки и вода в баркасе покраснели от его крови, он все-таки довел свою работу до конца и сам нанес первый оглушающий удар колотушкой по башке упрямой рыбе.

Его улов был первым белужьим уловом этой осени. Артель продала рыбу по очень высокой цене, так что на каждый пай пришлось почти до сорока рублей. По этому случаю было вылитое страшное количество молодого вина, а под вечер весь экипаж «Георгия Победоносца» – так назывался Ванин баркас отправился на двуконном фаэтоне с музыкой в Севастополь. Там храбрые балаклавские рыбаки вместе с флотскими матросами разнесли на мелкие кусочки фортепиано, двери, кровати, стулья и окна в публичном доме, потом передрались между собою и только к свету вернулись домой, пьяные, в синяках, но с песнями. И только что вылезли из коляски, как тотчас же свалились в лодку, подняли парус и пошли в море забрасывать крючья.

С этого самого дня за Ваней Андруцаки установилась слава, как за настоящим соленым атаманом.

V

Господня рыба

Апокрифическое сказание

Эту прелестную древнюю легенду рассказал мне в Балаклаве атаман рыбацкого баркаса Коля Констанди, настоящий соленый грек, отличный моряк и большой пьяница.

Он в то время учил меня всем премудрым и странным вещам, составляющим рыбацью науку.

Он показывал мне, как вязать морские узлы и чинить прорванные сети, как наживлять крючки на белугу, забрасывать и промывать мережки, кидать наметку на камсу, выпрастывать кефаль из трехстенных сетей, жарить лобана на шкаре, отковыривать ножом петалиды, приросших к скале, и есть сырыми креветок, узнавать ночную погоду по дневному прибору, ставить парус, выбирать якорь и измерять глубину дна.

Он терпеливо объяснял мне разницу между направлением и свойствами ветров: леванти, гребя-леванти, широко, тремоитана, страшного бора, благоприятного морского и капризного берегового.

Ему же я обязан знанием рыбацких обычаев и суеверий во время ловли: нельзя свистать на баркасе; плевать позволено только за борт; нельзя упоминать черта, хотя можно проклинать при неудаче: веру, могилу, гроб, душу, предков, глаза, печенки, селезенки и так далее; хорошо оставлять в снасти как будто нечаянно забытую рыбешку – это приносит счастье; спаси бог выбросить за борт что-нибудь съестное, когда баркас еще в море, но всего ужаснее, непростительнее и зловреднее – это спросить рыбака: «Куда?» За такой вопрос бьют.

От него я узнал о ядовитой рыбке дракус, похожей на мелкую скумбрию, и о том, как ее снимать с крючка, о свойстве морского ерша причинять нарывы уколом плавников, о страшном двойном хвосте электрического ската и о том, как искусно выедает морской краб устрицу, вставив сначала в ее створку маленький камешек.

Но немало также я слышал от Коли диковинных и таинственных морских рассказов, слышал в те сладкие, тихие ночные часы ранней осени, когда наш ялик нежно покачивался среди моря, вдали от невидимых берегов, а мы, вдвоем или втроем, при желтом свете ручного фонаря, не торопясь, попивали молодое розовое местное вино, пахнувшее свежераздавленным виноградом.

«Среди океана живет морской змей в версту длиною. Редко, не более раза в десять лет, он подымается со дна на поверхность и дышит. Он одинок. Прежде их было много, самцов и самок, но столько они делали зла мелкой рыбешке, что бог осудил их на вымирание, и теперь только один старый, тысячелетний змей-самец сиротливо доживает свои последние годы. Прежние моряки видели его – то здесь, то там – во всех странах света и во всех океанах.

Живет где-то среди моря, на безлюдном острове, в глубокой подводной пещере царь морских раков. Когда он ударяет клешней о клешню, то на поверхности воды вскипает великое волнение.

Рыбы говорят между собой – это всякий рыбак знает. Они сообщают друг другу о разных опасностях и человеческих ловушках, и неопытный, неловкий рыбак может надолго испортить счастливое место, если выпустит из сетей рыбу».

Слышал я также от Коли о Летучем Голландце, об этом вечном скитальце морей, с черными парусами и мертвым экипажем. Впрочем, эту страшную легенду знают и ей верят на всех морских побережьях Европы.

Но одно далекое предание, рассказанное им, особенно тронуло меня своей наивной рыбацкой простотой.

Однажды на заре, когда солнце еще не всходило, но небо было цвета апельсина и по морю бродили розовые туманы, я и Коля вытягивали сеть, поставленную с вечера поперек берега на скумбрию. Улов был совсем плохой. В ячейке сети запутались около сотни скумбрии, пять-шесть ершей, несколько десятков золотых толстых карасиков и очень много студенистой перламутровой медузы, похожей на огромные бесцветные шляпки грибов со множеством ножек.

Но попалась также одна очень странная, не виданная мною доселе рыба. Она была овальной, плоской формы и уместилась бы свободно на женской ладони. Весь ее контур был окружен частыми, мелкими, прозрачными ворсинками. Маленькая голова, и на ней совсем не рыбы глаза – черные, с золотыми ободками, необыкновенно подвижные. Тело ровного золотистого цвета. Всего же поразительнее были в этой рыбке два пятна, по одному с каждого бока, посредине величиною с гривенник, по неправильной формы и чрезвычайно яркого небесно-голубого цвета, какого нет в распоряжении художника.

– Посмотрите, – сказал Коля, – вот господня рыба. Она редко попадается.

Мы поместили ее сначала в лодочный черпак, а потом, возвращаясь домой, я налил морской воды в большой эмалированный таз и пустил туда господню рыбу. Она быстро заплывала по окружности таза, касаясь его стенок, и все в одном и том же направлении. Если ее трогали, она издавала чуть слышный, короткий, храпящий звук и усиливала беспрестанный бег. Черные глаза ее вращались, а от мерцающих бесчисленных ворсинок быстро дрожала и струилась вода.

Я хотел сохранить ее, чтобы отвезти живой в Севастополь, в аквариум биологической станции, но Коля сказал, махнув рукой:

– Не стоит и трудиться. Все равно не выживет. Это такая рыба. Если ее хоть на секунду вытащить из моря – ей уже не жить. Это господня рыба.

К вечеру она умерла. А ночью, сидя в ялике, далеко от берега, я вспомнил и спросил:

– Коля, а почему же эта рыба – господня?

– А вот почему, – ответил Коля с глубокой верой. – Старые греки у нас рассказывают так. Когда Иисус Христос, господь наш, воскрес на третий день после своего погребения, то никто ему не хотел верить. Видели много чудес от него при его жизни, но этому чуду не могли поверить и боялись.

Отказались от пего ученики, отказались апостолы, отказались жены-мироносицы. Тогда приходит он к своей матери. А она в это время стояла у очага и жарила на сковородке рыбу, приготавливая обед себе и близким. Господь говорит ей:

– Здравствуй! Вот я, твой сын, воскресший, как было сказано в Писании. Мир с тобою.

Но она задрожала и воскликнула в испуге:

– Если ты подлинно сын мой Иисус, сотвори чудо, чтобы я уверовала.

Улыбнулся господь, что она не верит ему, и сказал:

– Вот я возьму рыбу, лежащую на огне, и она оживет. Поверишь ли ты мне тогда?

И едва он, прикоснувшись своими двумя пальцами к рыбе, поднял ее на воздух, как она затрепыхалась и ожила.

Тогда уверовала мать господя в чудо и радостно поклонилась сыну воскресшему. А на этой рыбе с тех пор так и остались два небесных пятна. Это следы господних пальцев.

Так рассказывал простой, немудрый рыбак наивное давнее сказание. Спустя же несколько дней я узнал, что у господней рыбы есть еще другое название Зевсова рыба. Кто скажет: до какой глубины времен восходит тот апокриф?

VI Бора

О, милые простые люди, мужественные сердца, наивные первобытные души, крепкие тела, обвеянные соленым морским ветром, мозолистые руки, зоркие глаза, которые столько раз глядели в лицо смерти, в самые ее зрачки!

Третьи сутки дует бора. Бора – иначе норд-ост – это яростный таинственный ветер, который рождается где-то в плешивых, облезших горах около Новороссийска, сваливается в круглую бухту и разводит страшное волнение по всему Черному морю. Сила его так велика, что он опрокидывает с рельсов груженные товарные вагоны, валит телеграфные столбы, разрушает только что сложенные кирпичные стены, бросает на землю людей, идущих в одиночку. В середине прошлого столетия несколько военных судов, застигнутых норд-остом, отстаивались против него в Новороссийской бухте: они развели полные пары и шли навстречу ветру усиленным ходом, не подаваясь ни на вершок вперед, забросили против ветра двойные якоря, и тем не менее их сорвало с якорей, потащило внутрь бухты и выбросило, как щепки, на прибрежные камни.

Ветер этот страшен своей неожиданностью: его невозможно предугадать это самый капризный ветер на самом капризном из морей.

Старые рыбаки говорят, что единственное средство спастись от него – это «удирать в открытое море». И бывают случаи, что бора уносит какой-нибудь четырехгребный баркас или голубую, разукрашенную серебряными звездами турецкую фелюгу через все Черное море, за триста пятьдесят верст, на Анатолийский берег.

Третьи сутки дует бора. Новолуние. Молодой месяц, как и всегда, рождается с большими мучениями и трудом. Опытные рыбаки не только не думают о том, чтобы пуститься в море, но даже вытащили свои баркасы подальше и понадежнее на берег.

Один лишь отчаянный Федор из Олеиза, который за много дней перед этим теплил свечу перед образом Николая Чудотворца, решился выйти, чтобы поднять белужью снасть.

Три раза со своей артелью, состоявшей исключительно из татар, отплывал он от берега и три раза возвращался обратно на веслах с большими усилиями, проклятиями и богохульствами, делая в час не более одной десятой морского узла. В бешенстве, которое может быть понятно только моряку, он срывал прикрепленный на носу образ Николая, Мир Ликийских чудотворца, швырял его на дно лодки, топтал ногами и мерзко ругался, а в это время его команда шапками и горстями вычерпывала воду, хлеставшую через борт.

В эти дни старые хитрые балаклавские листригоны сидели по кофейням, крутили самодельные папиросы, пили крепкий бобковый кофе с гущей, играли в домино, жаловались на то, что погода не пускает, и в уютном тепле, при свете висячих ламп, вспоминали древние легендарные случаи, наследие отцов и дедов, о том, как в таком-то и в таком-то году морской прибой достигал сотни саженой вверх и брызги от него долетали до самого подножия полуразрушенной Генуэзской крепости.

Пропал без вести один баркас из Фороса, на котором работала артель пришлых русопетов, восьмеро каких-то белобрых Иванов, приехавших откуда-то, не то с Ильмена, не то с Волги, искать удачи на Черном море. В кофейнях никто о них не пожалел и не потревожился. Почмокали языком, посмеялись и сказали презрительно и просто: «Тц... тц... тц... конечно, дураки, разве можно в такую погоду? Известно – русские». В предутренний час темной ревущей ночи пошли они все, как камни, на дно в своих коневых сапогах до поясницы, в кожаных куртках, в крашенных желтых непромокаемых плащах.

Совсем другое дело было, когда перед борой вышел в море Ваня Андруцаки, наплевав на все предостережения и уговоры старых людей. Бог его знает, зачем он это сделал? Вернее всего, из мальчишеского задора, из буйного молодого самолюбия, немножко под пьяную руку. А может быть, на него любовалась в эту минуту красногубая черноглазая гречанка?

Поднял парус, – а ветер уже и в то время был очень свежий, – и только его и видели! Со скоростью хорошего призового рыска вынеслась лодка из бухты, помаячила минут пять своим белым парусом в морской синеве, и сейчас же нельзя было разобрать, что там вдали белеет: парус или белые барашки, скакавшие с волны на волну?

А вернулся он домой только через трое суток...

Трое суток без сна, без еды и питья, днем и ночью, и опять днем и ночью, и еще сутки в крошечной скорлупке, среди обезумевшего моря – и вокруг ни берега, ни паруса, ни маячного огня, ни пароходного дыма! А вернулся Ваня Андруцаки домой – и точно забыл обо всем, точно ничего с ним и не было, точно он съездил на мальпосте в Севастополь и купил там десяток папирос.

Были, правда, некоторые подробности, которые я с трудом выдавил из Ваниной памяти. Например, с Юрой Липиади случилось, на исходе вторых суток, нечто вроде истерического

припадка, когда он начал вдруг ни с того ни с сего плакать и хохотать и совсем уже было выпрыгнул за борт, если бы Ваня Андруцаки вовремя не успел ударить его рулевым веслом по голове. Был также момент, когда артель, напуганная бешеным ходом лодки, захотела убрать парус, и Ване стоило, должно быть, больших усилий, чтобы сжать в кулак волю этих пяти человек и, перед дыханием смерти, заставить их подчиниться себе. Кое-что я узнал и о том, как кровь выступала у гребцов из-под ногтей от непомерной работы. Но все это было рассказано мне отрывками, нехотя, вскользь. Да! Конечно, в эти трое суток напряженной, судорожной борьбы со смертью было много сказано и сделано такого, о чем артель «Георгия Победоносца» не расскажет никому, ни за какие блага, до конца дней своих!

В эти трое суток ни один человек не сомкнул глаз в Балаклаве, кроме толстого Петалиди, хозяина гостиницы «Париж». И все тревожно бродили по набережной, лазили на скалы, взбирались на Генуэзскую крепость, которая высится своими двумя древними зубцами над городом, все: старики, молодые, женщины и дети. Полетели во все концы света телеграммы: начальнику черноморских портов, местному архиерею, на маяки, на спасательные станции, морскому министру, министру путей сообщения, в Ялту, в Севастополь, в Константинополь и Одессу, греческому патриарху, губернатору и даже почему-то русскому консулу в Дамаске, который случайно оказался знакомым одному балаклавскому греку-аристократу, торгующему мукой и цементом.

Проснулась древняя, многовековая спайка между людьми, кровное товарищеское чувство, так мало заметное в будничные дни среди мелких расчетов и житейского сора, заговорили в душах тысячелетние голоса прапрапрашуров, которые задолго до времен Одиссея вместе отстаивались от беды в такие же дни и такие же ночи.

Никто не спал. Ночью развели огромный костер на верху горы, и все ходили по берегу с огнями, точно на пасху. Но никто не смеялся, не пел, и опустели все кофейни.

Ах, какой это был восхитительный момент, когда утром, часов около восьми, Юра Паратино, стоявший на верху скалы над Белыми камнями, прищурился, нагнулся вперед, вцепился своими зоркими глазами в пространство и вдруг крикнул:

– Есть! Идут!

Кроме Юры Паратино, никто не разглядел бы лодки в этой черно-синей морской дали, которая колыхалась тяжело и еще злобно, медленно утихая от недавнего гнева. Но прошло пять, десять минут, и уже любой мальчишка мог удостовериться в том, что «Георгий Победоносец» идет, лавируя под парусом, к бухте. Была большая радость, соединившая сотню людей в одно тело и в одну Душу!

Перед бухтой они опустили парус и вошли на веслах, вошли, как стрела, весело напрягая последние силы, вошли, как входят рыбаки в залив после отличного улова белуги. Кругом плакали от счастья: матери, жены, невесты, сестры, братишки. Вы думаете, что хоть один рыбак из артели «Георгия Победоносца» размяк, расплакался, полез целоваться или рыдать на чьей-нибудь груди? Ничуть! Они все шестеро, еще мокрые, осипшие и обветренные, ввалились в кофейную Юры, потребовали вина, орали песни, заказали музыку и плясали, как сумасшедшие, оставляя на полу лужи воды. И только поздно вечером товарищи разнесли их, пьяных и усталых, по домам; и спали они без просыпу по двадцати часов каждый. А когда проснулись, то глядели на свою поездку в море ну вот так, как будто бы они съездили на мальпосте в Севастополь на полчаса, чуть-чуть кутнули там и вернулись домой.

VII Водолазы

1

В Балаклавскую бухту, узкогорлую, извилистую и длинную, кажется, со времен Крымской кампании не заходил ни один пароход, кроме разве миноносок на маневрах. Да и что, по правде сказать, делать пароходам в этом глухом рыбацьем полупоселке-полугородке? Единственный груз – рыбу – скупают на месте перекупщики и везут на продажу за тринадцать верст, в Севастополь; из того же Севастополя приезжают сюда немногие дачники на мальпосте за пятьдесят копеек. Маленький, но отчаянной храбрости паровой катеришка «Герой», который ежедневно

бегают между Ялтой и Алушкой, пытаясь, как зарывшая собака, и треплясь, точно в урагане, в самую легкую зыбь, пробовал было установить пассажирское сообщение и с Балаклавой. Но из этой попытки, повторенной раза три-четыре, ничего путного не вышло: только лишняя трата угля и времени. В каждый рейс «Герой» приходил пустым и возвращался пустым. А балаклавские греки, отдаленные потомки кровожадных гомеровских листригонов, встречали и провожали его, стоя на пристани и заложив руки в карманы штанов, меткими словечками, двусмысленными советами и язвительными пожеланиями.

Зато во время Севастопольской осады голубая прелестная бухта Балаклавы вмещала в себе чуть ли не четверть всей союзной флотилии. От этой героической эпохи остались и до сих пор кое-какие достоверные следы: крутая дорога в балке Кефало-Вриси, проведенная английскими саперами, итальянское кладбище на верху балаклавских гор между виноградниками, да еще при плантаже земли под виноград время от времени откапывают короткие гипсовые и костяные трубочки, из которых более чем полвека тому назад курили табак союзные солдаты.

Но легенда цветет пышнее. До сих пор балаклавские греки убеждены, что только благодаря стойкости их собственного балаклавского батальона смог так долго продержаться Севастополь. Да! В старину населяли Балаклаву железные и гордые люди. Об их гордости устное предание удержало замечательный случай.

Не знаю, бывал ли когда-нибудь покойный император Николай I в Балаклаве. Думаю всячески, что во время Крымской войны он вряд ли, за недостатком времени, заезжал туда. Однако живая история уверенно повествует о том, как на смотру, подъехав на белом коне к славному балаклавскому батальону, грозный государь, пораженный воинственным видом, огненными глазами и черными усищами балаклавцев, воскликнул громовым и радостным голосом:

– Здорово, ребята!

Но батальон молчал.

Царь повторил несколько раз свое приветствие, все в более и более гневном тоне. То же молчание! Наконец совсем уже рассерженный, император наскочил на батальонного начальника и воскликнул своим ужасным голосом:

– Отчего же они, черт их побери, не отвечают? Кажется, я по-русски сказал: «Здорово, ребята!»

– Здесь нет ребята, – ответил кротко начальник. – Здесь се капитаны.

Тогда Николай I рассмеялся – что же ему оставалось еще делать? – и вновь крикнул:

– Здравствуйте, капитаны!

И храбрые листригоны весело заорали в ответ:

– Кáли мéра (добрый день), ваше величество!

Так ли происходило это событие, или не так, и вообще происходило ли оно в действительности, судить трудно, за неимением веских и убедительных исторических данных. Но и до сих пор добрая треть отважных балаклавских жителей носит фамилию Капитанаки, и если вы встретите когда-нибудь грека с фамилией Капитанаки, будьте уверены, что он сам или его недалекие предки родом из Балаклавы.

2

Но самыми яркими и соблазнительными цветами украшено сказание о затонувшей у Балаклавы английской эскадре. Темной зимней ночью несколько английских судов направлялись к Балаклавской бухте, ища спасения от бури. Между ними был прекрасный трехмачтовый фрегат «Black Prince», везший деньги для уплаты жалованья союзным войскам. Шестьдесят миллионов рублей звонким английским золотом! Старикам даже и цифра известна с точностью.

Те же старики говорят, что таких ураганов теперь уже не бывает, как тот, что свирепствовал в эту страшную ночь! Громадные волны, ударяясь об отвесные скалы, всплескивали наверх до подножия Генуэзской башни двадцать сажен высоты! – и омывали ее серье старые стены. Эскадра не сумела найти узкого входа в бухту или, может быть, найдя, не смогла войти в него. Она вся разбилась об утесы и вместе с великолепным кораблем «Black Prince» и с английским золотом пошла ко дну около Белых камней, которые и теперь еще внушительно торчат из воды там, где узкое горло бухты расширяется к морю, с правой стороны, если выходишь из Балаклавы.

Теперешние пароходы совершают свои рейсы далеко от бухты, верстах в пятнадцати – двадцати. С Генуэзской крепости едва различишь кажущийся неподвижным темный корпус парохода, длинный хвост серого тающего дымка и две мачты, стройно наклоненные назад. Зоркий рыбацкий глаз, однако, почти безошибочно разбирает эти суда по каким-то приметам, непонятным нашему опыту и зрению. «Вот идет грузовой из Евпатории... Это Русского общества, а это Российский... это Кошкинский... А это валяет по мертвой зыби «Пушкина» – его и в тихую погоду валяет...»

3

И вот однажды, совсем неожиданно, в бухту вошел огромный, старинной конструкции, необыкновенно грязный итальянский пароход «Genova»²⁹. Случилось это поздним вечером, в ту пору осени, когда почти все курортные жильцы уже разъехались на север, но море еще настолько тепло, что настоящая рыбная ловля пока не начиналась, когда рыбаки не торопясь чинят сети и заготавливают крючки, играют в домино по кофейням, пьют молодое вино и вообще предаются временному легкому кайфу.

Вечер был тихий и темный, с большими спокойными звездами на небе и в спящей воде залива. Вдоль набережной зажигалась желтыми точками цепь фонарей. Закрывались светлые четырехугольники магазинов. Легкими черными силуэтами медленно двигались по улицам и по тротуару люди...

И вот, не знаю кто, кажется, мальчишки, игравшие наверху, у Генуэзской башни, принесли известие, что с моря завернул и идет к бухте какой-то пароход.

Через несколько минут все коренное мужское население было на набережной. Известно, что грек – всегда грек и, значит, прежде всего любопытен. Правда, в балаклавских греках чувствуется, кроме примеси позднейшей генуэзской крови, и еще какая-то таинственная, древняя, – почем знать, – может быть, даже скифская кровь – кровь первобытных обитателей этого разбойничьего и рыбацкого гнезда. Среди них увидишь много рослых, сильных и самоуверенных фигур; попадаются правильные, благородные лица; нередко встречаются блондины и даже голубоглазые; балаклавцы не жадны, не услужливы, держатся с достоинством, в море отважны, хотя и без нелепого риска, хорошие товарищи и крепко исполняют данное слово. Положительно это особая, исключительная порода греков, сохранившаяся главным образом потому, что их предки чуть не сотнями поколений родились, жили и умирали в своем городишке, заключая браки лишь между соседями. Однако надо сознаться, что греки-колонизаторы оставили в их душах самую свою типичную черту, которой они отличались еще при Перикле, – любопытство и страсть к новостям.

Медленно, сначала показавшись лишь передовым крошечным огоньком из-за крутого загиба бухты, вплывал пароход в залив. Издали в густой теплой темноте ночи не было видно его очертаний, но высокие огни на мачтах, сигнальные огни на мостике и ряд круглых светящихся иллюминаторов вдоль борта позволяли догадываться о его размерах и формах. В виду сотен лодок и баркасов, стоявших вдоль набережной, он едва заметно подвигался к берегу, с той внимательной и громоздкой осторожностью, с какой большой и сильный человек проходит сквозь детскую комнату, заставленную хрупкими игрушками.

Рыбаки делали предположения. Многие из них плавали раньше на судах коммерческого, а чаще военного флота.

- Что ты мне будешь говорить? Разве я не вижу? Конечно, – грузовой Русского общества.
- Нет, это не русский пароход.
- Верно, испортилось что-нибудь в машине, зашел чиниться.
- Может быть, военное судно?
- Скажешь!

Один Коля Констанди, долго плававший на канонерской лодке по Черному и Средиземному морям, угадал верно, сказав, что пароход итальянский. И то угадал он это только тогда, когда пароход совсем близко, сажень на десять, подошел к берегу и можно было рассмотреть его обли-

²⁹ «Генуя» (ит.)

нявшие, облупленные борта, с грязными потеками из люков, и разношерстную команду на палубе.

С парохода взвился спиралью конец каната и, змеей развертываясь в воздухе, полетел на головы зрителей. Всем известно, что ловко забросить конец с судна и ловко поймать его на берегу считается первым условием своеобразного морского шика. Молодой Апостолиди, не выпуская изо рта папироски, с таким видом, точно он сегодня проделывает это в сотый раз, поймал конец на лету и тут же небрежно, но уверенно замотал его вокруг одной из двух чугунных пушек, которые с незапамятных времен стоят на набережной, врытые стоймя в землю.

От парохода отошла лодка. Три итальянца выскочили из нее на берег и завозились около канатов. На одном из них был суконный берет, на другом картуз с прямым четырехугольным козырьком, на третьем – какой-то вязаный колпак. Все они были маленькие крепыши, проворные, цепкие и ловкие, как обезьяны. Они бесцеремонно расталкивали плечами толпу, тараторили что-то на своем быстром, певучем и нежном генуэзском наречии и перекрикивались с пароходом. Все время на их загорелых лицах смеялись дружелюбно и фамильярно большие черные глаза и сверкали белые молодые зубы.

– Бона sera... итальяно... маринаро!³⁰ – одобрительно сказал Коля.

– Oh! Buona sera, signore!³¹ – весело, разом, отозвались итальянцы.

Загремела с визгом якорная цепь. Забурлило и заклокотало что-то внутри парохода. Погасли огни в иллюминаторах. Через полчаса итальянских матросов спустили на берег.

Итальянцы – все как на подбор низкорослые, чернолицые и молодые оказались общительными и веселыми молодцами. С какой-то легкой, пленительной развязностью заигрывали они в этот вечер в пивных залах и в винных погребках с рыбаками. Но балаклавцы встретили их сухо и сдержанно. Может быть, они хотели дать понять этим чужим морякам, что заход иностранного судна в бухту вовсе был для них не в редкость, что это случается ежедневно, и, стало быть, нечего тут особенно удивляться и радоваться. Может быть, в них говорил маленький местный патриотизм?

И – ах! – нехорошо они в этот вечер подшутили над славными, веселыми итальянцами, когда те, в своей милой международной доверчивости, тыкали пальцами в хлеб, вино, сыр и в другие предметы и спрашивали их названия по-русски, скаля ласково свои чудные зубы. Таким словам научили хозяева своих гостей, что каждый раз потом, когда генуэзцы в магазине или на базаре пробовали объясняться по-русски, то приказчики падали от хохота на свои прилавки, а женщины стремглав бросались бежать куда попало, закрывая от стыда головы платками.

И в тот же вечер – бог весть каким путем, точно по невидимым электрическим проводам – облетел весь город слух, что итальянцы пришли нарочно для того, чтобы поднять затонувший фрегат «Black Prince» вместе с его золотом, и что их работа продолжится целую зиму.

4

В успешность такого предприятия никто в Балаклаве не верил. Прежде всего, конечно, над морским кладом лежало таинственное заклятие. Замшелые, древние, белые, согбенные старцы рассказывали о том, что и прежде делались попытки добыть со дна английское золото; приезжали и сами англичане, и какие-то фантастические американцы, ухлопывали пропасть денег и уезжали из Балаклавы ни с чем. Да и что могли поделать какие-нибудь англичане или американцы, если даже легендарные, прежние, героические балаклавцы потерпели здесь неудачу? Само собой разумеется, что прежде и погоды были не такие, и уловы рыбы, и баркасы, и паруса, и люди были совсем не такие, как теперешняя мелюзга. Был некогда мифический Спино. Он мог опуститься на любую глубину и пробыть под водой четверть часа. Так вот этот Спино, зажав между ногами камень в три пуда весом, опускался у Белых камней на глубину сорока сажен, на дно, где покоятся останки затонувшей эскадры. И Спино все видел: и корабль и золото, но взять оттуда с собой не мог... *не пускает*.

³⁰ Привет... итальянцы... моряки! (ит.)

³¹ Привет, господин! (ит.)

– Вот бы Сашка Комиссионер попробовал, – лукаво замечал кто-нибудь из слушателей. – Он у нас первый ныряльщик.

И все кругом смеялись, и более других смеялся во весь свой гордый, прекрасный рот сам Сашка Аргириди, или Сашка Комиссионер, как его называют.

Этот парень – голубоглазый красавец с твердым античным профилем, – в сущности, первый лентяй, плут и шут на всем Крымском побережье. Его прозвали комиссионером за то, что иногда в разгаре сезона он возьмет и пришьет себе на ободок картуза пару золотых позументов и самовольно усядется на стуле где-нибудь поблизости гостиницы, прямо на улице. Случается, что к нему обратятся с вопросом какие-нибудь легкомысленные туристы, и тут уж им никак не отлепиться от Сашки. Он мыкает их по горам, по задворкам, по виноградникам, по кладбищам, врет им с невероятной дерзостью, забежит на минуту в чей-нибудь двор, наскоро разобьет в мелкие куски обломок старого печного горшка и потом, «как слонов», уговаривает ошалевших путешественников купить по случаю эти черепки – остаток древней греческой вазы, которая была сделана еще до рождества Христова... или сует им в нос обыкновенный овальный и тонкий голыш с провернутой сверху дыркой, из тех, что рыбаки употребляют как грузило для сетей, и уверяет, что ни один греческий моряк не выйдет в море без такого талисмана, освященного у раки Николая Угодника и спасающего от бури.

Но самый лучший его номер – подводный. Катая простодушную публику по заливу и наслушавшись вдоволь, как она поет «Нелюдимо наше море» и «Вниз по матушке по Волге», он искусно и незаметно заводит речь о затонувшей эскадре, о сказочном Спиро и вообще о нырянии. Но четверть часа под водой – это даже самым доверчивым пассажирам кажется враньем, да еще при этом специально греческим враньем. Ну, две-три минуты – это еще куда ни шло, это можно, пожалуй, допустить... но пятнадцать... Сашка задет за живое... Сашка обижен в своем национальном самолюбии... Сашка хмурится... Наконец, если ему не верят, он сам лично может доказать, и даже сейчас, сию минуту, что он, Сашка, нырнет и Пробудет под водой ровно десять минут.

– Правда, это трудно, – говорит он не без мрачности. – Вечером у меня будет идти кровь из ушей и из глаз... Но я никому не позволю говорить, что Сашка Аргириди хвастун.

Его уговаривают, удерживают, но ничто уж теперь не помогает, раз человек оскорблен в своих лучших чувствах. Он быстро, сердито срывает с себя пиджак и панталоны, мгновенно раздевается, заставляя дам отворачиваться и заслоняться зонтиками, и – бух – с шумом и брызгами летит вниз головой в воду, не забыв, однако, предварительно одним углом глаза рассчитать расстояние до недалекой мужской купальни.

Сашка действительно прекрасный пловец и нырок. Бросившись на одну сторону лодки, он тотчас же глубоко в воде заворачивает под килем и по дну плывет прямехонько в купальню. И в то время, когда на лодке подымается общая тревога, взаимные упреки, аханье и всякая бестолочь, он сидит в купальне на ступеньке и торопливо докуривает чей-нибудь папиросный окурок. И таким же путем совершенно неожиданно Сашка выскакивает из воды у самой лодки, искусственно выпучив глаза и задыхаясь, к общему облегчению и восторгу.

Конечно, ему перепадает за эти фокусы кое-какая мелочишка. Но надо сказать, что руководит Сашкой в его проделках вовсе не алчность к деньгам, а мальчишеская, безумная, веселая проказливость.

5

Итальянцы ни от кого не скрывали цели своего приезда: они действительно пришли в Балаклаву с тем, чтобы попытаться исследовать место крушения и если обстоятельства позволят – поднять со дна все наиболее ценное, главным образом, конечно, легендарное золото. Всей экспедицией руководил инженер Джузеппе Рестуччи – изобретатель особого подводного аппарата, высокий, пожилой, молчаливый человек, всегда одетый в серое, с серым длинным лицом и почти седыми волосами, с бельмом на одном глазу, – в общем, гораздо больше похожий на англичанина, чем на итальянца. Он поселился в гостинице на набережной и по вечерам, когда к нему кое-кто приходил посидеть, гостеприимно угощал вином кианти и стихами своего любимого поэта Стекетти.

«Женская любовь, точно уголь, который, когда пламенеет, то жжется, а холодный – грязь»

нит!»

И хотя он это все говорил по-итальянски, своим сладким и певучим генуэзским акцентом, но и без перевода смысл стихов был ясен, благодаря его необыкновенно выразительным жестам: с таким видом внезапной боли он отдергивал руку, обожженную воображаемым огнем, – и с такой гримасой брезгливого отвращения он отбрасывал от себя холодный уголь.

Был еще на судне капитан и двое его младших помощников. Но самым замечательным лицом из экипажа был, конечно, водолаз – il palambara славный генуэзец, по имени Сальваторе Трама.

На его большом, круглом, темно-бронзовом лице, испещренном, точно от обжога порохом, черными крапинками, проступали синими змейками напряженные вены. Он был невысок ростом, но, благодаря необычайному объему грудной клетки, ширине плеч и массивности могучей шеи, производил впечатление чрезмерно толстого человека. Когда он своей ленивой походкой, заложив руки в брючные карманы и широко расставляя короткие ноги, проходил серединой набережной улицы, то издали казался совсем одинаковых размеров как в высоту, так и в ширину.

Сальваторе Трама был приветливый, лениво-веселый, доверчивый человек, с склонностью к апоплексическому удару. Станные, диковинные вещи рассказывал он иногда о своих подводных впечатлениях.

Однажды, во время работы в Бискайском заливе, ему пришлось опуститься на дно, на глубину более двадцати сажен. Внезапно он заметил, что на него, среди зеленоватого подводного сумрака, надвинулась сверху какая-то огромная, медленно плывущая тень. Потом тень остановилась. Сквозь круглое стекло водолазного шлема Сальваторе увидел, что над ним, в аршине над его головой, стоит, шевеля волнообразно краями своего круглого и плоского, как у камбалы, тела, гигантский электрический скат сажени в две диаметром, вот в эту комнату! – как сказал Трама. Одного прикосновения его двойного хвоста к телу водолаза достаточно было бы для того, чтобы умертвить храброго Трама электрическим разрядом страшной силы. И эти две минуты ожидания, пока чудовище, точно раздумав, медленно поплыло дальше, колыхаясь извилисто своими тонкими боками, Трама считает самыми жуткими во всей своей тяжелой и опасной жизни.

Рассказывал он также о своих встречах под водой с мертвыми матросами, брошенными за борт с корабля. Вопреки тяжести, привязанной к их ногам, они, вследствие разложения тела, падают неизбежно в полосу воды такой плотности, что не идут уже больше ко дну, но и не поднимаются вверх, а, стоя, странствуют в воде, влекомые тихим течением, с ядром, висящим на ногах.

Еще передавал Трама о таинственном случае, приключившемся с другим водолазом, его родственником и учителем. Это был старый, крепкий, хладнокровный и отважный человек, шаривший морское дно на побережьях чуть ли не всего земного шара. Свое исключительное и опасное ремесло он любил всей душой, как, впрочем, любил его каждый настоящий водолаз.

Однажды этот человек, работая над прокладкой телеграфного подводного кабеля, должен был опуститься на дно, на сравнительно небольшую глубину. Но едва только он достиг ногами почвы и сигнализировал об этом наверх веревкой, как сейчас же на лодке уловили его новый тревожный сигнал: «Подымайте наверх! Нахожусь в опасности!»

Когда его поспешно вытащили и быстро отвинтили медный шлем от скафандра, то всех поразило выражение ужаса, исказившее его бледное лицо и заставившее побелеть его глаза.

Водолаза раздели, напоили коньяком, старались его успокоить. Он долго не мог выговорить ни слова, так сильно стучали его челюсти одна о другую. Наконец, придя в себя, он сказал: – Баста! Больше никогда не опускаюсь. Я видел...

Но так до конца своих дней он никому не сказал, какое впечатление или какая галлюцинация так сильно потрясла его душу. Если об этом начинали разговаривать, он сердито замолкал и тотчас же покидал компанию. И в море он действительно больше не опускался ни одного раза...

Матросов на «Genova» было человек пятнадцать. Жили они все на пароходе, а на берег съезжали сравнительно редко. С балаклавскими рыбаками отношения у них так и остались отдаленными и вежливо холодными. Только изредка Коля Констанди бросал им добродушное при-

ветствие:

– Бона джиорна, синьоры. Вино росо...³²

Должно быть, очень скучно приходилось в Балаклаве этим молодым, веселым южным молодчикам, которые раньше побывали и в Рио-Жанейро, и на Мадагаскаре, и в Ирландии, и у берегов Африки, и во многих шумных портах Европейского материка. В море – постоянная опасность и напряжение всех сил, а на суше – вино, женщины, песня, танцы и хорошая драка – вот жизнь настоящего матроса. А Балаклава всего-навсего маленький, тихонький уголок, узенькая щелочка голубого залива среди голых скал, облепленных несколькими десятками домишек. Вино здесь кислое и крепкое, а женщин и совсем нет для развлечения бравого матроса. Балаклавские жены и дочери ведут замкнутый и целомудренный образ жизни, позволяя себе только одно невинное развлечение – посудачить с соседками у фонтана в то время, когда их кувшины наполняются водою. Даже свои, близкие мужчины как-то избегают ходить в гости в знакомые семьи, а предпочитают видеться в кофейне или на пристани.

Однажды, впрочем, рыбаки оказали итальянцам небольшую услугу. При пароходе «Генова» был маленький паровой катер со старенькой, очень слабосильной машиной. Несколько матросов под командой помощника капитана вышли как-то в открытое море на этом катере. Но, как это часто бывает на Черном море, внезапно сорвавшийся бог весть откуда ветер подул от берега и стал уносить катер в море с постепенно возрастающей скоростью. Итальянцы долго не хотели сдаваться: около часа они боролись с ветром и волной, и правда, страшно было в это время смотреть со скалы, как маленькая дымящаяся скорлупка то показывалась на белых гребнях, то совсем исчезала, точно проваливалась между волн. Катер не мог одолеть ветра, и его относил все дальше и дальше от берега. Наконец-то сверху, с Генуэзской крепости, заметили белую тряпку, поднятую на дымовой трубе, – сигнал: «Герплю бедствие». Тотчас же два лучших балаклавских баркаса, «Слава России» и «Светлана», подняли паруса и вышли на помощь катеру.

Через два часа они привели его на буксире. Итальянцы были немного сконфужены и довольно принужденно шутили над своим положением. Шутили и рыбаки, но вид у них был все-таки покровительственный.

Иногда при ловле камбалы или белуги рыбакам случалось вытаскивать на крючке морского кота – тоже вид электрического ската. Прежде рыбак, соблюдая все меры предосторожности, отцеплял эту гадину от крючка и выбрасывал за борт. Но кто-то – должно быть, тот же знаток итальянского языка, Коля – пустил слух, что для итальянцев вообще морской кот составляет первое лакомство. И с тех пор часто, возвращаясь с ловли и проходя мимо парохода, какой-нибудь рыбак кричал:

– Эй, итальяно, синьоро! Вот вам на закуску!..

И круглый плоский скат летел темным кругом по воздуху и точно шлепался о палубу. Итальянцы смеялись, показывая свои великолепные зубы, добродушно кивали головами и что-то бормотали по-своему. Почем знать, может быть, они сами думали, что морской кот считается лучшим местным деликатесом, и не хотели обижать добрых балаклавцев отказом.

7

Недели через две по приезде итальянцы собрали и спустили на воду большой паром, на котором установили паровую и воздуходувные машины. Длинный кран лебедки, как гигантское удилище, наклонно воздвигался над паромом. В одно из воскресений Сальваторе Трама впервые спускался под воду в заливе. На нем был обыкновенный серый резиновый водолазный костюм, делавший его еще шире, чем обыкновенно, башмаки с свинцовыми подметками на ногах, железная манишка на груди, круглый медный шар, скрывавший голову. С полчаса он ходил по дну бухты, и путь его отмечался массой воздушных пузырьков, которые вскипали над ним на поверхности воды. А спустя неделю вся Балаклава узнала, что назавтра водолаз будет опускаться уже у самых Белых камней, на глубину сорока сажен. И когда на другой день маленький жалкий катер повел паром к выходу из бухты, то у Белых камней уже дожидались почти все рыбацьи

³² Добрый день, господа. Красное вино... (ит.)

баркасы, стоявшие в бухте.

Сущность изобретения господина Рестуччи именно в том и заключалась, чтобы дать возможность водолазу опускаться на такую глубину, на которой человека в обыкновенном скафандре сплющило бы страшным давлением воды. И, надо отдать справедливость балаклавцам, они не без волнения и, во всяком случае, с чувством настоящего мужественного уважения глядели на приготовления к спуску, которые совершались перед их глазами. Прежде всего паровой кран поднял и поставил стоймя странный футляр, отдаленно напоминавший человеческую фигуру, без головы и без рук, футляр, сделанный из толстой красной меди, покрытой снаружи голубой эмалью. Потом этот футляр раскрыли, как раскрыли бы гигантский портсигар, в который нужно поместить, точно сигару, человеческое тело. Сальваторе Трама, покуривая папиросу, спокойно глядел на эти приготовления, лениво посмеивался, изредка бросал небрежные замечания. Потом швырнул окурки за борт, с развалыцем подошел к футляру и боком втиснулся в него. Над водолазом довольно долго возились, устанавливая всевозможные приспособления, и надо сказать, что когда все было окончено, то он представлял собою довольно-таки страшное зрелище. Снаружи свободными оставались только руки, все тело вместе с неподвижными ногами было заключено в сплошной голубой эмалевый гроб громадной тяжести; голубой огромный шар, с тремя стеклами передним и двумя боковыми – и с электрическим фонарем на лбу, скрывал его голову; подъемный канат, каучуковая трубка для воздуха, сигнальная веревка, телефонная проволока и осветительный провод, казалось, опутывали весь снаряд и делали еще более необычайной и жуткой эту мертвую, голубую, массивную мумию с живыми человеческими руками.

Раздался сигнал паровой машины, послышался грохот цепей. Станный голубой предмет отделился от палубы парома, потом плавно, слегка закручиваясь по вертикальной оси, проплыл в воздухе и медленно, страшно медленно, стал опускаться за борт. Вот он коснулся поверхности воды, погрузился по колена, до пояса, по плечи... Вот скрылась голова, наконец ничего не видно, кроме медленно ползущего вниз стального каната. Балаклавские рыбаки переглядываются и молча, с серьезным видом покачивают головами...

Инженер Рестуччи у телефонного аппарата. Время от времени он бросает короткие приказания машинисту, регулирующему ход каната. Кругом на лодках полная, глубокая тишина – слышен только свист машины, накачивающей воздух, погромыживание шестерен, визг стального троса на блоке и отрывистые слова инженера. Все глаза устремлены на то место, где недавно исчезла уродливая шарообразная страшная голова.

Спуск продолжается мучительно долго. Больше часа. Но вот Рестуччи оживает, несколько раз переспрашивает что-то в телефонную трубку и вдруг кидает короткую команду:

– Стоп!..

Теперь все зрители понимают, что водолаз дошел до дна, и все вздыхают, точно с облегчением. Самое страшное окончилось...

Втиснутый в металлический футляр, имея свободными только руки, Трама был лишен возможности передвигаться по дну собственными средствами. Он только приказывал по телефону, чтобы его перемещали вместе с паромом вперед, передвигали лебедкой в стороны, поднимали вверх и опускали. Не отрываясь от телефонной трубки, Рестуччи повторял его приказания спокойно и повелительно, и казалось, что паром, лебедка и все машины приводились в движение волей невидимого, таинственного подводного человека.

Через двадцать минут Сальваторе Трама дал сигнал к подниманию. Так же медленно его вытащили на поверхность, и когда он опять повис в воздухе, то производил странное впечатление какого-то грозного и беспомощного голубого животного, извлеченного чудом из морской бездны.

Установили аппарат на палубе. Матросы быстрыми привычными движениями сняли шлем и распаковали футляр. Трама вышел из него в поту, задыхаясь, с лицом почти черным от прилива крови. Видно было, что он хотел улыбнуться, но у него вышла только страдальческая, измученная гримаса. Рыбаки в лодках почтительно молчали и только в знак удивления покачивали головами и, по греческому обычаю, значительно почмокивали языком.

Через час всей Балаклаве стало известно все, что видел водолаз на дне моря, у Белых камней. Большинство кораблей было так занесено илом и всяким сором, что не было надежды на их поднятие, а от трехмачтового фрегата с золотом, засосанного дном, торчит наружу только кусочек кормы с остатком медной позеленевшей надписи: «...ck Pr...».

Трама рассказывал также, что вокруг затонувшей эскадры он видел множество оборванных рыбацких якорей, и это известие умилило рыбаков, потому что каждому из них, наверное, хоть раз в жизни пришлось оставить здесь свой якорь, который заело в камнях и обломках...

8

Но и балаклавским рыбакам удалось однажды поразить итальянцев необыкновенным и в своем роде великолепным зрелищем. Это было 6 января, в день крещения господня, – день, который справляется в Балаклаве совсем особенным образом.

К этому времени итальянские водолазы уже окончательно убедились в бесплодности дальнейших работ по поднятию эскадры. Им оставалось всего лишь несколько дней до отплытия домой, в милую, родную, веселую Геную, и они торопливо приводили в порядок пароход, чистили и мыли палубу, разбирали машины.

Вид церковной процессии, духовенство в золотых ризах, хоругви, кресты и образа, церковное пение – все это привлекло их внимание, и они стояли вдоль борта, облокотившись на перила.

Духовенство вошло на помост деревянной пристани. Сзади густо теснились женщины, старики и дети, а молодежь в лодках на заливе тесным полукругом опоясала пристань.

Был солнечный, прозрачный и холодный день; выпавший за ночь снег нежно лежал на улицах, на крышах и на плешивых бурых горах, а вода в заливе синела, как аметист, и небо было голубое, праздничное, улыбающееся. Молодые рыбаки в лодках были одеты только для приличия в одно исподнее белье, иные же были голы до пояса. Все они дрожали от холода, ежились, потирали озябшие руки и груди. Стройно и необычно сладостно неслось пение хора по неподвижной глади воды.

«Во Иордане крещающуюся...» – тонко и фальшиво запел священник, и высоко поднятый крест заблестел в его руках белым металлом... Наступил самый серьезный момент. Молодые рыбаки стояли каждый на носу своего баркаса, все полураздетые, наклоняясь вперед в нетерпеливом ожидании.

Во второй раз пропел священник, и хор подхватил стройно и радостно «Во Иордане». Наконец, в третий раз поднялся крест над толпой и вдруг, брошенный рукой священника, полетел, описывая блестящую дугу в воздухе, и звонко упал в море.

В тот же момент со всех баркасов с плеском и криками ринулись в воду вниз головами десятки крепких, мускулистых тел. Прошло секунды три-четыре. Пустые лодки покачивались, кланяясь. Вздурораженная вода ходила взад и вперед... Потом одна за другой начали показываться над водою мотающиеся фыркающие головы, с волосами, падающими на глаза. Позднее других вынырнул с крестом в руке молодой Яни Липиади.

Веселые итальянцы не могли сохранить надлежащей серьезности при виде этого необыкновенного, освященного седой древностью, полуспортивного, полурелигиозного обряда. Они встретили победителя такими дружными аплодисментами, что даже добродушный батюшка укоризненно покачал головою:

– Нехорошо... И очень плохо. Что это им – театральное представление?..

Ослепительно блестел снег, ласково синела вода, золотом солнце обливало залив, горы и людей. И крепко, густо, могущественно пахло морем. Хорошо!

VIII

Бешеное вино

В Балаклаве конец сентября просто очарователен. Вода в заливе похолодела; дни стоят ясные, тихие, с чудесной свежестью и крепким морским запахом по утрам, с синим безоблачным небом, уходящим бог знает в какую высоту, с золотом и пурпуром на деревьях, с безмолвными черными ночами. Курортные гости – шумные, больные, эгоистичные, праздные и вздорные разъехались кто куда – на север, к себе по домам. Виноградный сезон окончился.

К этому-то сроку и поспекает бешеное вино.

Почти у каждого грека, славного капитана-листригона, есть хоть крошечный кусочек виноградника, – там, наверху, в горах, в окрестностях итальянского кладбища, где скромным бе-

лым памятником увенчаны могилы нескольких сотен безвестных иноземных храбрецов. Виноградники запущены, одичали, разрослись, ягоды выродились, измельчали. Пять-шесть хозяев, правда, выводят и поддерживают дорогие сорта вроде «Чаус», «Шашля» или «Наполеон», продавая их за целебные курортной публике (впрочем, в Крыму в летний и осенний сезоны – все целебное: целебный виноград, целебные цыплята, целебные чадры, целебные туфли, кизилловые палки и раковины, продаваемые морщинистыми лукавыми татарами и важными, бронзовыми, грязными персами). Остальные владельцы ходят в свой виноградник, или, как здесь говорят, – «в сад» только два раза в год: в начале осени – для сбора ягод, а в конце – для обрезки, производимой самым варварским образом.

Теперь времена изменились: нравы пали, и люди обеднели, рыба ушла куда-то в Трапезунд, оскудела природа. Теперь потомки отважных листригонов, легендарных разбойников-рыболовов, катают за пяточок по заливу детей и нянек и живут сдачей своих домиков внаймы приезжим. Прежде виноград родился – вот какой! – величиною в детский кулак, и гроздьбы были по пуду весом, а нынче и поглядеть не на что – ягоды чуть-чуть побольше черной смородины, и нет в них прежней силы. Так рассуждают между собой старики, сидя в спокойные осенние сумерки около своих побеленных оград, на каменных скамьях, вросших в течение столетий в землю. Но старый обычай все-таки сохранился до наших дней. Всякий, кто может, поодиночке или в складчину, жмут и давят виноград теми первобытными способами, к которым, вероятно, прибегал наш прародитель Ной или хитроумный Улисс, опивший такого крепкого мужика, как Полифем. Давят прямо ногами, и когда давитьщик выходит из чана, то его голые ноги выше колен кажутся вымазанными и забрызганными свежей кровью. И это делается под открытым небом в горах, среди древнего виноградника, обсаженного вокруг миндальными деревьями и трехсотлетними грецкими орехами.

Часто я гляжу на это зрелище, и необычайная, волнующая мечта охватывает мою душу. Вот на этих самых горах три, четыре, а может, и пять тысяч лет тому назад, под тем же высоким синим небом и под тем же милым красным солнцем справлялся всенародно великолепный праздник Вакха, и там, где теперь слышится гнусавый теноришка слабогрудого дачника, уныло скрипящий:

И на могилу приноси
Хоть трижды в день мне хризанте-е-мы, –

там раздавались безумно-радостные, божественно-пьяные возгласы:

Эвое! Эван! Эвое!

Ведь всего в четырнадцати верстах от Балаклавы грозно возвышаются из моря красно-коричневые острые обломки мыса Фиолент, на которых когда-то стоял храм богини, требовавшей себе человеческих жертв! Ах, какую странную, глубокую и сладкую власть имеют над нашим воображением эти опустелые, изуродованные места, где когда-то так радостно и легко жили люди, веселые, радостные, свободные и мудрые, как звери.

Но молодому вину не дают не только улежаться, а даже просто осесть.

Да его и добывается так мало, что оно не стоит настоящих забот. Оно и месяца не постоит в бочке, как его уже разливают в бутылки и несут в город. Оно еще бродит, оно еще не успело *опомниться*, как характерно выражаются виноделы: оно мутно и грязновато на свет, со слабым розовым или яблочным оттенком; но все равно пить его легко и приятно. Оно пахнет свежераздавленным виноградом и оставляет на зубах терпкую, кислотоватую оскомину.

Зато оно замечательно по своим последствиям. Выпитое в большом количестве, молодое вино не хочет опомниться и в желудке и продолжает там таинственный процесс брожения, начатый еще в бочке. Оно заставляет людей танцевать, прыгать, болтать без удержу, кататься по земле, пробовать силу, подымать невероятные тяжести, целоваться, плакать, хохотать, врать чудовищные небылицы. У него есть и еще одно удивительное свойство, какое присуще и китайской водке ханджин: если на другой день после попойки выпить поутру стакан простой холодной воды, то молодое вино опять начинает бродить, бурлить и играть в желудке и в крови, а сумасбродное его действие возобновляется с прежней силой. Оттого-то и называют это молодое

вино «бешеным вином».

Балаклавцы – хитрый народ и к тому же наученный тысячелетним опытом: поутру они пьют вместо холодной воды то же самое бешеное вино. И все мужское коренное население Балаклавы ходит недели две подряд пьяное, разгульное, шатающееся, но благодушное и поющее. Кто их осудит за это, славных рыбаков? Позади – скучное лето с крикливыми, заносчивыми, требовательными дачниками, впереди – суровая зима, свирепые норд-осты, ловля белуги за тридцать – сорок верст от берега, то среди непроглядного тумана, то в бурю, когда смерть висит каждую минуту над головой и никто в баркасе не знает, куда их несут зыбь, течение и ветер!

По гостям, как и всегда в консервативной Балаклаве, ходят редко. Встречаются в кофейнях, в столовых и на открытом воздухе, за городом, где плоско и пестро начинается роскошная Байдарская долина. Каждый рад похвастаться своим молодым вином, а если его и не хватит, то разве долго послать какого-нибудь бездомного мальчишку к себе на дом за новой порцией? Жена посердится, побранится, а все-таки пришлет две-три четвертных бутылки мутно-желтого или мутно-розового полупрозрачного вина.

Кончились запасы – идут, куда понесут ноги: на ближайший хутор, в деревню, в лимонадную лавочку на 9-ю или на 5-ю версту Балаклавского шоссе. Сядут в кружок среди колючих ожинков кукурузы, хозяин вынесет вина прямо в большом расширяющемся сверху эмалированном ведре с железной дужкой, по которой ходит деревянная муфточка, – а ведро полно верхом. Пьют чашками, учтиво, с пожеланиями и непременно – чтобы все разом. Один подымает чашку и скажет: «стани-ясо», а другие отвечают: «си-ийя».

Потом запоют. Греческих песен никто не знает: может быть, они давно позабыты, может быть, укронная, молчаливая Балаклавская бухта никогда не располагала людей к пению. Поют русские южные рыбацьи песни, поют в унисон страшными каменными, деревянными, железными голосами, из которых каждый старается перекричать другого. Лица краснеют, рты широко раскрыты, жилы вздулись на вспотевших лбах.

Закипела в море пена
Будет, братцы, перемена,
Братцы, перемена...
Зыб за зыбом часто ходит,
Чуть корабль мой не потонет,
Братцы, не потонет...
Капитан стоит на юте,
Старший боцман на шкафуте,
Братцы, на шкафу-то.

Выдумывают новые и новые предлоги для новой выпивки. Кто-то на днях купил сапоги, ужасные рыбацьи сапоги из конской кожи, весом по полпуду каждый и длиною до бедер. Как же не вспрыснуть и не обмочить такую обновку? И опять появляется на цепу синее эмалированное ведро, и опять поют песни, похожие на рев зимнего урагана в открытом море.

И вдруг растроганный собственник сапог воскликнет со слезами в голосе:

– Товарищи! Зачем мне эти сапоги?.. Зима еще далеко... Успеется... Давайте пропьем их...

А потом навернут на конец нитки катышок из воска и опускают его в круглую, точно обточенную дырку норы тарантула, дразня насекомое, пока оно не разозлится и не вцепится в воск и не завязит в нем лап. Тогда быстрым и ловким движением извлекают насекомое наверх, на траву. Так поймают двух крупных тарантулов и сведут их вместе, в днище какой-нибудь разбитой склянки. Нет ничего страшнее и азартнее зрелища той драки, которая начинается между этими ядовитыми, многоногими, огромными пауками. Летят прочь оторванные лапы, белая густая жидкость выступает каплями из пронзенных яйцевидных мягких туловищ. Оба паука стоят на задних ногах, обняв друг друга передними, и оба стараются ужалить противника ножницами своих челюстей в глаз или в голову. И драка эта оттого особенно жутка, что она непременно кончается тем, что один враг умерщвляет другого и мгновенно высасывает его, оставляя на земле жалкий, сморщенный чехол. А потомки кровожадных листригонов лежат звездой, на животах, головами внутрь, ногами наружу, подперев подбородки ладонями, и глядят молча, если только не ставят пари. Боже мой! Сколько лет этому ужасному развлечению, этому самому жестокому

из всех человеческих зрелищ!

А вечером мы опять в кофейной. По заливу плавают лодки с татарской музыкой: бубен и кларнет. Гнусаво, однообразно, бесконечно-уныло всхлипывает незатейливый, но непередаваемый азиатский мотив... Как бешеный, бьет и трепещется бубен. В темноте не видать лодок. Это кутят старики, верные старинным обычаям. Зато у нас в кофейной светло от ламп «молния», и двое музыкантов: итальянец – гармония и итальянка – мандолина играют и поют сладкими, осипшими голосами:

О! Nino, Nino, Marianino.

Я сижу, ослабев от дымного чада, от крика, от пения, от молодого вина, которым меня потчуют со всех сторон. Голова моя горяча и, кажется, пухнет и гудит. Но в сердце у меня тихое умиление. С приятными слезами на глазах я мысленно твержу те слова, которые так часто заметишь у рыбаков на груди или на руке в виде татуировки:

«Боже, храни моряка».

<1907–1911>

Немножко Финляндии

По одну сторону вагона тянется без конца рыжее, кочковатое, снежное болото, по другую – низкий, густой сосняк, и так – более полусуток. За Белоостровом уже с трудом понимают по-русски. К полудню поезд проходит вдоль голых, гранитных громад, и мы в Гельсингфорсе.

Так близко от С.-Петербурга, и вот – настоящий европейский город. С вокзала выходим на широкую площадь, величиной с половину Марсова поля. Налево – массивное здание из серого гранита, немного похожее на церковь в готическом стиле. Это новый финский театр. Направо – строго выдержанный национальный Atheneum. Мы находимся в самом сердце города.

Идем в гору по Michelsgatan. Так как улица узка, а дома на ней в четыре-пять этажей, то она кажется темноватой, но тем не менее производит нарядное и солидное впечатление. Большинство зданий в стиле модерн, но с готическим оттенком. Фасады домов без карнизов и орнаментов; окна расположены несимметрично, они часто бывают обрамлены со всех четырех сторон каменным гладким плинтусом, точно вставлены в каменное паспарту. На углах здания высятся полукруглые башни, над ними, так же как над чердачными окнами, островерхие крыши. Перед парадным входом устроена лоджия, нечто вроде глубокой пещеры из темного гранита, с массивными дверями, украшенными красной медью, и с электрическими фонарями, старинной, средневековой формы, в виде ящичков из волнистого пузыристого стекла.

Уличная толпа культурна и хорошо знает правую сторону. Асфальтовые тротуары широки, городские стройны, скромно шеголеваты и предупредительно вежливы, на извозчиках синие пальто с белыми металлическими пуговицами, нет крика и суеты, нет разносчиков и нищих.

Приятно видеть в этом многолюдье детей. Они идут в школу или из школы: в одной руке книги и тетрадки, в другой коньки; крепкие ножки, обтянутые черными чулками, видны из-под юбок и штанишек по колено. Дети чувствуют себя настоящими хозяевами города. Они идут во всю ширину тротуара, звонко болтая и смеясь, трепля рыжими косичками, блестя румянцем щек и голубизною глаз. Взрослые охотно и бережно дают им дорогу. Так повсюду в Гельсингфорсе. Мне кажется, можно смело предсказать мощную будущность тому народу, в среде которого выработалось уважение к ребенку. Я невольно вспоминаю рассказ моего хорошего приятеля, доктора Андреева, о японских детях. Рассказ относится ко времени задолго до русско-японской войны:

«Идет, представьте себе, по самой людной улице в Нагасаках этакий огарыш, лет пяти-шести, в отцовском цилиндре, надвинутом чуть не по плечи, в туфлях и в керимоне. Но керимон распахнут настежь, и под ним ровно ничего нет, кроме прелестного, голого, загорелого детского тельца. Малыш небрежно шествует посередине тротуара с потухшей папироской в зубах, не обращая ни малейшего внимания на человеческую суету вокруг себя. Никому даже в голову не придет толкнуть его, или рассердиться, или просто выразить нетерпение. Вот нагоняет

его взрослый японец – деловой, торопливый, запыхавшийся человек. Ребенок в уличной давке окончательно застопорил всем дорогу. Взрослый мечется налево-направо – ничего не выходит. Тогда, смеясь, хватает он мальчугана под мышки, несет его с десятков-два шагов, пока не найдется свободного места, шуточно перевертывает его вокруг себя, ставит бережно к стенке и поспешно идет дальше. А ребенок не только не выражает испуга или недоверия – нет, он даже не потрудился взглянуть, кто это заставил его совершить воздушное путешествие, – до того он уверен в своей безопасности и в неприкосновенности своей священной особы, и так всецело занят он своей потухшей папироской».

Не могу я не вспомнить при этом, как однажды осенью мы собирались везти из деревни в Петербург одну очень хорошо мне знакомую девицу трех с половиной лет. Она плакала и кричала в отчаянии:

– Не хочу ехать в Петербург! Там все толкаются и все гадко пахнут. Для меня вот такие живые мелочи дороже самых убедительных статистических цифр. В них мелькает настоящая душа народа.

Стоит, например, посмотреть, как летом, в полдень, возвращаются из Петербурга по железной дороге финские молочницы. На каждой станции, вплоть до Перки-ярви, высыпают они веселыми гурьбами с множеством пустых жестяных сосудов, перекинутых по обе стороны через плечо. И каждую из женщин уже дожидадут на платформе свои. Кто-нибудь помогает ей сойти со ступенек вагона, другой – муж или брат – предупредительно освобождает ее от ноши, домашний пес вертится тут же, прыгает передними лапами всем на платье, возбужденно лает и бурно машет пушистым хвостом, завернутым девяткой.

В Финляндии женщина всегда может быть уверена, что ей уступят место в вагоне, в трамвае, в дилижансе. Но ей также уступили место и в государственном сейме, и финны справедливо гордятся тем, что в этом деле им принадлежит почин. Они первые в Старом Свете послали четырех женщин блюсти высшие интересы страны вместе с достойнейшими. И мне кажется, что между встречей, оказанной молочнице из Усикирко, и выборами женщин в сейм есть некоторая отдаленная связь, как между первой и последней ступенькой длинной лестницы. Женский труд применяется самым широким образом. В конторах, банках, магазинах, в аптеках – повсюду занимаются женщины. Во всех ресторанах, равинталах и бodegaх прислуживают миловидные девушки, прекрасно одетые и чрезвычайно приличные. Домашняя прислуга исключительно женская. Не редкость увидеть женщину-парикмахера. Но что особенно поражает своею странностью российских козерогов, так это женщины, обслуживающие в банях, не только женских, в мужских.

Когда русские говорят о Финляндии, то уже непременно вспоминают и об этой непонятной, на наш взгляд, отрасли ремесла, вспоминают, надо сознаться, с ужимками, с худо скрытым любопытством, с притворным возмущением: «Черт знает что за безобразия!» Однако никакого безобразия в этом нет. Услуживает вам серьезная, деловая женщина, лет тридцати пяти, одетая в безукоризненное желтое, холстинковое платье; на шее у нее крахмальничок; короткие рукава, собранные пышным буфом гораздо выше локтей, оставляют голыми сильные ловкие руки. Ни лишних слов, ни жеманства, ни улыбки. Она вас переводит из паровой ванны под душ и в бассейн, мылит, моет, массирует, обтирает, взвешивает на весах и серьезно приговаривает три коротеньких словечка: «Вар шо гут», то есть будьте так добры. И наш российский козерог быстро подчиняется этой спокойной деловитости.

В Финляндии совсем нет проституции, по крайней мере явной, покровительствуемой, или, как выражаются, терпимой законом. Говорят, что миловидные фрекен из ресторанов и кофеен не отличаются чрезмерной строгостью нравов. Мне рассказывал об этом русский офицер, служивший в Финляндии, по-видимому, большой сердцеед, но и он утверждал, что благосклонность этих девиц не имеет расчетливого характера и в худшем случае вознаграждается духами, конфетами, перчатками, шляпкой или платьем. И надо сказать, что все ресторанные фрекен одеты нарядно и со вкусом.

Тот же офицер говорил, что в Гельсингфорсе, однако, существует тайная проституция, но довольно странного характера – дневная. Ищут встреч на улицах и в воротах домов в самый разгар городской жизни – в три-четыре часа пополудни, когда Северная эспланада представляет собою подобие прогуливающегося Невского проспекта. Оставляю это сведение на его офицерской совести, хотя должен прибавить, что то же самое подтвердил, и даже с большей убедительностью, один гельсингфорский студент, родом финн. С сожалением должен я признать, что в

большом количестве женщины в Финляндии не производят очаровательного впечатления. Еще там, где сказывается шведская кровь, попадаются красивые, тонкие фигуры, нежные и смелые черты лица, прелестные, пышные, золотистые и соломенные волосы, маленькие руки и ноги. Чистокровные финки, увы, некрасивы... Тела нескладные, с короткими ногами, с квадратной сутулой спиной, шея ушла внутрь между плеч, лица широкоскулые, рты бесформенные, веснушки, аляповатые носы, разноцветные рыже-бурые, жидкие волосы. Но что уж греха таить: совершенно такого же характера красота и великорусских женщин, за исключением разве Поволжья. Мужчины в Финляндии белобрысы и суровы. Но у мужчин и у женщин одинаково прекрасны глаза – спокойные, смелые, светло-ясно-голубые. Мужские лица прежде времени старятся. И когда я гляжу на их корявые, некрасивые черты, среди которых сияют из резких, глубоких морщин чистые, синие глаза, я невольно думаю об общей картине этой страны, где между гранитных, диких громад, на высотах, тихо дремлют, отражая небо, прозрачные озера. Кстати, национальные цвета молодой Финляндии – белый с голубым. Символы снега и горных озер, покрывающих родную землю.

Финны – это настоящий, крепкий, медлительный, серьезный мужицкий народ. Вглядитесь внимательно в лицо любого финского франта, идущего по эспланаде в блестящем цилиндре, в модном пальто с хризантемой в петличке. Тот же крестьянский облик, те же выдавшиеся скулы, те же сжатые молчаливые губы подковой, те же глубоко сидящие, маленькие, голубые холодные глаза, резкие полосы морщин вокруг рта и носа, упрямые, сильные бритые подбородки. Так сразу и читаешь в лице этого щеголеватого джентльмена ту длинную, многовековую историю завоевания суровой природы, через которую прошли его предки, среди жестокого климата, на скудной земле, усеянной огромными камнями, под рев водопадов, в короткие часы лета и длинные зимние ночи.

Финляндия поистине демократична. Демократична вовсе не тем, что в ней при выборах в сейм победили социал-демократы, а потому, что ее дети составляют один цельный, здоровый, работающий народ, а не как в России – несколько классов, из которых высший носит на себе самый утонченный цвет европейской полировки, а низший ведет жизнь пещерного человека. И кажется, в этой-то народности – я бы сказал: простонародности – и коренится залог прочного, крепкого хозяйственного будущего Финляндии.

Трогательно, иногда чуть-чуть смешно лежит на этой мужицкой внешности след старинной феодальной шведской культуры. В глубине страны незнакомые дети, встречаясь с вами, приветствуют вас: мальчики кланяются, девочки делают на ходу наивный книксен. Приседает женская прислуга, приседает с каким-то странным, коротеньким писком пожилая хозяйка. Но когда, уезжая, вы дадите горничной несколько мелких серебряных монет, она непременно протянет вам дружески жесткую сильную руку для пожатия.

Здесь любят цветы и при каждом семейном случае, в каждый праздник дарят их друг другу. Во всяком доме, во всяком, даже самом плохоньком, третьеразрядном ресторане вы увидите на столах и на окнах цветы в горшках, корзинах и вазах. В маленьком Гельсингфорсе больше цветочных магазинов, чем в Петербурге. А по воскресеньям утром на большой площади у взморья происходит большой торг цветами, привозимыми из окрестностей. Дешевизна их поразительна: три марки стоит большущий куст цветущей азалии. За полторы марки (пятьдесят копеек с небольшим) вы можете приобрести небольшую корзину с ландышами, гиацинтами, нарциссами. И это в исходе зимы.

На рождестве, на елку, дарят друг другу подарки. Здесь опять-таки сказывается практический дух мужиковатого народа: дарят исключительно домашние необходимые вещи, большею частью своего изделия. Особенно принято дарить мужчинам теплый нижний вязаный костюм. Этот костюм обтягивает вплотную все тело, он вяжется целым от шеи до подошв и застегивается на спине. Большинство мужчин носят под одеждой такое теплое трико, и понятно, почему финны так легко одеваются даже в сильные морозы.

О поголовной грамотности финнов все, конечно, слышали, но, может быть, не все видели их начальные народные школы. Мне привелось осмотреть довольно подробно новое городское училище, находящееся на окраине города, в Т616. Это дворец, выстроенный года три-четыре тому назад, в три этажа, с саженными квадратными окнами, с лестницами, как во дворце, по всем правилам современной широкой гигиены.

Я обходил классные помещения сейчас же после того, как окончились в них занятия. Вся-

кий из нас, конечно, помнит тот ужасный, нестерпимый зловонный воздух, который застаивается в классах наших гимназий, корпусов и реальных училищ после трех-четырех уроков. О городских школах и говорить нечего! И потому я буквально был поражен той чистотой воздуха, которая была в учебных комнатах финского низшего училища. Достигается это, конечно, применением самой усовершенствованной вентиляции, но главным образом тем, что финны вообще не боятся свежего воздуха и при всяком удобном случае оставляют окна открытыми настежь. Всякая мелочь, служащая для удобства и пользы школьников, обдумана здесь с замечательной любовью и заботливостью. Форма скамеек и чернильниц, ландкарты, коллекции, физический и естественный кабинеты, окраска стен, громадная высота комнат, пропасть света и воздуха, и, наконец, даже такая мелочь, как цветы на окнах, – цветы, которые с большим удовольствием приносят в школу сами ученики, – все это трогательно свидетельствует о внимательном и разумном, серьезном и любовном отношении к делу.

Подобной гимнастической залы, как в этой четырехклассной низшей школе, я не видал нигде в России, по богатству и остроумию приборов и по той щеголеватой чистоте, в которой она содержится. Около гимнастической залы есть маленький коридорчик, и в нем вдоль обеих стен длинные шкафы со множеством маленьких ячеек. Над каждой ячейкой написана фамилия ученика или ученицы, и там лежат гимнастические туфли, все одинакового образца, легкие, полотнояные, с веревочными подошвами.

Спорт здесь в большом почете, но опять-таки спорт разумный и даже, если хотите, патристический.

Почти ни одного мальчишку вы не увидите здесь на улице без коньков в руках. По праздникам девушки, студенты, приказчики, конторщики, очень часто пожилые и даже толстые и седые люди, отправляются с лыжами куда-нибудь на край города. Повсюду в витринах фотографов вы увидите моментальные снимки с знаменитых прыжков в тридцать два метра длиной и более. С изумлением видишь на фотографии, как человек на лыжах, в теплом трико и в вязаной шапочке колпаком, окончив разбег по горе до края обрыва, летит в силу инерции по воздуху высоко над головами стоящих внизу людей.

Летом финская молодежь собирается в гимнастические общества, занимается бегом взапуски, метанием дисков и копий, прыжками в ширину и в длину и в особенности плаваньем, в котором финны не имеют соперников в Европе. Я скажу не преувеличивая, что через такую здоровую, вольную школу, воспитывающую дух и тело, проходит каждый финн.

Их женщины и дочери не меньше мужчин любят конькобежный и лыжный спорт и также не боятся ни мороза, ни сквозного ветра. Я никогда не могу забыть той девочки лет двенадцати-тринадцати, которая однажды, при морозе в шестнадцать градусов, проходила мимо памятника поэту Рунебергу с открытой по ключицы шеей, с небольшим суконным беретом на голове и коньками под мышкой. Не могу сказать, чтобы она была красива, но столько свежести, бодрости, ловкой уверенности в движении было в ней, что я невольно залюбовался. Крепкая, здоровая, славная северная кровь!

Тут же рядом мне хочется сказать несколько слов и о финском искусстве. Я несколько дней провел в гельсингфорском Atheneum'e, в этом великолепном национальном музее искусства. Я был тогда влюблен – я не могу подобрать другого слова – в триптих Галена на мотив из «Калевалы». Я знаю, если бы судьба занесла меня опять в Гельсингфорс, я первым долгом прямо с вокзала побежал бы на свидание с этим изумительным произведением. Какая громадная грядущая сила, еще не развернувшаяся, но уже поднимающаяся мощной волной, таится, однако, в этих неуклюжих, корявых пасынках природы. Искусство их, по-видимому, только еще пробует голос, точно молодой соловей-первогодок, но Гален, Эдельфельд, Иеренфельд – это уже художники, у которых не грех поучиться европейским мастерам.

И публика, посещающая Atheneum, поражает наш русский глаз, привыкший видеть в наших музеях, картинных галереях, на выставках исключительно нарядную салонную публику. В гельсингфорском Atheneum'e вы увидите в праздник самых серых тружеников – рабочих, разносчиков, прислугу, – но одетых в самое лучшее, праздничное платье.

Конечно, трудно многое сказать о стране, в которой был только мимоходом, но все, что я видел, укрепляет во мне мысль, что финны – мирный, большой, серьезный, стойкий народ, к тому же народ, отличающийся крепким здоровьем, любовью к свободе и нежной привязанностью к своей суровой родине. Я совершенно чужд политике и никогда не хотел бы быть в роли пред-

сказателя или устроителя судеб народов. Но когда я читаю или слышу о той газетной травле против финнов, которая совершается якобы во имя достоинства русского имени и безграничности русских владений во все страны магнитного поля, мне каждый раз хочется сказать относительно Финляндии: ежа голой спиной не убьешь.

Слава богу, теперь мало-помалу улучшаются отношения между финнами и теми из русских, которые посещают их родину. Я и мои друзья, без всяких рекомендаций, встречали повсюду: в Гельсингфорсе, в Выборге, на Иматре и других мести остях, самый радушный, любезный и предупредительный прием. Случалось, что мы попадали в магазин, где хозяева не понимали ни по-русски, ни по-немецки, ни по-французски. Мы же, с своей стороны, не владели ни финским, ни шведским языками. И каждый раз нам любезно приглашали из какого-нибудь соседнего магазина бескорыстного и любезного переводчика. Однако недалеко то время, когда финны притворялись глухими, и немыми, и слепыми, едва слышав русскую речь. Это было в эпоху крутых мер генерал-губернатора Бобрикова. И то сказать, хорошо было наше обрусительное культуртрегерство. Помню, лет пять тому назад мне пришлось с писателями Буниным и Федоровым приехать на один день на Иматру. Назад мы возвращались поздно ночью. Около одиннадцати часов поезд остановился на станции Антреа, и мы вышли закусить. Длинный стол был уставлен горячими кушаньями и холодными закусками. Тут была свежая лососина, жареная форель, холодный ростбиф, какая-то дичь, маленькие, очень вкусные биточки и тому подобное. Все это было необычайно чисто, аппетитно и нарядно. И тут же по краям стола возвышались горками маленькие тарелки, лежали грудками ножи и вилки и стояли корзиночки с хлебом.

Каждый подходил, выбирал, что ему нравилось, закусывал, сколько ему хотелось, затем подходил к буфету и по собственной доброй воле платил за ужин ровно одну марку (тридцать семь копеек). Никакого надзора, никакого недоверия. Наши русские сердца, так глубоко привыкшие к паспорту, участку, принудительному попечению старшего дворника, ко всеобщему мошенничеству и подозрительности, были совершенно подавлены этой широкой взаимной верой. Но когда мы возвратились в вагон, то нас ждала прелестная картина в истинно русском жанре. Дело в том, что с нами ехали два подрядчика по каменным работам. Всем известен этот тип кулака из Мещовского уезда Калужской губернии: широкая, лоснящаяся, скуластая красная морда, рыжие волосы, вьющиеся из-под картуза, реденькая бороденка, плутоватый взгляд, набожность на пятиалтынный, горячий патриотизм и презрение ко всему нерусскому – словом, хорошо знакомое истинно русское лицо. Надо было послушать, как они издевались над бедными финнами.

– Вот дурачье так дурачье. Ведь этикие болваны, черт их знает! Да ведь я, ежели подсчитать, на три рубля на семь гривен съел у них, у подлецов... Эх, сволочь! Мало их бьют, сукиных сынов! Одно слово – чухонцы.

А другой подхватил, давясь от смеха:

– А я... нарочно стакан кокнул, а потом взял в рыбину и плюнул.

– Так их и надо, сволочей! Распустили анафем! Их надо во как держать!

И тем более приятно подтвердить, что в этой милой, широкой, полусвободной стране уже начинают понимать, что не вся Россия состоит из подрядчиков Мещовского уезда Калужской губернии.

Январь 1908

Над землей

Заранее извиняюсь, что мне придется говорить слишком много о самом себе, то есть, вернее, о моих личных впечатлениях. Но как иначе преломить их, как не через собственное сознание? Не верьте никому, кто вам скажет, что он не испытывал перед первым воздушным полетом нечто, похожее на страх. Этот человек, наверное, хвостун. Но страх этот живет только в воображении. Ложась спать в ночь перед поднятием на шаре, я представил себе мысленно громадную высоту, с которой я буду смотреть вниз на людей и дома, и у меня сердце сжалось от мгновенного ужаса. Совершенно то же самое я испытывал и в ночь перед первой медвежьей облавой. Может быть, это происходило только оттого, что мы, художники, больше, сильнее и полнее живем своим воображением, чем действительностью? Оттого, что ожидание и воспоминание вол-

нуют нас несравненно больше самой жизни? Но и в том и в другом случае действительность оказалась вовсе не страшной, а легкой и радостной. Немного, правда, утомительны были советы и предостережения друзей. Один предостерегал меня от 13 числа, в которое я должен был подняться. Другой по-товарищески обратил мое внимание на то, что у нас на даче по вечерам около террасы воет собака. Третий пугал меня капризными ветрами равноденствия. Четвертый, пятый и шестой добросовестно рассказывали о всех случаях катастроф с воздушными шарами, о которых им только приходилось читать или слышать. Впрочем, я ни одной секунды не сомневаюсь в том, что все это было вызвано только дружеской заботой обо мне.

В 8 часов утра 13 сентября я проснулся и первым делом поглядел в окно. Небо было туманное, облака неподвижны, хотя верхушки акаций раскачивались и гнулись в стеклянном переплете окна. Из этих маленьких наблюдений я твердо заключил, что полет наш будет совершенно благополучным. На аэродром я поехал слишком рано, к 11 часам. Конечно, первое, что я увидел, это был шар. Но он вовсе не был похож на шар, а на шляпку гриба, только величиною в главный соборный купол, желтого цвета, похожего на цвет желтого пластыря. Эта огромная грибная шляпка, слегка покачиваясь, вздувалась и опадала. Зрелище это меня немного удивило. До сих пор я ни разу в жизни не видал аэростата и по своей неопытности и легкомыслию предполагал, что это что-нибудь вроде детских игрушечных шаров, которые гроздьями продаются на улицах, только, конечно, немного большего размера. Я подошел, пощупал материю шара – она оказалась плотности пароходного брезента, понюхал и убедился, что она пахнет масляной краской, услышал легкий и довольно противный запах светильного газа, но решительно не понял ничего из того, что здесь происходило. Еще заметил, как понемногу вырастал этот желтый гриб, принимая форму груши, раздавленной и перевернутой вниз черенком, растягивая и расширяя надетую сверх него сетку; заметил ловкую, чрезвычайно спокойную работу чинов морского батальона: по мере наполнения и вырастания шара, они методически, с петли сетки на петлю, все ниже и ниже перецепляли мешки с балластом – зеленые небольшие мешки с крючками наверху. Мне сказали, что шар будет готов к 2 часам, и в 2 часа я опять приехал на аэродром. Было уже довольно много народу, преобладали мужчины, и большинство тесным черным кольцом толпились около шара. Мне сейчас же показали меня. Я ходил по аэродрому в синем английском костюме с красной феской на голове. За мной ходили, разинув рты, мальчишки, которые, как известно, всегда рады каждому необычному происшествию. Я слышал, как один уверял другого: «Ну вот, рассказывай больше. Я знаю Куприна: он всегда в феске ходит». – «Да! В феске! А отчего же он такой черный и большой?» При ближайшем рассмотрении, я убеждаюсь, что это не я, а мой приятель, борец Мурзук, негр. Я с удовольствием здороваюсь с этим спокойным, сильным человеком. Тотчас же встречаю другого приятеля – Ярославцева. У нас с ним вышел недавно довольно горячий спор о сравнительных преимуществах французской борьбы и английского бокса. Я уверял его в том, что всякий вид спорта должен заключать в себе хотя бы оттенок риска, пренебрежения к боли и презрения к смерти. Он же стоял за пластическую красоту поз и движений, шутя повторяя причудливое выражение Киплинга о крови, как о «красном соусе». Мы поспорили накануне целый вечер. И вот теперь, лукаво щуря левый глаз, пожимая мне руку и улыбаясь, он спрашивает вполголоса: «Что, захотелось красного соуса?» Но сказано это благодушно, веселым, ободряющим тоном. Наступает еще несколько томительных моментов: тащат сниматься, щелкают кодаком один раз, другой, третий, просят не шевелиться, наклонить голову влево, вправо, назад и принять непринужденный вид.

Около 21/2 часов. Небо синее, глубокое, по-осеннему спокойное. И на нем точно заснули белые, светлые облака грядистые. Теперь уже ни один листок на деревьях не шевелится. Наступает момент подъема. Мы только что кончили фотографироваться. Наш пилот, С. И. Уточкин, говорит, что уже время садиться в корзинку. К этой корзинке мы, трое новичков – И. М. Хейфец, редактор «Одесских новостей», И. А. Горелик, сотрудник-корреспондент «Русского слова», и я – пробираемся с очень большим трудом сквозь толпу, обступившую шар. Матросы морского батальона и несколько городских горячо убеждают зрителей не наступать на веревки. Неожиданную, но дружную услугу нам оказывают несколько студентов и газетных сотрудников, которые цепью, взявшись за руки, расширяют круг. Уточкин висит уже под самым шаром на каком-то канате и на каком-то, совершенно непонятном для меня, специальном языке отдает последние распоряжения, которые неторопливо, но быстро и ловко исполняются матросами... Я мысленно спрашиваю свое сердце: «Не страшно?» Прислушиваюсь и не замечаю в себе ничего, кроме бо-

язни показаться смешным или неловким. Весело! Пилот говорит, что можно садиться в корзинку. Легко сказать – садиться, но как туда влезешь вчетвером? Корзинка не больше как мне по пояс; в верхнем обресе два квадратных аршина, книзу немного суживается, да тут еще восемь канатов, которые подтягивают ее к шару и в которых никак не распутаясь, а над головой, на высоте двух сажен, стоит желтый пузырь, распирающий петли надетой на нем сетки и заслоняющий все небо. Садимся со всей смехотворной неловкостью, на которую только способны новички. Быстро вглядываюсь в лица обоих моих литературных коллег. Ничего. Лица спокойны, их цвет не изменился, но в глазах немного больше сосредоточенности, чем обыкновенно. В последний момент одному из них матрос бросает на колени спасательный пояс и говорит быстро, вполголоса: «Держите около себя, потом некогда будет разбираться, надевайте не на грудь, а на живот!»

Бегло оглядываю плотное кольцо зрителей, и тут мне становится чуть-чуть неприятно. С несомненной ясностью я вижу во многих жажду кровавого представления и читаю в них затаенную, может быть, для них самих темную мысль: «А вдруг?» Особенно меня поражает физиономия какого-то молодого парня в грязной блузе цвета хаки. На голове у него старая рыбачья шапка с широкими опущенными вниз полями. Вряд ли он трезв. Влажные и тупые глаза его с бессмысленною жадностью устремлены на нас. Он покачивается и, по-видимому, весь – точно в кошмарном сне. Его отталкивают, и довольно бесцеремонно. Но он ничего не видит и не слышит. Он весь, всеми своими чувствами, всей душой погрузился в невиданное, жуткое, пряное зрелище. Не дай бог увидеть такое сумбурное лицо когда-нибудь на баррикадах или во время погрома! Пилот отдает вниз, команде, какие-то распоряжения о каких-то концах, которые нужно куда-то отдать. Толпа придвигается ближе, настолько ближе, что никакие увещания на нее уже больше не действуют.

«П-п-поберегите в-ваши шапки! – кричит весело на публику пилот, – я м-могу их нечаянно сбить к-корзин-кой!» Он немного заика, но голос его звучит очень явственно, отдельно и внушительно. Затем... затем все люди внизу вдруг почему-то кажутся странно маленькими. Только благодаря этому я сознаю, что мы уже полетели. Совсем напрасно меня предупреждали о том, что первые секунды подъема на аэростате сопряжены со страданиями, несколько напоминающими приступы морской болезни и происходящими от раскачивания корзины. Я положительно уверяю, что даже не заметил момента отделения от земли. Я едва-едва успел только разглядеть несколько знакомых лиц, различить несколько дружеских улыбок и услышать гул невнятных криков.

Быстро-быстро мелькнуло серое платье, большая черная шляпа над золотыми волосами и прелестное тонкое лицо талантливой артистки Ю. Вслед за тем, когда я еще раз поглядел вниз, – площадь аэродрома представилась мне маленьким белым четырехугольником, по которому ходили крошечные люди. Странно: мне показалось, что их не более чем пятьдесят человек, хотя я знал наверное, что их там больше тысячи. На ярко-белом фоне плаца аэродрома, под ослепительным освещением осеннего южного солнца, черные фигуры мужчин и пестрые костюмы женщин производили сверху впечатление какого-то движущегося, опрятного, живого цветника. Поразительно было глядеть на людей сверху вниз: казалось, что движутся только одни головы, а под ними переступают носки ног, а около них чернеют длинные тени, и казалось, что все эти люди только перебирают ногами на месте, не переступая ни на шаг вперед. Но всего необыкновеннее было ощущение внезапной полной оторванности от людей. Только мы остались во всем мире вчетвером в маленькой корзинке, и никому уже больше нет до нас дела, так же как и нам до них.

Проходит не больше двух минут. Вся Одесса лежит под нами, точно карта города, изданная городской управой, где улицы оставлены белыми, кварталы – иллюминированы красным и желтым, а море обозначено голубым. Еще две минуты – и весь этот вид точно придавливается грязноватым туманом, в котором едва различаешь фабричные трубы и колокольни церквей. С трудом различаю внизу неподвижно стоящую на месте конку и пару лошадей, которые, не подвигаясь вперед, перебирают ногами; лошади величиною с пару майских жуков. К моему удивлению, мы уже утолклись и разместились в тесной корзине. На дне ее, под нашими ногами лежат: корзина с провизией, зеленые мешочки с балластом, толстый, свернутый спиралью гайдроп, бунт якорного каната и полуторапудовый четырехлапый якорь. И, несмотря на это, нам уже почти просторно. Мои товарищи по поездке обращают мое внимание на красоты видов, ко-

торые расстилаются под нами, узнают площади, называют церкви – Покровскую и Успенскую и еще какую-то, но я совершенно равнодушен к их увлечению. Все, что я вижу под собой, мне представляется не более чем скучной, ничего не говорящей моей душе, какой-то выдуманной и совсем неинтересной картой. И это чувство равнодушия к земле настолько сильно, что оно меня самого удивляет. Шар идет вверх, но движение его совершенно для нас незаметно. Мы стоим на месте. Испытываю лишь ощущение невесомости собственного тела и странной неустойчивости ног, – то же ощущение, какое я испытывал однажды, опускаясь при свободном падении вагонетки в глубину юзовской шахты.

Я замечаю об этом пилоту. Он достает из кармана листок бумаги, отрывает от него угол и выбрасывает за корзину шара. Клочок бумаги мгновенно падает вниз и исчезает из глаз. Мы поднимаемся. Время от времени Уточкин вынимает из кармана какой-то круглый металлический прибор, смотрит на него и сообщает высоту, на которой мы находимся: 300, 400, 500, 600 метров. Течением ветра нас несет к Большому Фонтану. Иногда пилот с поразительным спокойствием и с ловкостью обезьяны взбирается вверх по канату и что-то там поправляет. Признаюсь: я бы не решился вести себя таким образом на высоте, превосходящей в три раза Эйфелеву башню.

Кто-то из нас спрашивает: «Это и есть та самая красная веревка, за которую нельзя дергать?» Тут в кратких словах С. И. Уточкин объясняет нам назначение клапанной веревки и аппендицитного приспособления: последнее употребляется только при неожиданно быстрых спусках, и назначение его – мгновенно превратить аэростат в парашют; собою же оно представляет какой-то маленький смешной мешочек, висящий из-под шара над нашими головами. «Я к этой гадости никогда не прибегаю, – говорит с шутливой презрительностью Уточкин, – потому что я могу вас спустить на любой точке, какую вы мне укажете. И вам ее трогать не советую». Мне приходит в голову воспоминание о некоторых газетных кривотолках, и я стараюсь представить себе самого себя в положении человека, летящего вниз вместе с шаром со страшной быстротой вследствие какой-нибудь порчи в аэростате. И я понял с непоколебимой ясностью, что, спасая себя при падении, аэронавт может ухватиться только за боковые канаты, соединяющие корзину с шаром. В них руки инстинктивно чувствуют единственную связь, соединяющую ноги, отделенные от земли, с огромным желтым пузырем, который неподвижно висит над вами и незаметно для вас плывет и поднимается в воздухе, закрывая от нас небо. 750 метров. Я нарочно гляжу вниз, стараясь вызвать в себе очень знакомое мне чувство боязни высоты. Но это мне никак не удается. Очевидно, на такой высоте это чувство совсем исчезает. Вообще мне кажется, что я нахожусь в каком-то сладком, легком, спокойном и ленивом сне, в котором забываешь о времени и пространстве. Наши ощущения уже в достаточной мере устоялись. К высоте, на которой мы находимся, и к нашему не совсем обычному положению мы уже настолько привыкли, что можем свободно разговаривать. Пилот, не выпуская из рук анероида, любезно и обстоятельно отвечает на наши вопросы... Впрочем, о С. И. Уточкине, об этом наиболее своеобразном человеке, какого я только видел в своей жизни, я должен – извиняюсь перед ним за нескромность – поговорить подробнее. Да и то сказать: если есть в Одессе два популярных имени, то это имена Бронзового Дюка, стоящего над бульварной лестницей, и С. И. Уточкина.

Уточкин – это кумир рыбаков, велосипедистов, всех званий и возрастов, женщин, жадных до зрелищ, и уличных мальчишек. Он сам рассказывает о себе в юмористическом тоне: «Я очень популярен в Одессе. Когда я еду по улице на машине, то уличные мальчишки бегут за мною и дразнятся: «Уточкин, рыжий пес». И действительно: он рыж, этот рыжеволосый, светлоресничный, синеглазый человек выше среднего роста, с головой, уходящей немного между плеч, короткошей и длиннорукий, и – правда, что в его нешироком, но плотном сложении невольно чувствуются звериная ловкость, сила и находчивость. Верно и то, что дети с их тоже звериной наблюдательностью очень редко ошибаются в своих метких прозвищах. Он самый страстный спортсмен в мире, какого только можно себе вообразить. Он перепробовал почти все виды спорта, но, достигнув в каждом из них верха, тотчас же переходил к другому спорту. Так он сделался первоклассным циклистом и приобрел себе известность на всех циклодромах Европы; потом его увлекли автомобильные состязания, во время которых он развивал страшную скорость – по полтора километра в час; затем парусные гонки, затем самый свирепый и кровавый бокс, затем уже полеты на аэростатах. И повсюду он достигал наивозможного совершенства. Теперь он бредит аэропланами. Но спортсмен вовсе не убил в нем чрезвычайно интересной индивидуаль-

ности: он остроумен, изящен в разговоре, внимательно следит за литературой, и любимый его писатель – Кнут Гамсун, особенно его «Пан», в котором разлито так много той прекрасной звенности, что, к сожалению, почти исчезла уже у современного человека.

– Опасность от полета, – отвечает он на чей-то немного беспокойный вопрос, – равняется приблизительно отношению одного процента к миллиону. Но опасность спуска можно учесть как один к восьмистам. Но и здесь всего неприятнее не возможность падения или ушиба, а издевательство окрестных крестьян, к которым поневоле приходится обращаться за помощью и за подводами. Между тем мы уже на высоте 900 метров. Ощущение ровного, блаженного, неизъяснимого покоя все больше окутывает каким-то сладким сном тело и душу. Гляжу вниз на распластанные, плоские кварталы пригородов и все яснее чувствую, что ничто в мире меня уже больше не связывает с землей. Думаю мимолетно: «С каким бесконечным равнодушием должен был бы глядеть сверху вниз на нашу незначительную, а для нас такую важную земную жизнь кто-нибудь, вечно глядящий на нее с высоты облаков». Неприятно лишь одно физическое чувство – чувство давления воздуха в ушах на барабанную перепонку. Такое неприятное чувство я испытывал как-то давно в бане на полке, когда на каменку вдруг поддавали пару. Неприятно и еще одно: на аэростате, как известно, запрещается курить во избежание взрыва светильного газа, наполняющего шар. Зная это и боясь инстинктивной привычки, я не взял с собою папирос. И вот теперь то и дело лезу привычным жестом в карман и каждый раз испытываю мелочное, но противное разочарование. Случайно взглянув вниз, замечаю парящих над городом каких-то белых птиц, должно быть, голубей. Тут же вспоминаю, что последними звуками, которые до нас доносились с земли, были звуки человеческого свиста – это, должно быть, приветствовали наш полет одесские мальчуганы. Пилот предлагает нам испробовать полет над самой землей на высоте ста метров. Он говорит, что лишь на этой сравнительно малой высоте, когда человеческий глаз способен почти точно определять расстояния, только и чувствуется весь ужас бездны. Мы соглашаемся. Он посредством тонкого красного шнура открывает клапан, и газ струится из него с легким ропотом. Мы начинаем быстро опускаться. «700... 500... 300... 200... 80 метров», – отсчитывает пилот вслух по инструменту. Легкое беспокойство овладевает нами. Я вырываю листок из моей записной книжки и выбрасываю его за борт корзины. Листок тотчас же, как вздернутый на нитке, пропадает вверх. Во избежание толчка на неудобном месте приходится снова подниматься кверху. Это мы проделываем так быстро, выбрасывая из мешков балласт, что через две минуты уже находимся на высоте 1250 метров – самая высшая точка нашего полета. Здесь мы останавливаемся и плывем некоторое время по ветру. Быстрый подъем и большая высота сильнее дают себя знать все увеличивающейся болью в ушах. Когда говоришь, то звуки слов выходят такими глухими и слабыми, что хочется поневоле кричать, но чувствуешь, как невозможно кричать на этой высоте. Но зато какая глубокая тишина, какая чудесная неподвижность, какое волшебное забвение о времени! Ах, недаром все народы в своих религиях помещали загробный рай на небе.

Наверху становится заметно холодно, и дает знать о себе аппетит. Г-н Горелик любезно берет на себя обязанности хозяина и хлопочет над корзиной с провизией. Редактор любит сверху видом города, который все более и более исчезает в сером тумане. Я сижу на дне корзины, подготавливая, по указаниям пилота, якорный канат. С. И. Уточкин стоит, наклонившись над бортом корзины: в правой руке у него анероид, на который он смотрит не отрываясь, а в левой – холодная жареная перепелка. Теперь мы плывем уже вне города, над пустыми вспаханymi полями, спокойно темнеющими своими правильными геометрическими фигурами. И по ним медленно плывет тень, бросаема́я нашим шаром.

Кстати, о тени. Мои друзья, болыпифонтанские рыбаки, наблюдавшие все время за полетом шара, в один голос уверяли меня на другой день, что как раз в момент нашего наивысшего подъема мимо аэростата промелькнуло с большой скоростью и опередило нечто большое и черное, похожее на крест. Некоторые из них предполагали, что это была большая стая перелетных птиц, быстро обогнавшая нас. Не была ли это тень от нашего шара, упавшая на облака? Тем более что солнце в этот час уже заходило, и лучи его были косы...

Теперь пора уже спускаться. Это известно пилоту по его каким-то таинственным наблюдениям над поведением шара. Спускаем гайдроп и выбрасываем понемногу якорь. Я помогаю Уточкину в его работе, разматывая свернутые бунты канатов. С гайдропом у меня все выходит благополучно, но с якорным канатом получается маленький скандал. Благодаря своему усердию,

я запутываю несколько аршин в безобразный клубок, который, к моему стыду, болтается между нами и землей. – Это ничего, – деликатно утешает меня С. И. Уточкин. – Это постоянно случается.

Вот мы и совсем уже близко над землей. И опять странное ощущение. Чем яснее вырисовываются под нами квадраты черных полей, потом их борозды и даже, наконец, земляные комья, тем все сильнее и сильнее возвращается ко мне снова, все возрастая, вековая любовь к моей старой, прекрасной, доброй земле. Какая удивительная и обманчивая вещь – высота. Между тем наш гайдроп уже стелется по земле, как длинная серая змея, а рядом с ним якорь бороздит почву, оставляя на ней черный двойной след, похожий на гигантскую сколопендру. Мы сверху видим, как к нам поспешно бегут со всех сторон местные крестьяне, даже различаем подъезжающий издали хорошей рысью фургон. Мы всего в саженях двадцати над землей, но еще плохо представляем себе, в каком месте мы находимся. Пилот кричит крестьянам, чтобы они придержали конец гайдропа. Они исполняют это, к великой радости собравшихся тут же мальчишек, которые вешаются со смехом на натянутом канате, раскачивая его, кривляясь и сотрясая нашу корзину. Начинаются переговоры с добрыми поселянами. Всего затруднительнее здесь то, что мы не только слышим то, что они нам кричат, но даже разбираем самые интимные и не всегда приятные подробности их мнений о нас и о нашем положении. Так, например, мы узнаем о том, что раз уже мы попались, то нам без их помощи некуда деваться, и потому можно взять с нас сколько угодно. Между тем, вследствие законов акустики, наши слова доносятся до них с таким трудом, что мы должны их перекрикивать по три, по четыре раза. Начинается своеобразная торговля между двумя сторонами, разделенными высотой в добрую колокольню. Уточкин предлагает владельцу подъехавшей телеги поднять наш якорь, положить его в телегу и таким образом буксировать наш шар до Клейн-Либенталя, где назначена встреча с идущими вслед за нами автомобилями. Поселяне просят 10 рублей. Уточкин кричит: «Пять!» Поселяне после совещания, которое нам очень ясно слышно, спускают один рубль. Мы с своей стороны решаем прибавить один рубль. Для нас, сидящих в корзине, эта торговля представляет только своего рода развлечение, отчасти вызванное радостной, опьяняющей близостью к земле. Мальчишки продолжают раскачиваться и взбираются по канату. Но совершенно неожиданно на сцену, на которую мы смотрим сверху, появляется какой-то дядя Влас, очевидно, местный мудрец и законник. Он твердо заявляет, что отродясь таких цен не бывало и что брать с нас нельзя никак меньше, чем 25 рублей. «Потому что бывает, что шар унесет кверху и телегу и лошадей». Ей-богу, можно подумать, что аэростаты спускаются к ним по десять раз в день. Такая опытность! Но в эту минуту какой-то юноша в черной блузе и в пенсне, который во время длинных переговоров с добрыми поселянами был между нами посредником и все время называл Уточкина почтительно по имени и отчеству, вдруг восклицает: «Идет автомобиль!» Действительно, к нам торопливо подходит белый «адлер», принадлежащий господину Цорну. Из других автомобилей один, благодаря очень грязной дороге, опоздал немного, другой застрял в грязи, а третий и совсем искалечился в какой-то рытвине. «Фердинанд! – кричит кому-то Уточкин вниз. – Отвяжи якорь, положи его в автомобиль, а конец прикрепи сзади за ось». И вот, влекомые автомобилем за канат, мы медленно и плавно движемся вперед к деревне Татарке. Зрители бегут за нами. Через 10 минут мы в самом селении. Благодаря праздничному дню, на главной улице нас уже дожидается громадная толпа из всех здешних окрестных жителей – мужчин и женщин.

Автомобиль останавливается. Но пилот не хочет спускаться в этом месте. «Здесь колючки, и можно поцарапать шар. Прошу вас, господа, – обращается он к нам, – не выскакивайте из корзины до тех пор, пока она не будет на земле. Я вам сам скажу, когда будет можно». Автомобиль оттягивает нас на дорогу, и вот мы мягко, плавнее, чем на лифте, соприкасаемся с землей, между тем как огромный шар, освобождающийся от газа, тихо ложится сбоку нас. И земля – ее темный вид, ее могучий запах мне кажутся вновь чудесными и прекрасными. Мы вылезаем из корзины. Шар лежит теперь на земле толстыми, длинными, извилистыми складками, напоминающими огромных желтых гусениц. Кругом его – праздничная, немного дикая, немного пьяная толпа местных обывателей, которая с каждой минутой становится гуще и гуще. Предстоит простая задача. Надо, чтобы не более чем 5 человек походили по шару, чтобы выдавить из него последние остатки газа. Это займет не более 10 минут, а каждый рабочий заработает за это время по 60 копеек. Но толпа требует, чтобы непременно каждому из здесь присутствующих дали именно по такой сумме, а всех их не менее чем 300 человек. Мудрый дядя Влас шныряет

между народом и подвигивает его. «Шар упал на нашей земле, стало быть, он наш, – говорят поселяне, – захотим и вовсе не отдадим». Крестьяне лезут с сапогами на нежную оболочку шара. Многие из них, несмотря на то что мы до хрипоты убеждаем их в опасности огня вблизи шара, преспокойно курят сигарки. С большими усилиями приходится их осаживать назад, наступая на их ноги. Мальчишки в диком упоении носятся взад и вперед и визжат. Я вижу, как Уточкин, согнув спину и широко расставив руки, медленно и осторожно теснит толпу назад. И вдруг раздаётся провокаторский возглас дяди Власа: «Хлопцы, он наших девок лапает!» Понятно, что тут было вовсе не до лапанья, но Уточкин впоследствии признавался, что это был самый рискованный момент во всем нашем путешествии (кстати, прошедшем самым благоприятным и изящным образом). Однако наш пилот быстро и необыкновенно ловко нашелся. Подойдя к тому, кто это сказал, вплотную, он крикнул: «По-по-погляди мне в глаза! Как ты смел это подумать? Что?» И странно: этот окрик сразу подействовал. Через несколько минут опустевший шар был уже сложен вдвое и вчетверо, втиснут в корзину и втащен в подводу. Мы расплатились. Правда, при этом появилось несколько чудаков, из которых один требовал денег за то, что он первым увидел шар, другой – первым ухватился за канат, третий – за то, что понапрасну потерял время, а четвертый – просто по пьяному делу. Совсем уже поздним вечером мы нашли – и то с большим трудом – огромный рыдван, запряженный тремя клячами, случайно проезжавший по этой дороге с дальними пассажирами. За огромную цену кучер взялся доставить до города нас троих. Четвертый наш товарищ еще раньше приехал в город на автомобиле. Мы тащились часов пять, слезая на крутых пригорках. Всех нас, едущих, оказалось восемь человек. Помню, что, отправляя руку в карман за папиросами, я все ловил себя на мысли, что нельзя курить, и каждый раз после этого мне бывало смешно. С. И. Уточкин говорил о своей любимой мечте – об аэропланах. Тут же оказалось, что все его карманы наполнены кипами специальных журналов по авиатике. С восторгом рассказывал он о полетах Блерио, Латама, Райта и других, у которых он учился и учится. Говорил о том, что на днях едет в Париж к Вуазену. Уже настала ночь. Клячи едва передвигали ноги по грязной дороге. Но неожиданно наш бывший пилот замолчал. Нагнувшись близко, я поглядел на него. Откинувшись на спинку экипажа, он спал тем ровным, глубоким, беззвучным сном, каким неожиданно засыпают только дети после целого дня беготни. И почему-то в этот момент я подумал, что совершенно прав император Вильгельм, который все собирается, но, по свойственной ему дальновидности, никак не соберется полететь с Цепелином, но, право, будь я на месте Василия Федоровича, я бы, не задумавшись ни на одну секунду, полетел с нашим пилотом на его будущем аэроплане, точно так же, как я пошел бы с этим человеком на всякое предприятие, требующее смелости, риска, ума и звериной осторожности.

Теперь прошло два дня со времени нашего полета, и весь наш воздушный путь представляется мне не как действительность, а как необычайный фантастический сон, виденный мною много лет тому назад. Ярче всего осталось только ощущение физической боли в ушах и смешное чувство, когда вдруг полезешь за папиросами в карман, спохватишься, что нельзя курить, а потом больно вспомнишь, что ты не на воздушном шаре...

Мой полет

Очень жаль, что меня о моем полете расспрашивало несколько сот человек, и мне скучно повторять это снова. Конечно, в крушении аэроплана господ Пташниковых и в том, что мой бедный друг Заикин должен был опять возвратиться к борьбе, виноват только я.

Год тому назад, во время полетов Катанео, Уточкина и других, Заикин зажегся мыслью, чтобы летать. В это время мы вместе с ним были на аэродроме. Со свойственной этим упрямым волжанам внезапной решительностью он сказал:

– Я тоже буду летать! Дернул меня черт сказать:

– Иван Михайлов, беру с вас слово, что первый, кого вы поднимете из пассажиров, буду я!

И вот почти ровно через год, в очень ненастную, переменчивую одесскую погоду, Заикин делает два великолепных круга, потом еще три с половиною, достигая высоты около пятисот метров. Затем он берет с собой пассажиром молодого Навроцкого, сына издателя «Одесского листка», и делает с ним законченный круг, опускаясь в том же месте, где он начал полет. Несмотря на то что на аэродроме почти что не было публики платной, однако из-за заборов все-таки глазело несколько десятков тысяч народа. Заикину устроили необыкновенно бурную и,

несомненно, дружественную овацию.

Как раз он проходил мимо трибуны и раскланивался с публикой, улыбаясь и благодаря ее приветственными, несколько цирковыми жестами. В это время, бог знает почему, я поднял руку кверху и помахал кистью руки. Заметив это, Заикин наивно и добродушно размял толпу, подошел ко мне и сказал:

– Ну что ж, Лексантра Иваныч, полетим?

Было очень холодно, и дул норд-вест. Для облегчения веса мне пришлось снять пальто и заменить его газетной бумагой, вроде манишки. Молодой Навроцкий, только что отлетавший, любезно предложил мне свою меховую шапку с наушниками. Кто-то пришил мне английскими булавками газетную манишку к жилету, кто-то завязал мне под подбородком наушники шапки, и мы пошли к аэроплану.

Садиться было довольно трудно. Нужно было не зацепить ногами за проволоки и не наступить на какие-то деревяшки. Механик указал мне маленький железный упор, в который я должен был упираться левой ногой. Правая нога моя должна была быть свободной. Таким образом, Заикин, сидевший впереди и немного ниже меня на таком же детском креслице, как и я, был обнят мною ногами. Правую ногу мою свела вдруг судорога от неудобного положения. Я пробовал об этом сказать, но это уже было невозможным, потому что пустили в ход пропеллер. Тогда я изо всей силы прижал икру ноги к какой-то вертикальной стойке и болью заставил судорогу прекратиться. Всякие разговоры и протесты были бы бесполезны, потому что ни крик, ни выстрел из пистолета не были бы слышны моим авиатором, которому я так легкомысленно вверил мою жизнь. Затем ощущение быстрого движения по земле – и страх!

Я чувствую, как аппарат, точно живой, поднимается на несколько метров над землей, и опять падает на землю, и катится по ней, и опять подымается. Эти секунды были самые неприятные в моем случайном путешествии по воздуху. Наконец, Заикин, точно насилуя свою машину, заставляет ее подняться сразу вверх.

Встречный воздух подымает нас, точно систему игрушечного змея. Мне кажется, что мы не двигаемся, а под нами бегут назад трибуны, каменные стены, зеленеющие поля, деревья, фабричные трубы.

Гляжу вниз – все кажется таким смешным и маленьким, точно в сказке. Страх уже пропал. Сознательно говорю, что помню, как мы повернули налево и еще и еще налево. Но тут-то вот и случилась наша трагическая катастрофа. Встречный ветер был раньше нам другом и помощником, но когда мы повернулись к нему спиной, то сказались наши, то есть мои и пилота, тринадцать пудов веса плюс пропеллер, плюс мотор «гном» в пятьдесят сил, плюс ветер, гнавший нас в спину. Сначала я видел Заикина немножко ниже своей головы. Вдруг я увидел его голову почти у своих колен. Ни у меня, ни у него (как я потом узнал) не было ни на одну секунду ощущения страха – страх был раньше. С каким-то странным равнодушным любопытством я видел, что нас несет на еврейское кладбище, где было на тесном пространстве тысяч до трех народа.

Только впоследствии я узнал, что Заикин в эту критическую секунду сохранил полное хладнокровие. Он успел рассчитать, что лучше пожертвовать аэропланом и двумя людьми, чем произвести панику и, может быть, стать виновником нескольких человеческих жизней. Он очень круто повернул налево... И затем я услышал только треск и увидел, как мой пилот упал на землю.

Я очень крепко держался за вертикальные деревянные столбы, но и меня быстро вышибло с сиденья, и я лег рядом с Заикиным.

Я скорее его поднялся на ноги и спросил:

– Что ты, старик? жив?!

Вероятно, он был без сознания секунды три-четыре, потому что не сразу ответил на мой вопрос, но первые его слова были:

– Мотор цел?..

Как это ни странно, но я утверждаю, что во время падения не было ни у него, ни у меня ни одного момента страха. Все это происходило будто в сказке, было какое-то забвение времени, опасности, ценности собственной жизни, было какое-то странное равнодушие.

Повторяю, что страх был только тогда, когда мы с трудом отдирались от земли. Сидя потом в буфете за чаем, Заикин плакал. Я старался его утешить, как мог, потому что все-таки я был виноват в этом несчастье. В тот же вечер решила его судьба. Братья Пташниковы, миллионе-

ры, хотевшие эксплуатировать удивительную дерзость этого безграмотного, но отважного, умного и горячего человека, перевели исковерканный «фарман» в гараж и запечатали его казенными печатями, и Заикин не мог войти в этот сарай, хотя бы для того, чтобы поглядеть хоть издали на свое детище. Все это дело прошлое. Заикин опять борется в Симферополе и часто пишет мне совершенно безграмотные, но необыкновенно нежные письма и подписывается: «Твой серенький Иван».

Несмотря на то что я своим нечаянным первым жестом перевернул его карьеру, он совсем не питает ко мне злобы, но зато и я твердо уверен в том, что через год, через два он непременно полетит на собственном аппарате. И не в угоду зевающей публике, а на серьезных авиационных конкурсах, и я уверен, что он сделает себе, несмотря на его отчаянность, бессмертное имя. Что касается меня – я больше на аэроплане не полечу!..

Лазурные берега

Глава I. Необходимое наставление для туристов

Параграф первый того путеводителя для русских за границей, который мы надеемся в скором времени выпустить в свет, будет гласить: «Не верьте ни одному книжному путеводителю»; параграф второй советует также не верить ни гидам, ни местным жителям, ни зрителям тюрем, дворцов и музеев и сторожам при них; параграф третий: не возить с собою много багажа. Это дорого, хлопотливо и неудобно. Три четверти вещей вам никогда не понадобятся, а про пассажиров, увешанных баулами, чемоданами, сумками, картонками и сетками, летящих стремглав по перрону, со шляпой на затылке, с мокрыми волосами, упавшими на лоб, с растерянными глазами, да еще с зонтиком под мышкой и в теплых резиновых калошах – про этих пассажиров туземец так и говорит, показывая пальцем: поглядите, вот мчится русский вьючный верблюд; параграф четвертый советует следующее: не ездите никогда с круговым билетом Куковской компании, чтобы не уподобиться овечьему стаду, гонимому свирепыми пастухами, или толпе, мелькающей, точно ураган, на экране кинематографа; параграф пятый: но не ездите также и в экспрессе, готовом вытрясти из человека все внутренности, довести его до морской болезни или до буйного расстройства нервов.

Представьте себе, что вы сидите в этом сумасшедшем поезде; предположим, что вы захотели бы через окно полюбоваться на очаровательные окрестности, но... видите перед собой какую-то мутную, то зеленую, то синюю, то совсем пеструю полосу, которая мчится и мчится назад, слепит глаза и кружит голову. Вы захотели налить себе в стакан чаю, но вас внезапно отбрасывает куда-то в сторону, и горячая жидкость попадает на тонзуру ни в чем не повинного почтенного патера. Даже привычного лакея из вагон-ресторана, почти жонглера по ловкости, иногда на ходу так качнет, что он летит вместе с подносом, тарелками, стаканами, вилками, ножами, ложками и соусниками на первого попавшегося человека или разбивает головою оконное стекло; параграф шестой: берегитесь австрийской поездной прислуги, особенно берегитесь тогда, когда она знает, что вы русский или русская; параграф седьмой: остерегайтесь брать сдачу итальянскими деньгами – их потом у вас нигде не примут: ни в ресторанах, ни в трамваях, ни в булочных, ни в табачных лавках, ни в кассах купален. Даже в самой Италии эти чентессимы, кажется, не в особом почете.

Все вышесказанное уже потому должно иметь в глазах русских путешественников веское значение, что ни один бедкер об этом не упоминает, а скромный автор, пишущий эти строки, испытал удовольствия заграничной поездки на собственной шкуре.

Примечание. При незнании языка очень рекомендуется притвориться глухонемым. К такому способу прибег один мой приятель. Правда, я должен оговориться, эта уловка сошла для него благополучно только до Генуи, а потом его вместо Рима завезли в Марсель.

Глава II. Географическое недоразумение

Европа, если ехать туда, начинается задолго до Варшавы, а если ехать обратно, то она кончается в Границе. Этот географический абсурд немного напоминает старый рассказ о том, как один хозяин зверинца объяснял посетителям своего крокодила: «От головы до хвоста имеет

ровно две сажени, а от хвоста до головы ровно две сажени и пять вершков». Однако надо мириться с правдой. За много станций до Варшавы вы уже видите из окна вагона прекрасно обработанные поля; их ровные квадраты ограничены белоснежными грушевыми и яблонными деревьями. Видите, что фруктовые сады выхолены и сбережены любящими неустанными руками, каждое деревцо подстрижено и подрезано, всегда его ствол выкрашен известью. Видите повсюду серебристые, бегущие по скатам ручейки, орошающие сады.

Вспаханное поля лежат черные и лоснящиеся, как бархат. Шоссейные дороги сияют своей ровной белизной. Фермы окружены садами и цветниками. Все красиво и опрятно.

В Варшаве вы пересеживаетесь с поезда ширококолейной дороги на поезд узкоколейной дороги, но разницы вы не замечаете. От Варшавы поезд сопровождает австрийская вагонная прислуга, народ, – как я уже выше сказал, – не первой чистоты, но вежливый, предупредительный и в то же время полный сознания собственного достоинства. Таможенные австрийские чиновники в Границе корректны, сухи, но не придирчивы: досмотр делают, проходя через вагоны, охотно верят пассажирам на слово и не копаются в чужом белье. На обратном пути, именно в русской таможне, в той же Границе, которая отстоит от Варшавы на целую ночь пути, вам сразу дают понять, что началось любезное нашему сердцу отечество. Мало есть на свете более печальных зрелищ, чем это огромное, грязное, полутемное, заплеванное зало таможни, похожее одновременно и на сарай и на каземат. Эта усталая, замученная, ночная, невыспавшаяся публика, загнанная сторожами, точно стадо, за перегородку, эти ворохи подушек, одеял, грязного белья, домашнего скарба, лежащие на деревянных засаленных прилавках, эти разверстые пасти чемоданов, из которых вывалилось наружу разное тряпье, эти грубые, грязные, запущенного вида солдаты, насквозь пропитанные запахом водки и махорки, эти откормленные, равнодушные чиновники, которые прогуливаются тут же, ничего не делая, заложив ручки в брючки, и попыхивают папиросками – люди, не говорящие, когда вы их о чем-нибудь спрашиваете, а лающие.

Но, однако, мне довелось быть свидетелем того, как эти надворные советники приняли большое участие в одной барышне. Вероятно, это было развлечением от их повседневной скуки, от местных сплетен и жалкого провинциального чиновничьего флирта, а может быть, надеялись найти в саквояже этой милой, очень красивой девушки, с тонким породистым лицом, прокламации? Я видел, как она заплакала от стыда. Конечно, они ничего не нашли, кроме нестираного белья. Но ржали над этим зрелищем, точно стоялые жеребцы. И так же я видел, как в четыре часа утра во время проливного дождя вытаскивали из вагонов детей, несмотря на протесты их матерей. Право, это было похоже на какое-то Иродово избиение младенцев.

Удивляли меня также станционные жандармы: и у офицеров и у солдат были голубые глаза и голубые околыши. Я долго ломал голову над тем, что к чему подбирается: околыши к глазам или глаза к околышам. Но это мне оказалось не по силам, и я бросил об этом думать. Кончилась граница, начинается Россия. И первое, что я увидел в Варшаве по возвращении из-за границы, был городской, который бил ножами шашки по спине извозчика и вслух говорил такие слова, от которых его старая, притерпевшаяся ко всему кляча из белой сделалась рыжей.

Глава III. За границей

Поезд по узкоколейной дороге мчится с какой-то особой железной бодростью, мелькая мимо деревень, ферм, островерхих церквочек, великолепно возделанных полей. Мчится он почти без остановок, изредка станет на минуту, передохнет. И ты не успеешь выпить кружку пива, которую тебе услужливо протянул в окно шустрый мальчуган весь в золотых пуговицах в два ряда, как раздастся чей-то возглас: «Аб!» – и поезд летит дальше.

Вот и подите, говорите о культуре! У нас, по крайней мере, на станции с пятиминутной остановкой поезд стоит двадцать пять минут, и никто на это не обращает внимания. Обер-кондуктор с машинистом пошли пить чай к помощнику кассира, а утомленные, не спавшие двое суток кондукторы лежат на лавках и на полу в помещении третьего класса, пользуясь случайной минуткой отдыха. Но ни одному из пассажиров даже и в голову не придет на это обидеться или рассердиться. Конечно, вечное, милое русское, христианское терпение – прекрасное достоинство. Однако события последних дней показывают с непоколебимой ясностью, что это терпение иногда разгорается в пожар. Первый звонок. Звонит этот звонок длинно-предлинно, пока не разрешится ударом, а сам станционный сторож, точно соловей в любовном экстазе, ни-

как не удивится собственному искусству. Долго свистит кондуктор, но с паровоза ему никто не отвечает. Теперь долго свистит паровоз. Но обер-кондуктор куда-то отлучился по собственной надобности. Рассерженный машинист слезает с паровоза, ругает мимоходом ни в чем не повинного кочегара и начинает разыскивать по всему вокзалу обер-кондуктора, точно это иголка в стоге сена. Но в это время откуда-то выползает обер и начинает свистать с остервенением. Так они и ищут друг друга, пока, наконец, не встретятся. И только вмешательство помощника начальника станции прекращает их громкую ссору. Наконец, слава богу, тронулись.

Нет, должен я признаться, что люблю русский быт. От многих людей, бывающих за границей, мне приходилось слышать об их первых впечатлениях на чужой земле. Почти все они утверждают, что и воздух и небо – все равно, за Волочиском, Вержболовом или Границей, – и солнце и земля как-то сразу необыкновенно меняются, что в душу врывается какое-то странное ощущение легкости, свободы, бодрости и так далее и так далее. Я этим людям не могу верить. Может быть, такими были их собственные впечатления. Мое же личное впечатление такое: кроме милых, гостеприимных, ласковых, щедрых, веселых, певучих итальянцев, все европейские люди – рабы привычных жестов, скупы, жестоки, вральщики, презирают чужую культуру, набожны, когда это понадобится, патриоты, когда это выгодно, а на своих детей смотрят как на безумную роскошь, непозволительную бедному человеку, еще не достигнутому до сладкого звания рантье.

Глава IV. Вена

Мы были в Вене рано утром, что-то около шести-семи часов. Поезд наш очень долго двигали вперед верст на пять и обратно, между улицами, по обеим сторонам которых возвышаются огромные, казарменного типа, четырех- и пятиэтажные дома. Тут я заметил одну рассмешившую меня подробность: все окна домов были раскрыты настежь, и в каждом доме, почти на каждом окне, были навалены горами матрасы, одеяла, простыни и подушки. И почти из каждого окна выглядывала миловидная девушка в кокетливом переднике и с таким маленьким чепчиком на голове, который не был бы впору даже среднего размера кукле. Несомненно, проветривать по утрам белье – вещь разумная и гигиеничная, но мне стало смешно от мысли, что я вдруг попал на какую-то международную распродажу постельного белья и разных интимных принадлежностей мужского и дамского туалета.

Вена – очень красивый город, в котором есть три достоинства и один крупный недостаток. Хорош в ней кружевной собор св. Стефана, прекрасны пильзенное пиво и заботливо оборудованные оранжереи в ботаническом саду. Но плохо то, что венцы беспощадно разрушают свою тысячелетнюю историческую Вену: скупают целыми участками старые улицы, милые, узенькие, с высокими старинными домами, в самый жаркий день прохладные, и вместо них строят дома в очень фальшивом стиле венского ренессанса.

Венцы все на одно лицо. Худощавые, стройные, на мускулистых ногах, и все они не ходят, а маршируют. И кажется, что любой из них готов с радостью надеть чиновничью одежду для того, чтобы хоть немножко походить на офицера. Хотя, между нами говоря, храбрость австрийского войска нам давно уже известна. Бедекеры говорят, что венки красивы. Я этого не заметил. Большие ноги и тяжелые юбки. А впрочем, может быть, я попал в Вену не в сезон.

Глава V. Перевал

Вечером показались горы. Поезд с трудом карабкается вверх. Мы приближаемся к перевалу через Альпы. Налево, в глубине тысячи или полуторы сажен, чуть видны крыши деревень, крытых красной марсельской черепицей. Фруктовые сады не больше, чем капустная рассада, а лошади и коровы – точно тараканы. А направо, на огромной крутой скале, торчит замок какого-то барона, с башнями, бойницами, сложенный из тяжелого местного камня. Для меня очевидно, что лошади не могли втащить такую громадную тяжесть наверх. Могли бы это сделать выносливые железноногие мулы или кроткие, терпеливые, умные ослы. Но ни тех, ни других в этих местах не водится. Стало быть, это сделали люди. Эти помещения совсем неудобны для жилья, в них полы из камня, точно бульжная мостовая, нет окон, и даже днем никогда не бывает свету. И мне кажется, что до сих пор сохранился в этих замках, похожих одновременно и на

церковь, и на тюрьму, и на разбойничье жилище, запах крови и человеческих экскрементов. За одну крону вы можете обозреть этот замок, увидеть старого преданного Иоганна (кажется, есть фабрика, где их делают на заказ), услышать от него историю с привидениями, а также сплетню о том, что титулованный владелец замка теперь женится на дочери американского свиного короля. В два часа ночи мы на вершине Земмеринга, в полосе вечных снегов. Дамы кашляют и чихают. Очень утомительны туннели. Поезд врывается в него, и ты сразу глохнешь от перемены воздушного давления, задыхаешься от запаха каменного угля; потом поезд выскакивает из туннеля, и ты опять глохнешь от притока свежего воздуха.

Ночь. Сон. А утром вдруг совершается чудо. Поезд бежит стремглав вниз, а навстречу ему бежит веселое южное небо, бегут апельсиновые и лимонные деревья, отягощенные плодами, цветущие олеандры, рододендроны и камелии, и, что всего слаще, – ты не перестаешь обонять аромат каких-то диких прелестных трав или цветов. Да и дорожные спутники стали такими, точно их кто-то подменил за ночь. Смуглый, грязный, веселый итальянец, с античным профилем, обтирает рукавом горлышко пузатой бутылки с красным вином и добродушно протягивает мне. И как радостное приветствие на незнакомом мне языке звучит его вопросительное: «Э?»

Французская граница, итальянская граница. Черномазые мальчишки каким-то верхним чутьем угадывают в вас русского и насильно суют вам в руки поддельного Герцена, апокрифического Пушкина и толстейший том собраний сплетен об императорских дворах. Но на это нельзя сердиться. Это – след нашей многострадальной русской эмиграции. Отвратительная скала Монте-Карло. Прелестное цветущее побережье. И вот мы в Ницце.

Глава VI. Ницца

Ницца – это сплошное человеческое недоразумение. И Юлий Цезарь, и Август, и, кажется, Петроний избегали этого болотистого, зараженного малярией места. В Ницце они держали только рабов, гладиаторов и вольноотпущенников. Сами же они жили в Cimiez или Frejus, где, как памятники своего величия, они создали прекрасные цирки, такие прочные, что до сих пор время не может их изглодать. Потом произошла довольно глупая история. Покойной английской королеве Виктории почему-то приглянулось это болото, и тотчас же английский снобизм, русское обезьянство, шальные деньги американцев и вечная лакейская услужливость французов сделали из Ниццы модный курорт. Насколько нов этот город, свидетельствуют названия его улиц. Улица Гамбетты, улица Гюго, улица Флобера, улица Золя, улица Массенэ, улица Мира, улица Верди, улица Гуно, улица Паганини. И только одному бедному Вольтеру лицемерные французы отвели какой-то грязный тупик. Мопассана же совсем забыли. И вот извольте: москиты, болотная лихорадка, не город, а сплошная гостиница-обираловка, вонь автомобилей и прекрасные позы молодых французов пятидесяти лет в стиле П. Бурже на пляже в розовом с белым полосатом трико.

Это еще куда ни шло бы, что однажды при мне выкинуло море огромную рыжую дохлую крысу на берег. Ни дети, ни взрослые этого не заметили. Но когда я обратил внимание главного купальщика на покойницу, он ответил мне с милым простосердечием:

– Pardonnez, monsieur, ce n'est pas une ville, c'est un marécage et cloaque. Mais je vous pris n'en parler à personne...³³

И это еще ничего, что благодаря моей привычке вставать рано я застал моих ниццких друзей за наивным занятием: они трудолюбиво спускали в море все городские нечистоты. Но когда пришло время пробуждения города, они тщательно забросали свое преступление гравием, и замечательно то, что они это проделывали каждый день в продолжение трех месяцев.

Но что меня оскорбило до глубины души, это то, что одна девочка двух лет вздумала искупаться голый, без костюма. И тотчас же наши пылкие друзья, пятидесятилетние французы, коллективно заявили о том, что их целомудрие не допускает такого гнусного зрелища, как вид *голой женщины*. К счастью, мне в Ницце повезло. Я обедал в простом кабаке, на вывеске которого было написано: «Rendez-vous des cochers et des choffeurs»³⁴. Этим милым, простым, как все

³³ Простите, сударь, это не город, а болото и клоака. Но я вас прошу, не говорите об этом никому... (фр.)

³⁴ Свидание кучеров и шоферов» (фр.).

труженики, людям я обязан моим знакомством с Ниццой. А надо сказать, что попал я туда в разгар выборов мэра. Трудно было предвидеть, кого выберет Ницца: генерала ли Гуарана, нового кандидата, или старого мэра Суванна.

По этому ничтожному поводу волнение в городе было необычайное. Процессии, флаги, экипажи, и повсюду венки из разноцветных роз с инициалами обоих кандидатов, и оглушительный шум на улицах: «Vive général Goiran! A bas Souvan! Vive notre papa Souvan! A bas Goiran!»³⁵

Я вмешался в политику, совсем для меня чужую и так же для меня безразличную, как выборы городского головы в петербургскую думу. Со страстью держал я пари на двадцать пять сантимов со всеми моими друзьями – извозчиками за то, что пройдет Суванн. Должен признаться, что у меня при этом был расчет: в Ницце нет ни одного дома, ни одного кабачка, ни одного кафе, где бы не играли в рулетку, в карты или кости. Но, однако, я ошибся. Выбран был генерал Гуаран. Причину моего проигрыша мне объяснили позднее: «Alors, monsieur, нам гораздо выгоднее генерал. Он, наверное, сумеет принять принцев крови и других знатных путешественников, и вы понимаете, что у Ниццы останется больше чужих денег».

С этим я не мог не согласиться, но на всякий случай я сохранил три документа, отпечатанных в одной из двух местных газет, именно в той, которая стояла за генерала. На одном из них, вышучивавшем бывшего мэра Суванна, в траурной рамке значилось:

ЕГО АГОНИЯ

«Граждане, коммерсанты, ремесленники, бродяги, богачи или бедняки, – это не человек уходит, а ненавистный режим!

Нас заверяют, что «Прекрасная Астер» (его ж...), которая разорила сына «Шоколада Мёнье», будет следовать за похоронной процессией верхом на своем «туалетном биде».

Его агония: луна была лиловая; парк Шамбрэн – красным Марке; полночь пробила на часах у Папской решетки и в Думе».

НИСТУ НАПОЛЕОН

«Бывший купец Сокка и Писсальдьера, стригший деревья на Приморских Альпах, глухонемой сенатор в сенате, изобретатель «на водку» такого качества, делимость которого достигала 370 000 простых вероятий, пивший воду Вегэ, надсмотрщик за водосточными трубами, франкмасон и т. д.

В присутствии Артно Грэндаль сделал множество обезьяньих прыжков и сальто-мортале на бедренной кости (tibia), получил растяжение жил, упавши на локти (cubitus), блуждающий взор, характерный при бешенстве, от слушания результатов баллотировки, сообщенных по беспроволочному телеграфу в газете «Petit Niçois»...

Он, наконец, испустил последний вздох, раскрыв широко глаза по направлению к сенату; к счастью, смелый гражданин из числа странствующих граверов, невзирая на опасность, подобрал мозг, завернул его в тряпку и отправил в институт Пастера, чтобы определить его бешенство; после исследования мозг будет помещен в банке со спиртом, классифицирован как редкостная рыба, нечто среднее между штокфишем и лягушкой, и поставлен в музей поистине естественной истории Ниццы. Свидетель агонии: Всеобщее Избирательное Право. *Crovibus de profundis...* никаких сожалений!»

* * *

О Пуришкевич, никогда тебе в ругательствах не перепрыгнуть западную культуру!
А на местном наречии прибавлен призыв к гражданам Ниццы подавать голос за «доброего

³⁵ Да здравствует генерал Гуаран! Долой Суванна! Да здравствует наш отец Суванн! Долой Гуарана! (фр.)

республиканца Гуарана», проливавшего где-то в Африке свою кровь за отечество.

Но, к сожалению, и в моих друзьях – извозчиках я должен был разочароваться.

Однажды, в двенадцать часов дня, на бульваре Гамбетты я и monsieur Alfred, мой любимый извозчик, сидели на скамейке в тени платана и завтракали. Ему жена принесла жареную кошку с салатом, а я его угощал красным вином. Через полчаса он расчувствовался и признался мне в том, что все организации в Ницце построены на синдикатных началах: синдикат извозчиков, синдикат шоферов, синдикат рыбаков, синдикат купальщиков, уличных певцов, макро и так далее.

Я спросил его:

– А сколько человек стоит во главе предприятия?

– Alors... два, три.

– А другие?

– Monsieur, надо что-нибудь есть.

Я не застал в Ницце сезона. Но застал его обглодки. Вдовы интендантов, незаконные супруги отставных гвардейских офицеров, полицеймейстерши, вице-губернаторши, графини и баронессы, о которых даже и Готский календарь не упоминает, – все они и на улицах, и на прогулке, и в спальнях, и на пляже однообразно, точно дятлы, твердят:

– Можете себе представить? Меня точно какое-то предчувствие толкало. Сама себе говорю мысленно: ставь, ставь на двадцать шестой номер, а я, дура, поставила на черное большой золотой. И вообразите: двадцать шесть вышло четыре раза подряд. Сколько я могла бы взять?

Другого разговора у них нет. По утрам они посылают телеграммы своим старым, добрым, верным растратчикам, в двенадцать часов бегут на почту справиться, не пришел ли телеграфный перевод, вечером едут в Монте-Карло, а к одиннадцати часам, к запретному времени, свои браслеты и кольца официанту из местного ресторана. Впрочем, о Монте-Карло придется написать отдельную главу.

Глава VII. Монте-Карло

Опять повторяю вам, любезные читательницы и почтенные читатели: не верьте ни бедекерам и даже ни писателям. Они вам расскажут, что Монте-Карло – земной рай, что там в роскошных садах тихо шелестят пальмы своими перистыми ветвями, цветут лимоны и апельсины и в роскошных бассейнах плещутся «экзотические рыбы». Расскажут вам о великолепном дворце, построенном с царственной роскошью лучшими зодчими мира, украшенном самыми талантливыми ваятелями и расписанном первыми мастерами живописи. На самом же деле ничего этого нет. Маленькое, приземистое здание. Цвета не то фисташкового, не то жидкого кофе с молоком, не то «couleur casa Dauphin»; пухлые амуры и жирнозадые с масляными улыбками в глазах Венеры, разбросанные малярами по потолку и на стенах, поддельная бронза, бюсты великих писателей, которые никогда в жизни не видали Монте-Карло и, кажется, не имели к нему никакого отношения...

А Монте-Карло – просто-напросто вертеп, воздвигнутый предприимчивым, талантливым Бланом на голой и бесплодной скале.

Этот несомненно умный человек, воля которого, к сожалению, была направлена в дурную сторону, – человек, который мог бы быть с никогда не изменявшим ему счастьем и поездным вором, и шантажистом, и министром, и ресторатором, и страховым агентом, и редактором громадной газеты, и содержателем публичного дома, и так далее и так далее, однажды решил использовать человеческую жадность и глупость. И он не ошибся. Этот нищий, голяк, человек с мрачным прошлым, рыцарь из-под темной звезды, умер оплаканный всеми жителями княжества Монако и успел не только выдать своих дочерей замуж за принцев крови, но и обеспечить на веки вечные своего покровителя Гримальди, завести ему артиллерию из двух пушек, пехоту численностью в пять солдат и двадцать офицеров и кавалерию в виде одного конного истукана, который сидит на лошади, весь расшитый золотом, и зевает от скуки, не зная, как убить бесполезное время.

Однако Блан предусмотрительно воспретил всем монегаскам (жителям Монако), а в том числе и Гримальди, вход в свой игорный зал.

Насколько велика была воля и выдержка этого человека, свидетельствует следующий

анекдот (извиняюсь, если это было раньше напечатано): в Монте-Карло приехал какой-то испанский дворянин, которому везло сумасшедшее счастье. В два-три дня он выиграл у Блана около трех миллионов франков и уехал с ними домой, к себе в Севилью, к своим бычкам и апельсинам. Но через два года его опять потянуло на игру, и он вернулся к Блану в Монте-Карло. Блан встретил его очень ласково и внимательно и даже как будто ему обрадовался.

– Как я счастлив вас видеть, граф. Но только предупреждаю вас: не играйте! Два раза к человеку счастье не возвращается. И – поверьте моей искренности – я вам советовал бы даже не входить в игорное зало.

– Почему? Неужели вы думаете, что у меня не хватит самообладания? Что я увлекусь игрой?

– О, конечно, граф, нет. В этом я не сомневаюсь. Все мои кассы открыты для вас. Но очень прошу – не играйте. Еще и еще раз повторяю вам, что счастье изменчиво. По крайней мере, обещайте мне, что больше двадцати франков вы не проиграете?

– Оставьте. Не мешайте же мне. Я вам сейчас докажу, что азарт ничуть не владеет мною!!

Неизбежно кончилось тем, что испанский граф проиграл свои прежние выигранные три миллиона, заложил в банк по телеграфу свои земли и апельсиновые рощи, но уже из Монте-Карло уехать не мог. Он кидался на колени перед Бланом и со слезами целовал его руку, умоляя о нескольких сотнях франков, чтобы ему вернуться домой, к своей семье, прекрасному испанскому климату, к своим черным бычкам со звездочками на лбу, к своим апельсиновым рощам, к своим тореадорам. Но Блан ответил ему спокойно, сухо и холодно:

– Нет, граф. Два года тому назад вы меня разорили. Мне пришлось ехать в Париж и обитать все лестницы и пороги в редакциях газет и в министерствах,

чтобы замуровать брешь, которую вы сделали в моем предприятии. Око за око. Теперь вы от меня не дождетесь сожаления, но милостыню я вам могу подать. И с тех пор испанский граф, подобный петуху, у которого из хвоста вытащили перья, все думает отыграться. Администрация вертепа, по великодушному повелению Блана, выдает ему каждые сутки двадцать франков (приблизительно на наш счет около семи рублей). Он пользуется правом входа в казино, и даже ему позволяют играть. Но в тех случаях, когда он свои жалкие двадцать франков проигрывает, то их у него не берут, а когда выигрывает, ему не платят. Более гнусной и жадной развалины, гласит легенда, никто никогда не видел на лазурных берегах. И таких людей болтается в Монте-Карло, считая скромно, тысячи четыре.

Так понял Блан человеческую психологию. Каждый выигравший вернется к нему, чтобы еще раз выиграть, а каждый проигравший – чтобы отыграться. И он совсем не промахнулся в циничном расчете на одну из самых низменных людских страстей. Спи с миром, добрый труженик. Потому что люди достойны такого обхождения с ними, какого они заслуживают.

Подробности организации этого дела смешны до простого. Каждый крупье проходит двухгодичную школу учения; два года в подвалах казино он сидит и учится пускать шарик по вертящемуся кругу; учится запоминать лица и костюмы, говорить на всех языках и носить чистое белье. Жены и дочери их обеспечены администрацией. Им открывают табачные и винные лавочки. И таким образом эти люди прикованы к вертящейся тарелке и бегающему по ней шару неразрывными узами. И взаправду – куда ты пойдешь, если был раньше крупье или околочным надзирателем?

Сплетня о том, что крупье может положить шарик в одну из тридцати семи черных и красных ячеек, по-моему, неосновательна, но что он может загнать шарик в определенный сектор, – это возможно. Во-первых, потому, что человеческая ловкость не имеет границ (акробаты, авиаторы, шулеры), а во-вторых, что я сам видел, как инспектор игры сменил в продолжение часа трех крупье, которые подряд проигрывали. Жалкое и брезгливое впечатление производят эти сотни людей, – нет, даже не людей, а только игроков, – сгрудившихся над столами, покрытыми зеленым сукном! Сорок, пятьдесят мужчин и женщин сидят, толкая друг друга локтями и бедрами; сзади на них навалился второй ряд, а еще сзади стиснулась толпа, сующая жадные, потные, мокрые руки через головы передних. Мимоходом локоть растакуэра попадает в щеку или в грудь прекрасной даме или девушке. Пустяки! На это никто не обращает внимания...

Зато как интересна была какая-то русская княгиня! У нее был нервный тик в глазах, и руки дрожали от старости и от азарта. Из белого замшевого мешочка, вроде кисета, она вынимала горстями золото и швыряла его на сукно куда попало. Старший крупье, тот, который вертит ма-

шинку, жирный, краснорожий француз, нарочно задерживал игру и смеялся даме прямо в лицо.

Надо сказать, что она на это не обращала внимания, а когда проигралась, приказала кому-то подать ей автомобиль, другому заплатить за два стакана крепкого чаю и ушла. Это все-таки было красиво.

Как жаль, что русские женщины, так нежно и поэтично нарисованные Тургеневым, Толстым и Некрасовым, неизбежно попадают в эту проклятую дыру!

Вся французская печать протитутуруется начальством Монте-Карло с необыкновенной ловкостью и спокойствием. Этим честным журналистам, из которых честен и неподкупен по-настоящему только один граф Анри де Рошефор, умышленно платят за то, чтобы они не писали о самоубийствах, случающихся на этой голой скале. Честные журналисты, понятно, начинают шантажировать игорный дом и пишут именно о самоубийствах, пока не получают тридцати или сорока тысяч франков отступного. Администрации это и нужно. Она совсем не дорожит пятифранковыми игроками, а ждет миллионеров. А ведь ясно, что пресыщенного болвана, видевшего в своей оранжерейной двадцатипятилетней жизни почти все, что может выдумать человеческое – вернее, лакейское – воображение: от охоты на тигров до содомского греха, – этого милого юношу непременно потянет испытать сильные ощущения. И потому-то дирекция вертепа с большим великодушием время от времени дает возможность выиграть какому-нибудь путешественнику инкогнито набобу несколько тысяч франков. Даже для слепого ясно, что эти деньги выбрасываются администрацией для рекламы, а проще сказать, на чай или на перчатки...

Мое свидетельство потому беспристрастно, что из моих многочисленных пороков нет одного – влечения к карточной игре. Я был только холодным и внимательным наблюдателем. Нечаянно я выиграл несколько франков, но это было противно и скучно.

Развращающее влияние Монте-Карло сказывается повсюду на лазурных берегах. И если присмотришься к этому повнимательнее, то кажется, что ты попал в какое-то зачумленное, охваченное эпидемией место, которое было бы очень полезно полить керосином и сжечь. В каждом баре, в каждой табачной лавочке, в каждой гостинице стоят машины для игры – похожие на кассы-самосчетчики в больших магазинах. Наверху три цвета: желтый, зеленый, красный, или иначе – три игрушечные лошадки: вороная, гнедая и серая. Иногда, впрочем, это бывают и кошечки, а над ними, как в копилке, три отверстия для опускания монет. Если вы угадаете цвет, выигрываете. И милые, простосердечные маляры и каменщики, кондукторы трамваев, носильщики, официанты, проститутки с утра до вечера кладут и кладут свои су, заработанные тяжелым трудом, в эту ненасытную прорву. Конечно, они не понимают, что у машины против них шестьдесят шесть с дробью шансов на выигрыш. А эти шестьдесят шесть процентов делятся таким образом: сорок четыре получает владелец машины, а двадцать два хозяин кабачка. Надо сказать, что хозяин предпочитает расплачиваться в случае выигрыша не деньгами, а напитками, сладким вермутом или жгучим абсентом. А для любителей более пряного азарта есть повсюду на лазурных берегах таинственные темные притоны. Один из них – самый замечательный – обосновался в деревушке под названием Trinité³⁶, в верстах двадцати от Ниццы, между горами, по которым бежит белая шоссе́нная дорога, построенная римскими владыками, а возобновленная Наполеоном (Corniche). В этом заведении очень весело. Столы поставлены на открытом воздухе. Вино и закуска бесплатно от хозяина. Минимальная ставка – франк (в Монте-Карло – пять франков). Пускают туда кого угодно. Никто не рассердится, если вы в разгаре игры снимете с себя верхнюю половину костюма.

Но зато и удивительная же коллекция человеческих отбросов собирается там: выгнанные из Монте-Карло за жульничество крупье, с лицами не то палачей, не то сыщиков, не то маркеров, старушки с благородными профилями, которые, слезая с трамвая, торопливо крестятся под мантильей, а если увидят горбатого, то стремятся на счастье прикоснуться к его горбу, русские шулеры, которые привезли на лазурные берега свои скромные петербургские сбережения и неизбежно проигрываются (это их общая судьба), международные лица, которым вход в Монте-Карло воспрещен либо за кражу чужой ставки, либо за неудачно вынутый из кармана чужой бумажник, переодетые полицейские... Словом, веселая, теплая, интимная компания. Но, однако, никого из них не оставляет одна безумная мысль: «У рулетки есть свои законы!» Надо только

³⁶ Троица (фр.).

открыть их ключ. И сидят эти сумасшедшие люди целыми днями и складывают числа, умножают их одно на другое, вычитают квадратные корни. Администрация смотрит на них как на тихих помешанных и мер утеснения к ним никаких не применяет. Правда, часто игра оканчивается в Trinité дракой или ударом ножом в живот, но на эти пустяки в Trinité никто не обращает внимания.

Но все-таки как интересны французские нравы! Даже и в этих вертепах наши щедрые западные друзья не могут обойтись без жеста.

Генерал Гуаран, только что выбранный ниццким мэром, естественно, захотел показать свою гражданскую строгость и административную распорядительность. Поэтому он приказал закрыть все игорные дома в Trinité (а их там около десяти или пятнадцати). Была устроена облава. Игроки в ужасе разбежались, кто куда попало. Monsieur Поль, организатор самого главного заведения, тоже бежал, преследуемый полицейским комиссаром. И вот на бегу комиссар вывихивает себе ногу или, может быть, только делает вид, что вывихнул. Тогда Monsieur Поль останавливается и с великодушием честного противника помогает своему преследователю подняться, усаживает его в экипаж, ухаживает за ним, точно заботливая нянька, и торжественно привозит в город.

На другой день в обеих ниццких газетах, которые обычно поливают друг дружку грязью, воцаряется трогательное согласие. В одной – передовая статья на тему о том, что еще не умерла французская доблесть, а в другой – фельетон: «Великодушные враги».

А на третий день в обеих газетах две заметки, почти слово в слово: «К сожалению, борьба с денежным азартом не под силу нашей ниццкой полиции. Monsieur Поль опять открыл свой игорный дом в Trinité от десяти до двух дня и от четырех до восьми вечера, здесь же роскошный буфет, который maître³⁷ Поль, с присущим всякому французу гостеприимством, предлагает к услугам посетителей совершенно бесплатно: курить позволено, чистый воздух и прекрасный пейзаж, лучший на всем лазурном побережье».

Нет! Русские репортеры, которых кто-то назвал бутербродниками, никогда не достигнут высокой культуры своих западных confreres!³⁸

Глава VIII. Симье (Orniez)

Как-то вечером мой друг, извозчик господин Альфред, после того как мы с ним съели целое блюдо варенных в томате улиток и запили их белым вином, сказал мне:

– А отчего бы вам, господин, не посмотреть на развалины древнего римского цирка в Симье? Не могу утверждать достоверно, кто строил этот цирк: Юлий Цезарь или Август, но путешественники от него в восторге, особенно американцы. В сезонах мы их возим туда наверх тысячами. Пришлось поехать.

Очень длинный, утомительный для лошадей, спиральный и извилистый путь по шоссе...

Темнота. Наконец видишь звезды, которых никогда не видел в Ницце из-за пыли и туманов, обоняешь свежий сладкий запах ночных трав. Кони благодарно отфыркиваются. И вот через час мы в Симье.

Все лжет на лазурном побережье. Одни римские развалины не лгут. Только надо приехать ночью, как я, одному, забыть, что сзади тебя торчит огромный каменный чемодан – английская или, может быть, американская гостиница, забыть об ацетиленовом фонаре, освещающем цирк. Только постоять и послушать. Огромный овал цирка. Вокруг него арки в пять человеческих ростов вышиною. Над ними второй этаж таких же чудовищных пастей, из которых некогда вливался нетерпеливый народ. Но уже своды кое-где разрушены временем. И арки торчат трогательно вверх, точно протягивая друг другу старые беспомощные руки. А еще выше подымается гигантской воронкой древняя, сожженная солнцем земля, на которой когда-то сидели, лежали, пили скверное вино, волновались и ссорились беспощадные зрители и решали судьбы любимых гладиаторов одним мановением пальца... Бог весть, знали они или не знали, что накануне вече-

³⁷ Хозяин (фр.).

³⁸ Собратьев (от фр. confrère).

ром в Ницце их жены, дочери и сестры дарили ласками сегодняшних «morituros»³⁹?

Тишина... Я один. Слава богу, никто не видит слез, которые бегут по моим щекам.

Горько пахнут повилика и полынь... Вот круглый низкий выход из подземелья. Оттуда выпускали зверей. Стены еще сохранили следы железной решетки... Вот теневая сторона... Там, несомненно, была ложа владыки цирка, но от нее не осталось ни признака. Цирк в длину около двухсот шагов, шириною около полутораэта. Обхожу его кругом по барьеру. Кирпич звенит под ногами, как железный, кладка цементная, вековая, а в трещинах выросла тонкая трава, иглистая, жесткая, прочная, терпкая. Вот и теперь она лежит передо мною на письменном столе. Я без волнения не могу глядеть на нее. Слава богу – ночь. И я не вижу тех обычных надписей, которыми изрезаны, исцарапаны, раскрашены все прекрасные развалины и памятники золотой старины. Но, уходя, невольно чувствую смутную тоску по тому времени, когда жили люди огромных размахов, воли, решений, спокойствия и презрения к смерти.

На обратной дороге меня уже ничто не утешает. Светят электрические фонари. Сияют огнями гостиницы для американцев. Слева и справа гостеприимные открытые бары. У извозчиков автоматические тормозы. Трамвай. Автомобили. Но ничто не умеряет моего глубокого трогательного чувства, которое я пережил в развалинах древнего римского цирка. Да и, по правде сказать, кто возьмет на свою совесть решить, что лучше: Америка, социализм, вегетарианство, суфражизм, фальшь всех церквей, взятых вместе, политика, дипломатия, условная слюнчая культура или Рим?

Мы едем вниз, и все холоднее и холоднее пахнут кустарники. Темно. А по обеим сторонам дороги, журча, бегут ручейки.

Когда-то римские владыки подняли воду наверх, на горы Симье, и две тысячи лет подряд она бежит и бежит живым источником...

Глава IX. Кармен

Однажды я и мэтр Маликарне, хозяин ресторана «Свидание шоферов и кучеров», выпив в ожидании обеда, для возбуждения аппетита, по стакану содовой воды с абсентом, играли на карамбольном бильярде. В этой большой прохладной комнате с каменным полом жена хозяина, милая, толстая Катарина, накрывала длинный стол для своих клиентов, ставила перед каждым прибором по полбутылке красного вина, а рядом укладывала салфетки, которые каждый владелец обычно завязывал для отличия своим собственным оригинальным узлом. Их ребятишки, Альфонс и Шарлотта, – очаровательны смуглые дети, он – шести, а она – девяти лет, – тут же старались нарядить в кофточку и чепчик своего сердитого фокстерьера Пти.

Конечно, я проигрывал партию за партией. Господин Маликарне – один из лучших игроков на всем лазурном побережье, я же – профан и невежда. И вот в антракте между двумя играми, намеливая конец кия, хозяин вдруг обернул ко мне веселое, краснощекое, черноусое лицо и воскликнул оживленно:

– Ах, Monsieur, как я рад, что наконец вспомнил! У меня есть для вас приятная новость. Я давно вижу, что вы всем интересуетесь. Извозчик, который отвозил вас в Симье – Monsieur Альфред, вы с ним знакомы, – рассказывал мне, что вы были очарованы старинными развалинами. Поэтому позвольте вам посоветовать поехать в воскресенье в Фрежюс (Frejus). Это тоже римский цирк, только раза в два больше, чем в Симье. Правда, это немного далеко, километров шестьдесят по железной дороге, но то, что вы там увидите, вы не забудете никогда в вашей жизни. В воскресенье там дают оперу «Кармен» под открытым небом. Это – замечательный спектакль, и повторяется он раз в три или четыре года. Чтобы поглядеть на него, зрители собираются не только с лазурного побережья, но из Тулона, Марселя, даже из Лиона и даже – клянусь вам – из самого Парижа. Кармен будет петь Сесиль Кеттен, самая знаменитая артистка во всей Франции. Да вот, подождите, я вам сейчас покажу сегодняшней номер «Le Petit Niçois». Катарина! Дай, прошу тебя, «Petit Niçois»!

Мы разглядываем с ним вместе объявления о театральных зрелищах: воскресенье, четыре часа дня, заглавная роль – Сесиль Кеттен. Заглядываем тут же в расписание поездов. Оказывает-

³⁹ «Смертников» (лат.).

ся, удобно. Особого доверия восторги мэтра Маликарне во мне не возбуждают. Я уже хорошо знаю цену французскому пафосу и не особенно верю художественному вкусу моего друга. Но где бы и в каком исполнении ни обещали мне «Кармен», я всегда иду слушать эту оперу с неизменной верностью. И кроме того, опера на открытом воздухе. В крайнем случае – курьез. «Кажется, нужно поехать», – думаю я. А monsieur Маликарне в это время восторженно описывает мне прелести Фрежюса.

– Подумайте только, monsieur, что этот цирк был основан много тысяч лет тому назад. Город когда-то насчитывал больше тридцати тысяч жителей. В его прекрасной глубокой бухте всегда толпились корабли. Именно в Фрежюсе высадился великий Наполеон, после того как он покинул остров Эльбу. Меня не отпускают дела по ресторану, но если бы вы знали, как я вам завидую, monsieur, что вы свободны и можете все это увидеть!

«Нет, я ошибся, у него все-таки есть вкус», – думаю я, и меня начинает разбирать любопытство.

Но в это время в ресторан уже сошлись все его обычные посетители. Мы с хозяином отправляемся умыться руки и садимся за стол.

Два раза мы проехали из Ниццы в Фрежюс без всякого успеха. В первый раз нам сказали, что газета напутала, ошиблась на целую неделю. И в доказательство приводили то, что на столбах не было афиш. В среду на всех киосках и на стенах ниццких домов действительно появились громадные плакаты, где имя Сесиль Кеттен было напечатано полуаршинными красными буквами. Мы опять поехали в Фрежюс. На этот раз нам с милой, беспечной, южной бесцеремонностью заявили:

– Вы видите, – на небе облака и во всем Фрежюсе кричат петухи. Это значит, что барометр падает и, несомненно, будет дождь. Согласитесь, – что же это будет за спектакль на открытом воздухе под проливным дождем? Не правда ли, monsieur? Во всяком случае, позвольте вам дать совет: запаситесь заранее билетами, их берут нарасхват. Осталось очень мало, и то только в первых трех рядах.

– Но ведь это значит, что нам придется третий раз ехать из Ниццы в Фрежюс и, может быть, опять понапрасну? – возразил я недоверчиво.

– Что же делать, monsieur, – вздохнул лукавый черномазый южанин-кассир, разводя руками. – Многие приезжают по два раза из Вентимилье и даже из Тулона. Попросите доброго бога о том, чтобы в следующее воскресенье была хорошая погода, и я ручаюсь, что всем хорошим знакомым в вашей далекой

Германии вы будете с гордостью рассказывать о том, что вы увидите. Это счастье выпадает немногим на долю. А теперь, monsieur, – переменял он свой хвастливый тон на заискивающий, – позвольте узнать, какие билеты вы желаете иметь для вас и для вашей дамы?

Упорство взяло во мне верх над голосом рассудка, и я приобрел два билета третьего ряда.

Добрый бог в самом деле послал в следующее воскресенье чудесную погоду: ясную, солнечную и не особенно жаркую. В три с половиною часа мы приехали в Фрежюс. Из переполненного длинного поезда лились и лились потоки человеческой толпы. Один за другим подходили поезда с севера и с юга, и необыкновенное, нарядное, шумное, пестрое шествие непрерывной рекой тесно заполнило широкую улицу, ведущую от вокзала к цирку. Приходилось подвигаться еле-еле, шаг за шагом, в страхе кося глазами на острые булавки, торчавшие из огромных дамских шляп. Говор, смех, восклицания, шутки, мимолетные приветствия и улыбки издали, через головы толпы, непринужденное, радостно возбужденное настроение...

Право, если бы не мужские панамы и смокинги, и не модно обтянутые дамские платья, и не запах сигар и современных терпких духов, я легко вообразил бы себе, что две тысячи лет тому назад так же вливалась в цирк сквозь гигантскую прекрасную арку многотысячная римская толпа, заранее взволнованная страстным ожиданием кровавых зрелищ.

Цирк поражает своей громадностью, и, несмотря на разрушения, нанесенные временем, в его изящном овале, в двух этажах его сквозных арок чувствуется бессмертная красота и неуловимое изящество. Вся левая сторона цирка заставлена в длину рядами стульев – их, как я потом узнал, более трех тысяч, – и места почти все уже заполнены. Выше полукругом громоздятся скамейки, сплошь занятые оживленной пестрой толпой. Еще выше, в пролете каждой арки, на парапетах, на каких-то невидимых обломках, громоздятся бесчисленными гирляндами, какими-то фантастическими человеческими роями нетерпеливые зрители, жадные до зрелищ так же,

как их отдаленные предки, современники рождества Христа. И, наконец, еще выше, гораздо выше древних стен цирка, расселась и улеглась просто на земле, опоясав широким кольцом амфитеатр, сплошная, бесчисленная масса.

Глядишь туда и видишь только живую, колеблющуюся, черную полосу и на ней белые пятна лиц и изредка светлое платье.

Туда собралось все окрестное население из деревень, ферм и маленьких соседних полузабытых, полуразрушенных городишек, бывших когда-то летними резиденциями римской аристократии. Одни пришли пешком, другие приехали целыми семьями в двухколесных таратайках, запряженных крохотными, ростом с датского дога, милыми, терпеливыми, умными осликами, и все захватили с собой вино и провизию. Сюда, на эти спектакли, собираются десятки тысяч зрителей и с таким же нетерпением ожидают и с таким же наивным восторгом смотрят и слушают, как в Обер-Аммергау представление страстей господних. Не приехали только коренные ниццары. Но они равнодушны ко всему на свете, кроме своего пищеварения и состояния своих карманов.

Я пробую хоть приблизительно подсчитать, сколько может быть людей в этом чудовищном амфитеатре, в этой гигантской воронке, возвышающейся чуть ли не до неба. Тысяч двадцать, тридцать, думаю я. Но на другой день мне удастся узнать, что одних только платных мест было двадцать тысяч, и ни одно из них не осталось свободным.

Напротив зрителей, у самой стены, прилепились жалкие подмостки, и на них наивная, одновременно и смешная и трогательная сцена. Три стены, без потолка и без занавеси, а в глубине дверь. Вот и все. И таковой сцена остается в продолжение всех четырех актов.

А человеческая река все льется и льется сплошным течением сквозь широкую старинную арку. Воздух дрожит от слитного, густого и могучего человеческого говора. Если закроешь глаза, то кажется, что ты находишься в самой середине улья, переполненного десятками тысяч исполинских пчел. Изредка на этом общем гуле резко всплывает то звонкий женский смех, то выкрики продавцов холодной воды с лимоном, конфет и программ.

Оркестр из пятнадцати человек, поместившийся на земле, ниже подмостков, потихоньку настраивает инструменты. С неудовольствием я уже заранее решаю, что мне не придется услышать ни одного звука из любимой оперы: музыка на открытом воздухе, отсутствие резонанса, жалкий оркестр и, наконец, десятки тысяч зрителей, нетерпеливых, оживленно настроенных, болтливых, которых, конечно, не в состоянии унять ни один самый отважный капельдинер в мире! И невольно стало жалко напрасно затраченной энергии, хлопот и ожиданий.

Но вот раздается резкий звук гонга, и все, что бродили по свободному, не занятому месту пространству цирка, и те, что толпились у наскоро сколоченного буфета, и те, что флиртовали и зубоскалили с своими соседями и знакомыми, торопливо бегут к своим стульям. И странным кажется на мой русский взгляд, что никто никого не толкает локтем в грудь, никто никому не наступает на ногу, ни одного грубого восклицания. И я чутко слышу, как умолкает шум несметной толпы, уходя куда-то вдаль, подобно тому, как замирает лесной шум, убегая в темные чащи, когда вдруг останавливается ветер. Второй удар гонга, и... тишина. Тихо, как в церкви, как в большом храме ночью. На сцену выходит маленький человек в сером костюме со стулом в руке. Он ставит этот стул слева от воображаемой суфлерской будки и уходит за кулисы. Тишина становится еще хрустальной. Третий удар гонга, и вот раздаются прекрасные звуки прелюдии, в которой говорится о страсти, нависающей над людьми, как грозовая туча, о любовной тоске, ревности, измене и смерти, о вечном беспощадном обаянии женского тела. И каждый звук так ясен и отчетлив и так сладок здесь, под открытым голубым небом, что знакомая томная печаль и нежное умиление перед красотой вновь властно сжимают мое сердце... В то же время я испытываю чувство удивления: вряд ли какой-нибудь оперный театр может звучать с такой отчетливостью, как эти развалины. «Неужели, – думаю я, – римские архитекторы знали тайны акустики так же хорошо, как и их юристы с необыкновенной тонкостью устанавливали нормы права?» Выходят горожане, маршируют детишки, является на смену караул, и я слышу с необыкновенной точностью каждое слово, узнаю темп любого голоса. Солнце светит прямо в лицо хористам, так что они порою невольно заслоняются от него, и глаза их щурятся, а белые зубы блестят от гримасы, сжимающей лицо. И вот наконец Кармен – Сесиль Кеттен. Она высока ростом, одета очень бедно и небрежно, ее лицо бледно и, может быть, некрасиво, большой широкий рот, настоящий рот певицы, ласковые, бархатные движения тигрицы, никогда не теряющей чувства

того, что из-за нее каждую минуту готовы загрызть друг друга насмерть влюбленные самцы, первобытное кокетство женщины из народа, бессознательное, врожденное изящество гордой испанки, неизменной посетительницы боя быков, и в каждом движении чуть-чуть манерная, плавная, страстная извилистость. Сзади меня сидят русские: мужчина и дама. Я слышу, как дама шепчет:

– Ах, почему же она так бледна и некрасива?

– И правда, – соглашается ее кавалер. Кармен поет свои куплеты о любви, свободной, как птица, и уходит с подругами на фабрику. Появляется в традиционном белом платье Микаэла. Как всегда, на ней золотой парик с длинными косами, как всегда, она поет чистым высоким сопрано, как всегда, публика слушает ее с удовольствием и облегченно вздыхает после ее ухода. Скандал на фабрике. Бедная Кармен арестована, руки у нее связаны назад. И вот, изгибаясь своим уклончивым и податливым телом, медленно приближаясь к дону Хозе шагами прекрасного хищного зверя все ближе и ближе, она поет свою песенку о своем друге Лилас Пастиа.

*Près des remparts de Sevilia...*⁴⁰

Беспечное, но грозное кокетство, чувственный и кровавый вызов слышится в ее словах. Вот он, первый отдаленный гром той грозы, которая вырывает с корнем деревья и разрушает дома, вот первый неясный намек на трагедию, ибо любовь всегда трагедия, всегда борьба и достижение, всегда радость и страх, воскресение и смерть, иначе – она мирное и скучное долготелее сожительство под благословенным покровом церкви и закона.

Ее лицо на мгновение оборачивается к нам. Я вижу ее раздутые ноздри, ее пылающие страстью и угрозой глаза, ее вдохновенное царственное лицо. Да, царственное лицо у этой обрвашки в растерзанной белой блузке и короткой коричневой юбке!

– Как она прекрасна! – слышу я женский шепот сзади.

– О да, да, но молчи, молчи.

Я ощущаю, как волосы у меня на голове становятся холодными и жесткими, и я чувствую, я знаю, я уверен, что то же самое испытывают со мной вместе, все до одного, бесчисленные зрители. На секунду я оглядываюсь назад. Снизу от партера и до самого верха отлогой горы темно от народа, но никто не пошевелится, не двинет рукой, точно камни, внимающие пению Орфея. Но вот она окончила песенку, обманула, убежала. Конец акта. И никто не двигается несколько секунд, ни на древнем ристалище, ни в оркестре, ни наверху... И это мне кажется более убедительным, чем если бы все зрители сразу сняли шляпы с головы и коснулись ими земли. Такова волшебная власть гения!

Антракт. Дон Хозе, Цунига и солдаты прямо со сцены соскакивают вниз и идут в буфет пить пиво и лимонад. Боже, как они одеты! Кумачовые штаны, желтые тряпочки вместо позументов. Настоящие французские солдаты, с которыми артисты тут же у буфета дружелюбно болтают, куда лучше их одеты. Но погодите: сейчас они опять взойдут на сцену, и южное солнце сделает чудеса: их рейтузы окрасятся ярким цветом крови, а тряпки заблестят, как чистое золото. Гонг. Серый человек опять выходит на сцену, ставит стол, а на него два оловянных стакана. Это харчевня.

Нет, это не харчевня. Это то, о чем мы, северяне, так долго мечтали под именем соборного действия. Разве все мы, присутствующие, не видели за эти блаженные три-четыре часа все настоящим: и харчевню, и фабрику, и горы, и солдат, и контрабандистов, и севильскую толпу перед боем быков, и разве мы не жили в странном живописном испанском городе одной красивой жизнью с великолепными, гордыми, бесстрашными людьми? Московский Художественный театр, слышишь ли ты меня?

В постановке оперы, конечно, много недочетов. Так, например, комический хор мальчишек из первого акта был испорчен тем, что режиссер выпустил на сцену человек пятьдесят фрежюсских мальчуганов. Эта живая затея, конечно, была бы очень мила, но он заставил детей маршировать вокруг сцены попарно и в ногу. Получилось что-то вроде парада наших потешных, не хватало только инспектора народных училищ, который командует. Ну, скажите на милость, в

⁴⁰ В предместье Севильи... (фр.)

каком городе, в какой стране было видано, чтобы уличные гамены⁴¹ сопровождали караул, да еще с музыкой впереди, хоть в каком бы то ни было порядке? Ведь самое главное удовольствие – влезть чуть не с головой в разверстую пасть огромной медной трубы, приставить ухо к бухающему турецкому барабану, поглазеть, разинув рот, на кларнетиста, как он на ходу насасывает свой мундштук, потолкаться и подражаться из-за мест поближе к оркестру. Не правда ли?

Хор держал себя так, как держат все хоры на свете. Известно, что хорист не знает иного жеста, кроме жеста удивления. Этот жест у него единственный. Какие бы чувства ему ни приходилось выражать, он неизбежно откачивается туловищем назад, делает вопрошающее лицо, широкие глаза и вытягивает прямо перед собою правую руку.

И Микаэла, несмотря на приятный, чистый голосок, была несурозна. Каждый раз, окончив свою печальную арию, она – женщина пудов пяти весу – убежала за кулисы вприпрыжку, этаким резвым котеночком. Конечно, в ее воображении этот трюк означал приблизительно вот что: посмотрите, какое я маленькое, невинное, резвое дитя, а со мной так плохо обращаются!

Надо сказать, что дон Хозе был плох и сладок, а Эскамильо посредствен. Впрочем, давно замечено, что, если хорош тореадор, плоха Кармен, и наоборот. Таким образом, одна Сесиль Кеттен одухотворила оперу, украсив ее волшебными цветами своего творчества. Она появлялась на сцене, и вот – точно солнце удесятерило свой ослепительный блеск! При ней и оркестр и хор так чудно сливались вместе, что казалось, звучит какой-то один многоголосый инструмент, в котором одновременно поют и люди, и скрипки, и голубое южное небо, и золотое солнце. И какая тонкая артистическая умеренность в игре! Во втором акте, как известно, есть очень рискованное место: цыганский танец на столе. Я видел, как русские примадонны карабкаются на этот театральный стол, подобно бегемоту, лезущему на дерево, и как бедный стол шатается всеми ножками под их тяжестью. И смешно и жалко. Я видел, как прекрасная, но грубая артистка Мария Гай, ловкая и сильная женщина, одним прыжком вскакивает на стол и танцует с увлечением, со страстью, но, увы, некрасиво обнаруживая слишком большие ноги.

Сесиль Кеттен не танцует. На столе две балерины-гитаны. Все их движения заключаются в сладострастных извивах бедер и торса, в томных, ленивых позах. А Сесиль Кеттен только ходит по сцене своей гибкой, тигриной походкой, перещелкивая кастаньетами, грациозно раскачивая свое тело и короткие пышные юбки. Из ее большого прекрасного рта льется знойная цыганская песня, в которой огонь, кровь и вино.

И еще тонкая подробность: бледности первого акта нет и в помине. Ведь Кармен явилась на праздник, на корриду. На ней лучшее шелковое платье, голова кокетливо украшена старинным черным кружевом, щеки нарумянены, брови – две черные полукруглые дуги, сходящиеся вместе. И ее кокетливые, манящие улыбки все время блестят, как золото на солнце.

В последнем акте Кеттен прекрасна до ужасного. Она поднимает до своей вышины Эскамильо, певца средней величины; я вижу, как она своими прекрасными глазами ведет за собой очарованный хор, и я чувствую, как истинным и чистым восторгом горят сердца зрителей...

Ah, je t'aime, Escamiglio...⁴²

Необычайный по красоте, полный страсти, нежности и предчувствия близкой смерти, льется этот простой, медлительный мотив. Он кончается, и я ухожу. Я настолько близко, не по-театральному, а по-настоящему, по правде, жил радостями, очарованиями и падениями моей прекрасной, гордой, изменчивой Кармен, что я не хочу, не могу, не в силах видеть ее смерти.

Идя к поезду, я все думал: «Ах, отчего ни Проспер Мериме, автор пьесы, ни Жорж Визе, которого так беспощадно освистали после первого представления «Кармен» и который через два дня после этого умер в Париже, ни Фридрих Ницше, отвернувшийся от Вагнера для того, чтобы влюбиться в «Кармен», не видели этой оперы в исполнении Сесиль Кеттен». Да и не могли бы, если бы они и были живы. Через полтора месяца эта прелестная артистка умерла от аппендицита в одной из французских клиник. Операция была произведена варварски. Говорят, была хирургич-

⁴¹ Мальчишки (от фр. *gamin*).

⁴² Ах, я люблю тебя, Эскамильо... (фр.).

ческая ошибка. А гений погиб.

Глава X. Ницца пляшет

Раньше я уже говорил о том, что Ницца – город, порожденный шальными деньгами, карточным азартом, глупой модой и безумными прихотями приезжих богатых людей, пресыщенных до одурения всеми грубыми радостями мира. Поэтому ничего нет удивительного в том, что в Ницце никто ничего не создает и ничем не занимается, кроме сводничества, стрижки и бритья, отдавания квартир и комнат внаймы, альфонсизма, комиссионерства, лакейства и других не менее полупочтенных профессий. Ницца еще ни разу не родила на свет божий ни одного скульптора, художника, актера, поэта, романиста, музыканта, композитора, даже ни одного мастера тонкой ручной работы.

Однажды, по просьбе пятилетней девочки, я принес в игрушечный магазин ее куклу, которой она неосторожно проломила голову. У меня очень вежливо приняли заказ и обещали завтра же произвести пустячную операцию с починкой черепа, которую я мог бы и сам довольно ловко сделать в десять минут, если бы у меня под руками был клей синдетикон, кусочек картона и клочок каких-нибудь волос.

Две недели подряд, каждый день, ходил я в этот магазин, и толстая, туго перетянутая корсетом хозяйка неизменно отвечала мне с обворожительной улыбкой из-за своей конторки:

– Monsieur, завтра непременно.

К концу второй недели она откровенно призналась мне:

– Я должна вам сказать, что мы отправили вашу куклу в Париж. Видите ли, в Ницце никто ничего не производит. У нас нет ни сапожников, ни портных, ни шляпочниц, ни ювелиров, ни велосипедных мастеров, ни игрушечных... Словом, ничего нет. В сезон они все приезжают к нам из Парижа, Лиона и Марселя и загребают бешеные деньги. Кончился сезон – и они исчезают, как дым, как стая перелетных птиц. Понимаете, monsieur, ведь Ницца не город, а сплошной огромный отель. Что поделаешь, таковы наши ниццкие нравы... Потерпите немного, и через день, через два ваша кукла вернется целой, невредимой и прекрасно излеченной.

Для меня было ясно, что хозяйка магазина что-то путает, но во мне уже заговорило упрямство. Я пришел опять через четыре дня и настойчиво потребовал, чтобы мне возвратили мою куклу, в каком бы она ни была виде. Хозяйка медленно подняла на меня из-за конторки свои черные выпуклые глаза, неприятно молодые на старом, обрюзгшем желтом лице, и сказала с божественным спокойствием:

– Простите, monsieur, я ни разу не видала ни вас, ни вашей куклы. Вероятно, вы ошиблись адресом магазина?

Другой случай. Я сижу в парикмахерской. Меня стригут. Мой приятель дожидается меня здесь же, в зале, просматривая французские юмористические журналы. Рядом со мною хозяин заведения бреет солидного толстого старого буржуа. Понемногу между нами четверья заходит разговор об автомобильных набегах Бонно и об его шайке анархистов-экспроприаторов. Все мы лениво согласны между собою в том, что современная молодежь отбилась от семьи и преждевременно портится. Но толстый буржуа принимает разговор чересчур близко к сердцу и багровеет так, что даже лысина становится у него пурпуровой.

Он быстро поворачивается на винтящемся стуле лицом к моему товарищу. Одна щека у него гладко выбритая, а другая покрыта густой белой мыльной пеной.

– Вы правы, monsieur! – кричит он взволнованно. – Вы сто раз правы!

– Monsieur, – нежно протестует парикмахер, – ваши щеки!..

– Подождите... Когда я начинаю говорить, я не люблю, чтобы мне мешали... Вы тысячу раз правы, мой дорогой иностранец. У меня есть сын. Он не хочет работать, он целые дни проводит за бильярдом или за стаканом абсента в каких-нибудь кафе. И я догадаться не могу, откуда он достает на это деньги. Я понимал бы еще, если бы у него были какие-нибудь связи с пожилыми богатыми дамами. Это ведь так просто и ясно. Мальчик очень красив, отчего же ему и не принимать маленьких подарков? Но, вообразите, он путается с самыми потерянными женщинами, и в этом трагедия моей жизни. Иногда я просыпаюсь среди ночи и с ужасом думаю: «А что, если и он анархист, как Бонно и его друзья?»

Случай третий. Густая уличная толпа окружила лежащую на земле молодую, довольно

красивую, но сильно избитую и, кажется, израненную женщину. Двое городских держат за руки взлохмаченного пожилого француза, худого и гибкого, как виноградная лоза. Он без шляпы, и из растерзанной манишки видна его волосатая грудь.

– Что здесь случилось? – спрашиваю я случайного соседа.

– Э, *monsieur*, обыкновенная любовная история. Так ей и надо, этой потаскушке (он выразился сильнее).

– Значит – ревность? Измена?

– Конечно, *monsieur*. Эта... Генриетта была до сих пор прекрасной женой и хозяйкой. Все, что она зарабатывала от своих ухаживателей и постоянных клиентов, она честно приносила в дом, как подобает порядочной жене и любящей матери. Но в последнее время она увлеклась молодым коммивояжером и завязала с ним бескорыстный роман. Понимаете ли, *monsieur*, как это грустно и безнравственно!

Я понял. «Таковы наши ниццкие нравы», – вспомнились мне слова владелицы игрушечного магазина.

Таких анекдотов я мог бы привести несколько сотен. Но я нарочно выбрал потому самые мелочные, что убежден, что в забавных и противных мелочах больше всего сказывается душа человека, страна и история.

Сезон продолжается с половины октября до половины марта. За это время все гостиницы битком набиты, и цены за помещения возрастают до безумных размеров. Каждый ваш шаг, каждый глоток, чуть ли не каждый вздох оплачивается неслыханными расходами. Английское, американское и русское золото неудержимым водопадом льется в беспредельные карманы предприимчивых французов и жадных ниццаров. Тамошняя пословица говорит: «В Ниццу ездят веселиться, в Канн отдыхать, а в Ментону умирать». И правда, в течение всего сезона жизнь в Ницце представляет из себя сплошное праздничное кружилище: балы, пикники, скачки, велосипедные гонки, карнавалы, множество кафешантанов, музыка и игра, игра, игра.

Если вы не хотите ехать в Монте-Карло, для вас гостеприимно открыты двери двух роскошных вертепов – «Casino Municipal» и «Casino de la gai promenade»⁴³. Там, правда, нет рулетки, которую ревнивая администрация Монте-Карло сумела запретить на всем лазурном побережье, зато есть младшая сестра этой игры, носящая скромное название «лошадки» (*les petits chevaux*). Разница между этими играми заключается только в том, что в первой вы проигрываете на тридцать шесть нумеров, а во второй – на девять. Но и там и там непрерывно течет с мягким звоном и мелодичным шелестом иностранное золото... Но вот наступает конец сезона, и праздная, знатная, нарядная толпа иностранных гостей редет с каждым днем: одни уехали в свои родовые имения, другие – в прохладную Швейцарию, третьи – в Трувилль или на один из модных английских купальных курортов. Милые беззаботные птички божий! Один за другим закрываются шикарные отели, и чем отель аристократичнее и дороже, тем он раньше опускает на свои окна плотные зеленые филенки, обволакивает полотном золотые вывески и запирает все свои входные двери на ключ. Последним из знатных путешественников уезжает наш талантливый соотечественник В. И. Немирович-Данченко. После его отъезда излюбленный отель нашего писателя «Westminster» погружается в безмолвие и мрак, и сезон можно считать оконченным.

Ницца облегченно вздыхает после тяжких и сладких зимних трудов, считает награбленное золото и теперь решает сама повеселиться. Да и в самом деле, она так долго глядела на чужое веселье и так подобоострастно обслуживала чужие прихоти, капризы, нужды и фантазии, что ей, право, не грех позабавиться.

Господа уехали, лакеи танцуют. Да и все равно они теперь, в продолжение пяти-шести месяцев, осуждены на полное бездействие. И Ницца пляшет.

Нет дня, чтобы не увидали протянутую через улицу от дома к дому широкую коленкорую полосу, на которой красными буквами напечатано: «20, 21 и 22 июня (примерно) большой бал комиссионеров (извозчиков, маляров, рыбаков, прислуги и т. д.) на площади Массенэ (Гарибальди, Нотр-Дам и проч.). Вход 50 сантимов». Каждый такой бал, не считая небольших переывов для сна и еды, длится двое-трое суток. И все они на один образец. Выбирается среди площади обширное круглое место и огораживается столбами, которые снаружи плотно

⁴³ «Городское казино» и «Казино Веселой прогулки» (фр.).

обтягиваются полотном. Сверху на столбы натягивается конусообразная полотняная крыша – словом, получается то, что на языке бродячих цирков называется «шапито», – и бальная зала готова.

Остается только навесить крест-накрест на столбах французские флаги, протянуть гирлянды из листьев, поставить эстраду для музыкантов, отделить закоулочек под пивной буфет, и больше ничего не требуется.

С утра до вечера непрерывной вереницей идут и идут под душный полотняный навес мужчины и женщины, старики и дети. Бал длится почти непрерывно. И чем позднее, тем гуще и непринужденнее веселящаяся толпа. Танцуют всегда один и тот же танец – ниццкую польку. Пусть музыка играет все, что хочет: вальс, мазурку, падеспань, – ниццары под всякий размер и под всякий мотив пляшут только свой единственный, излюбленный и, я думаю, очень древний танец.

Танцуют обыкновенно пар пятьсот – шестьсот, заполняя весь огромный круг от центра до окружности. Тесным, плотным, живым диском медленно движутся эти пары в одну сторону – противоположную часовой стрелке. Душно, жарко, и нечем дышать. Полотняное шапито не пропускает воздуха; единственный вход, он же и выход, не дает никакой тяги. Мелкая песчаная пыль клубами летит из-под ног и, смешиваясь с испарениями потных человеческих тел, образует над танцорами удушливый мутный покров, сквозь который едва мерцают прикрепленные к столбам лампы и от которого першит в горле и слезятся глаза. Но самый танец, надо сказать, очень красив. Теперь он входит в моду в большом свете Парижа под именем «танго». Он прост и несложен, как все экзотические древние танцы, но требует особой, своеобразной, инстинктивной грации, без которой танцующий будет позорно смешон. Состоит он вот в чем. Кавалер и дама прижимаются друг к другу вплотную, лицо к лицу, грудь к груди, ноги к ногам; правая рука кавалера обхватывает даму немного ниже талии; правая рука дамы обвивает шею партнера и лежит у него на спине. И в таком положении, тесно слившись, они оба медленными, плавными, эластичными шагами, раскачивая бедрами, подвигаются вперед. Иногда наступает кавалер, отступает дама, потом наоборот. Движения их ног ловко и ритмично согласуются. В этой примитивной пляске очень много грубого, первобытного сладострастия. Сколько раз мне приходилось видеть, как лицо женщины вдруг бледнеет от чувственного волнения, голова совсем склоняется на грудь мужчины, и открытые сухие губы в тесноте и давке внезапно с жадностью прижимаются к цветку, продетому в петличку его пиджака. Но в то же время этот танец может быть очаровательным по изяществу. Мои друзья показывали мне двух-трех танцоров и нескольких танцорок, которые считаются лучшими в Ницце. И в самом деле, какая стройность поз, какая хищная и страстная сила в движениях, какое выражение мужской гордости в повороте головы! Нет, этому искусству не выучишься. Надо, чтобы оно жило в крови с незапамятных времен.

Кроме того, надо сказать, что насколько некрасивы коренные жительницы Ниццы, настолько красивы ниццары. В их смуглых лицах с правильными чертами живописно отразилась кровь всех завоевателей и покорителей Ниццы: гунуэзцев, римлян, мавров и в древности, вероятно, греков. Все они высоки, очень стройны и сильны. Особенно бросаются в глаза их рост и сложение в те минуты, когда по улице, с фанфарами и музыкой, проходит рота солдат. Жадные до зрелищ и патриотичные, как все южане, бегут ниццары вслед за солдатами по обоим тротуарам, машут шляпами и орут во весь голос: «Vive l'armée! Vive l'armée!»⁴⁴

И в сравнении с рослыми, плечистыми, нарядными ниццарами какими жалкими кажутся маленькие пехотные солдаты-северяне, в своих красных кепи, красных широких штанах, завязанных у щиколоток, и несурзных синих шинелях, полы которых подоткнуты назад, образуя подобие какого-то клоунского фрака.

Был я также на рыбацких балах, которые отличались от вышеописанных только тем, что у музыкантов все инструменты были обернуты серебряным и золотым картоном в форме разных рыб и раковин, а на столбах укреплены весла, рули и спасательные круги.

Но всегда наибольшее оживление царит не в самом шапито, а у входа в него и вокруг его огорожи. Тут располагаются торговцы конфетами, пирожками, лимонадом. Несколько тиров для стрельбы из монтекристо. Будочки, в которых на большом столе расставлены ножики, стаканы,

⁴⁴ Да здравствует армия! Да здравствует армия! (фр.)

вазочки, флаконы с дешевыми духами и бутылки с отвратительным шампанским. Вы покупаете на несколько су пять или десять деревянных колец, вроде тех, которыми играют в серсо, и бросаете их на стол. Если вам удастся правильно окружить какой-нибудь предмет, он становится вашей собственностью, и публика, к великому вашему смущению, провожает вас аплодисментами. Здесь же помещаются: беспроигрышная лотерея со всякой дрянью на выставке, а также и мошеннические лотереи, в которых вы можете выиграть живого петуха или курицу и потом с идиотским видом нести под мышкой неистово кричащую птицу, сами не зная, как с ней разделаться. Здесь, под открытым небом, на этом своеобразном игорном базаре, живая толпа всегда весела, жива и добродушна.

Самым интересным все-таки был бал моих друзей – извозчиков. Не помню уж, кто из них, monsieur Филипп или monsieur Альфред, вручил мне однажды почетный билет.

– Для вас и для вашего почтенного семейства, – сказал он с любезной улыбкой.

– Все русские – наши друзья, а вы у нас свой человек. Бал будет завтра в «Калифорнии», и самое лучшее, если вы приедете к четырем часам дня; мы будем ожидать вас.

«Калифорния» – это подгороднее местечко, замечательное тремя вещами: маяком, прекрасной страусовой фермой и большим рестораном, к которому пристроена обширная сквозная терраса с деревянным полом для танцев. И так как на другой день выдалась приятная, нежаркая погода, то мы большой компанией отправились в «Калифорнию», побыли около маяка, куда нас не пустили, осмотрели ферму, где, между прочим, страусовые перья продаются вдвое дороже, чем их можно купить в Петербурге, и, наконец, достаточно усталые, расположились на танцевальной террасе ресторана.

Я не успел еще выпить стакана белого вина со льдом, как увидел, что мне издали делает какие-то таинственные знаки мой друг monsieur Филипп. Я встал из-за стола и пошел к нему.

– Monsieur, – сказал он со своей обычной вкрадчивой ласковостью, – председатель или, вернее, шеф нашей извозничьей корпорации, слышал о вас и хочет познакомиться. Позвольте мне представить вас ему?

Я согласился. Председатель оказался пожилым, но еще красивым мужчиной – крепким, стройным, как сорокалетний платан.

Он давнул мне так сильно руку, что у меня склеились пальцы, выразил удовольствие видеть меня и предложил мне стакан холодного шампанского. После этого он сказал:

– Теперь, по нашему обычаю, я вас должен представить нашему королю, королю извозчиков. Жан! Тащи сюда короля!

Вскоре у стола появился нескладный, длинный белобрысый парень с бритым лицом опереточного простака. Он был одет в длинный, фантастического покроя зеленый балахон, испещренный наклеенными золотыми звездами. Сзади волочился огромный шлейф, который с преувеличенной почтительностью несли двое его товарищей – извозчиков, а на голове красовалась напыленная набекрень золотая корона из папье-маше. Король важно кивнул головой на мой глубокий поклон.

– Речь, monsieur, речь! – зашептали вокруг мои друзья. – Скажите несколько приветственных слов.

– Ваше величество, – начал я проникновенным голосом, с трудом подбирая французские фразы, – я прибыл сюда с крайнего севера, из пределов далекой России, из царства вечных снегов, белых медведей, самоваров и казаков. По дороге я посетил много народов, но нигде я не встречал подданных более счастливых, чем те, которые находятся под вашим мудрым, отеческим покровительством. Alors! Пусть государь милостиво разрешит мне наполнить вином эти бокалы и выпить за здоровье доброго короля и за счастье его храброго, веселого народа – славных извозчиков Ниццы!

Король левой рукой благосклонно принял предложенный мною бокал, а другую величественно протянул мне для пожатия.

В самом деле, в этом шуте гороховом была пропасть королевского достоинства. Вскоре мы уже пили за всех французских извозчиков и за русских, и даже за извозчиков всего мира, пили за Францию и за Россию, за французских и русских женщин и за женщин всего земного шара, пили за лошадей всех национальностей, пород и мастей. Я не знаю, чем бы закончили наше красноречие, да и тем более, я чувствовал, что мой кошелек очень быстро пустеет, но, к счастью, ко мне подошел официант и сказал, что приехавшие со мной компаньоны скучают без меня.

Король с обворожительной любезностью отпустил меня, протянул мне на прощанье руку; и вдруг, неожиданно потеряв равновесие, покачнулся, взмахнул нелепо руками и очутился на полу в сидячем положении.

– Король и в падении остается королем, – сказал серьезным тоном извозчичий шеф.

Вскоре начались танцы. Оркестра не было. Играло механическое пианино. Кто хотел – заводил его и бросал в щелочку двадцать сантимов. Так как дам оказалось очень мало, то мужчины танцевали с мужчинами, что совсем не режет глаз, потому что очень принято на ниццких балах. Но становилось уже поздно и сыро. Надо было уезжать.

Глава XI. Бокс

Я жил в то время в ниццкой гостинице, которую содержала добродушная полька. У нее был сын, семнадцатилетний, милый и ласковый, как веселый щенок, Петя, который мог свободно перепрыгивать через сервированный стол или из окна залы на террасу, чем приводил в восхищение сезонных дам, которые ему неоднократно дарили кольца с бриллиантами, весом приблизительно около трех каратов. Надо сказать, что это был целомудренный мальчик, веселый товарищ, баловень всего дома и очень ловкий и сильный человек.

А над гостиницей была плоская крыша, обнесенная невысоким цементным барьером, где мы с Петей стреляли в цель, упражнялись в фехтовании, в борьбе и боксе. Вот именно бокс и погубил Петю, меня и еще одного человека, о котором речь будет впереди. Он никогда не встречал отказа в своих желаниях. Рапиры, маски, нагрудники, купальные костюмы, фотографические аппараты, футбольные

мячи, ракеты и мячи для тенниса, переметы для ловли рыбы... Словом, все, чего бы ни попросил у матери вкрадчивый Петя, – исполнялось как по волшебству. Бокс в Дьеппе – «Кляус – Карпантье» – увлек его капризную душу, и он решил заняться боксерским искусством.

А как раз случай занес меня в Дьепп. И там в это время было состязание между восемнадцатилетним Карпантье и Кляусом. Карпантье – бывший булочный подмастерье; его нашел учитель, – некто Декурье, Дювернуа? – фамилии не помню – старый, неудачливый, но хитрый боксер.

Мальчишка правда вышел боксером на славу. Он совершил много побед в прекрасном стиле, заработал около тридцати тысяч франков и купил своей матери масличную рощу. Конечно, его тренер и учитель заработал вчетверо больше. Он явно и беспощадно торговал своим цыпленочком (*petit poulet*). Наконец, желая возвысить его славу и свои денежные сборы, он решил подставить мальчишку под жестокие удары сорокалетнего американца, весом около того же, который весил и Карпантье.

Он, Дювернуа, не рассчитал только того, что у каждого мальчика растут кости до двадцати пяти лет, и того, что равновесный с ним Кляус, старше его на двадцать три года, имел более крепкий костяк, а может быть, и лучшую тренировку. А надо сказать, что тренинг боксеров чрезвычайно мучителен и сложен. Если боксер превосходит тяжестью предполагаемого противника, то он должен похудеть, и наоборот, если он меньше его весом, то должен дойти до его веса. Тут пускается в ход тренерами искусственное голодание и искусственное питание. Одного кормят бифштексами и поят пивом, а другого держат на молочной диете. Но еще тяжелее приготовление к матчу. Вставать нужно ровно в пять часов утра, брать очень холодный душ, после которого два или три помощника растирают тебя шершавой простыней. Затем маленький отдых и массаж всего тела от ног до головы. Два яйца всмятку и прогулка в десять приблизительно верст (иногда бегом). Тренер и его помощники (будущие боксеры) ни на секунду не выпускают своего чемпиона. Возвратившись домой, он непременно должен опять идти под холодный душ, после которого ему дается фунт бифштекса без хлеба и полпинты крепкого пива. Только тогда ему позволяют вздремнуть на час или два. Около шести или семи часов вечера его начинают тренировать на бесчувственность лица. Чемпион стоит и подставляет то левую, то правую щеку своим старательным тренерам. Еще один массаж, и уже боксеру не позволяют ни двигаться, ни волноваться. Его везут в автомобиле на место состязания. Что он думает и чувствует в то время, я, черт возьми, не могу себе представить. Сотни раз боксерские схватки кончались смертью.

В Дьеппе с первой схватки я в бинокль видел позы и выражения лиц противников. Ш. Карпантье извивался то на одну сторону, то на другую сторону, откидывал назад спину и слыш-

ком много танцевал понапрасну. Но уже с первой схватки видно было, что Карпантье волнуется и сдает. Американец же был спокоен и беспощаден.

На девятнадцатой схватке Карпантье получил такой жестокий удар обеими руками одновременно в сердце и в печень, что кровь хлынула у него из носа и рта. Он упал. Учитель, видя, что его дойная корова пропадает, вскочил на арену и потребовал прекращения бокса. Он кричал в публику о том, что были нарушены какие-то – не то норфолькские или кембриджские – правила. Но разве можно было его расслышать при общих воплях публики! Эти страстные южане сопровождают каждый даже не особенно жестокий удар вздохами, стонами, радостными истерическими выкриками, аплодисментами.

К чести Ш. Карпантье надо сказать, что он ни за что не хотел оставить арены. Он шатался, как пьяный, смертельно бледный, почти бессознательный, рвался к своему противнику. Его пришлось не увести даже, а унести за кулисы... Но говорят, что он теперь поправился и опять кормит своего Леганье.

Мой друг, очень честный человек и прекрасный спортсмен С. И. Уточкин, однажды признался мне под веселую руку в том, что он перепробовал все роды спорта, вплоть до бокса (в Париже), но что он искусства бокса не мог одолеть. – Первые три минуты ты дерешься со злобой... Минута отдыха... Вторая схватка... Это уже нелепая драка, от которой нас очень часто разбороняют, а затем чувствуешь себя как в обмороке... Боли совсем не ощущаешь; остается только лишь инстинктивное желание: упавши на пол, встать раньше истечения трех минут или одиннадцати секунд. Вы сами знаете, друг мой, что я средней руки велосипедист, мотоциклист и автомобилист. Я недурно гребу, плаваю и владею парусом. Я летал на воздушных шарах и аэропланах. Но пе-пе-редставьте с-с-себе, этого с-спор-та я никогда не мог о-д-д-олеть!

Но раз если Петя чего-нибудь захотел, все должно быть исполнено. Ни ужас его матери, ни мои предостережения (со слов С. И. Уточкина), ни пример страшного и жестокого поражения Карпантье не остановили капризника.

Были куплены костюмы, перчатки и мяч для боксовой тренировки, был сейчас же подыскан тренер – Мариус Галл (чемпион юга Франции) первым делом велел убрать тренировочный мяч (с потолка четыре резиновые струны и с полу четыре, сходятся они, как к центру, к большому очень твердому мячу, который служит боксеру вроде воображаемого противника) и сказал с великолепным презрением:

*Bagatelle... C'est pour votre Djefferis... imbecile...! en garde!..*⁴⁵

Галл был веса «plume» (перо), стало быть, приблизительно пудов около трех с половиной. Хитрый и бедный француз перед состязанием нашел себе прекрасного противника. Он все время кричал: «Tapez moi, monsieur, mais tapez donc, mais je vous prie, tapez!»⁴⁶ У Мариуса был простой расчет – приучить свое лицо к ударам. И он щадил бедного Петю, предоставляя ему бить себя. Конечно, вечное любопытство – увы! – увлекло меня попробовать этот спорт. Мы с Галлом протянули друг другу руки, но, как всегда у профессионалов спорта, рука его была вялая, холодна и мокрая. Затем мы надели перчатки, чтоб друг друга не оцарапать. И я не успел еще опомниться, как уже лежал на полу. Спокойно улыбаясь, Галл говорил мне: – Теперь ваша очередь, monsieur.

Я был в то время тяжелее его на два пуда двадцать фунтов, и несомненно, что, если бы мне удалось попасть ему в грудь или в лицо, я его опрокинул бы. Но, к сожалению, мне это не удалось. Мои удары падали в воздух. Через три минуты он загнал меня в угол, и только Петя, следивший по часам за схваткой, остановил боксера вовремя.

Вторая схватка окончилась также неблагоприятно для меня. Я не успел защититься, а Галл ударил меня в нижнюю челюсть, отчего у меня позеленело в глазах. Я признал себя побежденным и, в знак благодарности за науку, массировал его. Прекрасное, крепко сбитое тело, все в синяках, кровоподтеках, почти без тех выпуклых мускулов, какие мы видим в цирке у клоунов, жонглеров и прыгунов, но ровное и твердое, как у всех борцов и боксеров. Через несколько дней после этого моего несчастного приключения Мариус Галл прислал мне билет в кафешантан, где должен был произойти матч между ним и легковесным чемпионом Парижа, фамилию которого я

⁴⁵ Пустяки... Это для вашего Джеффри... дурака!.. Защищайтесь!.. (фр.)

⁴⁶ Бейте меня, сударь, бейте же, я вас прошу, бейте! (Перевод с фр. А. И. Куприна.)

забыл.

Я ни на секунду не сомневался, что победителем должен быть Галл. И конечно, ошибся. На одиннадцатом кругу (round) Галл получил два удара: один в переносицу, а другой в сердце. Он брякнулся на пол и встать уже более не мог. Он царапал ногтями пол, подобно раненой кошке или червяку, раздавленному телегой. Парижанин ждал момента, когда Галл поднимется на ноги (ибо лежачего не бьют). Прошло не одиннадцать, а десять секунд, которые отмечали на секундомерах арбитры. И вот Мариус Галл очнулся, точно от обморока (я думаю, что он отдыхал лежа), вскочил на ноги и ударил своего противника в рот. А тот спокойно выплюнул кровь и рассмеялся широкой беззубой улыбкой. Какая великолепная тренировка и какое презрение к боли и опасности! В следующей, и последней, схватке Галл понял, что его дело проиграно. Он просто отказался от состязания и ушел в свою уборную. Конечно, я побежал за ним следом (я думал, что он струсил) и, вытирая ему грудь и спину мохнатым полотенцем, спросил его как будто мимоходом:

– Почему вы позволили ему победить себя?

– А, черт! Во всем всегда виновата женщина.

– Женщина? Я ее не видел...

– Напрасно. Она очень эффектна... Она сидела, считая от публики, в первом ряду налево, у барьера. *C'est une garce...*⁴⁷ В черном шелковом платье... Ей, мерзавке, сорок четыре года... Ах да! Вы, впрочем, ее знаете... Можете себе представить, я провел у нее целую ночь. Я ее умолял, чтобы она не тащила за мною на матч, но она все-таки приехала, кричала, махала руками и все время волновала меня. Подумайте, *monsieur*, разве можно состязаться с серьезным противником, проведя всю ночь без сна и в любви. Вы слышали запах валерьяновых капель?

– Да, и эфира.

– Вы очень верно угадали, *monsieur*. Она эфироманка. Меня все время накачивали эфиром. Она, старая дура, хотела видеть меня победителем, меня, своего случайного любовника, черт бы ее побрал! Представьте себе, я не сумел защититься правой рукой от удара в сердце, что позорно даже для каждого новичка!

Конечно, драка – отвратительное зрелище. Но зато я видел, как парижанин зашел к Мариусу в уборную. У парижанина был огромный синячище под левым глазом, а у Мариуса вывихнута левая рука.

Оба врага расцеловались и, мне кажется, простились без всякой злобы друг на друга.

...А разве лучше дуэль?..

Через несколько дней мой друг, Мариус Галл, скромно разносил мясо, зелень и рыбу клиентам лавочки, в которой он и до сих пор служил (*rue Philippe*⁴⁸). Петя навсегда отказался, к громадному удовольствию обожающей его матери, от тяжелого ремесла боксера и скромно шелкает кодаком купающихся дам. Я же с той поры чувствую омерзение к боксерскому спорту...

Ужаснее всего, однако, то, что именно я и Петя представили Галла этой роковой даме. Она русская, с громким и некогда славным именем... Но разве мы знали!..

Глава XII. Средиземная забастовка

Всем памятна прошлогодняя забастовка моряков Средиземного моря – «Великая средиземная забастовка», как ее называли тогда. По правде сказать, она была совершенно достойна такого почетного названия, потому что была проведена и выдержана с необыкновенной настойчивостью и самоотверженностью. Люди упорно не останавливались ни перед голодом, ни даже перед смертью ради общих интересов.

Совершенно случайно, благодаря забастовке, я совершил невольное путешествие по таким городам, в которые никогда не рассчитывал попасть. Как раз в ту пору один знаменитый русский писатель, которому я навсегда останусь признателен за все, что он для меня сделал, и – главное –

⁴⁷ Вот это девка... (фр.).

⁴⁸ Улица Филиппа (фр.).

светлую и чистую душу которого я глубоко чту, написал мне любезное письмо в Ниццу, приглашая погостить у него несколько дней на самом юге Италии, на островке, где он проживает вот уже несколько лет. Это приглашение радостно взволновало меня. Я тотчас же собрался в дорогу. Со мной поехал мой приятель, русский – парень хотя и немного вздорный, вспыльчивый и шумливый, но прекрасный дорожный товарищ – «килькардаш», как говорят татары. На другой же день мы были в маленьком южном порту, неподалеку от Ниццы, и сейчас же отправились на пристань. Но тут нам, к нашему огорчению и замешательству, сказали, что забастовка охватила уже все порты и гавани Средиземного моря. Громадное общественное волнение вовлекло в себя команды всех грузовых и пассажирских пароходов, и на скорое прекращение его нет никакой надежды. Возвращаться назад не хотелось, а еще меньше хотелось ехать по железной дороге, да еще по итальянской. Передвижение по узкоколейным дорогам, да еще в страшную жару, сквозь бесчисленные туннели – истинное мучение для меня. В любую погоду меня не укачивает ни в лодке, ни на пароходе, но проезд в поезде в продолжение даже получаса, от Ниццы до Монте-Карло, совершенно разбивает меня и превращает в труп.

– А вы вот что попробуйте, – посоветовал нам очень милый и предупредительный конторщик пакгауза, – сегодня отправляется последний пароход в Геную. Вся команда его – исключительно генуэзцы. Они тоже примкнули к забастовке, но так как в чужом городе им было бы гораздо труднее и неудобнее проводить в героическом бездействии эти тяжелые недели, а может быть, даже месяцы, то забастовочный комитет охотно разрешил им вернуться на родину. Попробуйте дойти с ними до Генуи, а там, быть может, вы найдете какое-нибудь парусное судно, которое захватит вас с собою и дотащит до Неаполя. Правда, это составит два, три дня лишних...

Два, три дня лишних – это вовсе не много, а плавание на большом парусном судне – наиболее живая, прекрасная и здоровая вещь, какую я только знаю. Итак, мы взяли билеты на пароход, набитый пассажирами, как нераскупоренная коробка сардинами, и с чувством неизвестности будущего в душе тронулись в путь.

Путь этот вдоль южных берегов, над которыми мягко синеют горы, пестреют то зеленые платановые рощи, то шелковисто-серебристые оливковые сады, то деревушки, спрятавшиеся в темной курчавой зелени, то развалины древних замков... этот путь очарователен.

Вверху ласковое южное небо, внизу желтый и красный оскол берега, омываемого белыми пенными грядами, густо-синее море вдаль, а под пароходом вода иногда светло-бирюзовая, иногда нежно-аквамариновая и такая прозрачная, что, кажется, различаешь дно и каждую рыбку. Лазурных берегов никогда не забудешь, как прелестную сказку.

Но зато и грязны же генуэзские пароходы! В этом смысле, кажется, нет им равных во всем мире. Вдобавок кушанье отвратительно готовят на неизбежном деревянном масле, запах которого распространяется по всему пароходу от кухни до машинного отделения и пассажирских кают, достигает до палубы и даже до капитанского мостика.

В Генуе нам ничего не сказали утешительного. «На Неаполь нет и долго не будет ни одного парохода или парусного судна». И вот мы решили предать себя воле божией и отправились в гостиницу, сняв по дороге почтительно шляпы перед величественной и правда чудесной статуей молодого Колумба. Гостиница нам попалась старинная, о пяти этажах, с узкими, мрачными, темными лестницами и с поразительно грязными комнатами. Из нашего окна был очень живописный вид на большую базарную площадь.

Так как мы приехали очень рано, то застали базар в полном разгаре. Надо сказать, что эти бесчисленные кучи зелени, плодов и фруктов, лангуст, рыбы, мяса и цветов, этот оживленный, подчас неистовый торг между мужчинами и женщинами, это врожденное, даже во время ссоры, изящество движений, эта стройность фигур и яркая красота лиц – очень живописны. Я долго любовался на эту картину. Но настало двенадцать часов, и на базаре появились два полицейских, в черных сюртуках, доходящих до пят, почти без талии, с черными цилиндрами на головах, в белых перчатках и с тростями в руках. Не то альгвазилы из какой-то старой оперетки, не то наемные члены похоронной процессии. Они медленно прошли вдоль базара, и тотчас же торг был окончен. Припасы были уложены в корзины, прилавки были убраны, обрезки зелени, рыбная чешуя, увядшие цветы исчезли, точно по волшебству. На площадь была пущена вода, смывшая последний сор, и базар сейчас же опустел. Долго еще оставался на месте один разносчик со своим ослом, впряженным в маленькую тележку. Между животным и его хозяином произошла какая-то ожесточенная ссора, и никто из них не хотел уступить друг другу. Осел кричал на всю

Геную самым раздирающим душу голосом, а хозяин старался перекричать его и при этом сыпал, должно быть, самыми отборными ругательствами и богохульными словами. Хозяин бил мула по голове, по шее и по бокам, а осел старался то ударить его передней ногой, то лягнуть задней. Наконец зеленщик уступил первый. Он сразу перешел к нежному тону и стал говорить ослу какие-то убедительно-разумные, ласковые слова. Наконец и они покинули площадь.

Глава XIII. Виареджио

Как известно, в Генуе существуют только две достопримечательности: статуя Колумба и знаменитое кладбище Campo-Sante. Но великого путешественника мы уже имели честь созерцать, а посещать места вечного упокоения мирских человек – слуга покорный – я никогда не был большим охотником. К счастью, я вспомнил, что совсем неподалеку от Генуи есть небольшое местечко, не то деревня, не то крошечный городишко, Виареджио. Оттуда родом один мой близкий приятель, цирковой артист, и там живут в своем небольшом домике его престарелые родители, которым он посылает большую часть денег, заработанных своим каторжным трудом. Каждый раз, при наших встречах, этот милый, сильный, ловкий человек звал меня к себе в Виареджио.

– Этим летом я нигде не буду работать, – говорил он мне убедительно, – я хотел отдохнуть. Prego, signore Alessandro!⁴⁹ Пойдем вместе на Виареджио. Там прекрасный пляж, на самом пляже один очень хороший ресторан, кругом очень деревья – все пинии, *très beaucoup*⁵⁰ пиний... о! какой аромат!, и там самый лучший кианти во всей Италии. Мой мама и мой папа будут вам очень рады. Мы отдохнем, покупаемся и попьем вместе кианти.

Это была счастливая мысль! Я знал, что мой друг теперь дома, что он с удовольствием примет меня и что мы проведем пять-шесть приятных часов. Ведь известно, как тяжело и скучно затеряться двум иностранцам в совершенно незнакомом городе, не владея языком, не зная обычаев... И вот поезд через четыре часа доставил нас в Виареджио.

Маленький, очень скромный городишко, широкие улицы, белые дома, скудная, чахлая зелень из-за каменных оград, жарыща, ослепительный свет, белизна и невозмутимо сонное спокойствие. Нет! Положительно, я видал подобные заборы, дома и улицы где-то, не то в Рязани, не то в Ярославле, не то в Мелитополе, в жаркие, июльские, безлюдные дни.

Точного адреса моего приятеля я не знал. Маяком нам должен был служить «Ресторан под пиниями», и мы нашли его, хотя долго нам пришлось для этого расспрашивать прохожих, безбожно коверкая все европейские языки и прибегая к самым невероятным жестам.

Уголок этот красив. По своему расположению и по качествам он представляет из себя едва ли не лучшее купанье на всех лазурных берегах: дно – мягкий гравий, который нежно и упруго подается под ногой; вода чиста, прозрачна и спокойна, и почва опускается вниз с плавной постепенностью. С севера море защищено густой растительностью, с востока – горами.

Мы с наслаждением искупались и, освеженные, повеселевшие, пошли в ресторан. Нам не зачем было больше расспрашивать: он был, не считая купальных кабинок, единственным зданием среди тенистой, благовонной, прекрасной хвойной рощи. Нам дали прекрасную вареную рыбу, креветки, равиоли и красное вино. Прислуживал нам молодой официант, красивый, как Ганимед, довольно неряшливо одетый, фамильярный и болтливый, как все итальянцы. Но он не мог нам дать никаких удовлетворительных сведений, да вдобавок и я сам хорошо знал только цирковой псевдоним моего друга, а фамилию забыл.

– Беррини, Феррини, Меррини... – наводил я итальянца, но он только недоумевающе раскрывал глаза, разводил руками и хлопал себя по бедрам:

– No, signore, non capisco...⁵¹

Тогда я, наконец, вспомнил, что отец моего артиста был раньше жокеем, но очень давно, а с тех пор, как сломал себе ногу, служит младшим тренером на каком-то конском заводе. Но от-

⁴⁹ Прошу вас, синьор Александр! (ит.)

⁵⁰ Очень много (фр.).

⁵¹ Нет, сударь, не понимаю... (ит.).

куда мне набраться таких тяжелых и редко встречающихся слов, чтобы выразить эти понятия по-итальянски: завод, скачки, сломанная нога и так далее? Я сел на стул верхом, пробовал принять жокейскую посадку, левой рукой держал воображаемые поводья, а правой стегал воображаемым хлыстом лошадь... Итальянец склонял голову набок, разжимал пальцы опущенных рук и отрицательно качал головой:

– Non capisco.

Наконец он убежал от нас и через три минуты вернулся с другим официантом. Дело от этого только испортилось: мы совсем перестали понимать друг друга. Второй камерере побежал за самым старшим официантом, большим, толстым, румяным усачом, который с не меньшей готовностью вызвался помочь нам и правда кое-что изобрел. Он понял из моих объяснений несколько слов (он немного понимал по-французски, правда, не больше моего) и сразу развеселился: хлопнул себя ладонью по лбу, потом потрепал меня по плечу и сказал: «Пойдем, signore, пойдемте. Цирк от нас недалеко, и я ничем не занят. Я вас провожу». Оказалось, что и двое других лакеев тоже ничем не были заняты, и вот мы впятером идем вверх по горячей, ослепительно белой улице, находим обычную кафешантанную арку с какой-то надписью (что-то вроде «Apollo», «Olimpio» или «Chateau des Roses»⁵²), входим в маленький сад с обычными рядами столиков и видим небольшую сцену с опущенным дырявым, полинялым занавесом. Мы свободно, с той милой бесцеремонностью, которую так часто можно наблюдать в Италии, проходим за кулисы, на сцену. Там занимается упражнениями группа акробатов: толстый пожилой мужчина, женщина лет тридцати – тридцати пяти и две девушки-подростка. Упражнения их заключаются в том, что они жонглируют деревянными предметами в форме бутылки, величиною с обыкновенную кеглю, но немного толще к основанию. Работают они одновременно вчетвером, с необыкновенной ловкостью перебрасывая друг другу параллельно и накрест эти довольно тяжелые предметы. Потом – момент, и все эти деревянные бутылки, одна за другой, выстраиваются в прямую вертикальную линию на затылке старшего акробата. Наше вторжение прерывает их работу. Хозяин труппы, в своей обычной серой цирковой фуфайке, подходит к нам и спрашивает, чем он может нам служить. Сначала мне кажется, что он немец. Я пробую заговаривать с ним по-немецки, как умею. Он отвечает очень свободно, но я ничего не понимаю. Тогда я вспоминаю, что все цирковые люди говорят на всех языках, и так как мне легче всего говорить по-французски, то мы все-таки начинаем понимать друг друга.

Но как только мы в достаточной мере объяснились, то я сразу вижу, что мой новый знакомый уже плетет сеть интриги. «Кто знает, – думает он, – может быть, со мной говорит директор цирка или его уполномоченный, который разыскивает артистов для нового предприятия?» И он начинает уверять меня, что о таком артисте, который мне нужен, он никогда не слыхал и никогда его не видал. Это уже звучит неправдой, потому что международная семья клоунов, жонглеров, эквилибров, каучуков, жокеев знает друг друга прекрасно по псевдонимам и по биографиям. Когда я выразил сожаление, что помешал репетиции, он искательно предложил мне досмотреть их номер, подобный которому я вряд ли увижу где-нибудь в мире. Этот номер – его специальность, лично им изобретенный. В Берлине и Париже он производил громадное впечатление и собирал тысячную публику. Не угодно ли синьору поглядеть газетные рецензии? Словом, мы прощаемся с артистами и уходим в сад. Но тут один из официантов «Ресторана под пиниями» вдруг вспоминает:

– Синьор, знаете ли вы, что здесь самое превосходное пиво, а теперь так жарко? Не освежиться ли нам?

Мы садимся за столик и освежаемся в продолжение получаса. За это время два лакея из этой самой Альгамбры уже посвящены в наше недоразумение и принимают в нас горячее участие со свойственной пылким итальянцам горячностью. Они строят разные предположения, дают советы, и, наконец, мы отправляемся из Альгамбры уже не впятером, а целым небольшим отрядом отыскивать моего друга.

– Force misère!⁵³ – говорит один из Альгамбры, бритый и затасканный, с бачками на щеках,

⁵² «Замок роз» (фр.).

⁵³ Проклятая свинья! (ит.)

как у испанского тореадора, и вообще похожий на испанца. – Пусть меня разразят все громы небесные, если я не знаю, где найти верный адрес вашего друга! Вторая улица налево и потом направо не более пятидесяти метров: там есть кафе, где всегда собираются артисты, певцы и клоуны, – нечто вроде маленькой биржи. Хозяин – очень обязательный и предупредительный человек. Он, наверное, укажет вам не только адрес вашего приятеля, но также страну и город, где он может быть в настоящую минуту. Это прекрасная траттория. В ней прохладно в самый жаркий день, и, кроме того, там божественное кианти.

Мы идем, обливаясь потом, куда-то на самый край города и попадаем в низкий, правда, очень прохладный погребок, с древних каменных стен которого каплет на нас сырость. Хозяин, толстый, лысый, добродушный человек, без пиджака, но в белом переднике, присаживается за стол, предупредительно вытирает рукой горлышко бутылки, и все мои неожиданные друзья – итальянцы начинают одновременно болтать, как стая сорок в весенний день. К нам присоединяются три-четыре добровольца, бог знает откуда взявшиеся. Они принимают в нас такое горячее участие, как будто дело идет об их утонувшем или убившем кого-нибудь родственнике. Такая оживленная жестикуляция, такой блеск глаз и такая страстность в общем крике, что я начинаю опасаться, не дойдет ли дело до ножей. Наконец властное слово хозяина решает нашу судьбу:

– Остается только одно. Пускай господа идут в полицию и справятся там. Иного я не могу ничего посоветовать.

И вот мы опять тащимся бог знает куда, на прежний край города, почти к тем же пиниям. К нам присоединяются любопытные. На нас указывают пальцами. О нас спрашивают, не стесняясь: «Где вы их поймали?» Мы уже начинаем чувствовать себя если не анархистами, то, по крайней мере, известными убийцами или международными ворами. Огромной толпой вламываемся мы в полицейский комиссариат по заплечной, вонючей лестнице и вторгаемся в канцелярию начальника.

Этот человек оказывается родом из Венеции, рыжеватый, на редкость спокойный человек. Он терпеливо расспрашивает нас о нашем друге, помогая нам внимательными, наводящими вопросами. Стараясь как возможно яснее описать биографию, происхождение и деятельность моего друга, я чувствую, что путь проясняется. Начинаем перебирать все итальянские фамилии, кончающиеся на «ини», но найти настоящую не можем. Тогда любезный полицейский достает из ящика письменного стола толстую связку бумаг, начинает перелистывать их одну за другою, наконец останавливается на одной, к которой проволокой прищиплена толстая пачка итальянских бумажных денежек.

– Может быть, Чирени? – спрашивает он. Я радостно подтверждаю:

– Конечно, конечно, Чирени, господин начальник! Это он самый, но я никак не мог вспомнить такую простую фамилию.

– Зачем вам нужны его деньги? – вдруг строго спрашивает меня полицейский.

– Конечно, ни за чем!

И я начинаю ему рассказывать всю историю нашего знакомства с тем человеком, которого я разыскиваю, знакомства, начавшегося в Одессе, продолжавшегося в Киеве и в Петербурге, затем о его приглашении быть у него, о средиземной забастовке, которая нас застигла так неожиданно, и так далее. Должно быть, я говорю убедительно, а толпа, стоящая вокруг, с уверенностью подтверждает каждое мое слово. У них у всех такой вид и тон, будто они коротко знают меня с детства.

– Для вашего друга, – говорит начальник, – на днях пришли деньги откуда-то из России. Варварское название города, – я никак не могу выговорить при всем моем желании: Теракенти, Текшенти, Force Madonna! В настоящее время нет здесь ни его самого, ни его отца, ни матери. Старики уехали куда-то на юг... Чуть ли не в Гаргано. Вот все, к сожалению, что я вам могу сообщить. А что касается вашего затруднения из-за забастовки, то могу вам дать один совет: мой двоюродный брат на днях мне телеграфировал, что завтра из Ливорно отходит пароход на Корсику, в Бастиа, в восемнадцать часов (итальянский счет ведется от полуночи до следующей полуночи – в двадцать четыре часа). В Корсике вы, наверное, найдете пароход на Марсель, а от Марселя до Ниццы – это пустяки. Конечно, если вы не предпочтете железную дорогу...

Мы бы теперь, конечно, предпочли железную дорогу, но уже одно слово «Корсика» вдруг волшебным образом расшевелило наше воображение своим необыкновенным именем.

– Корсика? – спросил я приятеля.

– Корсика! – ответил он.

Мы поблагодарили полицейского, расстались с ним друзьями на всю жизнь и вышли на улицу, сопровождаемые громадной свитой. Здесь, на тротуаре, старший официант «Ресторана под пиниями» дружелюбно обнял меня и сказал:

– Господа! Вы нам очень понравились, и к тому же вы – русские, которых мы так любим. Итальянцы любят свободу, и русские любят свободу (надо сказать, что все мы были уже достаточно красные от жары и от вина), – поэтому, знаете, пойдете напротив: здесь есть маленький кабачок, где подают прекрасную салями и делают ризотто с куриными печенками, как нигде в Италии и, значит, во всем мире. Andiamo!⁵⁴

Что делать? Нужно было закончить круг впечатлений, и мы всей гурьбой внедрились в мрачный, темный кабачок, с длинными, липкими от вина и еды столами, с двумя замызганными бильярдами посреди комнаты. Пили какое-то кислое вино, если ослиную колбасу и ризотто, клялись друг другу в вечной дружбе, звали итальянцев в Россию, а они нас просили навсегда остаться в Виареджио. Когда мы хотели платить, эти экспансивные, страстные люди сначала гордо отказались, сказав, что мы их гости, но очень легко позволили нам сделать это. Наконец мы вручили нашу судьбу извозчику, который тут же сидел и бражничал с нами и который нас довез до станции. Друзья-итальянцы долго посылали нам вслед прощальные жесты и воздушные поцелуи. И в самом деле, какую ложь наплели бедекеры об итальянцах, будто бы они корыстны, попрошайки и обманщики! Что за милые, простые, услужливые и гостеприимные люди!

Мы переночевали в Ливорно, а на другой день вечером уже плыли в Корсику.

Глава XIV. Бастиа

Этот небольшой, полусуточный переход был очень тяжел. На закате поднялся ветер, а к ночи перешел в настоящую бурю. Всех пассажиров, – впрочем, их было немного, – очень скоро укачало. В курительной комнате остались только двое: я и какой-то светловолосый, светлоглазый, белоресничный англичанин. Я посасывал лимон, а он с невозмутимым спокойствием пил стакан за стаканом шотландскую виски, едва разбавленную для приличия содовой водой. Так как время было очень тоскливое, а ночь темная, грозная и душная, то мы были оба в приподнятом настроении и старались развлекать друг друга. Какая-то животная тревога, ощущаемая в жаркие бури всеми людьми, даже людьми с очень крепкими нервами, даже животными, сблизила нас. Я рассказывал ему анекдоты из русской жизни, а он вспоминал что-то о доброй старой Англии; впрочем, может быть, он говорил о лошадином спорте или о покойном Дизраэли, – словом, мы не поняли из того, что говорили друг другу, ни одного слова и расстались на рассвете, когда море уже утихло, совершенными друзьями. В каюту я добрался неисповедимыми путями: скатился по трапу, как на салазках, стучался головой о какие-то медные поручни и все время попадал в чужие помещения. Найдя, наконец, свою каюту, я сначала, потеряв равновесие, боднул своего товарища головой, с трудом взобрался на койку и заснул как мертвый. Нет слаще сна, чем на море в какую бы то ни было погоду. Волны тяжело плескались о борт, и часто из открытого круглого иллюминатора мелкие соленые брызги обдавали мне лицо. Это прикосновение равномерно бушующей влаги приятно, как поглаживание материнской руки в детстве перед сном.

Утром товарищ насилу-насилу стащил меня за ногу с моей верхней койки.

– Вставайте: видна Корсика. Довольно валяться. Идемте на палубу пить кофе.

Я наскоро умылся, и мы пошли наверх. Море было спокойно, ласково и вкрадчиво, точно ребенок, который вчера нашалил, а сегодня нежностью и послушанием старается загладить свою вину. По его светло-голубому шелку лишь кое-где впереди парохода свертывались ленивые коричневые морщинки. Воздух был свеж, ароматен, прян и радостен. Дельфины кувыркались около бортов, а вдали, как чудесное видение, возвышались горы, одни – темные, почти черные, другие – густо-синие и фиолетовые, а дальше голубые и, наконец, светлые, точно облака, точно воздушные, легкие привидения. Внизу, под нами, на пароходном носу, возились над судовыми канатами, перебирая их, коренастый, широкоплечий боцман и четверо мальчиков. Они готовили все необходимое для причала к пристани. Боцман покрикивал довольно резко и внуши-

⁵⁴ Пойдем! (ит.)

тельно на своих помощников. Да, может быть, так и нужно было. Все они несут очень тяжелую работу и, конечно, не выспались, потому что на таких судах, ходящих на маленьких расстояниях, команда полагается самая ограниченная. Необходимо было подбодрять людей словом, жестом, движением. Я видел, как боцман, рассердившись, вдруг ударил концом каната по спине старшего юнга, мальчишку-корсиканца лет семнадцати. Юноша вдруг повернул к нему свое бронзовое от загара лицо и бросил на него пламенный взгляд, и ах как прекрасно было в этот момент лицо: сдвинутые темные энергичные брови, расширенные, мгновенно покрасневшие от гнева глаза, раздутые ноздри, сжатые челюсти и какой гордый поворот головы! Да, хорошо было старинным мастерам создавать свои художественные произведения, когда у них на каждом шагу, по сотне раз в день, попадались такие модели. Это не то что идет по грязи священник в траурной ризе, а сзади мужик тащит под мышкой гробик, и следом за ним плетется старуха, а дальше дьячок с кадиллом и с подвязанной красным платком щекой, – и все они утопают по колена в грязи.

Однако чем ближе мы подходили к Корсике и чем яснее нам становились видны очертания города и отдельные домишки наверху, в горах, тем боцман делался уступчивее и мягче. Когда мы входили в гавань, то он как будто даже начал ухаживать за своей «мошкаррой». Мальчишки довольно долго дулись и не сдавались на ласку, но когда он освободил их от работы, послал вниз в каюты переодеться во все чистое и сам лично внимательно произвел им смотр, то мальчишеские сердца не выдержали, и улыбки заиграли на примиренных лицах. И я подумал: «А ведь, черт возьми! Может быть, в море не то что необходимы, а, пожалуй, возможны такие отношения». И в самом деле, не говорить же ему: «Господин юнга, не возьмете ли вы на себя труд влезть вот на эту толстую палку вот по этой веревочной лесенке, а там – вы мне сделаете большое одолжение и честь – упереться ногами вон в ту поперечную тонкую палочку и потянуть правой рукой за эту, вон видите, тонкую веревочку».

На берегу они все простились очень дружелюбно, и большие и маленькие, крепким рукопожатием. Впрочем, боцман пробурчал несколько очень многозначительных слов, вероятно, нечто вроде отеческого наставления. Я не знаю корсиканского языка, да и не уверен, знает ли его кто-нибудь на свете, но, по-моему, напутственные слова боцмана были таковы: «Вот что, дети: не смейте играть в карты, не заводите драк – вы знаете: капитан этого не любит. Не шляйтесь по улицам ночью: родители и так беспокоятся о вас, когда вы в плавании. Не забудьте зайти в церковь поблагодарить пресвятую деву за счастливое возвращение».

Бастиа – пресмешной город. Вот его план: посередине широкая длинная улица, которая одним концом упирается в море, а другим – в пустынную песчаную гору; направо – набережная, эспланада для гулянья и гавань; налево – ряд темных узеньких, слепых и глухих улиц, над которыми громоздятся мохнатые, курчавые, дикие горы. Жизнь здесь тихая, сонная и как-то томно-однообразная. В платьях у мужчин преобладают темные тона; большинство женщин в черном. И те и другие невысоки ростом и очень красивы; женщины прямо прелестны: маленькие, с крошечными руками и ногами, со строгим выражением смугло-янтарных лиц, с длинными ресницами. В походке корсиканца наблюдается какая-то уверенная, строгая медлительность. И на улице и в церкви мужчины занимают одну половину, женщины – другую. Странно, может быть, это мое воображение, а может быть, и на самом деле так: в большинстве молодых мужских лиц есть какие-то неуловимые черты, дающие сходство с Наполеоном, и даже любимая поза – это руки, скрещенные на груди, и немного опущенная вниз голова, словом, классическая, традиционная наполеоновская поза, хотя, впрочем, почем знать, может быть, в Корсике давным-давно наивно сложился бессознательный культ этого бессмертного гениального пирата, который является, кажется, единственной достопримечательностью этой своеобразной и дикой страны. Впрочем, надо сказать, что мраморный памятник Наполеону I, воздвигнутый на эспланаде, совсем плох, если даже не смешон: император сделан приблизительно в два человеческих роста, голова его, в лавровом венке с профилем Аполлона, обращена глазами к морю, задом к городу; тело его облечено длинной, развевающейся римской тогой; голые ноги – в сандалиях; простертая правая голая рука указывает вперед; левая сжимает какой-то цилиндрический свиток. Станный город, – когда-то бывший столицей Корсики, гнездом средиземных пиратов, грабивших и торговавших по всему Лигурийскому и Тирренскому морю, – он теперь впал в какую-то светлую, тихую дрему, точно дворец спящей царевны из русской сказки. Так и хочется невольно подумать о том, что Наполеон – это удивительнейшее явление во всей мировой истории – взял и впитал в свою ненасытную душу все соки, всю энергию страны.

Гостиница, в которой мы живем, перестроена из старого-престарого дома. Верхние шесть этажей – узкие переходы, винтовые каменные лестницы, окна в виде крепостных бойниц, а нижний этаж – шикарный обеденный зал и великолепная европейская передняя. Мы пробовали там завтракать и обедать. Прекрасное столовое белье, умелая и дорогая сервировка, цветы на столах, в хрустальных вазочках, а за столами какие-то мрачные, суровые загорелые брютеты, все сплошь могучего, квадратного сложения, с черными прямыми густыми бородами, сидят сосредоточенно-молча и жуют. Все это окрестные помещики, которые торгуют овцами, оливками и лесом и спускаются вниз из своих горных поместий, вероятно, не более чем раза два в год. Все очень дорого одеты, на руках много колец с драгоценными камнями, массивные золотые цепочки через всю грудь, пылающие красные галстуки, необычайно тугие воротнички... но чувствуется, что все это великолепие стесняет, подавляет их и делает в то же время торжественными. Обед тянется мучительно долго, и хоть бы обрывок смеха, хоть бы улыбка или восклицание!

Через два дня это общество показалось нам скучным, и мы стали подыскивать себе другое помещение для обедов и, к счастью, очень скоро нашли его. Где-то на задворках Бастии, между кузницами, лавочками для продажи овса и отрубей и въезжими дворами, где можно, как сказано на вывеске, ставить, а также продавать и покупать лошадей и мулов, приютилось милое и простое заведение, которое никак не возможно определить одним словом: это одновременно табачная и галантерейная лавочка, и дешевая столовая, и винный погреб. Двери широко раскрыты настежь. Низкое, обширное, темное помещение с широкими арочными сводами и колоннами, которым, вероятно, не менее тысячи лет; вдоль стен длинные, не сокрушимые временем дубовые столы и скамейки; в темной глубине помещения сотни наставленных одна на другую бочек; крепкий, старинный, кислый и приятный запах вина; несколько десятков оловянных кружек на прилавке – вот и все. Хозяин – глухой, добродушный и крепкий старик, когда-то служивший во французских зуавах. Жена – старше его лет на десять, – кроткая, ласковая со всеми, молчаливая старуха. Заходишь к ним в жаркий день, когда некуда деваться от солнца, и сразу попадаешь в сырую, насыщенную винным запахом прохладу.

Так мы и сделали. Зашли, попросили дать нам вина и договорились в двух словах. Кричали мы при этом втроем, как на пожаре, но договорились очень быстро: с каждого из нас по два франка за завтрак и по два франка за обед, – итого восемь франков, на наши деньги три рубля, – дешевле, чем в студенческой столовой. Мы заикнулись было насчет обеденной карточки, но хозяин пренебрежительно махнул рукой.

– Какие пустяки! – сказал он. – Вы вечером заказываете, что вам приготовить к завтраку, а за завтраком вы закажете себе обед.

– Что, например, хозяин?

– А все, что хотите, – отвечал он с гордостью, – мясо, рыбу, зелень, фрукты; это ваше дело. Вино и баранину мне привозят с гор, с моей фермы. Рыбу каждое утро жена может брать на базаре. Как десерт я могу предложить миндальные орехи, апельсины и виноград. Я думаю, что мы останемся друг другом довольны.

И правда, надо сказать, что более внимательного, предупредительного и нестеснительного хозяина я никогда не видал в моей жизни. Но было плохо только одно. Когда в первый же завтрак мы спросили себе бутылку белого вина и потом, расплачиваясь, хотели уплатить и за нее, то хозяин возразил очень настойчиво и гордо:

– О нет, господа, у нас не принято, чтобы платили за вино; это для нас обида. Это вино из моего виноградника! С гор!

Каждый раз к нашему столу подавалась бутылка этого белого вина, немного мутного, чуть-чуть сладковатого, но необыкновенно ароматного и приятного на вкус. Пить оно давалось страшно легко, а так как в это время стояла очень жаркая погода, то мы на него набрасывались с большой охотой. Но едва только бутылка подходила к концу, как к нам откуда-то из-за угла таинственно подкрадывались хозяин, или хозяйка, или одна из двух его дочерей, чья-то рука убирала пустую бутылку и ставила новую. Это же повторялось и за обедом. Но так как это прелестное по своим качествам и сначала как будто бы скромное вино обладало коварным свойством очень быстро, но в то же время очень легко и весело пьянить, то мы целые дни бродили по Корсике в каком-то розовом тумане, веселые, ленивые, чуть-чуть сонные.

День начинался с того, что мы приходили на пристань и спрашивались, нет ли парохода в Неаполь, или в Ниццу, или, по крайней мере, в Марсель. Нам неизбежно отвечали: «Нет, и никто

не знает, когда будет».

Тогда мы часами сидели на набережной и глядели на мальчишек, которые забрасывали с берега в море рыбные самоловы. И мальчишки и мы замирали на солнце, подобно каменным изваяниям, на час или на два. Хоть бы раз кто-нибудь из них поймал при нас на смех маленькую рыбешку!

Потом шли завтракать, после чего спускались к морю, в старый город. У нас там завелся приятель, торговавший лимонадом и папиросами, старик восьмидесяти четырех лет, с трясущейся головой, седыми бакенбардами и пробритым подбородком посредине. Он был когда-то под Севастополем в армии союзников и потому к нам, русским, чувствовал настоящую живую симпатию. Однако выдавить что-нибудь интересное из его памяти нам никогда не удавалось. Торговал он и жил в очень интересном доме, над воротами которого была надпись: 1432, и самый дом был о семи этажах.

Такие дома о семи, восьми и даже девяти этажах лепятся вдоль набережной, непрерывно связываясь друг с другом, и лезут вверх, в горы, оставляя лишь узкие промежутки, не то улицы, не то щели, по которым едва-едва можно пройти четверем человекам, взявшись рука об руку. Кое-где между домами переброшены воздушные мостики, но чаще протянуты веревки, на которых болтается с непринужденной откровенностью всякое мужское и женское белье. Наш старик очень ясно растолковал нам и эту высоту домов, и эту тесноту построек. Сначала, поближе к берегу, к своим сетям и лодкам, селилась одна семья и устраивала себе дом из камня, которого здесь сколько угодно. Но расширялась фамилия, дети женились или выходили замуж, – приходилось делать пристройку: общие интересы и пресловутая кровная месть заставляли жить кучно. Рождались внуки и правнуки, и дома все шли вширь, пока не соприкасались и не сливались с соседними владениями вплотную. Дальше становилось жить еще теснее. Тогда надстраивали второй этаж, потом третий, четвертый, пятый и так далее. Камень добывается здесь же, на месте. Фундаментом служит гора. Здесь не редкость видеть дом, который смотрит на море восемью этажами, а к горе кончается одним. И правда, после слов старика я невольно обратил внимание на то, что этажи – разных эпох, может быть, разных столетий, и имеют совершенно разный характер и по цвету стен, и по архитектуре: внизу окна малы и оконные ниши глубоки, как крепостные бойницы, но чем выше, тем постройки становятся свободнее и новее, окна шире, помещения обширнее, и, наконец, самые верхние этажи, с висячими балконами, с некоторой претензией на моду, являются данью современности.

Странно и трогательно глядеть на эту живую каменную летопись. А еще выше, над этими многовековыми домами, подымается стена древней крепости, такая массивная и грандиозная, точно она выстроена руками циклопов. Так, в лени и в безделье, проходило время до обеда. За обедом та же лангуста и тот же барашек и к ним вкусное предательское вино, а в виде десерта только что сорванные, еще в зеленой наружной скорлупе, свежие вкусные миндальные орехи. Часто после обеда мы сидели оба в нашем гостиничном номере. Он помещался на самом верху, под крышей. Глубоко под нами чернел двор, и когда я глядел вниз с висячего балкончика, то кружилась голова, холодело сердце и как-то приторно ныли пальцы ног. А вокруг, на всех соседних балкончиках, сидели миловидные девушки с какой-нибудь домашней работой в руках, и во всех открытых окнах висели клетки с канарейками. Далеко, далеко сбегали к морю красные черепичные кровли домов, а за ними спокойно синело море. С нежностью вспоминаю я эти тихие вечерние часы, когда солнце село уже за горы, а в воздухе еще разлит кроткий золотистый свет. Дневные шумы затихли. Где-то на улице, внизу, пищали и выкрикивали детские голоса, а высоко в небе с радостным визгом носились стремительные ласточки. Как-то особенно мило сливались эти детские и птичьи голоса, и трудно было их различить. Так проводили мы время до наступления ночи и тогда шли сначала на эспланаду слушать оркестр и есть мороженое, затем в кинематограф, – увы, в нашей меланхолической скуке мы дошли и до этого падения, – а потом забирались в местный кафешантан, посещаемый исключительно французскими солдатами. Я не скажу, чтобы представления, которые мы там видели, были хуже тех, которыми нас угощали в «Аквариуме» или в «Буффе», но, во всяком случае, гораздо приличнее. Правда, обстановка балаганная, костюмы грязные, потрепанные, актеры и актрисы без всякой церемонии, непринужденно переговариваются со сцены со своими знакомыми, сидящими в партере, – но зато просто, весело и любезно для солдатского сердца.

Наконец, в одно утро, придя на пристань, мы увидели небольшой пароход, который вече-

ром должен был отойти в Марсель. Прощай, Корсика! Осталось только купить на память корсиканский разрезательный ножик в виде кинжала с роковой надписью: «Vendetta»⁵⁵.

А надо сказать, что этот кровавый обряд родовой мести давно уже отошел в область воспоминаний, и самое название его сохранилось только на этих милых игрушечных кинжалах. В окнах галантерейных и ружейных магазинов вы часто можете увидеть деревянные ножи, величиною во всю витрину, и на них выжжена громадными буквами эта страшная надпись. Также исчезли знаменитые корсиканские бандиты. Их бывший король, старый разбойник, занимается тем, что продает приезжим иностранцам свои собственные фотографические карточки. На них он изображен благообразным стариком, с седой длинной бородою, с лицом, очень напоминающим лицо Толстого, в черном сюртучке, в прозаических черных панталонах поверх неуклюжих ботинок, но в руках у него первобытное ружье, дуло которого расширяется к концу, подобно трубе.

Что поделаешь! Нравы падают, люди мельчают, и герои переводятся. Лет через сто ни одного из них не останется на белом свете.

Глава XV. Марсель

Ранним утром мы миновали Тулон с его серо-голубыми громадами броненосцев и крейсеров, сизый цвет которых издали почти сливается с цветом моря, свернули за высокий мыс, и перед нами высоко в небе засияла золотом статуя Notre Dame de la Garde, мадонны-спасительницы, пресвятой девы, покровительницы всех мореходов. Эта золоченая статуя громадных размеров, воздвигнутая на средства рыбаков и моряков, венчает собою купол собора, построенного на высокой крутой горе. Она господствует над городом и над окружающими возвышенностями и служит маяком, который заметен с моря за несколько десятков верст; как живое золотое пламя, горит она под лучами южного солнца.

Я уже во второй раз приезжаю в Марсель, и в душе у меня радостное нетерпение, как перед встречей с любимым другом. Марсель – прекрасный и чрезвычайно оригинальный город, и меня всегда удивляло, почему его так мало знают. Я встречал русских, которые бывали во всех городах, деревушках и закоулках Европы от Нордкапа до Сицилии и от Ирландии до Урала. Многие из них побывали в Африке, в Азии, в Америке, но почему-то мне никогда не приходилось поговорить с человеком, посетившим Марсель. Может быть, это происходит оттого, что бедекеры не нашли в этом городе ничего, шевелящего пресыщенное внимание путешественников? Я же должен сказать, что более своеобразного, оживленного и пестрого города, одновременно великолепного и грязного, безумно суетливого и тихого, страшно дорогого и дешевого, – я никогда не видал в своей жизни.

Если вы спросите у коренного марсельца: «Что самое замечательное в вашем городе?», то будьте уверены, что он, не задумываясь ни на секунду, ответит с гордой уверенностью: «Улица Каннобьер». Недаром же какой-то французский писатель сострил, что будто бы у марсельцев существует поговорка: «Если бы в Париже было что-нибудь похожее на улицу Каннобьер, то это был бы маленький Марсель».

Давно известно, что южные французы экспансивны, пылки, склонны к преувеличению, пожалуй, даже хвастуны, но улица Каннобьер в самом деле – чудо красоты. Это длинейший проспект, с широкими тротуарами, с прекрасными новыми зданиями, с роскошными магазинами; два ряда старинных мощных платанов отделяют тротуары от мостовых и уходят вдаль бесконечной зеленой аллеей; прибавьте сюда еще оживленную, нарядную, живописную южную толпу – и вот приблизительно улица Каннобьер.

Наибольшее оживление на этой главной артерии города бывает утром, когда деловые люди отправляются на службу, и около шести часов вечера, когда они возвращаются домой. Все эти чиновники, конторщики, купцы и биржевики так и вызывают невольно воспоминания о героях из романов Доде – об этих Тартаренах, Нума-Руместанах и Жосселенах – приземистые, кряжистые, с пылающими темными глазами, с крепким кирпичным румянцем на щеках, с густыми иссиня-черными бородами, с живыми, резкими жестами. Перед обедом их встречают жены, сестры

⁵⁵ Кровная месть (ит.).

или дочери – все кокетливые, прекрасно одетые, сияющие яркой южной красотой. В этот час все бесчисленные кафе на улице Каннобьер переполняются веселой, точно праздничной, публикой. Мужчины пьют свой вермут или абсент для возбуждения аппетита, дамы едят мороженое. Под тиковыми навесами, занимающими всю ширину тротуара, нет ни одного свободного места, и столы так близко сдвинуты один около другого, что нужна только исключительная, изумительная гибкость и змеиная скользкость гарсонов, чтобы пробираться между ними. Здесь же, на мостовой, против кафе, расположились миловидные улыбающиеся цветочницы с своими корзинами, переполненными розами, фиалками, гвоздикой и туберозами. Шум, оживленный смех, восклицания... Но вот наступает половина седьмого, – священный час обеда! – и, точно по волшебству, улица Каннобьер пустеет. Она еще оживает на время между девятью и одиннадцатью часами, когда время кинематографов, а в одиннадцать новый город уже совершенно пуст. Деятельные марсельцы ложатся и встают чуть ли не с петухами.

Зато начинают жить своеобразной ночной жизнью улицы старого города, и в особенности те из них, что прилегают к порту.

Глава XVI. Порт

Мы остановились в самом центре марсельского порта, и даже сама наша гостиница носила название «Hotel du port»⁵⁶. Это мрачное, узкое, страшно высокое здание, с каменными узкими винтовыми лестницами, ступени которых угнулись посередине, стоптанные миллионами ног. На этих лестницах, даже среди дня, так темно, что приходится подниматься наверх со свечкой. Посетителями гостиницы бывают по большей части матросы, штурманы и боцманы, кажется, всех флагов и всех наций мира. По крайней мере, при мне за табльдотом собирались два китайца, японец, сингалез, несколько греков и еще какие-то диковинные цветные люди, имевшие совсем несуразный вид в европейских одеждах. Прислуживал нам некто Андри, мрачный человек с типичным лицом наемного убийцы. Хозяин был добродушный, неповоротливый человек с лысиной на голове и с ласковой улыбкой на губах, марселец родом. Мы часто подзывали его к нашему столу и потчевали вином или кофе. Он оказался тоже бывшим моряком и охотно рассказывал нам о своих прежних плаваниях:

– Это не так легко, господа, как думаете вы, береговые люди. Сначала я служу четыре года, от двенадцати до шестнадцати, в качестве «mousse» (мошка). Это значит, что всякий может мне дать колотушку и за дело и так себе, для собственного удовольствия. После этого я уже становлюсь «novice» (новичок), и это опять на четыре года, и вот, только после восьмилетнего испытания, я уже могу считать себя «un matelot» (матрос) и, в свою очередь, могу, когда мне понравится, стукнуть по затылку любого «mousse» или «novice».

И он с необыкновенной простотой, немного лениво и небрежно, как будто речь шла о самых незначительных предметах, рассказывал нам живописно о всех портах земного шара, о страшных драках на берегах между матросами разных наций, о бурях и крушениях, о всех необыкновенных случаях, когда жизнь его висела на волоске. Словом, это был простодушный, кроткий и уравновешенный человек с той ясностью взгляда и спокойствием души, какие так часто приходится наблюдать у бывших морских людей.

– Я всегда пил очень мало, – рассказывал он, – я не любил понапрасну тратить деньги, а потому, когда мои ревматизмы заставили меня оставить службу, то я вышел из флота с небольшими сбережениями. А потом я встретился с Долорес. У нее тоже было небольшое приданое. Мы поженились и открыли сначала маленькую табачную и колониальную лавочку, а потом арендовали вот эту гостиницу.

Долорес, в противоположность своему флегматичному мужу, была живая, подвижная испанка, сильно располневшая, но еще не утратившая тяжелой, горячей южной красоты. Она всегда была в движении, появлялась как-то одновременно и в комнатах, и на кухне, и на веранде, приветливо-задорно улыбаясь посетителям, подходила к столикам, на минуту присаживалась и сейчас же неслась дальше.

Я был однажды свидетелем такой сцены. Какие-то цветные люди, не то шоколадного, не то

⁵⁶ «Портовая гостиница» (фр.).

бронзового цвета, все как на подбор маленькие, худые, но точно сделанные из стали, выпили лишнее, начали шуметь, перессорились и уже готовились пустить в дело ножи. Все они орали одновременно на каком-то диком гортанном языке, похожем на клекот птиц, страшно выкатывали желтые белки и скалили друг на друга белые сверкающие зубы. И вот Долорес быстро накидывает на себя черную мантилью, вытаскивает из волос розу и берет ее в зубы, подбочивается и вызывающей походкой, раскачивая толстыми бедрами, с головой, гордо поднятой вверх, подходит к столу скандалистов. Интересно было глядеть на нее в эту минуту. Вся она точно преобразилась, помолодела и внезапно похорошела, стала почти красавицей: гневные черные глаза, ноздри, раздутые, как у арабской лошади, и эта пунцовая роза в красных чувственных губах, – прямо загляденье! Коротким повелительным движением, картинно вытянутой рукой она указала на дверь и с непередаваемым выражением презрения, сквозь стиснутые зубы произнесла:

– *Sortez!*⁵⁷

И буйные матросы так и остановились среди перебранки, забыв даже закрыть рты.

Об этих двух людях я нарочно упоминаю с такими подробностями, что впоследствии, через несколько дней, мне пришлось воспользоваться их услугой при таких обстоятельствах, когда с необыкновенной прелестью проявились их простые, милые души.

В путешествии, при остановках в разных городах, меня не влекут к себе ни музеи, ни картинные галереи, ни выставки, ни общественные праздники, ни театры, но три места всегда неотразимо притягивают меня: кабачок среднего разбора, большой порт и – грешный человек – среди жаркого дня – полутемная, прохладная старинная церковь, когда там нет ни одного человека, кроме древнего, заплесневелого сторожа, и когда там можно спокойно посидеть и погрезить в глубокой тишине, среди установившихся запахов свечей, ладана, чуть-чуть мертвечины и каменной сырости.

От нас до порта было рукой подать, и неизменно каждый день мы бродили по его гаваням, эллингам, пристаням и молам. И все-таки мы не успели обойти даже половины этого гигантского сооружения. Самый главный мол, непосредственно ограждающий порт от моря, тянется на пространстве более трех с половиной верст, а высотой он около пяти сажен. Он так широк, что на нем совершенно свободно могут разъехаться две тройки, и снаружи, для большей устойчивости против волн, завален массивными камнями и саженными цементными кубами, внутри же, между берегом и молотом, бесчисленное множество других молотом, больших, маленьких и средних раздвижных мостов, всевозможных зданий, пакгаузов, таможен и маленьких кабачков. Тысячи судов, паровых и парусных, одновременно разгружаются и нагружаются. Как густой лес, торчат кверху трубы, мачты и мощные, подобные исполинским железным удочкам, паровые краны; по железным эстакадам и по рельсовым путям на молах то бегут, то медленно тянутся пустые и нагруженные поезда, свистят паровозы, гремят цепи лебедок, звенят сигнальные колокола, шипит выпускаемый пар, дробным звенящим стуком звенят молотки клепальщиков. Идешь, точно в каком-то сумбурном сне, через сотни самых разнообразных запахов. Пахнет смолой, дегтем, сандалным деревом, масляной краской, какими-то диковинными восточными пряностями, гнилью застоявшейся воды, кухней, перегорелым смазочным маслом, керосином, вином, мокрым деревом, розовым маслом, тухлой и свежей рыбой, чесноком, человеческим потом и многим другим. Эта быстрая смена обонятельных ощущений совсем не противна, но как-то ослабляет, кружит голову и точно пьянит. Сотни судов грузятся углем, перед тем как пуститься в далекое плавание – куда-нибудь в Нью-Йорк, в Мельбурн или Владивосток. Часами я наблюдал за этой ловкой работой. На вертикальном высоком стержне вращается горизонтальное коромысло, к концам которого прикреплены железные бадьи, каждая около тонны вместимостью. Все сооружение похоже на весы исполинских размеров. В то время когда одна чаша этих весов высыпает свое содержимое в трюм парохода, другая уже черпает уголь из высокого, в два этажа вышиною, штабеля. Все это занимает не более пяти-шести секунд. Звонок – и коромысло весов начинает вращаться. Наполненная бадья останавливается над трюмом, где ее быстро переворачивают, а пустая дожидается своего наполнения около штабеля, – и так беспрерывно работает этот угольный кран с утра до вечера.

⁵⁷ Уходите! (фр.)

Вдоль берега тянутся непрерывно, в несколько рядов, пакгаузы и таможи, а между ними движутся поезда. Огромный амбар, в котором свободно уместилась бы пара аэропланов, весь почти доверху набит земляными орехами (такие орехи-двойняшки, с желтой чешуйчатой хрупкой скорлупой), другой наполнен драгоценной, терпкой на запах кошенилью, третий – винными бочками, четвертый – тюками тканей и так далее. На мостовой, под открытым небом, громоздятся целые горы серы, привезенной из Сицилии, дубовых клепок, доставляемых сюда с юга России; под толстым грубым брезентом сложены миллионы мешков пшеницы, овса, ячменя и кукурузы; правильные красные валы – целый городок, сложенный из марсельской черепицы. Бесперывно везут на телегах живность, предназначенную для пароходов: свиней, быков, телят и солонину.

Подолгу также простаивали мы у наружных ворот таможи. В этих темных, больших, мрачных зданиях, где всегда разгуливает жестокий сквозной ветер, задерживают совсем ненадолго измученных пассажиров. Быстро, в несколько секунд, оглядели ручной багаж, поставили на нем крестик, и путник, измороженный несколькими неделями плавания, измученный морской болезнью, стосковавшийся по суше, с чувством живой радости выходит на улицу навстречу зною, шуму и толпе.

На каких только людей не насмотришься в эти минуты прибытия парохода! Вот, например, идет кучка арабов. На них висят длиннейшие бурнусы с подолом, перекинутым через плечо бессознательным, привычным движением, но поглядите, какими художественными складками ложится это платье... Белые одежды на арабах грязны и разорваны, и часто сквозь них увидишь темное мускулистое тело, по сами они высоки, стройны, прекрасно сложены, и в их серьезных лицах, в медленной, гордой походке чувствуется настоящая царственная важность.

Фески, зеленые и белые чалмы, какие-то странные чалмы, сплетенные из соломы; маленькие, полуголые, похожие на обезьян люди, черные, как вакса, с курчавыми волосами, сбитыми, как войлок. Огромные красные губы, сверкающие зубы и белки... Пунцовые береты, неаполитанские колпаки, зеленые восточные халаты – все это густо и тесно выливается из ворот таможи и расплывается, рассеивается веером во все стороны.

Но, даже и не посещая порта, мы тесно связаны с ним. Как бы мы поздно ни легли накануне, все равно нам приходится неизбежно встать в пять часов утра, потому что в это время из порта везут нагруженные телеги. Эти телеги стоят того, чтобы о них сказать несколько слов. Они двухколесные, причем каждое колесо величиною в хороший человеческий рост; оно составлено из массивных кусков мореного дуба и обтянуто железным обручем в три пальца толщиной. Между колесами покоится массивная платформа, на которой свободно умещается сто или даже полтора десятка обыкновенных мешков с мукою, весом, как и всюду, около шести пудов каждый. В эту повозку, весом в несколько сотен пудов, впрягаются от трех до шести лошадей, но это не лошади, а что-то скорее более похожее на слонов. Огромные, вершков восьми ростом, с задами, на которых можно разбить палатку, с копытами величиною с суповую тарелку, с мохнатыми щетками над бабками, с гривами и хвостами до земли, в большинстве серой масти, с добродушным взглядом влажных темных глаз – они всегда производили на меня необыкновенное впечатление страшной силы, большого терпения и кротости. Хомуты и чересседельники, надетые на них, прямо поражают своими размерами, особенно на кореннике, которому приходится уравновешивать своей спиной всю тяжесть повозки. У каждой лошади на хомуте – я уже не знаю, для какой надобности – торчит кверху высокий кожаный рог. Впереди всей упряжки обыкновенно идет мул – это наиболее умное, наименее нервное и самое выносливое из всех вьючных животных.

Теперь представьте себе, что шесть таких серых мамонтов, в сто пудов весом каждый, идут вместе, согнув свои массивные шеи, напряженно вваливаясь всей своей тяжестью в хомуты и ступая одновременно своими чудовищными копытами по мостовой, а вслед за ними грохочет по камням исполинская повозка! Стены нашей гостиницы дрожат от основания до крыши. В окнах дребезжат все стекла, шатаются, скрипит и, наконец, распаивается настесь древний шкаф, а на столиках подпрыгивают и звенят графины и стаканы. И целый день, с шести часов утра до шести вечера, тянутся нескончаемой вереницей по всем улицам Марселя из порта и в порт эти огромные лошади и чудовищные грузы, на которые с непривычки страшно смотреть. Часто случается, что длинный обоз займет всю ширину трамвайных рельсов, и тогда вагон должен черепашьим шагом, еле-еле тащиться у него в хвосте, а ежели грузовикам нужно почему-либо свернуть, то

трамвай совсем останавливается, и никому из пылких марсельцев даже в голову не придет протестовать против этого. Интересы порта – самые священные во всем городе.

Глава XVII. Старый город

В то время когда новый город вместе со своей прекрасной улицей Каннобьер погружается около одиннадцати часов ночи в глубокий, буржуазный сон, – в это время оживает старый город.

Старый город – это какое-то капризное диковинное; сплетение кривых, узеньких улиц, по которым невозможно проехать даже одноконному извозчику. Что за невообразимая вонь, грязь и темень царят в этой запутанной клоаке! Всякие хозяйственные отбросы, помои, зелень, скорлупа от устриц – все сваливается на улицу или попросту выбрасывается из окна. И совсем не редкость увидеть на улице черномазого мальчишку или девочку лет шести, семи, которые отдают долг природе в одной из тех поз, которые с таким наивным искусством, изображали в своих картинах Теньер, Ван-Бровер и Теньер-младший (Тенирс). Есть в старом городе такие узкие, темные даже в полдень, переулки, через которые пробегаешь, зажав нос руками и затаив дыхание.

И вот, когда наступает ночь, старый город оживляется. Ближе к центральным улицам он еще немножко приличен, но чем ближе к порту, чем ниже спускаются улицы, тем старый город становится все веселее и разнузданнее. Налево и направо только одни кабачки, весело освещенные изнутри. Повсюду слышна музыка. Ходят по шестеро и по пятеро вдоль улиц, обнявшись друг с другом за талии и за шеи, матросы и юнги, французские, итальянские, греческие, английские, русские... Бары переполнены народом. Табачный дым, абсент и ругательства на всех языках земного шара.

Конечно, и бедекеры, и сведущие люди нас предупреждали о том, что в порт опасно ходить даже днем. Поэтому вполне понятно, что мы отправились туда ночью, и опять я в сотый раз повторяю, что все бедекеры лгут и что самый милый, кроткий и простой народ – это подвыпившие матросы. Мы входим в маленький, низкий, душный кабачок и скромно спрашиваем амер-пикон с лимонадом и со льдом (ночи стоят душные, и томит жажда, а лучшего средства для утоления ее не существует). Сейчас же около меня и около моего товарища садятся две грубо намазанные девицы, и каждая из них кладет под столом свою ногу на колено соседа. Это – специальное морское кокетство. Они требуют от нас разных напитков. Мы охотно повинемся: надо же выдержать тон и вкус места. Проходит четверть часа. Наши дамы видят, что мы вовсе не принадлежим к породе тех людей, которые в продолжение трех или четырех месяцев бултыхались среди бушующего моря и за это время не видали ни одной женщины. Они просят на булавки. Пять франков не только успокаивают их, но даже приводят в восхищение, и они нам доверчиво рассказывают некоторые тайные стороны своей жизни. С боцманов или капитанов, в особенности если они постарше, они берут два-три франка, с матросов – франк, а иногда даже пятьдесят сантимов. Здесь же, наверху, над баром, есть несколько запутанных коридоров, с номерами-стойлами налево и направо. Мгновенная любовь или ее подобие – и люди разбежались в разные стороны. Много ли нужно матросу?

– Но плохо одно, *monsieur*, – сказала серьезно долговязая Генриетта, – что иногда они выпьют слишком много сода-виски и тогда начинают драться.

Это очень неприятно, опасно и хлопотливо для нас. И именно их всегда валит с ног или делает бешеными не что иное, как сода-виски. Впрочем, абсент тоже. В этот день мы никак не могли найти дорогу к себе домой в гостиницу «Порт». Мы путались, как слепые щенята, около грандиозных молчаливых Вобановских укреплений и раз десять, сделав круг, возвращались на прежнее место. Наконец нам попалась навстречу пьяная гурьба матросов. Мы вежливо спросили их о дороге, и вот они все вместе, человек десять – пятнадцать, заботливо и предупредительно проводили нас до самого нашего жилища. Помню я еще другую ночь. Мы сидели в испанском баре на одной из этих бесчисленных улиц, в которых, кстати сказать, я не умел никогда ориентироваться. Рядом с нами прочно засела компания англичан, вероятно, из судовой аристократии, что-то вроде шкиперов, машинистов или боцманов, все рослые, суровые, крепкие люди, с загорелыми, обветренными, облупленными лицами. Один из них, бритый человек, с головой голой, точно бильярдный шар, закурил трубку. Я узнал по запаху мой любимый мерилендский табак и, слегка приподняв шляпу и повернувшись в сторону бильярдного шара, спросил:

– Old Judge, sir?⁵⁸

– O, yes, sir⁵⁹. – И, добродушно вытерев мундштук между своим боком и крепко прижатым локтем, он протянул мне трубку: – Please, sir⁶⁰.

К счастью, у меня еще оставались русские папиросы (и их по-настоящему оценишь только во Франции, где все курят прескверный монопольный табак), и я предложил ему портсигар. Через пять минут мы уже жали друг другу руки так, что у меня кости трещали, и мы орала на весь старый город: «Правь, Британия, царствуй над волнами!»

Еще один случай, о котором я до сих пор вспоминаю с глубокой, радостной нежностью.

Это случилось на исходе ночи, так часу в третьем, четвертом. В маленьком кабачке был, что называется, самый развал. Прислуга едва успевала ставить на столики самые разнообразные «ударные» напитки всевозможных цветов: зеленого, золотого, коричневого, светло-голубого и других. В густом табачном дыму, щипавшем глаза, едва виднелись темные контуры людей, которые, точно в кошмарном сне, шли, точно утопленники под водой, двигались, качались и обнимались друг с другом.

И вот в открытую настежь дверь входит чрезвычайно странный человек. Он уже стар, лет пятидесяти – шестидесяти, мал ростом и тщедушен. Седые густые волосы падают ему на плечи и на спину пышной прекрасной гривой. Высокий широкий лоб мощного, прекрасного строения, тяжелые, нависшие веки, прищуренные глаза и под глазами черные мешки. Цвет лица темный, землистый, нездоровый. Множество морщин, серо-пепельные усы и борода. В руках у него диковинный музыкальный инструмент. Это обыкновенный сигарный ящик, на котором ещё сохранились черные, овальные фабричные клейма «Colorado», в верхней крышке выпилено круглое отверстие. Узкая длинная дощечка, грубо приклеенная к ящику, служит вместо грифа. Самодельные колки и шесть тонких струн.

Человек этот ни с кем не здоровается и как будто даже никого не видит. Он спокойно опускается на корточки наземь, около стойки, затем ложится вдоль ее, прямо на полу, лицом кверху. В продолжение нескольких секунд он настраивает свой удивительный инструмент, потом громко выкрикивает на южном жаргоне название какой-то народной песенки и начинает лежа играть. Я очень люблю гитару, этот нежный, певучий, выразительный инструмент, и мне часто приходится слышать артистов, виртуозно владеющих этим инструментом, вплоть до знаменитостей, известных всей России. Но все-таки я никогда до этого случая не мог себе даже представить, что деревяшка со струнами и десять человеческих пальцев могут создать такую полную и гармоничную, певучую музыку. Сигарный ящик этого диковинного старика пел серебряными звуками, точно отдаленный прекрасный хор, составленный из детей, женщин или ангелов. Шумный базар сразу стих. Попрятались куда-то трубки и сигары. Матросы забыли о своих пивных кружках, и мне показалось, что сразу как-то светлее и чище стало в мрачном питейном заведении. Первыми женщины, а вслед за ними и все посетители встали со своих мест и обступили лежавшего старика. Из соседнего вертепа слышались звуки гармонии-концертино. Кто-то на цыпочках подошел к двери и беззвучно затворил ее.

Старик окончил одну песню и сейчас же выкрикнул название другой и опять заиграл, ни на кого не глядя, устремив свои прищуренные глаза в потолок. Так, при общем, – да, теперь уместно будет сказать, – благоговейном молчании, он проиграл несколько песенок, то медлительных и страстных, то игриво и лукаво задорных, песенок, в которых чудилась невольно старинная арабская вязь, сладострастная, лениво-истомная. Проиграв основной мотив, он начинал его варьировать, и вряд ли я ошибусь, сказав, что эти вариации ему приходили в голову только сейчас, когда он лежал на заплеванном полу и импровизировал. Наконец он сказал на чистом французском языке:

– Теперь я вам сыграю вальс Шопена. Valse brillante, – пояснил он.

Кто не знает этого вальса в фортепьянном исполнении, весьма трудного по технике? И я с радостью и изумлением не только услышал, но, мне кажется, почти увидел, как со струн, натя-

⁵⁸ Олд джадж (сорт табака), сэр? (англ.)

⁵⁹ О да, сэр (англ.).

⁶⁰ Пожалуйста, сэр (англ.).

нутых на сигарный ящик, вдруг посыпались блестящие, редкой драгоценности камни, переливаясь, сверкая, зажигаясь глубокими разноцветными огнями. Бог жонглирует брильянтами.

Окончив, старик взял в правую руку инструмент, а левую протянул вверх. Сначала его не поняли, и он с некоторой настойчивостью повторил свой жест. К., мой спутник, первый догадался, в чем дело, и взял старика за руку, помогая ему встать. Тотчас же десятки рук почтительно и осторожно подхватили старика и поставили его на ноги. На несколько мгновений толпа совершенно скрыла его из моих глаз, и тут-то я сделал оплошность, вспоминая о которой краснею даже сию минуту, когда диктую эти строки. Я не заметил того, что многие из слушателей потянулись к старику с деньгами и что он вежливо и настойчиво отказывался от подачек. С разнеженным сердцем, с обычной в этих случаях для всех людей неуклюжестью, я протискался поближе к старику и протянул ему горсть серебра. Но, должно быть, мой скромный дар, сделанный от чистой души, был именно той каплей, которая заставляет кубок пролиться. Старик поглядел на меня, презрительно шурясь, – у него были прекрасные, темные, глубокие глаза, – и сказал сухо, отчеканивая каждое слово:

– Я играл не для вас и не для них. – И он свободным жестом обвел всех зрителей. – Но если вы действительно слушали меня с вниманием и если вы что-нибудь понимаете в музыке, то это такая редкость, за которую не вы должны благодарить, а я. – И, засунув руку в карман широчайших брюк, он вытащил оттуда целую кучу медной монеты и величественно подал мне.

Совершенно растерявшийся, смущенный, я начал лепетать бессвязные извинения:

– Мне ужасно стыдно, maître, за мой поступок... Я в отчаянии... Вы мне сделаете большую честь и успокоите мою совесть, если согласитесь присесть за наш стол и выпить глоток какого-нибудь вина.

Старик смягчился немного и почти улыбнулся, но от приглашения все-таки отказался.

– Я не пью и не курю. Да и вам не советую. Хозяин! Дайте мне, пожалуйста, стакан холодной воды.

Никогда, должно быть, за всю свою пеструю жизнь этот хозяин, кряжистый, заросший волосами великан с обнаженной воловьей шеей, не наливал никому вина с таким глубоким и внимательным почтением, как он наполнил для музыканта водою стакан. Старик выпил воду, небрежно поблагодарил хозяина, сделал нам рукою приветственный знак, исполненный величественной грации, и вышел в темноту ночи. Впоследствии я обегал все трактиры, бары и пивные лавки старого города в надежде поймать след моего таинственного музыканта, но он скрылся куда-то, исчез, точно уплывшая вода, точно пробежавшее и растаявшее облако, точно волшебный сон. Но одно утешает меня, когда я возвращаюсь воспоминаниями к этому удивительному человеку: ни один американский миллиардер, ни один англичанин, в специальном костюме туриста, с пробковым шлемом на голове, с бедкером под мышкой, с кодаком в одной руке, с альпенштоком в другой и с биноклем через плечо, ни путешествующий инкогнито принц крови, – никогда не увидят и не услышат ничего подобного. И эта мысль невольно радует меня.

Глава XVIII. Остров Иф

Середина июля. Город Марсель празднует годовщину разрушения Бастилии. Почти сто лет тому назад пришли в Париж оборванные загорелые южане и заразили весь Париж, а вместе с ним и всю Францию революционными идеями. По дороге сочинили прекрасную песню, которая начинается так: «Allons, enfants de la patrie...»⁶¹, а кончается: «A bas la tyrannie»⁶², – словом, ту известную песню, которая исполняется на французских военных судах во время встречи дружественных эскадр.

Надо сказать, что этот праздник – настоящий праздник. С раннего утра вся Марсель на улицах. Со всех сторон четырехугольного старого порта толпится по-праздничному вымытый, принарядившийся народ. В десять часов утра уже пускают фейерверк. Мальчишки и женщины визжат от радости, старые матросы ревут от восторга, когда взвизывает вверх ракета, разрывает-

⁶¹ вперед, сыны отчизны... (фр.)

⁶² Долой тиранию (фр.).

ся в воздухе и вдруг из нее выскакивает, точно пузырь, фигура свиньи, верблюда или слона и медленно опускается вниз.

Около улицы Каннобьер, пройдя через мост, есть маленький закоулочек, где кутят рыбаки. Белое вино и целые груды, целые горы скорлупы от раков, устриц, муть, violettes и clovisses⁶³. Все это поглощается в огромном количестве и стоит на наши деньги три-четыре копейки. С чувством отвращения наблюдаю я, как после долгой, ожесточенной торговли раскутившийся матрос покупает своей любовнице кусок спрута, или каракатицы, или какую-то странную черную раковину, из которой течет желтый сок, подобный яичному желтку, и как она большим пальцем правой руки выковыривает содержимое и как она его втягивает в рот.

Но мне тяжело и скучно. Чужой праздник! И я чувствую себя неприглашенным гостем на чужом пиру. Увы! Судьба моей прекрасной родины находится в руках рыцарей из-под темной звезды, и у нас нет ни одного случая вспомнить наше прошлое. Ни числа, ни месяца, ни года...

Лодки сгрудились около набережной так тесно, что движение одной передается другой. Какой-то хитрый старик подмигивает мне глазом и спрашивает:

– Может быть, господам угодно проехать на остров Иф?

Отчего же не проехать: это все-таки развлечение. Очень быстро мы узнаем, что лодочника зовут папа Доминик. Покамест мы в порту, он все время гребет. Но мы выходим в свободное море, и он начинает налаживать парус. Время от времени он вынимает из кармана плитку прессованного жевательного табаку, похожую на шоколадные плитки, жует ее и выплевывает через борт коричневую слюну. И вдруг обращается к нам с очень деловым вопросом:

– Из какой страны вы, добрые господа? Со вздохом мы признаемся, что мы русские. На лице нашего друга, папы Доминика, разочарование. Он еще раз плюет через борт лодки и говорит:

– В таком случае без глупостей (*pas des bêtises*). Ого! Хорошая у нас репутация!

Но уже парус готов. Лодка бежит, накренившись набок, и время от времени на нас брызжет морская пена. Стали вырисовываться скучные стены тюрьмы, горбатый островок и на нем две башни, торчащие, точно два клыка, изъеденные временем. Между ними каземат и огромные ворота. Цвет здания – желтый, казарменный. Но подойти нам к берегу не удастся. Артель рыбаков только что завезла невод, длиною приблизительно около версты. Две лодки тянут левое крыло, а правое крыло на своих плечах тащат вверх по горе двенадцать человек. Самая трудная работа достается переднему, и поэтому, пройдя шагов пятьдесят, он бросает тяж и перебегает в хвост. Таким образом, они постоянно сменяют друг друга. Наконец работа окончена. Две небольших корзинки маленькой серебряной рыбешки. Но зато сколько шума, пререканий, угрожающих жестов! Можно было бы подумать, что дело идет о пяти, шести взрослых китах.

Мы поднимаемся наверх, на гору. Оказывается, что смотрителя тюрьмы нельзя сейчас видеть – и по очень важной причине: рыбаки наловили много рыбы, а смотритель купил несколько фунтов, велел своей жене сделать бульябес и поэтому просит извинения.

А бульябес – это самое зверское кушанье, которое только существует на свете. Оно состоит из рыбы, лангуст, красного перца, уксуса, помидоров, прованского масла и всякой дряни, от которой себя чувствуешь, точно тебе вставили в рот динамитный патрон и подожгли его.

Ничего не поделаешь, – надо мириться со вкусами каждого начальника тюрьмы, музея или Эрмитажа. Но тут же, рядом с тюрьмой, есть маленький кабачок с надписью: «Граф Монте-Кристо». Мы внедряемся туда, заказываем яичницу и пьем красное вино. Через час появляется смотритель, на ходу утирая рот салфеткой. Он чересчур вежлив, как, впрочем, и всякий француз. Он с нас берет по франку за вход в историческую тюрьму (удивительно, не для того ли Марсель сделала французскую революцию, чтобы республиканское правительство получало деньги за право обозрения тюрем?) потом, закрыв глаза, точно соловей во время любовной песни, он начинает нам отчитывать наизусть:

– Вот место, где сидел двоюродный брат польского короля Владислава или, может быть, Станислава. В этой камере сидел известный адвокат Мирабо, потомок которого, Октав Мирбо, до сих пор существует в Доме инвалидов... Вот здесь заседал революционный марсельский трибунал. Здесь же по распоряжению суда гильотинировали виновных. Двести восемнадцать

⁶³ Разные съедобные ракушки (фр.).

смертных казней. Обратите внимание, господа, что камни иззубрены стойками гильотины.

И правда, он нам показывает нечто вроде каменных полатей, на которых заседал трибунал, приговаривал к смерти в одну секунду, и только одну секунду длилось мучение жертвы. Я не знаю, здоровое ли это впечатление или галлюцинация, но мне казалось, что во всей этой тюрьме, в этом правительственном музее, пахнет кровью и человеческими извержениями, как будто бы стены пропитались их запахом.

Наша доверчивость развращает зрителя. С необыкновенно наглым видом он нам показывает еще один закоулок, с полом вроде московской мостовой, без света, и говорит:

– А вот здесь сидел граф Монте-Кристо.

Это нас поражает. Мой друг К. первый не выдерживает серьезности. Он спрашивает:

– Если я не ошибаюсь, граф Монте-Кристо – это не живой человек, а выдумка Александра Дмитриевича Дюма? Дюма рève? Это лицо никогда в действительности не существовало.

Зритель сконфужен, но все-таки милый француз находчив: он открывает окно и показывает нам на вывеску ресторана. Правда. Написано «Граф Монте-Кристо». Мы соглашаемся. Что поделаешь против очевидности! И папа Доминик благополучно отвозит нас в Марсель.

Глава XIX. Русский консул

Но не всегда в Марсели пути наши были устланы розами – попадались и жестокие шипы. Одна дама перевела нас на банк «Лионского кредита» несколько сот рублей. Но по свойственной всем дамам забывчивости и небрежности она не послала нам заказным письмом расписки, которую она получила из банка и которая была самым главным документом, удостоверяющим, что мы не жулики, посягающие на капиталы этого самого богатого в Европе банка. Раз по двадцати в день мы являлись в великолепное прохладное здание «Лионского кредита» и, должно быть, порядком надоели там всем служащим. Эти люди с каменными лицами, в каменных воротничках хладнокровно отвечали нам:

– Покажите ваш мандат.

Я совал им мой заграничный паспорт, где совершенно ясно были обозначены мое имя и фамилия. Я безошибочно указывал им то место и то лицо, откуда я жду деньги, но они были неумолимы. Конечно, их можно было бы только похвалить за такую пунктуальность и за слепое исполнение своих обязанностей, но нам от этого было ничуть не легче. В продолжение трех суток мы ничего не ели и не пили.

Но внезапно блестящая мысль озаряет наши головы: «А что, если за нас заступится русский консул?»

Итак, с самого раннего утра до поздней ночи мы, как сумасшедшие, мыкаемся по всей Марсели, в сладкой надежде разыскать русского консула. Увы! Это оказывается невозможным. Нас посылают с одного конца города на другой. В табачных и колониальных лавочках мы перелистываем городские указатели за целых три года, но таинственный консул исчез, точно провалился сквозь землю. Наконец, с большим трудом, уже на третий день мы узнаем, что этот сказочный человек ютится где-то в окрестностях улицы Pière de Pugé. Надо сказать, что эта улица на редкость прекрасна. Громадный платановый бульвар, в вековой тишине которого всегда разлит прохладный зеленый полусумрак. Нет ни трамваев, ни экипажей – самый аристократический уголок Марсели. Налево и направо нарядные спокойные дома, украшенные флагами всех консульств мира: японского, китайского, английского, голландского, персидского, корейского, аргентинского, североамериканского... и под каждым флагом овальная вывеска с гербом страны и с точным указанием часов, когда консул принимает. Раз двадцать мы обегали улицу Pugé и все к ней прилежащие. Швейцары и секретари консульств глядели на нас, точно на сумасшедших, и пожимали плечами:

– Русский консул? Он где-то существует, но уже лет пять-шесть никто его не видал и не слышал о нем.

Бог его знает! Скрывался ли он от долгов, или у него в натуре лежит стремление к перемене мест... этакое изящное бродяжничество?

В голландском консульстве с нами обошлись совсем неприлично. Консул, сухой и чопорный человек в золотых очках, внимательно поглядел наши документы, удостоверившие нашу личность и право на получение денег, и сказал нам сурово:

– Во всем, что вы говорите, я не сомневаюсь. Предупреждаю вас, что русского консула вы не найдете. Но ходатайствовать за вас перед «Лионским кредитом» я не берусь. Это поведет только к неприятностям и служебным осложнениям и для меня, и для вашего консула. Лучше сделаем так. Я вам дам займы несколько сот франков, а вы, когда получите ваш перевод или когда вернетесь в Ниццу, возвратите мне эти деньги.

Но мы одновременно поспешили отказаться. Да и в самом деле: зачем нам было прибавлять к нашему голоду, жажде, беспомощности – еще и унижение нашей страны?

Сердечно поблагодарив консула, мы ушли от него и опять очутились на улице. В нашем распоряжении оставалось только пять сантимов, – приблизительно полторы копейки, – и мы в продолжение этих роковых трех дней долго колебались, на что употребить мелочь: купить ли пару папирос или выпить по стакану воды с лимоном? Жажда пересилила. Около старого порта какой-то древний старикашка изговлял и продавал искусственный домашний лимонад. На ручной тележке помещалась у него большая глыба льда с продавленным, в виде чашки, углублением, наполненным водой, куда он своими грязными руками выжимал лимоны. Почти трясясь от жадности, я выпил стакан. А старик поглядел на моего товарища, улыбнулся немножко застенчиво, немного насмешливо и зачерпнул для него второй стакан. Сначала я думал, что это был единственный в Марсели человек, который понял наши страдания. Но оказалось, что нашелся и другой человек – это милый, толстый хозяин нашей гостиницы. Когда мы пришли домой, измученные, разбитые, едва волоча ноги, он отозвал моего товарища в сторону и сказал:

– Господа! Я вижу, у вас какая-то заминка? Я прошу вас помнить, что весь мой буфет и моя кухня всегда к вашим услугам. Очень прошу вас не стесняться. Долорес! Дай сюда меню и холодного белого вина.

В этот день мы были сыты и растроганы милым, гостеприимным отношением простого человека, бывшего матроса. И надо сказать, что, подавая нам эту милостыню, он и его жена были так деликатны, так предупредительны, как вряд ли бывают люди во дворцах.

Утром все уладилось. Мы были богаты, как пять Пирпонтон Морганов и один Ротшильд. Громадный букет карминных, почти черных роз был поднесен хозяйке. Были куплены билеты до Ниццы, и наш скромный багаж отвез на ручной тележке какой-то долговязый проходимец на вокзал.

Однако в нас заговорило чувство оскорбленной патриотической гордости. Мы во что бы то ни стало решились разыскать консула, и в конце концов мы все-таки нашли его!!

Нам указал его адрес какой-то цветной швейцар из какого-то экзотического посольства, пестро и ярко одетый, как попугай ара. Понятное дело, на сытый желудок человек гораздо энергичнее, чем в дни, когда он изнемогает от голода, жажды и усталости. Мы поднялись на пятый этаж по узкой темной лестнице и при помощи длительных восковых спичек прочитали плакат:

«Русский консул N.N.⁶⁴ принимает от часу до 1 1/2 по четвергам». А внизу надпись красным карандашом: «В настоящее время выехал на дачу».

Но мы в это время уже были так благодущны, что не рассердились, а только рассмеялись. Это объявление необыкновенно живо напомнило нам нашу милую страну, по которой мы уже успели смертельно соскучиться. И только добрым словом помянули нелепых английских консулов, двери которых открыты для подданных Великобритании во всякое время дня и ночи.

Глава XX. Венеция

А все-таки как жалко было прощаться с Марселью! В последний раз посидели в кафе, на улице Каннобьер, увидели в последний раз, как к тебе подбегает оборванец с корзинкой в руках и шепчет с таинственным и испуганным взглядом: «Боста» («Beaux fistaches») – прекрасные, жаренные в соли фисташки, по сантиму за штуку, и черномазый бродяга отсчитывает своими грязными пальцами штуку за штукой фисташки, как какую-то редкую драгоценность. Нужно было еще подняться по громадному лифту на верх горы и зайти в собор Notre Dame de la Garde. Там два придела: один внизу, другой наверху. Нижний заперт железной решеткой, верхний от-

⁶⁴ К сожалению, его фамилия выпала из моей памяти, а то я привел бы ее полностью. Знаю только, что кончается на — ский. (Примеч. А. И. Куприна.)

крыт для обозрения публики. Одно зрелище вдруг нежно и глубоко волнует меня. Стены огромной церкви сплошь увешаны маленькими мраморными дощечками, на которых выгравированы и позолочены имена и фамилии, а иногда просто инициалы жертвователей. Все это дары моряков, рыбаков, которые благополучно избегли гибели, обратившись в предсмертную минуту к покровительству пресвятой девы, заступницы на водах... Тридцать или сорок моделей парусных судов и несколько картин, написанных акварелью и маслом неумелыми, наивными, но старательными руками. Таких даров тысячи. Я гляжу на них и с волнением думаю: «Вот этот человек сорвался с грот-мачты во время бури, но успел счастливо зацепиться, подобно обезьяне, за какую-нибудь перекладину. Этого смыло волною с борта в море, но удачно брошенный спасательный круг помог ему продержаться на воде, пока корабль не был остановлен и его товарищи не успели спустить лодку. Третий, может быть израненный ножами в каком-нибудь темном и грязном порте Средиземного моря, долго боролся со смертью, но железная натура выдержала, и вот он живой, как окунь в воде, приносит свою скромную благодарность царице небесной, приписывая свое выздоровление ее ходатайству перед богом. А во всех надписях удивительная скромность».

Но, конечно, как и всюду, я наталкиваюсь на громадную доску из белого мрамора, которую, на общий позор и посмешище, привинтил здесь, к древней стене, безвестный русский чиновник Челгоков из города С. Надпись занимает приблизительно около тридцати строк, каждая вместимостью в сорок букв. Вот ее содержание (пишу по памяти). «Благодарю Notre Dame de la Garde за то:

1) что однажды, заболев опасной, сложной формой геморроя, который не могли излечить наши местные невежественные врачи, я обратился к покровительству заступницы и получил внезапное чудесное исцеление;

2) что, задумав одно выгодное для меня денежное предприятие, я благополучно довел его до конца и теперь обеспечен на всю жизнь;

3) что при помощи той же самой божией матери мне удалось выдать мою старшую дочь за порядочного, солидного человека, с правильными убеждениями и получающего хорошее жалованье;

4) что мне посчастливилось получить наследство, которое я не мог ожидать».

Ах, Челгоков, Челгоков! Не так ли ты писал аттестат своей кухарке или горничной, которую твоя жена прогнала за амуры с барином? Но уже пора. Наступает вечер. Мы в поезде. Мелькают мимо нас Фрежюс, Сен-Рафаэль, Канн. И вот уже светят два ниццких маяка. Один в Калифорнии, а другой в Моп-Вогоп. Один вращается, пересекая своим серебряным мечом черное небо, с промежутками в пять секунд, другой выпускает белую электрическую стрелу через каждые три секунды.

А на другой день вечером мы в Венеции. Сначала кажется немного диким и нелепым, когда выходишь из вокзала и носильщик укладывает твои вещи в черную лодку. К этому впечатлению нужно привыкнуть. На корме стоит, выставив вперед левую ногу, длинный малый и, не вынимая весла из воды, бурлит им воду и гонит лодку. Сворачивая в какой-нибудь узкий водяной переулочек, он издает странный гортанный крик, похожий на стон, и две гондолы, почти касаясь одна другую бортами, беззвучно проплывают мимо, точно два черных встретившихся гроба. И в самом деле: прекрасная Венеция напоминает громадное кладбище с мертвыми, необитаемыми домами, с удивительными развалинами, скрепленными железом, со старыми церквями, которых никто не посещает, кроме праздных путешественников.

На другой день опять гондола и обозрение Венеции при дневном свете. Тут я замечаю, что борта лодки украшены медными изображениями морских коньков. Лошадиная голова и хвост рыбы – это красиво! Впоследствии несколько таких морских лошадей, некогда живших, а теперь засушенных, я купил на площади Святого Марка у надоедливого торгаша. Курьезная, смешная штука величиной не более вершка. Несомненно, что она послужила прообразом для украшения гондолы.

Хозяин лодки показывает нам вытянутым пальцем на дом с великолепной мраморной облицовкой и говорит:

– Это палаццо принадлежало родителям Дездемоны, которая, как вам известно, вышла так неудачно замуж за Отелло, мавра, который служил Венецианской республике. А вот, не угодно ли вам, фабрика венецианского стекла и хрусталя. Но фабрика оказывается набором аляповатых, безвкусных безделушек, стаканчиков, бокалов, графинов, грубо украшенных позолотой.

Наконец, вот и знаменитый Дворец дождей. Он мне казался раньше красивым, покамест в Петербурге, на Морской, банкир Вавельберг не устроил себе торгового дома – неудачную копию венецианского дворца.

Но внутри этот дворец просто удивителен: он совмещает в себе одновременно простоту, изящество и ту скромную роскошь, которая переживает века. Эти кресла двенадцати дождей, из свиной кожи, тисненной золотом, эти мраморные наличники, эта бронза на потолках, эта удивительная мозаика, составляющая пол, эти тяжелые дубовые двери благородного, стройного рисунка – прямо восхищение! Каждая, даже самая мелочная деталь носит на себе отпечаток вкуса и длительно терпеливой, художественной работы. Простой стальной ключ, всунутый в замок двери, отчеканен рукой великолепного мастера, который, может быть, даже не оставил своего имени истории, и я должен, к моему стыду, признаться, что только большое усилие воли помешало мне украсть этот ключ на память о Венеции.

В этом дворце совершалось правосудие. В нем помещался и суд, и судебная палата, и сенат. Приговор совершался со скоростью ружейного выстрела. Проходило пять-шесть часов, и преступника вели в один из темных, мрачных казематов, расположенных под дворцом. Человека низкого происхождения удавливали без всякого почтения. Дворяне пользовались исключительной привилегией. Их вели по узкому темному коридору, который оканчивался маленькой дверкой, выходящей на канал. Там ему мгновенно отрезывали голову, а ударом ноги сбрасывали его тело в воду.

Все было бы хорошо, если бы ко мне не привязался сторож при дворце. Я сам не знаю, почему этот человек избрал меня своей жертвой. Он не отставал от меня ни на шаг. Он объяснял мне каждую картину, каждую фреску. Наконец я вышел из терпения! Чем я мог ему отомстить? Тогда я начал ему, в свою очередь, объяснять историю итальянской школы, наврал ему с три короба о Микеланджело, о Рафаэле, о Леонардо да Винчи, о Бенвенуто Челлини, о Рибейре... Мой проводник заметно угас. Тоскливое выражение появилось в его глазах. Мне даже показалось, что он похудел за эти несколько минут. Но вдруг опять его глаза блеснули радостью. Он распахнул окно и с торжеством показал мне пальцем на Лидо, где стояло несколько броненосцев:

– Посмотрите, синьор, это иностранная эскадра. Каково же было его удивление, когда я ему спокойно возразил:

– Синьор! Для меня это вовсе не иностранная эскадра. Это часть русского флота, флота моей родины. Видите ли вы на корме белый флаг с косым синим крестом? Это, если вам угодно знать, Андреевский крест.

В эту минуту я думал, что победа осталась за мной, но не тут-то было.

– Так вы русский? – спросил сторож. – В таком случае я вам покажу одну вещь, над которой подолгу останавливаются все знаменитые русские путешественники – графы, принцы, бароны и князья.

Он ткнул пальцем в какую-то щель, проделанную насквозь в стене, и торжественно произнес:

– *Le donosse!!!* Сюда приносили жалобы на граждан великой Венецианской республики другие граждане.

Тут я ничего не мог поделать. Потрясенный и взволнованный, я сунул ему в руку франк и со слезами на глазах вышел на площадь Святого Марка.

Длинная, нелепая каланча – *Kampanilla* (колокольня), – мимо! Жирные, зобастые, разнеженные, извращенные голуби, которые фамильярно садятся вам на плечи, и какие-то старые ведьмы, которые тут же продают для этих голубей моченые кукурузные зерна, – мимо! На приземистом соборе св. Марка четверка бронзовых позолоченных коней, некогда украшавших триумфальную арку Нерона, – прекрасно!

И вот, наконец, мы входим в прохладную сень собора св. Марка. Но еще на паперти мое внимание останавливает небольшое окошечко с правой стороны, ведущее в нечто вроде часовни. Я требую, чтобы меня проводили туда. Но очередной сторож подобострастно изгибается и говорит, что туда можно войти только за отдельную плату, и притом прибавляет он: «Может быть, дамам, которых вы сопровождаете, будет не совсем удобно глядеть на то, что там находится? И, кроме того, это обойдется по двадцати чентессимов с каждого лица». В конце концов около него появляется его помощник, и, вероятно, такой же мошенник. Оба они с преувеличенным усерди-

ем открывают тяжелую дверь. Совсем небольшая комната. Посредине ее возвышается бронзовое ложе, и на нем лежит бронзовый кардинал. Его звали Зено. Его тело прикрыла до пояса кардинальская мантия. На голове двурогая митра. Маленькие изящные руки сложены на груди – маленькие руки, к которым прикасались уста сотен прекраснейших в мире женщин, руки, которые были украшены некогда аметистовым кардинальским перстнем и сотнями драгоценных камней. Его лицо приводит меня в восторг. Орлиный нос, тесно сжатые властные губы, выражение надменности и презрения ко всему человечеству...

«Да, – думаю я, – этого человека безумно любили и страшно ненавидели. Его тонкие пальцы умели нежно ласкать, но умели сжимать чеканную рукоятку кинжала, или бестрепетно вливать в кубок своего врага и гостя смертельный яд, или вкладывать ему в рот во время причастия отравленную облатку». Лицом к нему прикованы на цепях скалящие на него зубы два прекрасных льва, выточенные из рыжего гранита. Я узнал, что монумент был сделан современником кардинала, скульптором Alessandro Leopardi, а львы принадлежат работе неизвестного художника. Но тотчас же другое поразительное зрелище останавливает меня. Под потолком, в небольших размерах, рассказана художником в виде мозаик вся история Ирода, Иродиады, Саломеи и Иоанна. Художник этот – Боттичелли.

Конечно, на любой из русских выставок цензор по части художественных картин велел бы убрать эти фрески или, по крайней мере, завесить их простынями. Здесь с грубой, но прелестной наивностью изображены нетленными красками: и роскошный пир Ирода, и пляска Саломеи, и палач, отсекающий голову, и отдельно самая голова, изображенная с ужасными реальными подробностями, с текущей кровью и со слипшимися волосами. А знаменитый танец Саломеи заставил бы покраснеть и отвернуться Иду Рубинштейн.

На Саломее... на ней, то есть, я хотел сказать, на этой длинноногой прекрасной женщине, с невинно наклоненной набок головой и с удивленно поднятыми кверху тонкими бровями... вы понимаете, что я хочу сказать?.. На ней нет совсем ничего.

Мне кажется, моя догадка не ошибочна. Боттичелли писал эту роскошную картину для кардинала. Неизвестный художник почтительно поднес ему высеченных из гранита львов. А кардинал повелел окружить свою гробницу любимыми произведениями искусства и не пускать к нему в его вечное жилище назойливую публику.

Три дня подряд я посещал этот удивительный склеп, потом... длинный, скучный путь до Вены, мещанская Вена, возмутительная русская таможня в Границе и – господи, благослови! – Россия.

P.S. Неизбежный совет всем русским туристам. Оставляйте Венецию и кардинала Зено в виде десерта: после них все кажется пресным.

Люди-птицы

Н. К. Коновалову

I

Да, это новая, совсем новая, странная порода людей, появившаяся на свет божий почти вчера, почти на наших глазах. Мы, современники, перевалившие через четвертый десяток лет, были свидетелями многих чудес. При нас засияло на улицах электричество, заговорил телефон, запел фонограф и задвигались на экране оживленные фигуры, забегали трамваи и автомобили, радиотелеграф понес без проволоки на сотни верст человеческую мысль, подводные лодки осуществили дерзкую мечту Жюль Верна. И вот мы уже перестали удивляться большинству открытий. Щелкавая медным выключателем, мы в тот момент, когда комната озаряется ровным ярким сиянием, уже не говорим себе с радостной гордостью: «Да будет свет!» И любой петроградский коммерсант, слыша голос своего доверенного, говорящего из Москвы, кощунственно восклицает: «Прошу погромче. Сегодня телефон чертовски скверно работает!»

Но авиация никогда не перестает занимать, восхищать и всегда снова удивлять свободные

умы. Вот они высоко в воздухе проплывают над нами с поражающим гулом, волшебные плащи Мерлина, сундуки-самолеты, летающие ковры, воздушные корабли, ручные орлы, огромные, сверкающие чешуей драконы – самая смелая сказка человечества, многотысячелетняя его греза, символ свободы духа и победы над темной тягостью земли! Само небо становится ближе, точно нисходит к тебе, когда, подняв кверху голову, следишь за вольным летом прозрачного аэроплана в голубой лазури.

И летчики, эти люди-птицы, представляются мне совсем особой разновидностью двуногих. Они жили и раньше, во всех веках, среди всех народов, но, еще бескрылые, проходили в жизни незаметно, тоскуя смутно по неведомым воздушным сферам, или в судорожных попытках умерли безвестно, осмеянные безумцы, поруганные, голодные изобретатели.

– Monsieur, – сказал однажды на парижском аэродроме Блерио своему ученику, русскому авиатору, после первого совместного полета, – с этого дня летайте самостоятельно, я сегодня же выдам вам ваш «brevet»⁶⁵. Вы родились птицей.

II

В самом деле, в них много чего-то от свободных и сильных птиц – в этих смелых, живых и гордых людях. Мне кажется, что у них и сердце горячее, и кровь краснее, и легкие шире, чем у их земных братьев. Их глаза, привыкшие глядеть на солнце и сквозь метель, и в пустые глаза смерти, – широки, выпуклы, блестящи и пристальны. В движениях – уверенная стремительность вперед. Часто, внимательно вглядываясь, я ловлю в лицах знакомых мне летчиков, в рисунке их черепа, лба, носа и скул какие-то неясные, но несомненные птичьи черты. Давно установлено наблюдением, что определенная профессия, наследственная в длинном ряду поколений, налагает наконец на внешний и внутренний лик человека особый характерный отпечаток. Авиация слишком молода для такой специфической выработки типа. Но отчего же не думать вместе с милым Блерио, что есть люди, рожденные летать? Может быть, потому именно летать, что прапращур человека миллионы лет тому назад летал над землею в неведомом нам таинственном образе?

– Каждый человек, не особенно трусливый, может научиться летать и полетит, – говорил мне один офицер-инструктор, – но для очень многих существуют неодолимые пределы. Я знаю некоторых летчиков, обладающих холодной отвагой, расчетом и глазомером, притом в совершенстве владеющих аппаратом, но... только до высоты в тысячу метров. Ниже этой высоты он шутя сделает мертвую петлю, скользнет на крыло и на хвост, спланирует с выключенным мотором, примет бестрепетно бой с вражеским аэропланом... Но выше тысячи метров он беспомощен. Там у него появляется не *духовная*, а чисто *физическая* боязнь высоты и пространства. Это чувство для других летчиков прямо необъяснимо, парадоксально. Ведь большинство из нас испытывает это тошнотворное, расслабляющее головокружение и противную щекотку в пальцах ног лишь на небольшой высоте, например, когда высунешься из окна шестого этажа. Но при подъеме это гнусное ощущение совершенно исчезает, и чем выше забираешься, тем все легче, веселее, безопаснее и увереннее становится на душе.

III

Я люблю их общество. Приятно созерцать эту молодежь, не знающую ни оглядки на прошлое, ни страха за будущее, ни разочарований, ни спасительного благоразумия. Радостен вид цветущего, могучего здоровья, прошедшего через самый взыскательный медицинский контроль. Постоянный риск, ежедневная возможность разбиться, искалечиться, умереть, любимый и опасный труд на свежем воздухе, вечная напряженность внимания, недоступные большинству людей ощущения страшной высоты, глубина и упоительной легкости дыхание, собственная невесомость и чудовищная быстрота – всё это как бы выжигает, вытравляет из души настоящего летчика обычные низменные чувства: зависть, скупость, трусость, мелочность, сварливость, хвастовство, ложь – и в ней остается чистое золото. Беседа летчиков всегда жива, непринужденна и увлекательна, разговор – редко о себе, никогда о своих личных подвигах. Нет и тени презрения

⁶⁵ Диплом (фр.).

к низшему роду оружия, как раньше это было в кавалерии, в гвардии и во флоте, хотя перевод в «земную» армию страшит летчика в сотни раз более, чем смерть. Нет насмешки по отношению к слабому, к неспособному, к неудачнику. Наивысшее развитие чувства товарищества. Умили-тельная преданность ученика учителю. И как прекрасна в этих сверхъестественных лю-дях-птицах, дерзко попирающих всемирные законы самосохранения и земного тяготения, как живописна в них беспечная и благородная, страстная и веселая, какая-то солнечная и воздушная любовь к жизни!

IV

У них свой собственный жаргон. Контакт с землею, спланировать, спикировать, покрыть пространство и т. д. Аппарат при несчастии можно «пригробить», а то и вовсе «угробить», но бывает, что «угробится» и смелый летчик. Упасть так, что очутиться внизу, под аппаратом, значит – «сделать капот». «Я взял с собой наблюдателя», – скажет летчик про полет вдвоем в бое-вой обстановке. Приглашая же на полет лицо частное, в пределах учебного аэродрома, он спро-сит: не хотите ли, «прокатаю»? Словечко немножко лихаческое и чуть-чуть свысока. Так-то вот в начале сентября прошлого года, под вечер, и предложил «прокатать» меня поручик К., любез-нейший из летчиков, странно похожий своим точным профилем и буйно-волнистой курчавостью волос на одного из героев 1812 года, портреты которых так схожи между собою на старинных гравюрах.

Солнце уже село, когда мы доехали в автомобиле до аэродрома. К ангарам трудно было пройти из-за густой грязи. Кое-где почва выложена свежесрезанным дерном, из-под которого хлопает и брызжет вода. «Это правда, – отвечал К. на мое замечание, – поле неважное для по-летов, но идеального все равно не найдешь. Да с этим неудобством мы, впрочем, миримся. А вот где наше горе: видите, посреди поля торчит куча деревьев? Пять, шесть никому не нужных де-реьев, но приходится они на самом вираже, и если бы вы знали, сколько из-за них пригро-би-лось аппаратов и сколько поломано рук и ребер. А срубить не позволяют: говорят, что на них открывается очень милый, а главное, давно привычный вид из какого-то дворцового окна».

Выкатывают из широкой пасти ангара «фарман-парассоль», номер такой-то. Я видал его раньше, в тихий солнечный день, парящим высоко в воздухе. Тогда это была легкая, маленькая, грациозная стрекозка. Теперь, в полутьме быстро надвигающегося осеннего вечера, он рисуется мне громоздким, неуклюжим, растопыренным черным чудовищем. Довольно трудно с непри-вычки садиться во что-то вроде железного котла без крышки. Летчик впереди. Его отделяет от меня стеклянная толстая рама. Вот он подымает руку кверху. Раздается свирепый, оглушающий рев пропеллера, и аэроплан, точно в ужасе, сотрясается всем своим огромным корпусом. Стре-мительный порыв ветра в лицо... Мгновенное, неопишное чувство полной потери собственно-го веса. Узенькое сиденье плавно колеблется влево и вправо.

V

Мы поднялись. Земля сразу расплылась, растаяла, поглотилась тьмой, но сверху стало светлее, хотя на небе – ни одной звезды. От дьявольского ветра у меня текут слезы из глаз. Я ничего не понимаю. Порою мне кажется, что мы несемся бешено в черную бездну, но иногда я чувствую, что «фарман» стоит на месте, а над нами и под нами стремглав мчится назад вся все-ленная. Только что налево от нас, в глубине, сияла цепь голубых электрических шаров на вокза-ле, а через две секунды они скрылись неведомо куда, и нет ее ни с одной, ни с другой стороны. Ряд ангараов сейчас выделялся на черной земле светлыми прямоугольниками величиною с трам-вайный вагон, но я отвернулся на самое короткое время, поглядел опять, и они уже не больше спичечной коробки. Страха совсем не испытываю. Но то, что я совершенно потерял способность ориентироваться, повергает меня в недоумение и растерянность, как нансеновского петуха по-лярная ночь.

Потом я замечаю, что аппарат хочет лечь набок. Левое крыло опускается все ниже и ниже, и из-под него медленно выплывают вверх вокзальные огни, между тем как правое, подымаясь, постепенно закрывает собою дворцовую башню. Я уверен, что не вывалюсь из своего горшка, что это всего лишь небольшой крен налево, маленькое скольжение на крыло, однако невольно

вцепляюсь руками в закрепы моей норы.

Но вот аэроплан выправился. Теперь он начинает как бы становиться на дыбы. Я вижу голову летчика значительно выше моей, а меня самого оттягивает к задней стенке отверстия. Мы медленно карабкаемся вверх. По воздуху!! На мгновение поручик К. оборачивает ко мне голову. В шлеме, в очках, с шеей, обмотанной шарфом, он через стекло представляет из себя диковинное зрелище, подобное невиданной рыбе или водолазу, посаженному в аквариум. Он улыбается. Эта странная улыбка и короткое движение головы вверх понятны мне!

– Ну, как?

– Хорошо, – отвечаю я кивком.

Летчик отвернулся. Аэроплан медленно принял горизонтальное положение. Мне показалось, что он даже остановился на секунду. И вдруг... ух! – и мы покатались, точно в санях с круглой ледяной горы, все ниже, ниже, быстрее и быстрее. Теперь навстречу мне рвался не ветер, а ураган.

Я задыхался, захлебывался, давился воздухом... Казалось, вот-вот прервется, остановится дыхание... Сердце падало... И все-таки было какое-то жуткое, сладкое опьянение, а не страх.

Потом сразу стало легче дышать. Аппарат выровнялся и медленно опускался к земле. Я увидел зубчатую кайму леса, ангары, которые точно росли нам навстречу, электрические шары и, наконец, самую землю. Особенно весело (для меня) побежал аппарат, подпрыгивая на неровной почве, и остановился как раз против своего ангара. Мне помогли солдаты выбраться из моей дыры, что я исполнил довольно неловко: страшно высоко прикреплено это неловкое сиденье. Ноги у меня были точно чужие, мягкие и все подгибались. Да и сам я размяк, рассолодел и точно опьянел от необычных ощущений и от стапятидесятиверстной быстроты. С бесконечной признательностью жму я твердую, горячую руку летчика.

– Ну что, хорошо? – спрашивает он, весело показывая прекрасные белые зубы.

– Превосходно. Но, кажется, это в последний раз. Не те легкие и сердце, не те нервы. И у меня, должно быть, вообще не орлиная душа. Еще раз благодарю вас. Сколько времени мы летали?

– Минут двенадцать с секундами.

Двенадцать минут! А мне показалось всего минуты две или три. Впрочем, мне и раньше говорили, что время в полете, особенно для новичков, течет незаметно.

Солдаты раскладывают на поле вблизи ангаров очень большой костер. Еще не вернулся один летчик из полета в Петроград и обратно. Костер служит для него маяком. Все офицеры школы выходят из собрания. Ждут. Наконец солдат кричит из темноты: «Идет!»

Вместе с прибывшим мы сидим в собрании за чаем. Глаза мои прикованы к трогательному украшению столовой. На стене укреплен деревянный настоящий пропеллер, а в него вставлены карточки офицеров. Это все летчики местной школы, отдавшие богу свою вольную жизнь в полетах и в боях.

И я вспоминаю прекрасный, великий и простой обычай этих людей-птиц. Во время похорон убившегося летчика все его товарищи на всех годных к летанию аппаратах провожают его тело к месту последнего вечного отдыха, описывая в воздухе круги. А над могилой героя водружается как скромный, но красноречивый памятник, – пропеллер с немногословной надписью.

Привет вам, гордые птицы удивительной русской армии! Вечная слава и светлая память погибшим героям!

Пунцовая кровь

В Сен-Совере, в этом благоуханном, зеленом, быстро-водном уголке горных Пиренеев, я однажды утром прочитал на базаре большую афишу о том, что:

«В воскресенье 6-го сентября 1925 г. на байоннской арене состоится строго подлинная коррида при участии трех знаменитых матадоров: дона Антонио Ганеро, Луиса Фрега и Никанора Вияльта, которые, в сопровождении своих полных кадрили пикадоров, бандерильеров и пунтильеров, сразятся каждый с двумя быками и пронзят шпагами в общем шесть великолепных быков славной ганадерии Феликса Морена-Арданьи из Севильи».

А внизу мелким шрифтом – шесть параграфов договора с публикой:

«§ 1. Коррида начнется ровно в 4 ч. 30 минут пополудни.

§ 2. В случае дождя коррида переносится на другой день. Печатных оповещений об этом администрация не делает.

§ 3. Деньги за взятые билеты не возвращаются никогда и никому.

§ 4. Выпускать лишних быков или заменять одного быка другим администрация отказывается.

§ 5. Ни за какие несчастные случаи администрация не отвечает.

§ 6. Покорнейше просят почтенную публику не баловаться (*pas jouer*) палками и бутылками».

Параграф пятый (о несчастных случаях) мне был понятен. У меня еще живо держалась в памяти прошлогодняя заметка о роковом событии на одной из мадридских коррид. Очень известный эспада⁶⁶, нанося решительный удар быку (эстокада), ткнул неудачно острием в кость позвонка. Шпага сломалась пополам. Свободный ее конец с визгом перелетел через барьер, попал в сердце молодого зрителя из второго ряда и убил его на месте. Какая сила и быстрота удара! Страшна и таинственна была смерть этого юноши. Он точно сам выбрал свой жребий, уступив свое первоначальное, лучшее место незнакомой даме, которая его об этом и не просила. Смысл последнего параграфа я постиг дня два спустя, когда воочию убедился, до какого стихийного напряжения могут достигать страсти десятитысячной толпы. Тогда же поверил я от всего сердца тем занимательным историям, которые мне вечером, накануне корриды, рассказывал, за чашкою чая с флёрдоранжем, хозяин гостиницы «Святого духа» в Байонне, почтенный господин Пинья, крепкий южанин с серебряной головой и с юношеским огнем в черных глазах, глубоко сидящих по сторонам величественного красного носа. Стиль его разговора я не могу передать, – для этого самому нужно быть французом, да еще южанином, – но смысл точен.

Байоннская арена окончилась постройкой в тысяча восемьсот пятьдесят втором году. Несомненно, это был царственный, широкий, хотя и противозаконный дар пылкой испанке, Евгении Монтихо, от ее августейшего супруга. Начиная с тысяча восемьсот пятьдесят третьего года императорская чета присутствовала неизменно на всех особенно громких корридах, где блистали высоким искусством матадоры: Кюшарес, Эль-Тато, Санз, Мора и другие знаменитые эспады. Многие из наших стариков до сих пор еще помнят императрицу Евгению, которая, легко облокотясь на краснобархатный барьер ложи и обмахиваясь быстрыми движениями веера, глядела с очаровательной улыбкой на кровь, на смерть, на отвагу и на красоту корриды. Говорили, что она была прекрасна. Вся блестящая знать Второй империи сопровождала своих монархов на байоннскую арену. В переполненном амфитеатре можно было узнать таких изысканных литераторов, как Теофиль Готье, де Карменен, Поль де Сен-Виктор, Амеде Ашар и Проспер Мериме. Ведь это Теофиль Готье определил однажды бой быков как «самое великолепное зрелище в мире, которое только он видел»!

– Подождите, мой друг, – сказал господин Пинья, – я сейчас покажу вам очень редкую вещь, программу пятьдесят четвертого года, одну из тех программ, что печатались специально для императорской ложи.

Он пошел, достал откуда-то из-под прилавка небольшую перламутровую шкатулку, принес ее, раскрыл и вынул изящную афишку, напечатанную чудесным старинным шрифтом на розовом муаре и счетверенную вырезным кружевом, с наполеоновским черным одноглавым орлом наверху.

Я с умилением рассматривал этот прелестный лоскуток, которому было семьдесят пять лет, а хозяин продолжал говорить. Странно: у байоннского трактирщика были утонченные, аристократические взгляды на благородное искусство тавромахии.

– Этому великому искусству больше тысячи лет. Не из-за денег, а ради рыцарской славы и улыбки прекрасной дамы ему служили знатнейшие гранды Испании, и первым между ними был

⁶⁶ Эспада — название матадора. (Примеч. А. И. Куприна.)

герой народной легенды Сид Кампеадор. Верхом на боевом коне он сражался один на один с диким быком и закалывал его насмерть своим тяжелым копьём.

Потом эта рыцарская игра стала платным зрелищем для толпы. Грандов заменили специалисты-матадоры, выходящие против быка пешими, со шпагою в девяносто сантиметров длиной. Страшный удар копья с высоты седла отошел в область преданий, да у современных людей уже и не хватило бы силы и ловкости его нанести. Лошадь теперь участвует в корриде лишь в силу многолетней традиции и для удовлетворения жажды крови.

Но у матадоров было свое классическое время. Посмотрите внимательно на эту старую афишу. На ней указано имя каждого из быков, и их имена стоят впереди имен матадоров и членов их кадрилий. Это была джентльменская вежливость к опасному и почетному противнику, потому что последний короткий бой между быком и эспадой ведется честно и открыто, и ни один, даже самый прославленный торреро никогда не бывает уверен в том, что сегодня его не понесут с песка арены ногами вперед.

В те времена, еще совсем недалекие от нас, требовалось, чтобы эспада убил своего быка лицом к лицу, прямо, бесстрашно, правильно и красиво. Но постепенно низкий уровень толпы, ее грубые кровожадные вкусы, а в особенности холодное любопытство англичан, принудили лучших матадоров прибегать к рискованным фокусам, к жуткому заигрыванию со смертью. Я не хочу сказать, что это ежеминутное скольжение на волосок от гибели не заключает в себе безумной отваги, но я думаю, что прекрасное искусство тавромахии существует для насыщения стойких и твердых душ, а не для щекотания притупленных и избалованных нервов. Храбрость должна быть горда и добра, а не услужлива. Так думаем мы, старые и верные посетители корриды. Вот завтра вы увидите Никанора Вияльта. Он – Вияльта – один из редких ныне представителей классического метода. Мы, спокойные знатоки, его высоко ценим, но он не для большой публики. В прошлом году, на одной из блестящих мадридских коррид, он убил подряд двух своих быков с такой простотой, с таким изяществом и с такой математической точностью, каких давно не видали понимающие люди. Вы, конечно, знаете, в чем заключается высшая награда матадору? По решению судей, у убитого быка отрезают правое ухо и торжественно подносят его особенно отличившемуся победителю. Так вот, все знатоки и настоящие любители корриды требовали, чтобы этот лестный подарок был присужден Никанору Вияльта. Но в составе судей преобладали, вероятно, поклонники стиля модерн. Они не поняли всего того совершенства, с которым работал Вияльта, и отказали. Тогда представители прессы, сложившись, поднесли через несколько дней образцовому эспада бычачье ухо, сделанное из чистого золота. Вот это – славный почет!..

– Конечно, – продолжал Пинья, протягивая мне портсигар с тонкими сигаретками, – конечно, это злоупотребление эффектными трюками – явление временное, и мода на них может так же легко уйти, как и пришла. Классическая коррида со своим почти религиозным, строгим порядком не исчезнет до тех пор, пока существует Испания. Ведь недаром же испанский национальный флаг состоит из двух цветов – желтого и красного: это – неизменный песок арены и поливаемая на нем тысячу лет кровь.

Впрочем, и Байонна крепко держится за традиции арены. Лет шесть, а может быть, и восемь тому назад французское гуманное правительство решило совсем искоренить бои, включающие *mise à mort* (смертный исход) для быков и лошадей. Там, на севере, эта игрушечная коррида, где бык считается пораженным, если ему успели наклеить кокарду между рогов, привилась без ропота, но и без особого интереса среди анемичных французов. Здесь же, на юге, живет слишком много испанцев, итальянцев и басков, в жилах которых быстро бежит очень красная горячая кровь. Слухи о введении вегетарианской корриды, правда, у нас носились задолго, но все от них только презрительно отмахивались, как от явного вздора. Но однажды, в августе, афиши вышли с объявлением, что коррида состоится без смертельного конца. Однако никто этому не поверил, и арена была, как всегда, переполнена сверху донизу. Но когда публика убедилась в отсутствии лошадей и когда украшенного кокардой быка стали загонять обратно за кулисы, – толпа пришла в негодование и устроила скандал, неслыханный и невиданный за все семидесятилетнее существование байоннской арены.

– Забава с палками и бутылками? – спросил я лукаво.

– О, гораздо серьезнее! Толпа так ревела, что слышно ее было на вокзале, за четыре километра. Растерянная администрация вызвала полицию. Это окончательно взбесило ослепленных яростью южан. Мгновенно все, что находилось в здании арены деревянного, – скамейки, спинки,

перегородки, барьеры, стулья, столбы, перила, перекладыны – все было вырвано и переломано на куски. Сложили огромный костер на середине арены, облили его керосином и зажгли. Я теперь не помню, какими мерами удалось прекратить народное возмущение, которое уже начало разливаться по улицам. Целую ночь напролет бодрствовали военные наряды и пожарная команда. Страшный был день.

– Воображаю! – согласился я. А господин Пинья прибавил:

– Но зато теперь наша арена – сплошь из камня и железа. Ее не сожжешь.

Я уговорился с моими русскими друзьями, ночевавшими в Биаррице, встретиться в моей гостинице заблаговременно, часов около двух с половиной, а если возможно, то и пораньше, чтобы успеть до начала и видеть съезд. Но напрасно я их ждал на террасе до трех, и до трех с половиной, и до четырех без четверти. Мимо меня от вокзала проехал верхом на огромной гнедой кляче, в необыкновенно высоком деревянном седле с двух торчащих луках, пикадор. На нем была черная лакированная тяжелая шляпа с широченными полями, укрепленная под подбородком ремнем; курточка, сплошь унизанная, как кольчуга, красными камушками из поддельного граната, и толстой кожи желтые сапоги, от ступни до бедер. Мне очень понравилось его румяное и чернобровое, серьезное, несмотря на молодость, лицо с узкими дорожками бакенбардов, идущих от висков. Тут я почувствовал, что мне пора идти, и притом не ленясь. Милый господин Пинья проводил меня крепким рукопожатием и пожеланием доброй корриды. Сам он ждал своих знакомых, которые должны были заехать за ним в коляске.

Мне ни у кого не надо было спрашивать дорогу к арене. Вся Байонна шла туда по широким улицам, по прекрасным мостам через Адур и Гав-де-По. Нетерпение охватило меня, и я часто перегонял пешеходов. Помню просторную, зеленую от травы площадь, по которой многочисленными радиусами стекались люди все к одному пункту, к станции электрического трамвая. После станции шел поворот в узкую улицу, где стало очень тесно, потому что в нее вливается также дорога, соединяющая роскошный Биарриц, этот вечный приют скучающих миллиардеров, со скромной Байонной. Бесчисленное количество сверкающих роль-ройсов, шикарных лимузинов и других гордых «собственных» автомобилей протискивалось сквозь толпу, уплотняя ее и прижимая к стенам и заборам. Так, в пыли, в душной человеческой гуще, оглушаемый рывканьем моторов, я добрался наконец до голого загородного выгона, на котором увидел арену. Это гигантское круглое здание без крыши занимает столь огромное место на земле, что, несмотря на высоту его стен, оно кажется приземистым. Окраска его невыразительно красная, с тем ржавым, желтоватым оттенком, какой принимает высыхающая кровь. Вынесенное за город, окруженное низкой пыльной притоптанной травой с одной стороны и колючими ожинками кукурузы с другой, оно производит будничное, одинокое, унылое и скупое впечатление, точно городская бойня, резервуар газового завода или главная нефтяная цистерна. Над ее стеною по всей окружности тихо шевелятся на высоких шестах красно-желтые испанские флаги. Вместо окон – ряд круглых больших отверстий, сквозь которые видны ступени серых каменных лестниц. Внутрь арены ведут восемь зияющих темнотою арок, обозначенных литерами; в них беспрерывно льются черные человеческие потоки.

Нашу литеру «Б» я отыскиваю скоро и без труда. Один из моих друзей уже прошел и стоит сзади контроля. О времени и месте нашей встречи он забыл и слегка журит меня за опоздание. Третий компаньон забежал по дороге на телеграф и сейчас явится.

Смотрим на часы: без двух минут половина пятого. «Не волнуйтесь и не горячитесь, – успокаивает меня приятель. – Сложное представление на открытом воздухе, да еще на юге: у нас в запасе верных четверть часа». И правда: у меня ноги горят и сердце бьется от страстного нетерпения. Увидеть бой быков – моя пламенная мечта с пятнадцати лет.

Уже мое настороженное ухо ловит медные глухие звуки марша, когда появляется третий компаньон. Он, видите ли, был уверен, что наша литера – «Р», и ждал нас все время в соответствующей арке. Мы немножко ссоримся по этому поводу (о Калуга! о Тамбовская губерния!), но все-таки торопливо бежим по коридору. Третий друг – спасибо ему – человек с опытом: на ходу он успевает взять напрокат три подушки, набитые сеном, по франку штука. Мы находим свою каменную лестницу, страшно крутую и узкую, как щель. Медленно поднимаемся вверх в середине ползущей сплошной человеческой гусеницы. Сворачиваем на открытый балкон – и перед нами открывается песчаная арена. Опоздали! Церемониальное прохождение всех кадрилий окончилось. Мы застаем только уходящий хвост, состоящий из упряжных вороных мулов в

красной сбруе и пеонов третьего разряда, в красных блузах, с головами, туго обвязанными красными платками. Отыскиваем свои номера, напечатанные черными цифрами прямо на каменных сиденьях из темно-серого шершавого камня, кладем подушки и садимся на них.

Половина амфитеатра в глубокой тени, половина – на ярком свете. Круглая арена разделена надвое тонкой и кривой, как лезвие серпа, линией: справа песок горит, точно чистое золото, слева на нем лежит черно-голубой воздушный покров. И как теперь прекрасна, как она сказочно великолепна, эта столь нелюбимая мною толпа, тесно залившая, облепившая ложи, балконы, граден и все проходы!

Солнечная сторона переливается всеми цветами, какие есть на свете, и вся она в непрерывном движении, колыхании, трепете. Быстро-быстро машут невидимые руки веерами и программами. Нет сравнений, чтобы передать эту упоительную, волшебную игру красок. Как будто бы миллионный рой бабочек – голубых, белых, синих, лиловых, красных, желтых, черных, коричневых, фиолетовых, зеленых, малиновых, оранжевых и розовых – спустился вдруг на высокую гору, покрыл ее всю и, услаженный солнцем, радостно бьется в воздухе и дрожит своими легкими, полупрозрачными крылышками. Теневая сторона гуще и глубже красками. И она почти неподвижна. Она похожа, по-моему, на те роскошные французские цветники-партеры, в которых на обширном пространстве тесно перемешаны в восхитительном беспорядке цветы всех форм и всех красочных тонов. На солнечном полуамфитеатре я видел лишь горячие ослепительные пятна; здесь, мне кажется, я вижу тончайшие линии, мельчайшие узоры. И с нежной признательностью я пью глазами эту живую несравненную прелесть. Над нами высоко распростирается бледно-сапфировое небо. Как чист воздух! Вон, вверху, на самой стене, стоит отдельный человек. Он мне кажется, на широком фоне неба, маленьким, как обычная типографская буква, но с поразительной точностью я схватываю все очертания его фигуры.

Мы поместились очень хорошо. Прямо перед нами арка, откуда показываются быки; над нею узкая печатная вывеска: «Cuadrilla de Ganero»⁶⁷. По левую руку – высоко расположенная судейская ложа. По правую – вход для матадоров и членов корриды.

Ложи все построены высоко над землею. Кроме того, они отделены от песка сплошным красным барьером, почти в человеческий рост. Таким образом, между ложами и ареной идет круговой коридор.

Из правых дверей выехали два всадника на вороных конях, в черных средневековых одеждах с позуменгами и кружевами, в высоких черных шляпах с черными страусовыми перьями. Один из них, высокий и худой, сидел на долговязой тощей лошади; другой – толстый и короткий – имел под собою маленькую жирную и, кажется, жеребую кобылу. Это были альгвазилы. Может быть, они изображали бессмертных испанских героев: Дон-Кихота и Санчо Пансу? За ними, немного в стороне и сзади, ехал, сдерживая строгим мундштуком статную, горячую, красивую светлую рыжую лошадь, дон Ганеро – первый, по очереди, из нынешних матадоров, бывший капитан королевской кавалерии. Он весь в черном шелке, только голова его обвязана клетчатым розовым платком, кончики которого торчат наружу ушками из-под черного берета, и это, представьте, вовсе не смешно, а, наоборот, мужественно и красиво.

Я не успел заметить, что такое делали альгвазилы у барьера под судейской ложей. Я видел только, как, повернув лошадей, они медленно и торжественно пересекли арену и скрылись за барьерною дверью. Не получили ли они ключей от помещений, где содержатся быки?

Дон Ганеро сделал вслед за ними круг по арене. Он заставлял свою лошадь то идти испанским шагом, высоко закидывая вверх передние ноги, то подниматься, через шаг, на дыбы. Публика безмолвствовала. Это она привыкла видеть в каждом плохоньком цирке. Она ждала дальнейшего, зная, что дон Ганеро, вопреки традиции, или, вернее, по великой традиции Сида Кампеадора, не признает ни работы пикадоров, ни зрелища распоротых лошадиных животов. Двое его бандерильеров показали на арене с ярко-пунцовыми плащами, перекинутыми через руки. Раскрылись прямо перед нами барьерные двери, и вышел, именно не выскочил, а вышел, большой, черный, рогастый и очень равнодушный бык. Слепленный солнцем, изумленный непривычной обстановкой, он сделал несколько шагов, остановился и, внезапно повернувшись спиною к публике, неторопливой рысцой направился обратно к выходу. Но двери уже были за-

⁶⁷ «Кадрилья Ганеро» (исп.).

мкнуты. Подбежавшие бандерильеры стали его дразнить своими пунцовыми плащами. Тогда он, несколько живее, перебежал вкось арену, ткнулся в барьер, подумал и встал, как собака, на задние ноги, упираясь передними в стенку. Публика сдержанно смеялась. Бандерильеры опять отвлекли его на середину арены. Но бык, по-видимому, решил во что бы то ни стало вернуться домой. Сделав ленивую и неудачную попытку боднуть одного из бандерильеров, он сразу понесся галопом к тому же самому месту барьера и вдруг с необыкновенной легкостью мягко и беззвучно через него перепрыгнул, вызвав несколько случайных женских вскриков.

Пеоны, с головами, обвязанными красными платками, засуетились в коридоре. Прошла минута – и бык снова показался во входных дверях.

Теперь миролюбие и рассудительность покинули его. Увидав вблизи себя развевающийся яркий плащ, он кинулся на него со склоненными низко рогами и ударил. Но плащ в то же мгновение метнулся, вскинулся в воздухе и исчез, а с другой стороны уже дразнил его налившиеся кровью глаза новый плащ, который стелился и змеился по земле.

Дону Ганеро подали из-за барьера его специальную бандерилью, длиною почти с копьё, и он свободным галопом помчался на быка. Бык увидел это и, глухо заревев, бросился в атаку. Но, почти наскочив на животное, почти коснувшись его, дон Ганеро сделал на скаку крутой ловкий вольт. Удар быка пришелся впустую. Увидев снова лошадь и всадника, бык кинулся их преследовать, но не мог догнать и повернул в сторону, чтобы броситься на людей с плащами. Ловкий и быстрый Ганеро уже опять крутился около него и вдруг, улучив момент, с такою силою вонзил ему в затылок бандерилью, что она вошла глубоко под кожу и застряла в ней, раскачиваясь при каждом движении быка. От боли бык обернулся назад, сделал несколько поворотов вокруг себя, точно стараясь схватить зубами досадный раздражающий предмет, и опять заревел.

Эта тонкая, ловкая и жуткая игра велась долго, и... как странно вела себя, глядя на нее, взыскательная публика! В ней все время раздавался тихий, вежливый, но упорный свист. Это свистали дону Ганеро, как отступнику от традиции, освященной привычкой. Но каждый его ловкий и дерзкий маневр, каждый меткий удар встречался дружными аплодисментами.

Морда у быка уже опенилась, и черная шея покрылась потоками крови, которая на черной шерсти – влажной, гладкой и блестящей – казалась не красной, а темно- и густо-пунцовой. Заунывный звук труб пронесся откуда-то сверху. Сигнал, возвещающий смерть быку, или...

Дон Ганеро спешил и подошел к барьеру, под судейской ложей. Ему подали девяносто-сантиметровую шпагу и красную мулету. Бык был подведен бандерильерами совсем близко. После нескольких приемов дон Ганеро ударил, но неудачно. Только после второго удара бык, спустя некоторое время, упал. Откуда-то появился специальный быкоубийца – пунтиллеро – с коротким кинжалом в руке. Он склонился над быком, нанес быстрый удар в затылок, и бык растянулся на песке, пятная его пеной и кровью.

Из барьерных ворот пеоны вывели пятерку горячих мулов, красная упряжь которых оканчивалась массивным железным крюком. Почувяв кровь, животные долго артачились и бесились, пока не удалось служителю зацепить крючок за шею, и черную тяжелую тушу рысью поволокли встревоженные мулы за кулисы. Ничего жалкого или некрасивого не было в мертвом быке. Низменными и противными показались все движения человека, dokonчившего его жизнь кинжалом.

Не существует более делового и точного зрелища, чем коррида. В ней нет места ни вступлениям, ни объяснениям, ни антрактам, ни задержкам. Только что убрали труп первого быка и пеон едва успел заровнять граблями следы крови на песке, как из отворенных ворот быстро выбежал второй бык. Он был немного меньше ростом, чем предыдущий, но легче его, суше и ладнее; тоже черной масти, переходящей на крупе в серо-железный цвет. Бык не дожидался нападения, а напал сам, обнаруживая большую энергию и увертливость. Первую бандерилью дон Ганеро, сидя уже на новой, свежей лошади, воткнул в него неудачно. Она подержалась несколько секунд и упала. Бык остановился, медленно нагнул до земли голову, понюхал окровавленное острие и в бешенстве стал взрывать песок передними ногами. При этом он ревел, и в его реве – негромком, но чрезвычайно глухом и низком – слышалась сдержанная, сжатая, злобная угроза. И как только мелькнул перед его глазами дон Ганеро на лошади, бык тотчас же полетел за ними вдоль барьера, не отставая ни на вершок. Весь амфитеатр ахнул, когда наконец, полным карьером настигнув лошадь, бык успел толкнуть ее рогами в зад, но толкнул не острием, а боком. Вот когда я увидел воистину «коня бледного»! Лошадь под доном Ганеро вообще горячилась, и ее

шея, там, где она соприкасалась с поводьями, была слегка взмылена. Но после толчка, нанесенного быком, она сразу вся покрылась белой пеною, и дон Ганеро должен был ускакать в коридор, чтобы пересесть на третьего коня.

Над этим подвижным быком было тяжело работать. Кавалер-матадор сделал много промахов, пока не вонзил трех бандериллий. И убить себя бык дал нелегко. Поверженный вторым ударом шпаги, он упал на землю и некоторое время лежал на животе, подогнув под себя передние ноги. Пунтиллеро уже подходил к нему со скрытым в складках одежды кинжалом и уже нагибался над ним предательским движением Яго... Но бык вдруг, одним толчком, вскочил на все четыре ноги и с такой неожиданной, бешеной яростью бросился на окружающих его врагов, что они рассыпались в разные стороны. Публика разразилась единодушным взрывом аплодисментов. Но силы уже оставили это достойное, храброе животное; оно снова упало и повалилось на бок. Его прикончили.

На барьере повесили новый аншлаг: «Cuadrilla de Freg»⁶⁸. И сейчас же как из-под земли выросла и разбежалась по арене эта кадрилиа. По публике пронеслось, подобно электричеству, сдержанное оживление. От Луиса Фрега ждали многого. Ему только тридцать пять лет, но он самый старший из современных матадоров. Он носит титул доктора тавромахии, данный ему самим Лагартилло Чико; в высокое звание матадора его посвятил великий Мазантинито. В двадцать третьем году он был опасно ранен быком из ганадерии Матиаса Санхеса, но уже в двадцать четвертом году он одержал много блестящих побед, а в сентябре прошлого года убил своих двух быков на мадридской корриде с таким мастерством, что был восторженно приветствован десяти тысячной толпой и вынесен на руках с арены. Печать за его дерзкую отвагу дала ему прозвище «Торрего de l'émotion» – тореадор, дающий сильные ощущения. Он сам невысокого роста и строен; в движениях его есть наигранная, шаблонная грация, и ему присущи несколько актерские жесты.

Выехали двое пикадоров на высоченных костлявых лошадях. У каждой левый глаз был наискось завязан темной косынкой. Они расположились под нами в небольшом расстоянии друг от друга, спинами к публике.

Выбежал бык, черный, как и все «торо» ганадерии Арданьи, с серыми просединами на крупе и на ляжках, очень живой и предприимчивый. Но напрасно мы ожидали горячей борьбы и жутких ощущений. Фрег ежеминутно терял удобные моменты, часто отступал, промахивался или вонзал бандерильи так слабо, что они тотчас же валились на песок. И вся его кадрилиа работала вяло, не вдохновляемая примером своего главы. Только лишь один из бандерильеров, в голубом шелковом костюме, сплошь затканном золотом, выгодно выделялся из всех. Он невольно обращал на себя внимание изяществом и уверенностью движений. От разъяренного быка он не спасался бегством, но подпускал его вплотную к себе в его разбеге, давал ему дорогу и вежливо пропускал.

Указывая на него, мой приятель, далеко не впервые посетивший корриду, сказал мне тоном знатока:

– Посмотрите на этого, голубого с золотом. Его ждет большая карьера. Заунывная труба возвестила срок выступления пикадоров. Один из них, на серой длинной кляче, выдвинулся вперед, и бандерильеры, маневрируя своими яркими плащами, подвели быка, незаметно для него, совсем близко к лошади. Бык увидел и остановился. Тогда пикадор шпорами и поводом повернул лошадь так, что она пришлась к быку левым боком и левым глазом. Все остальное произошло в мгновение. Низко склонив голову, бык рванулся к лошади и, ударив ее рогами в живот, поднял на воздух. Копье пикадора не остановило его ни на секунду. Мигом здесь образовалась пестрая каша: бык, лошадь, упавший пикадор, Фрег, бандерильеры и пеоны. Но голубой с золотом быстро отвел быка своим пунцовым плащом. У серой лошади жалко подгибались задние ноги, и из разорванного живота выползали наружу кишки: серые и желтые, тускло блестящие слизью под ослепительным солнцем. Наконец она присела на зад и повалилась на бок. Ах, нет! Я не знаю более печального зрелища, чем издыхающая или дохлая лошадь в лежачем положении. Ее живот кажется таким раздутым, плечи такими узкими, шея такой плоской и длинной, а голова такой маленькой! Я до сих пор помню острые слезы, которые закипели в моей груди, когда в

⁶⁸ «Кадрилиа Фрега» (исп.).

конце тысяча девятьсот семнадцатого года я увидел лошадиную падаль, валявшуюся на Измайловском проспекте, у Плевненского памятника, и никем не убираемую несколько дней... Но, впрочем, к чему эти домашние воспоминания? Мимо!..

Первую лошадь доколот пунтиллеро. Вторую, гнедую, бык убил наповал: она, лежа на песке, только подрыгала немного задними ногами, судорожно вытягивая их, и замерла. Тотчас же прибежали пеоны и покрыли оба трупа брезентами. Получились плоские, серенькие, сморщенные могильные холмики. Роковая труба возвестила между тем последнее единоборство.

И тут-то Луис Фрег оказался бесконечно ниже своей прославленной, мировой репутации. Неудача за неудачей, неловкость за неловкостью преследовали его. Он колебался, пятался от быка, робко пропускал выгодные моменты. Два раза выпады его были безрезультатны. Тут я кстати запомнил одну подробность, которую не уловил у донна Ганеро; всадив клинок в быка глубоко, но не смертельно, матадор не извлекает его обратно, а оставляет его торчать в теле, рукояткою наружу. А ему подают через барьер новую и новую шпаги. Перед третьим ударом Фрег казался совсем беспомощным и бесцельно совал острием в воздухе. Чей-то грубый бас с галерки крикнул нетерпеливо: «Mata lo!» («Убей его!») И мгновенно весь амфитеатр подхватил этот крик: «Mata lo! Mata lo!»

Тысячи оглушительных свистков пронзили воздух. Тысяча здоровых глоток закричала грозно и зловеще: «Угу! Угу! Угу!» – совсем так, как кричат по ночам наши северные огромные белые филины, только грубее, громче и ниже тоном. И мне стало немного жутко.

Мне кажется, что третий удар Фрег нанес, закрыв глаза. Бык после него стоял на месте, а Фрег отступал назад, слегка пошатываясь. Тогда один из бандерильеров, подойдя близко к быку, потряс у него перед глазами плащом и сразу повел плащ назад. Бык круто повернулся, вслед плащу, телом, но ноги не успел передвинуть: они переплелись, и бык рухнул на землю. В ту же секунду пунтиллеро оседлал его сзади и прикончил мгновенным ударом. Свист, крик, визг, ругательства и проклятия переполнили всю арену сверху донизу. Когда мертвого быка увезли мулы, то на том месте, где он упал, осталась огромная черно-пунцовая лужа крови.

Коррида не знает остановок и перерывов. Со следующим быком немедленно должен был сразиться все тот же злополучный Фрег. Но чья-то милостивая душа дала ему передышку. На арену вышла кадрия Никанора Вияльта во главе со своим молодым матадором, в котором я и мой сосед тотчас же узнали изящного бандерильера, голубого с золотом, так незаметно блиставшего в предыдущем состязании.

Это участие с его стороны было рыцарской услугой товарищу и почет старшему мэтру. Я позднее узнал о том, что именно Луисом Фрегом был посвящен Никанор Вияльта в высокое звание матадора шестого августа тысяча девятьсот двадцать второго года в Сен-Себастиане, а мне давно известно, каким бескорыстным уважением окружают люди силы, риска и отваги своих учителей. Эта часть программы прошла безукоризненно при неослабевающем восторге зрителей. Кадрия, прекрасно одетая и чудесно подобранная, работала легко и весело, точно забавляясь игрою со смертью. Вияльта показал себя во всем блеске молодости, естественной грации и совершенного владения страшным искусством тавромахии. И бык, с которым суждено было сразиться этому голубому с золотом матадору, являл собою образец дикой красоты и свирепой мощи. Он не вышел, а ворвался ураганом на арену. Не дожидаясь вызова со стороны людей, он бросился на первую мелькнувшую ему в глаза, сверкавшую золотом фигуру и погнал ее вдоль барьера, но вдруг бросил ее, круто повернулся вбок и помчался за пунцовым плащом. И с разбега внезапно остановился на самой середине амфитеатра, застыв неподвижно, как великолепное изваяние из черного мрамора. Я четко видел его в профиль. Он казался мне черным силуэтом на золотом фоне. Какой плавной дивной линией была очерчена его фигура: крутая мощная морда, широкая и короткая шея с надменным подгрудником и стройное возвышение холки, переходящее в покатуую крепкую спину. Он был на низких тонких ногах, широкогрудый и поджарый, вовсе не родственник корове или теленку, – дикий зверь, равный по своеобразной красоте лошади, но превосходящий ее выражением силы и отваги. Вокруг меня заматерелые поклонники боя быков сладостно вздыхали и чмокали языками, глядя на него. Право, как жалко, что в наши дни программы не сообщают имен таких благородных быков.

А в это время Никанор Вияльта переходил неторопливо от судейской трибуны на противоположную сторону, пересекая тень и свет, лежавшие на арене. Он держался прямо, непринужденно и со спокойным достоинством. Его походка была уверенна, легка и красива, голова высо-

ко поднята. И весь он был воплощением красоты мужского тела. Он близко прошел мимо быка, и оба они точно не заметили друг друга, не повернули голов. Но моей фантазии показалось, что на короткую секунду их боковые взоры встретились и сказали: сейчас увидимся.

Весь амфитеатр, все десять тысяч человек следили не отрываясь за каждым его движением. Зрители высунулись вперед и перегнулись на своих сиденьях, задние легли на плечи передних. Стало тихо.

Вияльта подошел к красному барьеру, остановился против одной из лож. Не спеша снял правой рукой берет и сделал глубокий почтительный поклон. Вокруг меня торопливо зашептали растроганные голоса: – Мама! Мама! Мадре! Мама! Мадре! Это его мать!

Вияльта выпрямился и, легко поворачиваясь назад, круглым ловким жестом бросил, не глядя, из-за спины, свой берет в черную многочисленную людскую массу. Тотчас же десятки услужливых рук передали его туда, куда следует. Худенькая, еще не старая женщина, желтолицая и черноглазая, в темном платье, с черной кружевной шалью на голове, спокойно приняла берет и ответила соседу медленным, едва заметным поклоном. Так посвятил Вияльта своей матери этого прекраснейшего из быков, которого он сейчас убьет во славу Испании и в честь обожаемой женщины – матери!

И закипела, закружилась, завертелась, засверкала блеском золота и яркостью красок коррида. Никанору Вияльта подали две бандерильи, обвитые и разукрашенные лентами. Он взял их кулаками за тупые концы и высоко поднял над головой, остриями вниз, и, так держа их, побежал прямо на быка, едва прикасаясь голубыми ногами к желтому песку. Бык понесся ему навстречу. Ни человек, ни животное не сворачивают с прямой линии. Сейчас они столкнутся. Хочется закрыть глаза от ужаса... и не можешь!

И вот столкновение! Поднятые вверх руки Вияльта быстро разом опускаются. Бык мгновенно остановился. Вияльта делает шаг в сторону. В затылке у быка торчат, наклонившись в разные стороны, и покачиваются две пестрые бандерильи. «Оле, Вияльта! Оле! Оле!» – кричат оглушительно зрители и плещут ладонями. Пунцовый плащ бандерильера застилает на минуту глаза быку и увлекает его в другую сторону. А пеон подает Никанору Вияльта две новые бандерильи. И так четыре раза подряд, с той же ловкостью и точностью украсил смелый матадор своего быка восемью колючими, многоленточными, яркими стрелами. Был здесь, в этой грациозной и опасной игре, один момент, почти неуловимый, но заставивший всю десятитысячную толпу одновременно ахнуть от ужаса. Небрежно и изящно мелькая перед глазами быка, дразнимого пунцовым плащом, и уходя от него красивыми пируэтами, Вияльта довел его к тому месту, где за барьером, в ложе, всего в десяти шагах, сидела мать эспады. Там Вияльта остановился. Бандерильеры опустили свои плащи. Остановился и бык. Совсем маленькое расстояние разделяло животное и человека. И вот Вияльта делает полшага к быку. Протягивает прямо руку между остроконечными рогами.

Я вижу в бинокль, как его вытянутая ладонь бестрепетно, кончиками пальцев, касается несколько раз крутого темени. Бык в тяжелом недоумении стоит застывши, как прекрасное изваяние из черного мрамора. Напряженная тишина на арене. Вияльта делает еще четверть шага вперед, дотрагивается до пестрой бандерильи, свесившейся над мощным черным лбом, и – какая дерзкая отвага! – осмеливается слегка покачать ее. И вдруг – как пестрым ярким вихрем взметнуло и завертело доселе недвижимую группу. В том, что так мгновенно произошло, никто не дал бы себе верного отчета. Я увидел лишь, как бык быстро и низко склонил голову. Как Вияльта внезапно очутился спиной к нему, между широкой развилиной его рогов. Потом мощный и тупой толчок крупного черного лба... И Вияльта упал. Вся арена разом вздохнула, точно вздохнула одна исполинская грудь. Послышались тонкие женские крики. Но Вияльта был в целости. Вследствие близкого расстояния бык не успел или не догадался уклонить морду рогом вбок, а Вияльта не потерялся. Падая, он лишь полусогнул одно колено и одной рукой плотно уперся в песок. Тотчас же перед глазами быка замелькал, закрутился пунцовый плащ бандерильера, и животное яростно бросилось в сторону. Эта ужасная сцена заняла лишь долю секунды; но сидевшая так близко пожилая черноглазая испанка в черной шали, мать своего милого любимого Никанора, – что она думала и чувствовала в этот коротенький миг?

А Вияльта, высоко подняв кверху две бандерильи, уже бежал беззаботно и легко, точно на крыльях, навстречу быку, у которого только что побывал почти на рогах. Этот бык долго не уставал и не утишал своего гнева. Двух лошадей он поднял на рога и бросил на землю с порази-

тельной силой и быстротою; один из пикадоров ушел с арены без шляпы, держась обеими руками за ушибленную голову. Та же судьба постигла бы и третью выведенную на арену лошадь, если бы не запел свою грустную мелодию медный рожок, зовущий к последнему поединку.

Никанору Вияльта принесли мулету – красный квадратный флаг, нанизанный одной стороной на невидимую тонкую палку. (Во всей корриде единственный чисто-красный цвет – это цвет мулеты.) Держа ее в левой руке, он подошел к барьеру под судейской ложей. Ему подали шпагу с длинным узким клинком, холодно и тускло блестящим бело-синей сталью. Его поднятая вверх голова была обнажена, и можно было видеть на затылке традиционную косичку, наивно связанную узлом. Так он стоял, произнося короткую клятву в том, что убьет своего быка, – согласно древним священным обычаям, в прямом и открытом бою, не прибегая ни к каким уловкам или ухищрениям, – во славу Испании, в честь обожаемой женщины и для возвеличения благородного искусства тавромахии. Затем он передал в правую руку мулету, тщательно прикрыв красной материей зловещую сталь шпаги. Бык должен увидеть обнаженную шпагу лишь перед самым последним, самым решительным, самым страшным моментом. Таков строгий закон старины!

Играя красной мулетой перед глазами быка, скользя небрежными пируэтами перед самыми остриями его рогов, Вияльта с математической точностью подводит его к тому месту, на котором он приносил присягу. Здесь он останавливается. Приближаются бандерильеры, размещаясь сзади и сбоку быка. Бык весь в пунцовой крови и с пеной у рта, но он так же свеж и силен, как при своем появлении на арене. Глядя на мерные движения его боков, я чувствую, что его дыхание неспешно и глубоко. Если понадобится, он пробежит еще двадцать верст и перебросит через себя любую лошадь, как ржаной сноп.

И вот, охватив левой рукой красную материю мулеты точно ножны, Вияльта медленно вытягивает из нее шпагу, так медленно, как будто бы он обтирает сталь от крови. И когда шпага обнажена, он тихо опускает ее сверху и вытягивает горизонтально над головой быка, между завитыми, острыми, грозными рогами. Это прямой вызов. Теперь человек ждет ответа от животного. Их разделяет только два шага, и одному богу известно, чья душа – человека или животного – пойдет сейчас по тому неведомому пути, о котором допытывался Экклезиаст! И бык принимает вызов. Он чувствует, что вся предыдущая борьба, где люди были так жестоки, так ненавистны и так неуловимы, окончилась.

Тот, что стоит теперь неподвижно перед ним, сверкая золотом, не побежит и не отступит. Остается одно: быстро склонить голову и мгновенным напором вонзить рога в это столь близкое и тонкое тело. И бык делает это с той звериной быстротою, которая теперь уже непостижима и недоступна слабому, выродившемуся человеку. Но, убрав вниз голову, он на одну неуловимо малую долю секунды открывает для шпаги свой подзатыльник. Один миг! Человек и бык точно скользнули друг на друга. Какая тишина кругом!

И вот Вияльта отступил на полшага, опустив вниз теперь уже обезоруженные руки. Бык остается на месте. Среди кадрильи движение; она готова броситься и помочь, но Вияльта повелительно вытягивает вперед руку с поднятой ладонью: «Нельзя!» Бык все еще стоит на четырех ногах, но уже слегка покачивается. Ноги его начинают вздрагивать, колени сгибаются. Он теряет устойчивость и падает. Пробует подняться. Нет. Все кончено. Ложится на бок. Судороги бегут по его телу и по конечностям.

Какая буря воплей и аплодисментов! Приняв с низким поклоном свой берет из ложи, Вияльта идет вдоль барьера. Шляпы, портсигары, платки, браслеты, сигары летят по его пути на арену. Он без всякого усилия нагибается, поднимает эти предметы и необыкновенно ловко бросает их обратно, заставляя вращаться на лету. Радостно смотреть на его обращенное вверх лицо. Он блещет торжеством победы и великолепным счастьем жизни.

О втором выступлении Фрега не стоит и говорить. В промежутках между неудачными эстакадами он от волнения пил воду, и стакан дрожал в его руке. Он пробовал ударить быка не голый шпагой, а под прикрытием мулеты, за что был освистан и обруган толпой. Ему кричали: «*Ala puerta!*» («За двери! вон!») и другие, непонятные мне, громкие слова. Бедный совсем «потерял сердце», что случается не только у матадоров, но и у жокеев, и у авиаторов, и у боксеров. От этого мгновенного, неожиданного ослабления нервов не застрахован самый испытанный, самый дерзостный храбрец. Профессионалы риска относятся к этому несчастью, внезапно постигнутому товарища, с той же молчаливой деликатностью, как к смерти друга, как к тяжелой болезни близ-

кого.

Умолчу и о втором туре Вияльта. Ему попался огромный, грубый, тупонервный, черно-грязный бык, с мрачной наружностью профессионального убийцы. Его правое ухо, по постановлению судей, было отрезано и поднесено Никанору Вияльта. Но не могу не упомянуть о моем утреннем гранатовом пикадоре, участвовавшем в последней корриде. Он трижды и прямо с железной неуступчивостью и с необычайной энергией отражал своею пикою бешеные атаки свирепого исполина. Вероятно, он обладает исключительной физической силой. После третьего раза публика стала аплодировать, и это было добрым знаком для его долговязой гнедой клячи: ее пощадили. Пикадор торжественно уехал на ней за кулисы, а раскланяться на рукоплескания вышел уже пешим. И, знаете, на кого он мне показался в эту минуту поразительно похожим? На красавца и обладателя великолепнейшего баса, на Малинина, отца протодиакона Смоленского кладбища в Петербурге. Лицо его сияло от счастья и от солнца, а гранатовые стеклышки на его куртке переливались и сверкали тысячами красных огоньков.

Начался разезд. На площадке перед ареной стояли пеоны, с головами, повязанными красными платками, и продавали бандерильи со следами запекшейся крови. Рыжий верзила, с моноклем в глазу, выскочил из автомобиля, купил одну штуку и поднес ее своей немолодой и некрасивой даме с таким поклоном, точно он презентовал ей свадебный букет.

Прошло месяцев пять-шесть после байоннской корриды. Очерк этот давно уже был написан и сдан в типографию. И вот заглянул в мое парижское жилье, проездом из Мадрида в Брюссель, мой недавний, но очень приятный знакомый, господин Р. де С., секретарь испанского посольства при одной из европейских держав. Вечером, за бутылкой сладкого белого бордо, мы хорошо и непринужденно разговорились, и так как байоннские впечатления, трижды мною пережитые – на камнях арены, в воспоминаниях и на бумаге, – еще были свежи, то разговор, естественно, коснулся боя быков.

– О да, да, – с сожалением покачал головою господин С. – Жестокое зрелище... Темное пятно на Испании. Пережиток грубых и диких времен... А кстати, вы где же видели корриду?

– Этим летом в Байонне.

– Ах, вам надо было бы поехать в Мадрид или в Севилью, если вас как художника интересует красочная сторона.

– Но вы сами знаете, как трудно с визами, особенно нам, русским.

– О, в этом отношении я всегда к вашим услугам. В Мадриде вы все увидите в размерах великолепных и грандиозных. Мадридская арена вмещает тридцать тысяч зрителей, а на ней выступают самые знаменитые эспада. Это не Байонна...

Я несмело возразил:

– Однако и байоннская коррида произвела на меня сильное впечатление.

С. сбоку, недоверчиво взглянул на меня.

– Гм... Кого же вы там видели?

– Ну, например, дон Ганеро.

– А-а! Это прекрасный, исключительный матадор. Сколько раз и как страшно его калечили быки, но он остался чуждым робости. Ганеро – любимец наследного принца. Это инфант первый дал ему, кавалерийскому офицеру, мысль выступить против быка верхом на лошади, согласно старым рыцарским легендам. Да, да, – Ганеро очень ценим аристократией арены... Кто же еще?

– Никанор Вияльта.

– О, вам посчастливилось, мой друг, – воскликнул оживленно господин С. – Замечательный матадор! Вне классов и сравнений. Многие мои знакомые – и я вместе с ними – мы считаем его первой шпагой Испании. Какая чистая, классическая работа!

Я поддержал от души:

– И какое изящество!

– Да, да. И какой глазомер! Какая точность!

– Какое спокойствие!

– Какая красота тела, поз и движений!

– Какая легкость, уверенность удара!

В моем собеседнике загорелась старая, пунцовая кровь предков. С большой готовностью, даже с увлечением он рассказал мне очень многое из жизни матадоров: об их обычаях, набожности и суевериях, об их боевых приемах и тренировке, о точном распорядке дня выступления, о

подробностях костюма и о гонорах. Но все это очень густо изложено в известной книге Бласко Ибаньеса «Кровь и песок», к которой я и отсылаю читателя.

Между прочим, я вскользь упомянул о *mise à mort* – о последней встрече быка и матадора, в которой смерть грозит обеим сторонам. Я сказал о том, как молниеносно скор и трудно уловим этот момент.

Господин С. быстро поднялся со стула. Он высокого роста, но в ту минуту почему-то казался мне выросшим на целую голову.

– Видите ли, – заговорил он горячо, – есть два способа нанесения быку смертельного удара. Один – когда эспада вызывает быка на атаку и принимает ее. Другой – когда он сам атакует.

– Вот поглядите... У меня в руке шпага, – господин С. легко и красиво стал *en garde* (в первую позицию фехтовальщика). – Бык кидается на меня, наклонив вниз голову, и открывает мне *fente* (место для удара). Я наношу его по верхней линии приемом кварта или сикста, как мне будет удобнее. (Он сделал быстрый выпад.) В другом случае, повернув плоско клинок, я наступаю и пронзаю быка по линии сверху вниз приемами септима или октава, судя по его положению. И, закончив эти слова блистательным ударом в пространство, господин С. остановился против меня с победоносным видом и разгоревшимися глазами. Я долил его стакан, и мы чокнулись за Никанора Вялята. Потом я сказал, признаюсь, не без лукавства:

– Прекраснейшее зрелище – коррида, но ужасно жалко лошадей и противно видеть все подробности...

Господин С. как-то сразу увял и нехотя, слабо отмахнулся кистью руки.

– Ах, и не говорите. Варварство! Низменное и грубое развлечение! Я сам бываю на корридах только по обязанности, чтобы не огорчить добрых друзей отказом. Но, рассуждая теоретически, без этих несчастных лошадей коррида потеряла бы девять десятых своей жестокой прелести. Подумайте только: в лошади и в пикадоре, включая сюда и вес тяжелого седла, не менее трехсот, а то и триста двадцать, триста сорок кило. Но бык без всякого усилия, одним взмахом рогов, подбрасывает эту тяжесть в воздух и швыряет о землю. Тогда человек кажется в сравнении с ним жалкой щепкой. Вы видите много крови – лошадиной и бычьей. Но сейчас мужчина с бесстрашным сердцем предстанет прямо перед мордой свирепого животного, и, может быть, через секунду прольется его, человеческая, драгоценная кровь. И это видят и сознают все: и тысячи зрителей, и кадрилиа, и сам стройный, элегантный, спокойный по внешности эспада... Да, тут есть что-то нелепое, но и героическое, вернее – нелепо-героическое. Особенно, когда подумаешь об одряхлении современного человечества.

– Говорят, – сказал я, – говорят, что уже вырабатывается испанским правительством проект о запрещении выводить лошадей на арену для этой беспощадной бойни?

– Говорят, – неохотно подтвердил господин С. – И эту гуманную меру нельзя не приветствовать.

– Несомненно, – согласился я. – Но народ? Что скажет народ, обожающий свою кровавую корриду? Примите во внимание тысячелетнюю наследственную привычку. Кроме того, южный темперамент, пылкие сердца...

Господин С. поглядел на меня серьезно, но где-то в глубине его зрачков я увидел тонкие искры насмешки. Он сказал внушительно:

– Я не отрицаю, конечно, страстности и нетерпеливости нашего национального характера. Но испанцы – это народ, в сущности, добрый, религиозный и законопослушный...

Мне вспомнился рассказ милого господина Пинья о том, как была подожжена байоннская арена.

Тут пришла моя очередь сказать «гм»... Но я сделал это со всей осторожностью, точно слегка откашлялся.

Юг благословенный

I. Южные звёзды

В маленьком, как курятник, купе помещалась милая французская семья: молодой лейтенант инженерных войск, его худенькая болезненная жена с кроткими усталыми глазами, его теща, еще красивая, начинающая седеть, молчаливая, но энергичная дама, и их общее божество,

гражданин свободной Франции Пьеро, двух месяцев от роду, большой шалун, по мнению родителей, и хитрец. Я же отметил у него хорошо поставленный голос.

Устраиваясь на ночь, мои соседи из преувеличенной боязни сквозного ветра закрыли плотно все двери и окна не только в нашем помещении, но и в коридоре... Ночь была знойная, от толстой суконной обивки и от множества мягкой домашней рухляди шла жаркая, прелая, кислая духота. Я уже знал, что не заснуть. Поворочался час-два у себя на верхней полке, лоя воздух ртом, как рыба, а потом осторожно сполз вниз и вышел на площадку.

Там оконная рама была приспущена вниз. Я жадно высунул голову в свежую темноту ночи, в упругую встречную струю ветра. И вот с неописуемым изумлением, с нежностью, восторгом и благодарностью я увидел звезды. Я их не видел целых пять лет (последний раз в Финляндии), вернее сказать, равнодушно глядел на них сквозь густую кисею городской пыли и копоти, и казались они мне такими далекими, маленькими и вялыми, такими забытыми и запущенными, что даже не думалось о них хорошо. И вдруг передо мною мгновенно предстали миллионы сияющих глаз, золотые и серебряные россыпи на черном небе, живой, шевелящийся, блестящий, переливающийся рой. Так много было звезд в моем оконном квадрате, точно они сбежались сюда со всего неба. Ни одного знакомого созвездия я не находил. Плыли какие-то совсем новые, невиданные группы. Я заметил корму корабля с тремя ярусами парусов, сделанных из серебряной вуали, летящее копье с раздвоенным наконечником, туманное озеро в оправе из брильянтов, развязанный пояс с застежкой из чудесного сапфира и чей-то ярко-зеленый прищуренный глаз, пристально глядевший из-за решетки...

Я нарочно заглянул в противоположное окно. Там было пустовато: всего только три десятка серьезных положительных звезд, чуждых всякой небесной фантазии, исполняющих свои прямые обязанности с неукоснительной аккуратностью. У меня же, наоборот, были какие-то звездные каникулы, какой-то веселый пикник звездных мальчуганов и девушек, собравшихся на запасных путях! Никогда еще в жизни я не видел таких огромных, прекрасных и вместе с тем таких простодушных, домашних, доверчивых звезд. Я даже не смел думать, что я их такими когда-нибудь увижу. Они спокойно, без боязни и без гордости, спускались с неба до самой земли. Я их видел на высоте своего роста и гораздо ниже. Они путались в ветвях яблонь и непринужденно сидели на земле.

Если бы у меня было время и если бы поезд согласился немножко подождать меня, я пробрался бы через бегучий кустарник, ограждавший путь, вышел бы на круглую росистую лужайку, за которой всего в версте идет круглая черта горизонта, и, наверное, успел бы увидеть шагах в двадцати от себя хоть одну пушистую, кроткую звезду. Нет, нет, я не попытался бы по земной дурной привычке дотронуться до нее рукою. Я бы только поглядел с минуточку, потом снял бы шляпу, поклонился низко и ушел бы на цыпочках.

Вот какие странные вещи видишь и о каких странных вещах думаешь, когда высунешься бессонной ночью из окна летящего поезда! Помню, меня поразил необычный красноватый блеск слева. Я всмотрелся: там простиралось большое, открытое со всех сторон поле, а на нем, посредине, валялся брошенный кем-то кривой, узкий, источенный ятаган. Его ясная сталь блестела, как зеркальная, но тонкое лезвие было багряно от крови. Я не сразу догадался, что это – собирается подняться над землей, в последний раз, старый, ущербленный месяц: завтра он уже не будет лежать среди поля, его сдадут в небесный музей.

Я долго следил за его воздушным восходящим путем. Ставши над деревьями, он сразу увеличился и засиял по-прежнему, как победитель, но всего лишь на несколько минут. Тонкой розовой пылью кто-то посыпал сверху на поля, холмы и дали, и месяц сразу потускнел; потом, уже высоко в небе, он стал похож на отдаленный косой парусок рыбацкой лодки и вдруг исчез, растаял, пока я закуривал папиросу.

А тут я и сам не заметил, как ушли мои милые звезды, давно уже побледневшие от усталости. Должно быть, те, старшие, серьезные, – которые в другом окне, – угомонили их наконец и повели спать далеко за горизонт, на обратную сторону земли, туда, где люди ходят вниз головой, вверх ногами и почему-то, однако, не падают.

II. Город Ош

Первое впечатление – Могилев на Днепре. Та же длинная, широченная, пыльная улица,

обсаженная по бокам старыми, густолиственными, темными вязами. Так же жители идут не по сомнительным тротуарам, а посередине мостовой. Те же маленькие серо-желтые дома и ничтожные лавчонки.

В центре площадь. На дощечках она значится Верденской, но это – непривившаяся новость. Коренные обитатели до сих пор называют ее «Гусиной лапой» (*Patte d'oie*), потому что от нее пятью радиусами расходятся дороги на Тулузу, Ажен, Миранду, Тарб и в Старый город.

Много автомобилей, принадлежащих окрестным фермерам. Тяжелые грузы возят на быках. Страшно смотреть, какие огромные тяжести влечет, медлительно и в ногу, пара этих прекрасных, могучих животных, белой или светло-палевой масти, похожих на священных Аписов в своих белых пополах с голубыми каемками, в густых разноцветных сетках на массивных рогатых мордах!

Лошади здесь – большей частью серые, выводные из Тарба, как говорят, – с примесью арабской крови. Они малы ростом, но очень стройны, нарядны, горячи и неутомимы в беге. Запряженные в двухколесные лакированные желтые ящики, они мчатся по главной улице (Эльзас-Лоррен, местный Итальянский бульвар) с таким пылким усердием, так часто-часто цокая копытцами тоненьких прелестных ножек, что вблизи кажется, будто за ними не угнаться призовому американскому рысаку. Тут любят лошадей и лошадиный спорт. В крошечном Оше, где всего тринадцать тысяч триста жителей, есть свой ипподром, и только вчера я видел стенные афиши, объявляющие о скором открытии скаковых и беговых состязаний. Все, что в Оше есть замечательного, можно, не торопясь, осмотреть в один день. Прежде всего собор св. Марии с чудесным витражом Арно де Моля и резными из дуба хорами – изумительная работа монахов XVI столетия. Рядом торчит вверх своими семью этажами серо-желтая четырехгранная башня с островерхой коричневой крышей – темница, куда сажали своих врагов и провинившихся вассалов графы д'Арманьяки, наследовавшие князьям Гасконским в начале XI столетия. Есть еще крытый рынок, где по понедельникам торгуют птицей, скотом и овощами, но это также и биржа по закупке и продаже оптом.

Есть музей с портретами де Лавальер, де Монтеспан и де Ментенон кисти Миньяра. Есть в разных местах пять статуй. Все эти достопримечательности находятся в старом, нагорном городе.

Между старым и новым городами, разделяя их, не протекает, а стоит речка Жер с зеленой густой и грязной водой. Вот, кажется, и все.

Я приглядываюсь к жителям Оша (*les Auchescains*, как они сами себя называют) вот уже почти месяц, но чувствую, что одно из двух: или мне не удастся найти ключа к душе заглохшего древнего города, или ключ этот давно уже потерян. Я нахожусь в столице Генриха IV, в центре Гаскони, в самом сердце поэтической, воинственной, остроумной, пылкой, славной страны, на родине Монтлюка, Рокело-ра, Бирона, д'Артаньяна, Сирано де Бержерака и других храбрых, но бедных гасконских кадет, воспетых Саллюстием де Барта, Александром Дюма и Эдмондом Ростаном. Где же хоть отзвук, хоть легкая тень прежней жизни – такой богатой и блестящей? Не съели ли ее, как многое другое, столь прекрасное издали – порох, книгопечатание, революция, железная дорога и готовая пиджачная пара со штанами навывпуск?

Жители Оша степенны, терпеливо-любезны, когда к ним обращаешься с вопросом или за указанием. Никогда не торопятся, скупы на жесты. Есть на всем городе тонкий налет меланхолической задумчивой усталости. Изредка, когда я желаю доброго дня почтенному, пожилому буржуа, я слышу в ответ старомодное и четкое: – *Je vous salue, mon sieur...*

Это звучит очень веско: «Я вас приветствую, мой господин»; не хватает только для круглости фразы: «...в моем добром городе Оше».

Днем очень мало людей на улицах и почти совсем нет их в лавках. Только старые женщины – все в черном, в черных шляпах или косынках – сидят на порогах домов и быстро мелькают вязальными спицами, озирая вскользь каждого прохожего. Но по вечерам, когда спадет жара, посвежеет и потемнеет воздух и зажжется электричество, – на главной улице начинается тоже гулянье взад и вперед молодежи, как это бывает и в Коломне, и в Устюжне, и в Петрозаводске. Девушки одеты по-парижски, черноглазы, с прекрасным цветом лица и очень милы. А на освещенных верандах кафе, под платанами, мужчины солидно тянут свои аперитивы, большей частью – когда-то знаменитый арманьяк, подлинный секрет которого давно утерян.

На верандах редко увидишь канотье или фетровую шляпу. Преобладает баскский берет,

туго и крепко облепляющий всю голову, с пипочкой наверху – для снятия перед сном. Этот берет очень низко надвинут на лоб, почти закрывая его, что еще больше подчеркивает внушительность знаменитых гасконских носов. Когда, сидя на веранде, я вижу вокруг себя эти загорелые лица, жесткие черные усы, выразительные глаза, большие серьезные носы и слышу непонятный мне местный говор, – я воображаю себя в садике тифлисского духана. В маленьких кабачках иногда поют хором и – представьте, – к моему удивлению, – не только на три голоса, но и стройно. До сих пор я привык к тому, что во Франции поют все в унисон и каждый фальшиво. Но уже давно известно, что у южан два пристрастия: музыка и чеснок. Могу свидетельствовать о том, что ошский чеснок обладает особенно острым и сильным ароматом, и когда им благоухают нежные женские уста, слегка, затененные прелестным пушком, – это выходит совсем трогательно.

Конечно, я могу ошибиться, но мне кажется, что в этом плоском, скучном, невыразительном, сонном городе нет ни местной кухни, ни национального костюма, ни легенд, ни старых обычаев и танцев.

Память о славном прошлом вся ушла на ту сторону Жера, в Старый город, куда надо подняться или на сто семьдесят пять ступеней так называемой «монументальной» лестницы, или в обход, кривыми горными улицами.

Там, как на блюде, стояла когда-то грозная крепость со стенами саженной ширины, с башнями, амбразурами и бойницами, господствуя над всей доступной взору окрестностью. Теперь от этой былой мощи остались лишь молчаливые полу развалины, кое-где реставрированные, кое-где заслоненные новейшими однообразными домами, желтыми, плоскими, без карнизов и балконов, казарменного типа.

Сверху вниз, путаясь между собою, бегут узкие крутые улочки, носящие странное название «les Pousterles», а по-итальянски «pusterla»⁶⁹.

Это слово, видоизменившись, перешло и в современную фортификацию под названием «la poterne», потерна, что означает подземный ход. Когда-то эти улицы, иные в ширину не больше человеческого размаха, а крутизною круче сорока пяти градусов, крытые и замаскированные, служили ходами сообщений, хранилищами припасов и путями для вылазок. И несомненно, по этим потернам на головы атакующего врага скатывались огромные камни, лились потоки горячей смолы и расплавленного свинца.

Я завораживаю вдоль каменного невысокого парапета и еще издали вижу синюю дощечку с надписью: «Старая потерна». Спуск этой узкой улочки так стремителен и резок, что у меня мутилось в голове и слабеют ноги. В то же время я с несомненной ясностью вспоминаю, что когда-то, давным-давно, в позабытом ли сне или в отдаленной прошлой жизни, я так же стоял на гребне этой кручи, прежде чем спуститься в нее, и что тогда душа моя была вся скомкана и раздавлена тягчайшей болью и злым унынием. Я знаю, что тогда я все-таки сошел вниз, преодолев свои колебания, а теперь... смогу ли? Но я и теперь пересиливаю минутную робость. Упираясь рукою в стены крошечных серых домиков, цепляясь за подоконники, я медленно сползаю вниз. Мне кажется, оставь я эти каменные опоры – я сейчас же покачусь безудержно, стремглав вниз через голову и боком. А двое детей лет четырех-пяти беззаботно играют посредине улицы! Так доползаю я до низу. Стоя уже на ровной почве, оглядываюсь назад. Отвесные стены улицы сходятся наверху в одну точку. А выше – зубцы шпиля и жуткая башня крепости. Страшно вато.

Да, здесь когда-то жили люди железной воли, великой храбрости, жестокого веселья. Не они ли, украсив французскую историю военными страницами, исчерпали силу народного духа и пламень народной крови. Пусть гасконский крестьянин ест себе на здоровье свою воскресную курицу, но из гасконских городов выветрилась поэзия!

III. «Фаворитка»

В одном, лишь в одном отношении я считал себя счастливым и баловнем судьбы. В какой бы город или городишко меня ни забрасывал случай – везде меня ждали: либо новое зрелище, либо занимательная встреча, которые связывали накрепко мою память с местом. Поэтому с не-

⁶⁹ Итальянцы были лучшими военными инженерами XI–XV веков. (Примеч. А. И. Куприна.)

которой обидой я уже думал о том, что город Ош останется навсегда в моих воспоминаниях пустым, плоским и скучным промежутком.

Но все-таки и на этот раз привычная удача не обманула меня. Правда, – под самый конец, под занавес.

Однажды утром на площади «Гусиной лапы» появились большие красные афиши. В них извещалось, что такого-то числа (дней через десять) будет поставлена на улице Оша, под открытым небом, комическая опера «Фаворитка», сочинения Доницетти. Участвуют такие-то артисты и артистки: из «Гэтэ Лирик» в Париже, из Тулузского Капитолия и благородный бас (*basse noble*) из Марселя господин Казабон. Хормейстер и дирижер такой-то. Билеты по пятнадцати, десяти и пяти франков, променуар⁷⁰ три франка. Начало в восемь часов тридцать минут вечера.

Я всегда любил представления на свежем воздухе. Одно из них – «Кармен», – виденное и слышанное мною тринадцать лет назад в городе Фрежюсе, в развалинах древней римской арены, с участием великой Сесиль Кеттен, – до сих пор еще живет в моей душе во всей его незабвенной прелести, торжественной простоте и необычайной силе.

Ждать спектакля пришлось много дней. Я несколько раз заходил на улицу Гоша. Она коротенькая, но широкая. Тротуары отделены от мостовой двумя рядами старых, мощных, развесистых платанов. В конце этой аллеи – высокий квадратный помост. Он прочен, выкрашен голубоватой масляной краской и, очевидно, выстроен для постоянного пользования. Даже утром, в день спектакля, я не заметил около него никаких приготовлений, кроме наружной будочки-кассы с надписью «*relouse 2 fr.*»⁷¹ (очевидно, ее взяли напрокат со скачек) да двух принесенных бревен, на которых сидели два блузника и флегматично курили. Такое равнодушие к близкому представлению меня чуть-чуть смутило, тем более что старожилы, – а они всегда скептики, – уверяли меня:

– Не беспокойтесь. Если даже не будет дождя, то все равно спектакль может не состояться по сотне внутренних причин. Такие примеры бывали. И даже за пять минут до начала.

Тем не менее к определенному сроку (уже смеркалось) я купил в деревянной будочке билет и проскользнул в щелочку забора, только что поставленного поперек улицы. Другой забор ограживал зрительный зал с другого конца. Было пусто. Во всем мире провинциальная публика неаккуратна: появляться первыми в театр, концерт или на бал – неприлично: «Еще подумают – что для нас это в диковинку!»

Занавеса не было вовсе. Вдоль трех сторон сцены стояли пальмы в кадках и какие-то большие разлтые цветущие растения. Позади их – полускрытые электрические лампы; еще сзади, как фон, повисли разноцветные флаги: английские, американские, испанские, итальянские и, на первом месте, французские, вокруг буки R.F. Над зрительным залом на высоком столбе матово сиял электрический фонарь.

Публика собиралась вяло. Вышел на сцену какой-то серенький человек и утвердил в правом углу среди кустов деревянный голубой крест. Я сразу догадался: первый акт происходит на кладбище или около церкви... Потом оказалось – в монастырском саду.

Застучали за кулисами палкой. Пришел оркестр: пять человек, не считая пианистки и дирижера. Еще раз застучали. Дирижер, лысый, с длинной седой бородой, ветхозаветный старик, взмахнул палочкой – и началась увертюра, а затем гуськом прошел хор монахов.

Ну, что сказать о содержании пьесы? Монах Фернанд влюбился в фаворитку короля Альфонса. Она – в него. Монах покинул монастырь. Королю подали перехваченное письмо. Вот и все. Трагической развязки я так и не узнал из-за множества купюр.

Конечно, я видал спектакли и похуже. Как и всюду, хористы (четыре человека) знали только один классический жест – жест остолбенелого изумления: тело откинута назад, правая рука вытянута вперед и вбок, к соседу, с растопыренными пальцами, глаза вытаращены. Хористки (три) стояли безучастно, с руками, сплетенными ниже живота. У благородного баса в голосе остались всего две дребезжащие ноты. У короля-баритона часто выскакивали петухи. Тенор козлил и становился на цыпочки, атакуя конечное фермато. Примадонна на высоких нотах дела-

⁷⁰ Места для стояния в зрительном зале (от фр. *promenoir*).

⁷¹ «Лужайка 2 фр.» — наиболее дешевые места на скачках (фр.).

ла рот вроде удлиненного О, внизу немного свороченного набок. Но все это так уже положено с первоначальных дней оперы...

И все-таки... все-таки музыка Доницетти, – старая, условная, наивная музыка, – мила, проста и чиста, как свежая родниковая вода, вкус которой мы уже позабыли, объевшись и опившись пряными кушаньями и напитками. Все-таки оркестр и хор делали свое дело старательно и очень музыкально. Все-таки артисты увлекались и увлекали публику. И дай бог всякому артисту, особенно начинающему, такую простосердечную, горячую и снисходительную публику. Каждую арию она встречала чудесными, искренними аплодисментами, на ошибки только смеялась добродушно, по-семейному, а в особенно музыкальных местах простодушно и не без вкуса подпевала хору.

А в самом конце четвертого акта меня ожидала минута редкой красоты и радости. Фаворитка на сцене одна, в белом платье.

Жалуется она на свою печальную судьбу. Страшен гнев короля, страшно за любимого и еще страшнее и горше расстаться с любовью. Нежным пианиссимо, тихими вздохами ей аккомпанирует оркестрик, и бережно, сочувственно вторит ей в терциях задумчивая, покорная валторна... Я поднял голову кверху. Рядом с электрическим сияющим шаром стоит такой же величины, как и он, полная луна. Цикады во всем Оше и окрестностях заливаются своим неумолкаемым, сухим, серебряным звоном; ароматом свежего сена наполнен воздух.

Две большие ночные бабочки налетели на фонарь и бьются об него, бросая огромные, порхающие тени на головы зрителей. И вдруг начали свой сиплый, густой музыкальный бой трехсотлетние кафедральные часы. И вот оркестр, и цикады, и бегающие трепетные тени, и древний звук часов, и запах сена, и две луны в небе – все это слилось в такую нежную, прелестную гармонию, что сердце сжалось в сладком, сладком, не выразимом словами восторге.

Ах, стоит жить из-за таких вот двух-трех секундочек, изредка и случайно выпадающих на нашу долю!

IV. Живая вода

Целый день от Оша до Тарба, потом до Лурда и Пьерфита карабкался поезд в гору. В Пьерфите пересели в электрический вагон и доползли к сумеркам наверх в горный курорт Сен-Совер-Лебен. И во всю дорогу, то следуя рядом с ней, то ее пересекая, извивались и мелькали под мостами мелководные, быстрые, каменистые горные реки, стремительные речки, торопливые шумные ручейки, а вдали пенные, узкие каскады повисли в горах белыми нитями. И чем выше, тем больше было этих «gaves» (потоков), как их называют в Верхних Пиренеях. Сен-Совер лежит по обеим сторонам крутобокой ложины, на дне которой бежит, то расширяясь, то суживаясь, весь в водоворотах, пене и блеске, гремучий Gave de Peau.

С чем сравнить этот горный пейзаж? Там, где он красив, – ему далеко до великолепной роскоши Койшаурской долины и до миловидного нарядного Крыма. Там, где он жуток, – его и сравнивать нельзя с мрачной красотой Дарьяльского ущелья. Есть местами что-то похожее и на Яйлу и на Кавказский хребет, но... давно известно, что у нас было все лучше!..

Несмотря на позднее время, я успел пробежаться по главной горной дороге от Люза до легкого железного моста через речку, построенного по желанию Наполеона III. Этот император, бывший адвокат из города Гама, очень любил свой юг и в особенности Пиренеи. Это он открыл Сен-Совер, вдохнул в него жизнь и дал первый толчок его сердцу. Не его вина, что этот благословенный уголок облюбовали американцы и англичане. Ведь давно известно, что там, где повелись жить мистер Доллар и сэр Фунт, – нам, простым смертным, – не житье. Первейшие удобства комфорта здесь еще помещаются во дворе, под открытым небом, а суточная плата за номер и табльдот – как в ниццских отелях в сезонные месяцы. Впрочем – ничего. Мир еще очень обширен.

Меня поразило обилие воды. Она струится, плескается, журчит и скрежещет камнями повсюду: впереди вас и сзади, над вашей головой и под вашими ногами, бежит опрোметью вдоль узких тротуаров, льется светлыми дугами из труб, белыми, клокочущими, яркими клубами бьет прямо из скал, падает с уступа в горах многоярусными водопадами.

Ночью я проснулся в своем гостиничном номере. Спросонья мне показалось, что на улице идет проливной дождь. Именно тот ливень, про который говорят: «Разверзлись хляби небесные»

и «льет как из ведра». Я босиком пошел затворить окно. На небе было тихо и звездно. Облака спокойно окутывали вершины гор. Ветер заснул. Но неумолчным шумом, ропотом, плеском, звонким говором полны были земля и воздух. Это – бежали горные воды.

Весь горный массив Пиренеев становится мало-помалу исполинским источником электрической энергии. Все эти быстрые реки, сотни говорливых речек, тысячи бырких, звонких ручейков – все они представляют собой неистощимый запас белого угля.

Их падение регулируется, их дикий разбег обуздывается системой каналов и шлюзов, их тяжесть и скорость, претворенные в электрические токи, уже дают свет городам и движение машинам. На каждом горном извороте вы увидите легкое здание с надписью «Электрическая станция». Из Пиренеев до Орлеана тянутся на шестьсот верст толстые металлические кабели, подвешенные десятками параллельных линий на массивных железных столбах. Скоро-скоро они дотянутся и до Парижа.

Здесь всего лишь начало того грандиознейшего предприятия, думая о котором невольно проникаешься почтением к человеческому гению. Скопидомы, жилистые люди, идолослужители сберегательной книжки, а как развернут какое-нибудь сооружение, – то только диву даешься: как это они с планетарной грандиозностью всегда умеют соединить изящество и остроумие!

Ах уж эти французы! Впрочем, не они ли – эти эгоистичные и бережливые люди – отдали все, что могли, для великой победы, отдали и трудовыми сбережениями, и драгоценной галльской кровью? Какая широта народной души!

Хорошо тому, кто рано просыпается и с рассветом выходит на воздух. В путешествии это верный подход к городу, стране и народу.

Первое, что я увидел, – был городской базар. Вообразите себе два старых, раскидистых платана; между ними крошечный фонтанчик, игриво бьющий дугою из каменной чашки, а слева и справа две деревянных скамьи без спинок. На скамейках сидят шесть старушек, все в черных одеждах и в черных широких шляпах, все, сгорбившись, единообразно и быстро мелькают вязальными спицами и что-то беззвучно лепечут под плеск фонтана, склоняя друг к дружке мышиные головы. На коленях у них малюсенькие корзиночки, и в них овощи, не связками, не пучками, а штучками – у одной шесть луковиц, у другой – четыре морковки, у третьей – два толстых развесистых порея, у следующей – один капустный кочан, дальше – чуть-чуть свеклы, а еще дальше – чуть-чуть стручков. И это – весь рынок.

«А может быть, это вовсе не рынок, – думаю я на секунду, – а первая репетиция какой-нибудь мистической пьесы Ибсена, Метерлинка или Андреева на огромной сцене, с отрогом Пиренейского хребта на заднем плане». Так странно и неправдоподобно это зрелище. И первая покупательница вовсе не рассеивает моей фантазии. Она очень стара, высока и костлява и также вся в черном. Она подходит к самой левой из старух, вытаскивает своей длинной, узкой, жилистой рукой со скрюченными пальцами один стручок из корзины, отламывает половину, остальное бросает обратно. Торопливо, по-беличьему грызя кожуру, она подходит к соседней старухе, потом к следующей и так до конца. И все пробует. Делается это молчаливо и поспешно. И так же молча, не купив ничего, быстрыми шагами она уходит за кулисы. В самом деле, кто мне поручится, что это была капризная покупательница, а не театральная фея Фисрис, обладающая, по пьесе, дурным, неуживчивым и вздорным характером, зная который мышиные старушки не подымали глаз от вязанья, а только тихо наклонялись одна к другой и беззвучно перешептывались? В это утро, пока черно-лиловые горы медленно делали навстречу солнцу свой туалет, снимая с себя сначала тяжелые сизые одежды из густых облаков, а потом легкие, белые и розовые покровы туманов, я успел осмотреть все достопримечательности Сен-Совера. Их очень мало, и из них самые главные и самые сладостные – это бегущая, журчащая повсюду живая вода и зелень лугов, кустов и деревьев – такая нежная, свежая и благоуханная в августе, какой она внизу, на равнине, бывает только ранней весной. И от сена здесь разливается несравненный, неопикуемый аромат. На каждой улице, вдоль тротуаров, бегут прыткие струистые ручейки, а в них на каждом шагу опущены двухлопастные деревянные вертушки, которые крутятся с усердной быстротою. В жаркие дни это приспособление освежает воздух, но его можно приспособить и к прядильной мастерской, и к домашнему электрическому освещению.

Вот я вижу, как такой беспокойный ручьишко круто свернул вправо и нырнул в трубу, под мостовую. Но в заключении он побыл всего две секунды, выскочил на ту сторону улицы из-под земли и по крутому откосу стремглав мчится в ущелье, в бурный, клокочущий, кипящий Gave de

Реау. Прыгает он с бугра на бугор по круче, змеится, обегая деревья, падает белыми отвесными каскадами, прыгает через камни, разбрасывая брызги и пенясь... Весь он – движение и упругая энергия. Он совсем похож на расшалившегося годовалого жеребенка, и мне хочется ласково сказать ему:

– Кось-кось-косенька (так в Зарайском уезде кличут молоденьких жеребят)! Погоди, резвый кося, поймают тебя опытные люди на бегу, оборотают, взнуздают и запрягут. Правда, побьешься ты и пофордыбачишь достаточно, но кто же устоит против человека? А там, глядь, – примирный, ручной, добежишь ты до Парижа и меня, французского гостя, будешь послушно возить каждый день по рельсам, от площади Мюетт до Порт-Майо и обратно.

Париж домашний

П. М. Нильскому

I. Пер-ля-Сериз

Если переводить это прозвище на русский язык, то всегда складнее было бы сказать: дядя Слива. «Отцом», и то с приставкою имени или сана, у нас называют лишь лиц духовного звания; родного отца зовем: бабушка, тятя, тятенька, родитель, папенька, папаша. «Дядя» – семейное, соседское, дружеское обращение, не лишенное порою небрежной сердечности или легкой насмешки. «Ус да борода – молодцу краса: выйдешь на улицу, дяденькой зовут». А если к тому же кличка «пер-ля-Сериз» обессмертила чей-то нос, то уж никогда вишне, даже владимирской, не устоять цветом и величиною против крупной красной сливы венгерки... Впрочем, так и быть: оставим из вежливости французский *sobriquet*⁷². Нос у пер-ля-Сериз'а и правда замечательный: большущий, круглый, сизо-красный, сияющий. У Шекспира Бардольф, кабацкий приятель беспутного принца Гарри, вероятно, обладал таким же носом:

«...Когда спускаешься с Бардольфом в винный погреб, не надо брать с собою фонаря...»

Настоящее имя пер-ля-Сериз'а давным-давно вылиняло, стерлось под прозвищем: должно быть, этот старый огненноносый, веселый толстяк и сам его с трудом вспоминает. Нет у него никакого общественного положения: ни службы, ни места, ни профессии, ни работы. Никто не скажет, где он живет и есть ли у него семья. Но весь коренной, настоящий Париж, уже во многих поколениях, знает и помнит пер-ля-Сериз'а гораздо больше, чем бесчисленное множество знаменитостей, которые всегда наполняют атмосферу Великого Города двухминутным блеском своих имен. Лишь старому «тигру»⁷³ уступает ныне пер-ля-Сериз в популярности, как уступал прежде Сарре Бернар.

Кто же он наконец этот прославленный пер-ля-Сериз? – Да никто. Или почти никто. Игрок на скачках.

В Париже и его окрестностях чуть ли не десять прекрасных ипподромов, и нет дня, круглый год, без перерыва, чтобы хоть на одном из них не было скачек, которые так страстно любимы и посещаемы парижанами. Правда, бывают изредка хмурые, дождливые дни, совпадающие с неинтересными скачками на малые призы, когда аристократические трибуны (*Pesage*) слегка пустуют. Но демократическая дешевая лужайка (*Pelouse*) всегдалюдна, невзирая на дождь, снег, мороз, град, молнию, ураган и чертовский зной. В большие дни она – сплошь черная и кипящая народом – вмещает сто тысяч зрителей. И всегда вы на ней можете без труда разыскать пер-ля-Сериз'а по его большому росту, толщине, громкому голосу, домашнему, небрежному костюму и великолепному носу. Вокруг него, в ожидании первого звонка, особенно густеет толпа.

Он знаменит, а слава обладает магнитным притяжением. Он удачливый игрок, а вся масса,

⁷² Прозвище (фр.).

⁷³ Почетное прозвище Клемансо. (Примеч. А. И. Куприна.)

толпящаяся на лужайке, состоит из горячих игроков. Он великий знаток конюшен, тренеров, жокеев и лошадей с их родословными, вплоть до прадедов и прабабок, но кто же из бесчисленных зрителей не слагал и не учитывал сегодня с утра всех этих данных, включая сюда еще возраст, пол, вес, характер и погоду. Но главное – пер-ля-Сериз говорит остро, быстро и забавно. В Париже безмерно чтут хорошо сказанное слово: все равно, будь это красноречие клоуна, уличного продавца галстуков и подтяжек, митингового крикуна, смелого адвоката или любимого депутата. Каждый француз – прирожденный оратор, исключая немых, а также заик, которых в Париже вовсе нет. Во Франции, впрочем, говорят и мертвые, и всегда – блестяще.

Конечно, у многих слушателей пер-ля-Сериз'а есть тайная, корыстная надежда на то, что этот продавец скачечных судеб возьмет да и расщедрится ни счастливое *tuau*⁷⁴. Оттого-то пер-ля-Сериз'а и осыпают со всех сторон торопливыми, игриво-жадными вопросами. Он отвечает охотно, легко и забавно, но в духе дельфийского оракула, которому вздумалось побалагурить. Обращаются к нему на «ты», но тут нет ничего обидного. Скорее это заслуженный почет. Парижская толпа всегда тыкает своим прочным любимцам, и это ценно для них, подобно тому как в старое время «ты» в устах короля было для придворных высшим знаком отличия, одобрения и близости.

– Вы хотите непременно выиграть на первом месте в призе «Лютеция», – говорит пер-ля-Сериз, щуря свои тяжеловесные, лукавые глаза, – нет ничего легче. Поставьте сразу на всех восемь лошадей. Выигрыш несомненен.

Спрашивавший возражает кисло:

– Да. А если придет Фаворит и за него дадут десять су?

– Ах, мой друг. Тогда не ставьте вовсе. Знаете закон: кто уходит со своими деньгами – тот всегда в выигрыше.

– Пер-ля-Сериз! Что ты думаешь о Ньюдо? Есть ли у него сегодня шансы?

– Как я тебе отвечу на это, старина? Ньюдо – прекрасный жокей, – вот и все. Но чтобы сказать о шансах жокея, надо знать, что он вчера делал, что ел и как он провел ночь; в каком состоянии его желудок и как обстоят его любовные дела. А я знаю только его вес... Шестьдесят два кило.

– Аркебуз? – это лошадь! Ставь на нее, малютка, ставь все, что у тебя есть в кошельке, в портфеле и в заднем кармане. Выигрыш верный. Но одно маленькое-маленькое условие. С Аркебузом, видишь ли, поскачут еще пять лошадей. И надо непременно, чтобы одна из них сбросила своего всадника, другая упала на препятствии, третья занеслась в сторону, по ложному пути, четвертая внезапно захромала, а пятая вдруг остановилась бы перед барьером и ни за что не захотела его брать. Тогда Аркебуз притащит тебе, мой крошка, целый вагон денег. Не забудь только пригласить меня на обед с устрицами и анжуйским вином. Я тебе дал отличный подсказ.

– Нет, я не пророк, господа, и не ясновидящий. Только я, как и вы, учился в школе арифметике. Хороший жокей на плохой лошади, плохой жокей на хорошей лошади и средний жокей на средней лошади имеют равные шансы на успех. Вам остается только выбирать. А! Вы хотите знать судьбу наверняка? Но тогда пропадает вся прелесть игры, состоящая в риске и волнении. Тогда, старина, лучше открой мелочную лавку или сделайся собачьим парикмахером – выигрыш медленный, но верный...

Звонит первый звонок. Выставляются на досках номера лошадей и фамилии жокеев первой скачки. Глухо стучат компостеры в сотнях игорных касс. Толпа вокруг пер-ля-Сериз рдеет, разбредается...

Только совсем желторотому новичку придет в голову идти следом за пер-ля-Сериз'ом и ставить на те номера, на которые он ставит. Проигрыш ему заранее обеспечен: пер-ля-Сериз ставит только на тех лошадей, которые никогда не могут прийти. Правда, на тысячном разе, при нелепейшем капризе судьбы, он берет баснословные куши, но они не покрывают мелких проигрышей, и не в них искусство пер-ля-Сериз'а. Мелкие ставки он ставит лишь для того, чтобы сплавить, отвести от себя жадную публику, с которой поневоле пришлось бы делиться выигрышем. Нет: все опытные посетители лужайки отлично знают, что пер-ля-Сериз'ова игра лишь стратегическая демонстрация. За него, по его таинственным приказам, играют в разных кассах

⁷⁴ Труба; иносказательно: подсказка, слух. (Примеч. А. И. Куприна.)

послушные ему проворные помощники или крупные игроки, отделяющие ему высокий процент. Но эти люди до сих пор остались неуловимы для глаз любопытных. У пер-ля-Сериз'а есть деньги, и порядочные.

Однажды весной, разнеженный красотой, благоуханием и свежестью майской ночи (об этом писали в газетах), пер-ля-Сериз вздремнул на скамейке в парке Мон-со. Летучий велосипедист-городовой спросил у него вид на жительство, но такового у пер-ля-Сериз'а не оказалось с собою. Он мог только предъявить банковское свидетельство о вкладе на его имя нескольких десятков тысяч франков. Городовой был из новых, корсиканец, недоверчивый и весьма усердный к службе. Он отвел пер-ля-Сериз'а в комиссариат. Там все это недоразумение разрешилось в одну секунду. «Чудак! Да ведь это пер-ля-Сериз. Сам пер-ля-Сериз. Вы свободны, дорогой папа!»

Совсем на днях он опять попал в газеты, заставив весь Париж говорить о себе с добродушной улыбкой.

Он пришел на скачки ровно с пятью франками, составляющими минимальную ставку на демократической лужайке. Он показал эти пять франков своим неизменным слушателям и сказал:

– Покойный жокей Парфреман, прозванный «крокодил», – великий жокей, – выиграл однажды пять первых призов. Но вы, мои старички, были еще бланбеками⁷⁵, когда легендарный жокей Мак-Канед взял все шесть. Так сегодня и я выиграю, на всех шести скачках, шесть первых мест.

Публика посмеялась. Все приняли похвальбу пер-ля-Сериз'а за обычное шутовство. Никто не следил за его игрою, кроме двух-трех человек. Когда на лужайке разнесся слух, что у пер-ля-Сериз'а бешеный успех! – он играл уже в стофранковой кассе, где мелкие игровишки не могли влиять на судьбу его ставок. Он унес с собою шестьдесят четыре тысячи.

Я думаю, что здесь важны были не деньги. Мне хочется думать, что старинный любимец парижской толпы пер-ля-Сериз, – как-никак, а все-таки в своем роде один и единственный в Париже, – хотел широко заплатить своей публике за долголетнее внимание блестящим представлением в духе лужайки.

II. Последние могиканы

В третьем году, увязавшись за французскими друзьями, попал я в маленький, уютный, подземный кабачок, носивший заманчивое и великолепное название «Fleur latine». Впрочем, я теперь не знаю твердо, было ли здесь единственное или множественное число. Цветок или цветы латыни?

Там, вдоль стен узкого и тесного помещения, стояли деревянные столы без скатертей, и деревянные скамьи, на которых сидела публика очень молчаливая и внимательная; среди нее много пожилых людей. Пились скромные напитки: пиво, вино с водою, лимонад.

Посредине маленькая эстрада, и на ней крошечное, игрушечное пианино, основательно расстроенное...

Вошла на эстраду небольшая худенькая дама. Села на табурет, положила на пюпитр ноты, расправила юбку, поерзав на сиденье. Вслед за ней вышел высокий молодой человек лет тридцати пяти, с буйными волосами, гривой заброшенными назад, с короткой, козелком, бородкой, с красивым открытым лбом – похожий на портреты поэтов времен Мюссе и де Виньи. На нем была просторная куртка из рыжего рубчатого Манчестера и такие же штаны, широченные на бедрах и ляжках, – совсем узкие у щиколоток.

С ясной улыбкой небрежно и любезно поклонился он захопавшей публике и сказал круглым голосом:

– La Crotte⁷⁶.

Читатели, без сомнения, знают, как это слово перевести по-русски. Две приятные, розовые, полные, благообразные старушки, сидевшие напротив меня за сосисками с картофельным пюре,

⁷⁵ Молокососами (от фр. blanc-bec).

⁷⁶ Лошадиный навоз (фр.).

подняли разом брови, подтолкнули друг дружку локтями и переглянулись с опасливым недоумением.

Человек в рыжем бархате, ничуть не смущаясь, выждал жиденькую интродукцию и запел свою песенку. Вот приблизительно ее смысл:

«Я проходил сегодня утром по старой улице Арбалет, где в давние годы наши предки занимались благородным искусством стрельбы из лука... Улица была тиха, прохладна и пуста, а вокруг нее со всех сторон ревел, грохотал, гудел, свистел огромный, жаркий, как раскаленная печь, Париж...

Вдруг неожиданно один предмет на мостовой привлек мое внимание. Это было нечто, казалось бы, совсем недостойное вдохновения, но в моей певучей душе оно, по странной прихоти фантазии, родило нежную и грустную элегию. Я не скрою от вас, что взор мой остановился на том прозаическом следе, который оставляет после себя на мостовой хорошо кормленная лошадь... Но нет ни одной грязной вещи, из которой творческий гений не мог бы извлечь сверкающих алмазов поэзии, и разве не нашел волшебный Бодлер в придорожной падали мотив для своих прелестнейших стихов?

Прислонившись к фонарю, я стоял и грезил. Вот я вижу то, что все реже и реже видит парижанин на улицах своего вечного, своего великого города. Автомобиль, велосипед, автобус, камион⁷⁷, трамвай, метро, железная дорога, аэроплан, телеграф, телефон сделали совсем ненужной лошадь – это самое благородное завоевание человечества... «Когда бог окончил сотворение мира и собирался уже отдохнуть, он вдруг почувствовал, что чего-то не хватает в его создании. Тогда он взял в свою всемогущую длань воздух, повелел ему сжаться и вдунул в него свое дыхание». Так, говорят арабы, произошла лошадь. Но – увы! – скоро, через каких-нибудь жалких пятьсот лет, когда лошадь, как экземпляр редкого четвероногого, будет показываться в зоологическом саду, то, глядя на нее через железную огородку, спросит мальчик:

«Правда ли, мадемуазель Жюли, что на этом странном животном ездили наши далекие предки?» И бонна ответит уверенно: «О да, малютка. Это было в те времена, когда люди жили в пещерах, одевались в звериные шкуры и, еще не зная употребления огня, ели мясо сырым».

Какая сладкая грусть сжимает мое сердце, когда я думаю о нашем миллом, еще столь недалеком прошлом, которое так тесно было связано с лошадьёю и кучером. Вспомните почтовые кареты, запряженные четверкою, рожок почтальона, шелканье бича и чудесные, забавные дорожные приключения. Тогда наши веселые прабабушки носили прелестные шляпки кибиточкой, с широкими лентами, завязанными бантом на длинных тонких шейках, а талии их платьев были так высоки, черные мушки на румяных личиках были так красноречивы, а маленькие ножки так изящны...

И ты, о незабвенный парижский фиакр! Наши старые дедушки и наши пожилые отцы лукаво улыбаются при твоём имени. Прошло больше ста лет, а твой кучер до сих пор неизменен. Тот же клеенчатый низкий цилиндр у него на голове, тот же красный жилет, тот же длинный бич в руке, тот же красный нос и то же непоколебимое кучерское достоинство. И лошадь твоя – Кокотт или Титин – по-прежнему тоща, длинна, и ребриста, и разбита на ноги, и по-прежнему имеет склонность заворачивать к знакомым кабачкам. Но уже нет у дверец твоей кареты внутренних темных занавесок, которые когда-то, спеша, задерживала нетерпеливая, дрожащая рука...

Патриархальный добрый фиакр! Ты занимал много славных страниц в прекрасных книгах Бальзака, Доде, Мопассана, Золя. Тебя хорошо знали проказники Поль де Кока и влюбленные веселые студенты Мюрже. Ни один уголовный роман не обходился без тебя. И сколько раз твой старый кучер давал свидетельские показания в бракоразводных процессах...

Все течет, все проходит в этом мире, все обращается в тень. Но почему же так сильны для нас власть и обаяние прошлого? Юноша, с первым пушком на губе, с глубокой поэтической грустью посещает те места, где он играл, будучи нежным отроком. Так и нам жизнь наших предков кажется проще, красивее и гораздо полнее, чем наша. Или правда, что машины, отравившие воздух, убившие прелесть путешествия, заторопившие жизнь, нанесли непоправимый ущерб наивным радостям человечества.

Вот о чем я думал летним вечером на улице Арбалет...»

⁷⁷ Грузовой автомобиль (от фр. *camion*).

Так, или приблизительно так, пел гривастый человек в рыжем бархате. На глазах у моих соседок-старушек я видел искренние теплые слезы, которых они и не трудились вытирать. Певцу много, но чинно аплодировали. Я – больше всех.

Сколько теперь осталось в Париже наемных фиакров? Говорят, только тридцать семь. С сожалением приходится признать, что убывает, вырождается, исчезает славный цех парижских извозчиков. Надо сказать, что и в Лондоне отходит в область преданий это почтенное сословие, о котором Диккенс изрек устами мистера Пиквика: «Души кучеров мало исследованы». Парижские извозчики – последние могиканы, остатные представители великого гордого племени... Чуткий и памятный Париж по-своему чтит эти живые обломки старины. В случае недоразумений между фиакром и такси уличная толпа всегда на стороне фиакра. Но эти случаи редки. Там, где бывает затор движения и экипажи продвигаются с великим трудом, там кучер, возвышаясь на своих козлах высоко над приземистыми моторами, являет вид полнейшего спокойствия и твердой самоуверенности. Пусть такси – его злостные конкуренты и виновники потускнения его славы. Широким душам, облагороженным долголетним общением с лошадьёю, чужды зависть, месть и мелкие уколы. Глядя на своего врага сверху вниз, фиакр с презрительной улыбкой щурит глаза: «Движущиеся коробочки, зловонный экипаж, хрипучий комод – и это в Париже, в городе тончайшего вкуса!»

И никогда на людных скрещенных кучер не дает первого места шоферу: обожди, невоспитанный молокосос, пока проедет почтенный старик. И молодой человек слушается.

Бывают и у старых кучеров свои дни реванша. Это тогда, когда начинающие шофера держат экзамен на знание парижских улиц в комиссии, состоящей из седых, красноносых кучеров наемных фиакров.

– А ну-ка, *mon vieux*⁷⁸, скажи мне без помощи карты, каким путем проедешь ты от улицы Ранелаг до улицы Ройе-Коллар?

Случается порою, что экзаменатор, вследствие ли разыгравшейся подагры или по случаю вчерашнего лишнего литра божолэ, начинает так гонять ученика по всем закоулкам Парижа, что у того волосы на голове взмокнут. Но это бывает редко. Добрым душам не свойственна придирика. «Юноше ведь тоже нужен кусок хлеба. И, наверно, сейчас с дрожью в сердце ждет результата этого экзамена какая-нибудь крошечная белая козочка, такая ласковая маленькая кошечка».

Будет время, когда по улицам Парижа проедет в последний раз последний фиакр. И этот последний выезд, конечно, приведет его в один из исторических музеев. А может быть, будущие парижане увидят и будущий памятник кучеру таким, каким мы его застали. В низком цилиндре, с длинным бичом, в допотопном жилете, с пледом, окутывающим ноги?

III. Невинные радости

Нет на свете той красоты и той добродетели, которая, в чрезвычайно сгущенном виде, не превратилась бы в уродство. Чудесно пахнут духи *Rose Jacqueminot*, но концентрированная розовая эссенция непереносна для обоняния. Так и бережливость – навык весьма похвальный, но родственная ей скупость, доведенная до крайности, отвратительна.

Мы, русские, в мятежной широте души своей, считали даже самую скромную запасливость за презренный порок. В начале нашего парижского сидения мы почти единодушно окрестили французов «сантимниками», но разве – черт побери! – мы за семь лет не прозрели и не убедились, с поздним раскаянием, в том, что бесконечно счастливы те страны, где всеобщая строгая экономия вошла более чем в закон, в привычку? Наше глупое «денек, да мой» оказалось хвастливым, жалким и фальшивым выкриком перед французским разумным: «Для себя, для детей, для родины».

Да: и для родины. Вспомните войну семидесятого года и пяти миллиардную контрибуцию, покрытую столь же легко, как и быстро. Посмотрите на колоссальные общественные сооружения во Франции.

Французский буржуа дорожит своим трудом и высоко его ценит. Он отлично знает, что сделаны круглыми вовсе не для того, чтобы их легче катить ребром, а для того, чтобы они не

⁷⁸ Старина (фр.).

протирали кошелька; наоборот, они сделаны плоскими для того, чтобы их удобнее было складывать в стопочки и относить в банк. С деньгами не шутят.

На работу французский буржуа лют и умеет требовать работу от подчиненных. Но без конца он трудиться не хочет... Подходит его возраст к пятидесяти пяти годам. В банке, в надежных бумагах, давно хранятся солидные деньги. Три четверти жизни в работе и накоплении. Одна четверть для полного почетного заслуженного отдыха (конечно, я говорю о мелких буржуа и о крупных рабочих). Вовремя продается предприятие, место и машина... Гордо и сладко жить на ренту в провинциальном, родном, тихом городке... Вкусны: дневной аперитив и вечерний кофе в излюбленном кафе. Привычны: своя газета, свои собеседники, долгий спор на политические темы, ежедневная партия в манию или в белотт на стаканчик «пикколо».

Мечта отдыхающего француза, особенно парижанина – это ловля рыбы на удочку.

Но далеко надо ездить на рыбные места. Приходится ловить в Сене. Какие чудесные у французов рыболовные принадлежности, какая славная и разнообразная приманка, как красиво закидывает он леску и как они терпеливы!

Но, говорят, Сена на всем ее парижском течении – река совсем не рыбная, ибо вода ее испорчена отбросами города. Плодовита рыбой она становится только ниже Конфлана, там, где в нее вливается Уаза, и еще дальше. Впрочем, обо всем этом, чуждом мне удочном искусстве когда-нибудь гораздо авторитетнее, лучше и занятнее расскажет мой уважаемый друг А. А. Яблоновский (один из величайших современных рыболовов).

Отдыхающие буржуа, которые победнее и попроще, неизменно и неумолимо торчат круглый год над Сеной, на мостах и на прибрежных камнях. Часами торчат сзади них их досужие наблюдатели; не дождавшись, уходят; на их место становятся другие и также смотрят безрезультатно на рыболовов. Но, заметьте, – что значит культура! – ни один из зрителей не позволил себе пустить насмешливое или задирающее словцо; каждый из них с наслаждением подержал бы в руке, минут хоть десять, тяжелое удище!.. А вдруг?

Впрочем, однажды я в 1923 году был свидетелем счастливой ловли. В ту зиму Сена так высоко поднялась в своих берегах, что не только погрузила в воду обоих зуавов под мостом Альма чуть ли не до подбородка, но слегка затопила метро «Альма-Марсо». Тогда Сена, стиснутая каменными набережными, яростно и круто стремилась вниз, грязно-зеленая, вся в кипящей пене и в клокочущих буграх, а над ней низко и косо носились с резким писком бог знает откуда прилетевшие острокрылые белые чайки. Тогда рыба действительно брала! Я видел, как к вечеру, с трудом оторвавшись от сладкого азарта, один рыболов, пожилой, короткий и толстый буржуа, тщательно развинтил и сложил свою коленчатую удочку, смотал, кряхтя, леску и с триумфом пошел домой. В его патентованном эмалированном ведрце плескалась дюжина рыбок: две крошечные плотвички, пара пескариков, несколько уклек... .

О! надо было видеть его походку – походку старого, просоленного бретонского рыбака: широко расставляемые ноги, выпяченные локти, тяжелая перевалка с боку на бок. Для каждого из любопытных он останавливался и охотно приподымал истыканную дырками-продушинками крышку, чтобы показать ему свой богатый улов. Воображаю, как, придя домой, он священнодействовал у плиты, обваляв своих рыбок в муке и поджаривая их на фритюре. И с каким благоговением взирало на него потрясенное и счастливое семейство! Ну, не мило ли это? Во всяком случае, гораздо милее, чем приехать на автомобиле в Билль д'Авре в шикарный ресторан, расположенный над озером Коро, и после долгого завтрака заказать хозяину рыбную ловлю. Вам дадут все: удочки, приманку, табуретку, клевое место, и, если вы даже при всех этих услугах умудрились ничего не поймать, вас заботливо обеспечат свежей, только что выловленной рыбой; конечно – не даром.

Второе увлечение французов – птицы. Я не знаю других городов, где бы так любили птиц, как в Париже и Москве. Здесь во всех мансардах и ре-де-шоссе, там во всех чердаках и полуподвалах всегда в погожие дни выставляют в распахнутые окна, между горшками с геранью и фуксией, клетки с неизбежными канарейками. У нас держали еще в клетках соловьев, чижей, перелов, скворцов; здесь часто держат рисовки, неразлучки и еще какие-то маленькие, прелестные, ярко оперенные птички; названий их я не знаю; они продаются на набережной, где Самаритэн. Старые парижане еще помнят, как мелодично пели по утрам продавцы птичьего корма: «Mougon pour les petits oiseaux-aux...»

Теперь эти утренние певцы исчезли, вывелись. А «*moignon*»⁷⁹ – эта такая маленькая, нежная, бледная травка, которая у нас называлась мокрицей. Домашние птицы охотно ее клюют.

Но есть люди, которым одинаково неприятно глядеть как на рыбу, у которой извлекают изо рта окровавленный крючок, так и на птицу, заключенную в тесные пределы клетки. Эти любители животного мира предпочитают видеть рыб и птиц на свободе.

Парижские скверы и сады охотно посещаются вольной птицей. По их лужайкам доверчиво разгуливают даже такие сторожкие птицы, как черные, желтоклювые певчие дрозды. Здесь дрозд отлично знает, что французскому мальчугану никогда не придет в голову соблазн лукануть в него камнем. У русского дрозда такой уверенности, пожалуй, не найдется. Я не говорю о воробьях и голубях, эти подбирают хлебные крошки у самых ног человека и почти из рук, что можно увидеть ежедневно в Париже, повсюду, где есть только скамьи для прохожих и древесная листва над ней, хотя бы даже на Елисейских полях. Парижские голуби очень красивы. Они стройны, тонки и грациозны. Оперение у них палевое. На стриженных парковых газонах, на их чистой, свежей, прелестной зелени они кажутся почти розовыми, и это соединение цветов необыкновенно радует глаз. Здесь я не видел голубей в таких огромных массах, в каких слетаются чугунно-сизые голуби на Красную площадь в Москве и серебряно-белые на площадь Святого Марка в Венеции. Но однажды, вместе с покойным В. А. Рышковым, из его чердачной вышки на улице Турнефор, мы с умилением и с беззлой завистью наблюдали, как напротив нас, через улицу, высунувшись из какой-то клетушки над седьмым этажом, гонял неведомый нам охотник отличную стаю любительских голубей. И совсем как в Москве, посвистывал он тонко и резко на особый лад и так же размахивал в воздухе длинным шестом с привязанной на конце его тряпкой.

Вот у меня постоянно Париж и Москва... Когда-нибудь, если найду время, я приведу десятки характерных бытовых черт, чудесно общих для двух этих старых городов, но совсем неподходящих к другим большим городам. А ведь сколько наблюдательных и вдумчивых людей говорило: «Сам не могу понять, чем мне Париж так напоминает Москву?» Или это болезненные признаки ностальгии? Но разница в том, что Париж во все стороны жизни: и в науку, и в забаву, и в искусство – вносит две стойкие черты: изящество и законченность. Весь средний Париж, ежедневно, во всех садах, скверах, аллеях и тенистых зеленых закоулочках с удовольствием кормит хлебными крошками воробьев. Но из тысячи человек один доводит это скромное bucolicкое занятие до профессионального совершенства, до главного смысла и цели своей жизни, перевалившей к спуску в долину Иосафатову. Зоркий Париж давно отметил тип такого давнего любителя и дал ему подходящее наименование. По-старому его называли «*Oiseleur*» – эпитет, который был приложен к имени короля Henri I, Генриха Птицелова. Но «*Oiseleur*» означает не только птицелова, а еще любителя, пожалуй, покровителя птицы. Как сказать по-русски – не знаю. Птицевод? Птичник? Птицелюб? Ужели птицефил? Это старое французское словечко как-то стерлось. Теперь такого птицефила именуют с некоторой литературной претенциозностью «*enchanteur des moineaux*». Очарователь воробьев? Заклинатель? Воробьиный волшебник? Надо, однако, сказать, что сношения этих оригинальных людей с легкомысленными воробьями кажутся на первый взгляд и впрямь не лишены колдовства.

Одним таким «уазлером» я любовался несколько дней подряд, приходя нарочно к двум часам дня на сквер Инвалидов, и теперь с удовольствием возобновляю в памяти его волшебные сеансы.

Вот он приходит медленными, грузными шагами. Ему лет пятьдесят пять. Он плотной комплекции и кажется книзу еще шире, потому что карманы его пальто, набитые хлебом, оттопырились. На нем старая широкополая фетровая шляпа. Не торопясь, он садится на зеленую скамеечку.

Воробьи уже давно его дожидались на газоне, против заветной скамейки. Теперь они слетаются со всех сторон и застилают зелень буро-бело-желтыми живыми комочками. Иногда мне кажется, что в этом мнимом беспорядке есть какой-то свой особый воробьиный строй и что-то вроде чиноначалия.

Очарователь отщипывает кусочек хлеба и, держа его двумя пальцами, подымает руку вверх. – Алло! Феликс Фор! – восклицает он и ловко бросает хлеб.

⁷⁹ Травка для птичек с... (фр.)

Несколько воробьев срываются с мест, но один из них перегоняет всех и ловит кусочек на лету.

– Дюма-пер! Гамбетта! Фрейсине! Буланже! Лессепс! Так выкрикивает Очарователь одно за другим громкие, старые французские имена, и с необыкновенным проворством, с замечательной точностью ловят воробьи в воздухе хлебные шарики.

Знают ли они свои имена? Мне хочется верить, что знают. Впрочем, за Гамбетта я почти готов поручиться. Он приметен своей броской белобокостью, и, кроме того, у него одно перо на хвосте, справа, должно быть, сломанное или погнутое, торчит в сторону. Мне кажется, что он всегда подлетает на имя Гамбетта. Эта переключка – первое действие. Окончив ее, Очарователь встает, подходит к самому обрезу газона.левой рукой у груди он держит большую булку, а правой отрывает от нее крошечные кусочки и чрезвычайно быстро (но спокойно) подбрасывает их невысоко над своей головой, плечами и лицом. И в миг он весь окружен, ораян, осиян трепещущей воробьиной стаей. Великолепное зрелище! Волшебник стоит спиной ко мне, лицом против солнца. Оттого крепкая фигура его мне кажется темной и не явственной. Но тесный подвижный воробьиный ореол вокруг него весь пронизан насквозь щедрым, горячим, золотым солнечным светом. Воробьиные тела стали невесомыми, а их бьющиеся крылья пыльно-прозрачными. Очень похоже на то, что стоит в добрый июльский день около улья русский пасечник, а вокруг него вьются и кружатся добродушные и доверчивые пчелы. Прилетает откуда-то, такой тяжелый в этой порхающей семье, такой неуклюжий в этой воздушной легкости, палево-розовый голубь. Волшебник хочет и ему побросать немного хлебных кусочков, но как справиться с воробьями? Их – сила. Они рвут хлеб прямо из руки. Они перехватывают его в воздухе. Они оттесняют своей массой голубя, не упуская, кстати, подходящего момента, чтобы долбануть его клювом. Они кричат на него: «Зачем влез не в свою компанию?» Правой рукой уверенным кругообразным движением Волшебник отгоняет воробьев за свое левое плечо, осаживает, точно добрый полицейский, эту живую вертящуюся уличную толпу, чтобы выгадать свободный доступ голубю. Воробью хорошо. Он может, часто трепеща крылышком, держаться на одном месте, может в момент взвиться вверх и юркнуть вниз. Голубю потребно широкое пространство для медленного маневрирования. Фрегат и миноноски... Для голубя теперь вопрос уже не в закуске, а в самолюбии. И когда наконец с трудом ему удастся вырвать подачку, он с наружным равнодушием отлетает прочь. «А все-таки я настоял на своем!»

Во время этой свалки хитрее всех и практичнее ведет себя белобокий Гамбетта. Он ловко пристраивается то на плече, то на воротнике Очарователя и, чуждый общего смятения, спокойно выклевывает у него из бороды запутавшиеся в ней обильные хлебные крошки. Есть в нем что-то от мародера.

Все движения Волшебника точны и размеренны, даже тогда, когда он идет, даже (я видел) когда он завтракает. Это профессиональная, инстинктивно ввевшаяся привычка. Такое же уверенное и вселяющее доверие спокойствие я наблюдал в жестах, движениях, даже в речи знаменитых укротителей хищных животных, не только в клетках, во время представления, но, в привычку, и в домашнем обиходе.

IV. Кабачки

О душе большого города музеи и дворцы говорят гораздо меньше, чем старые улицы, чем рынок, порт, набережная, церковь, лавка антиквара и, конечно, больше всего – дешевый трактир попоще.

Дорогие рестораны ничего не дают для наблюдения. Во всем мире они одинаково обезличены: те же лакеи, метрдотели и гости, те же самые танцоры и музыканты, и повсюду общие слова. Здесь мода, литература, спорт, кухня и демократизм оболванили людей на один образец. (Я не хочу этим глаголом сказать что-нибудь обидное; болван, болванка – значит деревянная или чугунная готовая форма.) Исчезают понемногу ресторанчики, славившиеся некогда каждый каким-нибудь специальным блюдом. Для американских гастрономов, правда, еще держатся таверны, где за дорогую цену вам дадут кушанье – гордость и славу дома: пронзительный буйабесс, или руанскую утку, не зарезанную, а непременно удушенную, или рубец по-лионски, или – поблизости бойни – замечательный бифштекс с кровью, или у какой-то тетке Дюпон изумительные телячьи котлеты. Но все это для снобов. Для них же и знаменитый луковый суп в од-

ном из кабачков Центрального рынка, в два часа утра, в жутком обществе апашей, ночных бродяг и преступников. И все это такая же подделка под старинные, исторические кабачки, как подделка – апаша, которые – не что иное, как мелкие профессиональные актеры, успевшие уже за ночь отыграть раз тридцать свои гнусные роли в пресловутых монмартрских «Небе», «Аде» и «Небытии» и притащившиеся в Halles⁸⁰ на утреннюю халтуру, чтобы представлять перед ротозеями пьянство, игру, дележку награбленного, ревность, ссору, драку и поспешное общее бегство по свистку мнимого сторожа.

Исчезают, даже почти совсем исчезли, прежние забавные и прелестные названия кабачков. Где эти «Белые павлины», «Золотые олени», «Лев и Магдалина», «Голубая подвязка», «Гаверна лучников», «Золотая шпора»? Названия монмартрских кафешантанов претенциозны, надуманны, противны для уха и вкуса. Простонародный кабачок окончательно сошел на нет. О нем можно вспомнить, только читая старые французские романы. Яркие, звонкие вывески позабыты, позабыта и старая кухня. Впрочем, Париж так быстро и часто перестраивается, что погибли без возврата даже названия старых, шестисотлетних улиц. Однако, в виде наставления новичкам, я должен сказать, что еще совсем недавно обладателю тощего кошелька рекомендовалось дешево и вкусно позавтракать в одном из ресторанчиков под вывеской «Свидание кучеров и шоферов». Но это рекомендация давнего прошлого. Кучера на наших глазах вырождаются, шоферы бедствуют. Зато смело идите в тот кабачок, в котором издали увидите по белым блузам, по измазанным следами извести лицам – каменщиков. Теперь Париж бешено строится. Каменщичья работа в большом спросе и в высокой цене. Парижские каменщики совсем похожи на русских (Мещовского уезда, Калужской губернии). Так же беззаботно ходят они по узким балкам на седьмом этаже, так же громко, весело поют во время работы, так же кротки нравом, так же крепки в артельном быте, так же емки, когда едят, и так же всей большой сотрудиической ватагой валят в ближайший простенький ресторанчик.

И курчавый, серьезный хозяин кабачка, умный, скупой оверньят, этот французский ярославец, – внимательно следит за свежестью мяса и рыбы, за доброкачественностью масла, за добрым качеством вина. А не то две-три жалобы, один скандал – и опустел его кабак, а потом как создать ему вновь популярность? Тут надо еще сказать, что парижский каменщик, стоящий у отвеса, машины и циркуля, получает до десяти и больше франков в час, а также и то, что французский рабочий (дай ему бог здоровья, а нашему такой же жизни) в еде и питье для себя не скупится: аперитив, рыбное, мясное, салат, овощи, сыр, сладкое и кофе, умело орошенное старым ромом; а в промежутках – литр обыкновенного вина. Не ужасайтесь его расточительности: каждую субботу он увеличивает счет по сберегательной книжке (чего нашему рабочему я от души желаю). Идут они опять на работу вперевалку, румяные, черноусые, с блестящими глазами, с лицами, кое-где вымазанными известкой... Ничего. В работе алкоголь выйдет через пот.

Эти маленькие кабачки именно тем иногда и милы, что в них часто собираются люди одной и той же профессии.

Есть большая парижская Биржа, на ступеньках которой, по-видимому, без всяких причин мечутся и орут каждый день сотни сумасшедших, взъерепененных людей; орут в чистом тоне верхнего тенорового си. И около этой Биржи многое множество кофеен, ресторанов, пивнушек и кабачков, где наскоро пьют, закусывают, читают бюллетени, газеты и продолжают кричать биржевые зайцы. Есть уличная брильянтовая биржа и рестораны при ней. (Правда, под вечной угрозой внезапного полицейского контроля.) Есть биржа почтовых марок, конечно, со специальным рестораном сбоку. Я знаю уютные полуподвальные кабачки, где собираются итальянцы и савойяры-угольщики; маленькие ресторанчики, излюбленные граверами, переплетчиками, рисователями обоев; кабаки-норы, посещаемые тряпичницами; бистро около конечных станций метрополитена, приюты кондукторов и вагоновожатых... Я открыл в Пятом округе кабачок на улице Мальбранш, где собираются глухонемые: странно и жалко в тишине видеть повсюду за столиками их напряженный разговор, состоящий из быстрых движений пальцев и страстной мимики. Так и кажется, что они торопятся и никак не могут наговориться досыта. И часто меня в этих кабачках грызет назойливая мысль: ах, если бы я умел все понимать на языке лангедок, на гасконском, на оверньском, на бретонском, на нормандском, не считая самого трудного языка –

⁸⁰ Рынок (фр.).

языка парижских окраин. Какой богатый материал! И все-таки кое-что понятно.

V. Призраки прошлого

Пасси – очень интересный округ. Нынешние эмигранты ославили его русским. По этому поводу ходили тяжеловатые остроты. Называли Пасси «Арбатом» и «Пассями». Уверяли, что где-то, на улице Лафонтен, повесился чистокровный француз, оставив записку: «Умираю от тоски по родине». Немножко тоньше была такая шутка: Встречаются на авеню Моцарт два парижанина; один спрашивает, как пройти на улицу Жорж Занд; другой отвечает: «Простите, я не русский». Но шутки эти были кратковременны. Цены на квартиры в Пасси растут в такой дьявольской прогрессии, что ныне в нем русские стали так же редки, как зубры или мамонты. Остался один русский. Ага, да и тот караим.

Пасси занимателен тем, что в его домах, в улицах и их названиях причудливо переплетается новизна вчерашнего дня с почтенной старостью, восходящей к Франсуа I и дальше.

Дедушки и бабушки нынешнего среднего русского поколения, приезжая в Париж, не видели ни здания Трокадеро, ни многоэтажных домов Пасси. Он был тогда большой деревней, куда ездили парижане на воскресные дальние пикники или посещали его мимоездом, отправляясь в Булонский лес (тогда и вправду лес!) для дуэли.

Деревня Пасси славилась прекрасным и отличным маслом. Знаменита она еще была целебными железными источниками; их открыл в начале ХУШ века аббат Рагуа. Во многих романах первой половины прошлого столетия упоминается об экскурсиях к лечебным водам в Пасси. В них тогда очень верили. Семьдесят пять лет – это не старость, даже не средний возраст для города, тем более что Пасси на наших глазах бешено застраивается, обновляется, подчиняясь строительной горячке.

Быстро бежит время, еще быстрее – человеческая предприимчивость. Скупаются наперебой далеко еще не старые, сорока-пятидесятилетние дома, причем о их стоимости никто и не говорит: ценится лишь количество метров в земельном участке. Разрушаются до фундамента милые, уютные, кокетливые особняки о двух-трех этажах, выстроенные как дачи для веселых дам Третьей империи, и на место их вытягиваются с волшебной скоростью к небу железобетонные великаны. Покрываются стройкой большущие запущенные сады и прелестные парки. Совсем недавно, лишь прошлым летом, архитектор Маллэ-Стивенс построил на улице Доктор Бланш в модном вкусе архитектурное недоразумение, на которое и до сих пор, еще в декабре, приезжают поудивляться дальние парижане. О нем много говорили в газетах. По-моему, такое здание охотно одобрил бы для торговых бань в «каирском стиле» московский купец с модернистским уклоном. Кроме того, оно сбоку похоже своими узкими, длинными, забранными решеткой окнами на тамбовскую тюрьму, с фасада же напоминает: отчасти небрежно начертанную крестословицу, а отчасти табачную фабрику с гаражами внизу. Единственная радость для взгляда – его белизна на фоне неба, когда оно бывает густо- и ясно-голубым. Но мы посмотрим на эту белизну через год!

Стивене еще не успел построить свой бестолковый дом, как все обитатели Пасси живо заинтересовались строительной затеей, характера необычайно грандиозного.

Скуплен большой квадрат садов, домов и пустырей, лежащий между параллельными улицами – Ассомпсион – Рибейра и двумя пересекающимися – Моцарт – Лафонтен: кусок, пространством в сорок – пятьдесят наших десятин. Все жилые помещения идут на ломку и снос. Вместо них построится сотня семиэтажных современных громадин; в каждой по сто входных лестниц и по двести квартир. Через пять лет вырастет целый город с населением – что там уездных Медыни или Крыжополя! – целой губернской Костромы... Какой размах! Я думаю совсем о другом. Преобладающая доля этого большого участка принадлежала некогда женскому монастырю. Его церковь и общежитие были построены в XVnи веке. В пятидесятых годах прошлого столетия монастырь принимал на строгое, закрытое воспитание девиц из знатных фамилий. Теперь этот обычай остался далеко позади. О нем сохранилась последняя память только кое-где в романах Мопассана. При мне здесь помещался дорогой пансион для девиц из богатой буржуазии, – довольно чинный, но уже со многими, против прежнего, послаблениями, вроде тенниса, обучения новым танцам, отпусками по четвергам и субботам. Вся площадь пансиона была обнесена высокой, в две сажени, оградой из крупного, серого, грубого булыжника и казалась непроницаемой для посторонних. Но иногда малая калитка в тяжелых железных воротах оставалась по случай-

ности открытой, и я на несколько минут мог видеть великолепный запущенный парк, густые аллеи сплошных могучих каштанов и легкие цветники; все это как рама для старого большого дома благородной архитектуры позапрошлого века и для прелестной маленькой белой церковки. Какое томительное очарование пробуждают в нашей душе эти кусочки, живые обрывки прошедшего, подсмотренные издали, сквозь щелочку. Теперь и церковь, и монастырский двор, и старый парк исчезли. Вместо них беспорядочными кучами громоздятся на земле камни и обрубки деревьев. Гм... Дорогу молодому поколению!! А не так давно покончили с чудесным замком Мюетт.

При Карле IX это был скромный охотничий домик, сборный пункт. Немая особа вовсе не была замешана в том, как называли эту лесную сторожку. Здесь держались ловчие соколы в период линяния.

Мюет, если перевести по-русски, значит линять, сбрасывать рога (у оленей). Домик, переходя из рук в руки, расширялся, украшался, подвергался перестройкам в духе эпох, пока не сделался прекрасным дворцом. Там гостили: и Мария Медичи, и маркиза Помпадур, и королева Мария-Антуанетта. Туда привозила герцогиня Беррийская своего гостя Петра Великого... В последнее время им владели банкиры. Этот замок на моих глазах разрушили в течение двух лет. Постепенно спадали в мусор исторические пристройки, одни за другими, от младших до пожилых, старых и древних.

Долго оставался лишь древнейший, первоначальный фасад, обнаженный, изуродованный, облупленный с боков, одиноко и печально высившийся над грудями камня и щебня. Но все-таки он казался неотразимо величественным. Всего – два этажа с чердаком, и – как красиво! Красота осталась только в пропорциях. Так строили в старину, строго подчиняясь разделению линии, по закону золотого сечения, то есть по требованию абсолютного изящества.

В Пасси снесено с лица земли много чудесных замков – памятников старины (см. историю XVI округа. Библ. Мэри Огей). Но это относится не только к Пасси, а и к Парижу, и ко всей Франции.

Среди американцев-миллионеров давно уже вошло в спортивное обыкновение покупать картины, статуи, библиотеки, мебель, посуду Старого Света. Теперь они стали покупать целиком старинные замки, церкви, чуть ли не целые древние города, с пейзажами, горами и озерами, для того чтобы восстановить это у себя, в Чикаго или в Детройте. Конечно, честь им за уважение и внимание к чужой истории, но...

Но невольно, а может быть, и некстати, вспомнилось мне, как приехал я по делу молодым, безусым офицером в имение Соколовку, Рязанского уезда. Имение это раньше, со времен Екатерины, носило по своим настоящим хозяевам славное историческое имя. Потом перешло оно в другие руки, в третьи, пока не попало последовательно к купцу Соколову, припечатавшему его своей фамилией, а от него, наконец, к купцу Воронину. В имении была торжественная въездная арка, был пруд, на пруде островок с колонной-беседкой. Там когда-то плавали лебеди. Была в доме восхитительная гостиная с паркетом из палисандра-эбена и красного дерева; со штофными толстыми струистыми стенными панно, теперь значительно ободравшимися. Там я сидел против купчихи Ворониной. Она, жирная, с заплывшими глазами, кумачово-красная от питья, грызла орехи и плевала скорлупой на пол.

Она была в ударе; она с трудом переложила обеими руками одну слоновую ногу на другую, лихо подмигнула мне глазком, дернула за сонетку, вышитую давным-давно милым бисерным рисунком, и крикнула:

– Лакей! Лакуза-а!

Вошел малый, босиком, в холщовых штанах, в жилете, из-под которого торчала грубая ситцевая сорочка.

– Чимпанскава барыне, – гаркнула купчиха. – Вот как мы, дворяне, нынче гуляем.

Лакей принес графин водки и соленых груздей в желтом бумажном картузе.

Старые песни

Совсем неожиданно получил я приглашение: белградская богема – художники и писатели – звала меня провести с нею вечерок в кабачке «Код три селяка», а кстати послушать старые сербские и цыганские песни.

Я уже не помню, каким очередным заседанием мне, с сожалением, пришлось пожертвовать. Часов в восемь-девять вечера мы сошлись в маленьком незатейливом трактирном кабинетике, оклеенном дешевенькими обоями, ну вот совсем как раньше, в Москве у какого-нибудь Бакастова, и без всякой церемонии перезнакомились за бутылкой черного вина.

Был тут еще гармонист, лысоватый, с бледным круглым лицом и немного усталой улыбкой. Пока разговаривали и чокались, он потихоньку, еле слышно, что-то наигрывал на своем инструменте, а потом вдруг сразу растянул гармонию во все меха, сделал громкую прелюдию, выпрямился и завел странную, в диком для меня ладе, песню. Вся компания сразу ее подхватила.

Голоса у сербов высоки и чисты, они белого цвета и кажутся выкованными из стали. Все пели в унисон, полной грудью, какую-то старую, однообразную воинственную песню. Я не понял в ней почти ни одного слова, знаю только, что в ней упоминалось о турках и о Косовом поле... Лица певцов были серьезны, даже нахмурены...

В это время в комнату вошла пожилая высокая женщина и молча стала за спиной гармониста. «Должно быть, хозяйка?» – подумал я. На ней был свободный, из черного шелка, рваный капот, застегнутый от горла до ступней, похожий не то на монашеский подрясник, не то на длинную рубаху с рукавами и не скрывавший ни ее худобы, ни ее широких костей.

Лицо ее поразило меня. Грубое, суровое, шафранно-желтое – оно было как-то по-лошадиному длинно. Ее большие, черные, с недобрый матовым цветом глаза так глубоко ушли в орбиты, что не видно было белка. Густые, синие, растрепанные волосы были небрежно завязаны узлом на затылке. Совсем необыкновенная женщина!

Хозяева мои спели еще три песни, такие же широкие, монотонные и мощные. В них слышался такт галерных весел, и ритм морских волн, и гудение ветра в корабельных снастях.

От этого протяжного и громкого пения я стал испытывать нечто вроде морской качки. Голова у меня слегка кружилась, и устало смежались глаза. Потом сделали маленький перерыв. Опять чокались и пили за Россию, и за Югославию, и за славянство, и за искусство крепчайшее «црно вино». Пила и хозяйка...

И вдруг надо мной раздался и разлился, сразу наполнив всю комнату, сильный, густой, прекрасный по тембру голос. Я сначала подумал, что это запел баритоном мужчина. Поднял голову. Нет. Пела та самая странная женщина в черном капоте, которую я считал хозяйкой кабачка. Голос ее в низких нотах очень напоминал густой контральтовый виолончельный голос покойной Вари Паниной, а верхние ноты звучали, как яростные клики Брунгильды, когда ее пела одна прославленная русская певица (имени ее не называю, чтобы не поставить на одну доску великую артистку с ничего не говорящим именем).

Я спросил на ухо моего соседа:

– Кто эта женщина?

– Так, певица, цыганка, – отвечал он небрежно.

Я подумал: «Плохо же в Сербии одеваются певицы!»

Но вскоре все это предрассудочное, условное, внешнее смягчилось, растаяло, унеслось. Сила таланта пленила, очаровала нас всех. Да и самой прежней некрасивой женщины нельзя было узнать. Она точно еще выросла. Ее черные глаза ожили, вышли из орбит, стали огромными и загорелись черным пламенем. Белки порозовели. Ноздри раздулись, как у нервной лошади. Сквозь желтизну щек проступил смуглый румянец. Нельзя сказать, что она похорошела. Она вдруг сделалась прекрасной. Ведь бывает же иногда, что самое некрасивое человеческое лицо в экстазе вдохновения делается столь прекрасным, что перед ним покажется ничтожной патентованная глупая, холодная красота. Впрочем, здесь дело таланта и порыва.

Что она пела – не знаю. Мне часто сквозь сербские напевы слышались мотивы, как будто родственные листовским венгерским рапсодиям. Да и не мудрено: Венгрия близко, Сербия здесь, а цыгане в своем кочевом блуждании берут свои напевы без всякой церемонии оттуда, где их услышат. Они только перецыганивают чужую песню на свой лад, который называется «романее», в котором никакой теоретик музыки никогда не разберется, ибо он весь состоит из неправомерностей, но в котором есть тайная, ни на что не похожая прелесть и колдовское дикое обаяние – одинаково действующие повсюду: слышите ли вы цыган в Испании, Сербии, Румынии, на Черной Речке в Петербурге или в Москве в Грузинах. Этот секрет пения вынесло фараоновое племя много веков назад из своей загадочной родины, из Египта, или, может быть, затонувшей Атлантиды. Или из другой страны, где были так неистовы страсти, так огнедышаща

любовь и так свирепа ревность? Гармонист Чича Илья не вел голоса, как прежде. Он только бережно на басовых ладах поддерживал основной мотив, и выходило так, как будто бы волшебница-цыганка пела под аккомпанемент органа или фисгармонии.

В один из промежутков она ушла, не прощаясь, так же незаметно, как и пришла. Впрочем, было уже поздно. Да и признаюсь, нервы у меня теперь стали не те, что раньше. От силы новых впечатлений, от огней, от табачного дыма, а главное, от этого мощного, громкого пения у меня распухла голова, и всем телом овладела усталость. Кроме того, и «црно вино» оказалось чересчур «лютым», как говорят сербы. Наутро мне принесли в гостиницу мое пальто.

Мыс Гурон

I. «Сплюшка»

Мы живем на скале, которая утопает в море. Если откроешь окно и выглянешь наружу, то море и под тобою и перед тобою. А если смотреть вдаль, то и над тобой. А когда выйдешь за ветхую дверь и подынешься на пять-шесть ступеней, намеченных грубо в каменной породе, то ты уже находишься в лесу, среди кривостволых приморских сосен, смолистый запах которых просто удушает. Здесь-то мы и живем на мысе Гурон, в рыбацкой хижине (по-местному – «кабано»), в условиях, не особенно далеких от тех, в которых когда-то проживали Робинзон и Пятница.

Хромой стол, два хромы стула, два утлых топчана, и все это из некрашеного гнилого дерева, керосиновая лампа – вот вся наша обстановка. Готовим пищу мы на спиртовке (понятно, когда есть что готовить...). Здесь нет ни газа, ни электричества и не только нет уличных фонарей, но и самых улиц и даже дорог. Нет и помина о водопроводе и канализации. Нет никакого подобия лавок, ресторанов или пансионатов. Все эти культурные удобства и соблазны имеются лишь в купальном курорте Лаванду, километрах в семи от нашего дикого уголка, у черта на куличках. А о неудобствах я не смею и говорить из боязни потерять репутацию приличного человека. Довольно сказать, что сквозь наш высокий пирамидальный потолок, крытый разбитой марсельской черепицей, можно ночью с удовольствием любоваться ночными огромными мохнатыми звездами.

Раз в неделю приезжает к нам из Лаванду мясник. Через день после него – зеленщик. О своем прибытии они уведомляют всех обитателей гудками; почтальоны дают о себе знать какими-то пискучими дудками.

Здесь все просто, по-семейному. Никому, уходя из дому, не придет в голову запереть дверь. Коренные жители – помесь провансальцев с итальянцами – добры, простодушны, вежливы, приветливы, легки на услугу, любят весело и громко посмеяться. Слышу я иногда их здоровый, какой-то смугло-румяный хохот и с тихой завистью думаю: «А у меня на родине люди уже отвыкли и улыбаться». А ведь какой был великий мастер великорусский народ загнуть вовремя и кстати острое слово, пусть порою немного и переперченное, но такое ладное и внезапное, что от хохота садишься наземь.

Просыпаемся мы в четыре часа утра. Да и мудрено не проснуться. Наша скала с пещерой, в этой пещере рыбаки как раз и устроили гараж для своих моторных и парусных лодок. И каждый день ровнехонько в четыре часа пополуночи, со свойственной морякам точностью, они начинают вытягивать эти тяжелые лодки в море. Тут уж не до сна! Стук, треск, кряхтенье, здоровые окрики, лязг железа, бормотание мотора и, наконец, та морская заутреня, которую я по-французски не понимаю, но которую по-русски я раза два-три слышал у балаклавских рыбаков в доброе, старое, наивное и прекрасное время. Но какое утро!

Я не могу сейчас вспомнить, кто это сказал чудесные слова: рано встал – не потерял. Вернее всего, что это изречение принадлежит не кому-то, а народу. Из темноты медленно выплывают едва видные очертания холмов по этой стороне залива, и много-много времени проходит, пока они не окрасятся нежными розовато-желтыми тонами, похожими на цвет здорового человеческого тела. Но стоит только на минутку отвернуться и опять поглядеть, то видишь с удивлением, что дальние гористые острова, сигнальная станция и чей-то роскошный парк на соседнем мысе уже радостно загорелись нежнейшим розовым светом, подобным цвету шиповника, а через секунду это освещение делается красно-пламенным. Взошло солнце. Как мило, как сладко

для взора и для сердца рисуются дальние лодки и взмах весел и уже на самом горизонте неподвижный, выпуклый, очаровательный парусок, похожий на лепесток мальвы.

Еще прохладно. Воздух чист и прозрачен. Им дышишь и не надышишься. В Париже ты дышишь только до горла. Здесь – до глубины легких и как бы до живота и до ног. Но вот уже начали свой безумный дневной концерт неутомимые цикады.

Да, провансальская цикада – это существо, которое бесспорно страдает эротическим умопомешательством. От раннего света до последнего света и даже позднее они бесстыдно кричат о любви. Никому не известно, когда они успевают покушать. Цикада-самец целый день барабанит своими ножками по каким-то звучащим перепонкам на брюшке, призывая громко и нагло самочку. Оттого-то его жизнь так и недолговечна: всего три дня. Как себя ведут в это время самки, я не знаю, да, по правде сказать, и не интересуюсь. Это дело специалистов. Я не берусь описать неумолчный крик цикад. По-моему, самое лучшее его описание сделал покойный поэт Александр Рославлев. Он говорил, что этот крик похож на тот трещащий звук, который мы слышим, заводя карманные часы. Так вот, вообразите, что триста тысяч опытных, ловких, но нетерпеливых часовщиков заводят наперегонки все часы в своем магазине, но только крик цикад раз в сто громче.

Одна моя знакомая дама сказала мне в Ля-Фавьере:

– Однако какие надоедливые эти птицы – цикады! А когда я поймал и принес ей эту муху, очень похожую на нашу шпанскую муху, она сказала обиженно:

– Ах, я думала, что это такая птичка. И наружность у нее отвратительна, и голос у нее прототивный!

Что поделаешь! Насчет голоса я согласен с дамой. Посудите сами: стоит тропическая жара. И люди и животные обливаются потом. Морской воздух недвижим и не приносит ни атома прохлады. Идешь купаться, но морская вода тепла и густа, как кисель, как льняная припарка. Некуда деваться от жары, а эти гнусные цикады своим непрерывным яростным стрекотанием точно удесятятуют африканскую температуру.

Но я не отчаиваюсь. Я радостно знаю, что придет вечер, похолодеет воздух, облегченно вздохнут земля и виноградники, уйдут с эстрады пиликальщики-цикады и зажжет небесный ламповщик звезды, и тогда начнет свою прелестную песенку маленькая, но настоящая птичка совушка, которую в Крыму так нежно называли «сплюшка». Однообразно, через промежуток в каждые три секунды, говорит она голосом флейты или, вернее, высоким голосом фагота: «Сплю... сплю... сплю...» И кажется, что она покорно сторожит в ночной тишине какую-то печальную тайну, и бессильно борется со сном и усталостью, и тихо, безнадежно жалуется кому-то: «Сплю... сплю... сплю...», а заснуть, бедняжка, никак не может... Семь часов вечера. Пора спать. Темно. Гнусная привычка читать на сон грядущий давно отменена. Свет керосиновой коптилки неизбежно привлечет тучи москитов. Но мы уже достаточно знаем, что такое укусы провансальского комара.

II. Южная ночь

Темнеть начинает уже после шести часов. Море и земля обмениваются воздухом. На минуту мнится, что стало прохладнее. Но, увы, – это ошибка: потянул слабый береговой ветер, точно легкий вздох, точно дуновение дамского веера; потянул и упал... Жарок по-прежнему прибрежный песок; черепица и камень опаляют руки. Сидим в коричневой полутьме на нашей лесенке. Какие-то небольшие птицы летают все кругами, кругами и в одном направлении над нашей хижинкой. Местные русские жители уверяют, что это ласточки. Но какие же ласточки? У ласточек хвост раздвоен наподобие франных фалд, а эти какие-то куцы, точно бесхвостые. Ласточка в хорошую погоду взлетает выше самой высокой колокольни и ныряет вниз, почти до земли, и в стремительном полете своем радостно взвизгивает от наслаждения, а эти молчат и как-то угрюмо кружат и кружат на высоте нашего утлого жилья. Не летучие ли мыши?

Заглась скромно и затрепетала, задрожала нежным изумрудом скромная далекая звезда, и за нею чинно взошли на небо другие младшие разноцветные звезды. Мирный, торжественный, сладкий час. Но уже там, направо, золотеет небо выше горизонта. Потом оно краснеет. Это шествует пожиратель кротких прекрасных звезд – августовский месяц. Вот он и выкатился весь наружу. Сегодня он находится в полной силе и власти. Лик его безупречно круглый и крова-

во-рыжий – бесстыж, как у пьяного палача. Он идет не торопясь, но гигантскими шагами. Скоро он при помощи своих магических чар овладеет всем небом. Робкие, кроткие звездочки теряются, бледнеют от страха и убегают на самый верх неба, где их уже с трудом можно заметить, как острия тончайших серебряных гвоздиков, вбитых во вселенную. Ропот бежит между деревьями, и море глубоко, печально вздыхает, и бесхвостые птички мгновенно скрылись.

Идем в свою будку и раздеваемся без огня, проученные предыдущим опытом. Окно оставляем открытым, иначе умрешь от жары и духоты. А от москитов – все равно – нет никакого спасения, кроме тихой покорности судьбе. Это все вздор, что говорят об антимустикерах, о кисейных, тюлевых и марлевых занавесках, о гвоздичном и лавровом масле и о патентованных мазях в цинковых тюбиках. Для провансальского и ниццкого москита нет ни препятствий, ни заграждений. Он раз в двадцать меньше нашего наивного, глуповатого и – главное – неорганизованного рязанского комара. Но зато во сто раз свирепее его и знает боевую тактику.

Еще задолго до того, как человек вернулся в свою ночную комнату, могучий отряд москитов уже забрался в нее и занял позиции, искусно воспользовавшись каждой щелкой, каждой складочкой, каждым выступом, и хранит осторожную тишину. Вот человек пришел. Он открыл окно. Он взял за два конца широкую простыню и, бурно хлопая ею, выгоняет воображаемых врагов наружу. Потом он окропляет едучими веществами пол, стены, кровать и свое ночное белье. Москиты хранят молчание, крепко вцепившись в стены своих убежищ. Но человеку еще мало этого. Быстро раздевшись, он зажигает зловонную монашку-курилку и только тогда прыгает в постель и поспешно завертывается в простыню, стараясь замкнуть все отверстия и прозоры. Москиты все еще молчат. Тогда человек с глубоким вздохом облегчения говорит сам себе:

– Ну, слава богу. Нынешняя ночь, кажется, пройдет спокойно!

Как легкомысленны эти странные существа – люди, считающие себя царями мироздания, и как мало чему учит их опыт прошлого!..

Проходят еще три-четыре секунды той грозной тишины, которая бывает перед большими сражениями, и вдруг в темноте раздается тонкий-претонкий, но звонкий и вызывающий, нагло оскорбительный звук боевой трубы москитов. Да. Москиты, конечно, разбойники, мошенники и людоеды, но в их тысячелетних навыках нет коварности, этой дочери трусости, а есть первобытное геройство, ищущее открытого боя. Так Святослав, в ожидании смертельной битвы, посылал сказать врагам: «Иду на вы!» Так средневековый пират перед abordажем подымал свой роковой флаг: на черном поле Адамова голова и под нею две скрещенные кости. По этому грозному сигналу москиты рассыпаются во всех направлениях. Они то летают зигзагами, то толкуются на месте, то кружатся, точно танцуя, и, по древнему обычаю, осыпают врага жестокой бранью.

– Если ты не трус, то защищайся. Эй! Ты! Гора мяса! – поют они. – Ты так же огромен в сравнении с нами, как в твоих глазах велик Монблан! Но подожди! Сейчас мы будем пировать на твоей туше и вдоволь напьемся твоей горячей, твоей соленой, твоей опьяняющей крови! И ты в ужасе побежишь от нас и погибнешь, если не спасет тебя случай.

Они свирепы и беспощадны, эти маленькие кровопийцы. Они не ведают ни страха, ни утомления. Человек, защищаясь, убивает их десяток за десятком, но на место выбывших раздавленных воинов слетаются новые и новые воздушные эскадроны. Удары их шпага, омоченных в яде, жгут, как каленое железо. И вот человек – Монблан – совершенно теряет и присутствие духа, и свое высокое достоинство. Им овладевает дикая паника. Он неистово щелкает себя по лбу, по щекам, по носу, по шее и по плечам. Весь в поту, он яростно и громко выкрикивает имена всех чертей и дьяволов. Он падает духом и готов расплакаться. Он мечется с боку на бок, и оттого его постель вскоре принимает вид перепутанного непонятого бугра, в котором он сам не умеет разобраться. Он давно уже не может дать себе отчета, где у него правая и где левая сторона, где верх и где низ. Он воистину жалок, этот жалкий Человек, пишущийся с большой буквы, а теперь весь перемазавшийся в своей крови и во внутренностях раздавленных им антропофагов. Он обессилен. Он не может больше защищаться. Он вытягивается на кровати с покорно разбро- санными руками. Слезы злобной, но беспомощной обиды текут по его щекам.

Но москитам незнакома жалость. Они не дают пощады ни раненому, ни молящему о помиловании. Они, как пьяные, озверелые солдаты, которым вожди отдали завоеванный город на поток и разграбление; они, как библейские воины, которым отдан страшный приказ: истребить все население враждебного города, «не оставляя в живых даже мочащегося к стене».

Москиты трубят победу. Те из них, которые упились хмельной кровью до того, что раз-

бухли и не могут двинуться с места, кричат товарищам:

– Идите сюда! Человек сдался. Ура! Терзайте, рвите его на части, выпейте из него все его красное вино до последней капли. Пир так пир, ребята! Обезволенный, бесконечно усталый человек робко думает: «Кто поможет мне? О, если бы чудо!»

И вот совершается чудо. (У судьбы есть все-таки маленькая слабость к человеку.) Месяц, который до сих пор катился между туч и из красного давно уже сделался блестяще-зеркальным, вдруг останавливается против нашего кабано и своим холодным, страшным диском загораживает все окно. В комнате становится светло, как днем. Москиты отступают и прячутся. Наступает прохлада.

III. Торнадо

Существует морское точное определение направлений ветров по градусам круга, по тридцати двум румбам с долями. Но это для ученых, профессиональных мореходов. А у простых рыбаков повсюду есть ветрам свои особые, старинные, вековые названия.

Так, в древней Балаклаве, в этой гомеровской стране кровожадных лейстригов, восемь главных ветров называются: Морской, Береговой, Леванти, Гребя-Леванти, Широко, Трёмонтана, Бора и Острия.

Кроме того, внезапный, бог знает откуда налетевший, короткий воздушный водоворот – это «джигурина», а настоящий, истребительный, страшный циклон, который под небесную бомбардировку, при ослепительной иллюминации молниями сносит дома, опрокидывает груженные вагоны и выдергивает из земли с корнями вековые деревья, называется «тарнада».

Ничего нет странного в том, что некоторые из этих черноморских названий я нашел у рыбаков на южных мысах благословенного Прованса. Северо-восточный ветер так и зовется Бора, южный – Сирокко, Острия – Ост, Тарнада – Торнадо. Черное и Средиземное моря с незапамятных времен были лакомыми приманками для рыскавших по морям авантюристов, завоевателей, пиратов и флибустьеров. Лукавые финикияне, пронырливые греки, железные римляне и, особенно в последние времена, предприимчивые, неутомимые генуэзцы, – оставили на побережьях этих морей глубокие памятки своей громадной культуры, памятки, и по сии дни неизгладимые... Самые же резкие следы оставили: на суше – римляне, в морях – генуэзцы.

Буря Торнадо подготавливается в небесной лаборатории задолго. Кому во Франции не останутся памятны на всю жизнь те пронзительно знойные дни и удушливые ночи, которые стояли в конце августа и начале сентября 1929 года, когда адское пекло доходило до тридцати пяти градусов в тени и люди падали на улицах, пораженные солнечными стрелами? Вот тогда-то и шла спешным ходом в великом пиротехническом заводе работа над изготовлением Торнадо.

Нам, скромным обитателям Робинзоновой хижины, сначала еще переносна была эта адова жарница; как-никак, а с моря все-таки иногда доносились до нас свежие струйки морского дыхания. Но вскоре и нам стало невтерпеж. Море лежало плоско, белесо и было усталое, изморенное, снулое, бездыханное; грязные и толстые облака лежали над ним без движения, точно приклеенные. Сосновая хвоя так сильно и густо пахла, как будто бы весь наш горный лесок был обильно полит скипидаром. Купанье не освежало. Легкая прохлада чувствовалась лишь при первом погружении в море, но это был самообман: через минуту вода становилась противно теплой и на ощупь липкой. Когда же, выбравшись из моря на пляж, ты садился на раскаленный, ослепительно белый песок, то на секунду ты испытывал такое ощущение, точно из тебя собираются приготовить филейный бифштекс à la Chateaubriand.

И вдобавок эти ненасытные, безумные цикады кричали так яростно и так оглушительно, что за ними нельзя было расслышать ленивый плеск прибоя... Кто-то когда-то сказал: «Любовь, вино и солнце – прекрасные вещи, если только ими не злоупотреблять». Изречение, по-моему, дельное. Но с завистью должен сказать, что солнце повредить может только нам, людям взрослым; дети же могут употреблять его с пользой и с удовольствием в дозах, гораздо более чем лошадиных. Здесь, в Ля-Фавьере, они целый день копошатся на первобытном, еще не тронутым модой, на своем собственном пляже, от раннего розоватого утра до быстро падающих на землю бархатных сумерек, и даже в те палящие, послеполуденные часы, когда их папы, мамы и педантичные тети, обвязав голову мокрой салфеткой, ищут отрады в воображаемой тени, когда лошадям напяливают на темя чепцы, когда собаки, укрывшись в тени забора или бревна, лежат с

умильно сощуренными глазами, с языком, высунутым до земли, и дышат непостижимо быстро; и когда куры зарываются в пыль с разинутыми клювами... Поистине, этот веселый, чистенький морской бережок – настоящий рай для детворы, и – главное – такой удивительный рай, который никогда не может ни надоест, ни прискучить. Да ведь надо признаться в том, что и я – человек пожилой, видевший в жизни чрезвычайно много и почти перегруженный впечатлениями, которые вбирал в себя с ненасытной жадностью, – я могу подолгу, часами, глядеть на детскую возню у моря, и всегда это зрелище мне любо. Что за прелесть эти мальчуганы и девочки, еще не перешагнувшие за пять лет. На сгибах ручек и ножек у них еще тело как бы перевязано ниточками; у них еще выпячиваются вперед кругленькие младенческие пузики, и оттого они кажутся коротконожками и немножко похожи на паучков; и очень к ним идет наименование карапузик. Они еще не тверды на ногах и постоянно шлепаются на задущуку.

Плачут они по сто раз в день, но не долее минуты, чтобы опять расхохотаться, а полуминутная ссора мгновенно переходит у них в поцелуй. И заметьте: если где есть юмор чистой пробы – то, конечно, только у этих младенцев. И смешно, и трогательно, и радостно, и забавно наблюдать их жизнь.

Когда-то, в древности, течение каждой отдельной человеческой жизни разделялось на семилетние ступени, называемые «люстрами»: первый люстр – Младенчество, второй – Детство, третий – Отрочество, четвертый – Юношество и так далее, но эти дальние люстры не так уж интересны, особенно самые последние... А кроме того, разве можно применять общую мерку к людям разных рас, племен, климатов и индивидуальностей? Но я знаю один возраст, который всегда и везде прекрасен; прекрасен, во-первых, потому, что он сам не подозревает своей красоты. Это возраст, когда девочка только что перестала играть в куклы, а мальчику еще далеко до первых признаков возмужания. Еще не наступило время, когда они обое вдруг подурнеют, станут рукастые, ногастые, неловкие, рассеянные. (В Сибири подростков таких с любовной шутивостью зовут «щенок о пяти ног».) Теперь они еще находятся в периоде первоначального невинного и радостного цветения. У обоих нет пола. Строение их тела одинаково. Смотрю я на то, как они почти голышом, шоколадные от загара, носятся по упругому песку пляжа, прыгая, как козлята, или барахтаются в воде, и, право, не сумею сказать, кто из них девочка, кто мальчик. Обое худощавы, потому что тянутся в рост, обое нежно-грациозны в движениях, и слава богу, что сами этого не замечают; обое узки в бедрах и плоски как спереди, так и сзади, тем более что у них обоих стриженные волосы и одинаковые береты.

Ах, как прекрасны их гибкие тела! Наружные очертания их рук, ног, плеч и шей кажутся точно обведенными тончайшим серебряным карандашом, точно освещенными каким-то пушистым сиянием. Этой красоте осталось немного дней, и она уже никогда не вернется.

Вот гляжу я на этих счастливых красавцев, и мне приходит в голову мысль: «Не были ли глубоко правы и мудры древние греки, эти великие знатоки прекрасного и изящного, когда изображали Аполлона, бога красоты, в виде Эфеба – отрока с телом невинным и нежным, еще не омраченным возмужанием». И еще о прелести движения.

Как радостны для глаза всякие движения, которые не связаны с выучкой, с подготовкой, со школой, с проверкой в зеркале. Видали ли вы когда-нибудь работу косцов? Видали ли рязанскую бабу, несущую осторожно два ведра на коромысле, или мужика-сеятеля? Или продольных пильщиков? А теперь вообразите классический балет, или чарльстон, или фокстрот. И, должно быть, из всех наших человеческих наслаждений – настоящие те, которые просты и естественны. Солнце жжет все нестерпимее, все беспощаднее. Но зато и какие же чудеса оно делает. Недалеко от нас, на пляже Лаванду, поселилась наша хорошая знакомая, молодая девица. Была она в Париже томна, скучна, бледнолица, читала до глубокой ночи французские романы, и руки у нее всегда были холодные. И на божий свет она глядела с кислым презрением, сквозь темные очки.

Разделяло нас пространство километров в восемь, если считать дорогу морем. И вот однажды, часов в девять утра, мы видим, что из Лаванду идет прямо на наше кабаню лодка с одним гребцом. Через некоторое время мы убеждаемся, что гребет женщина, а еще минут через пятнадцать узнаем нашу милую мадемуазель Наташу. Я сбегая вниз и помогаю высадиться и провожаю к нам наверх, в хижину. И только в комнате, когда она села лицом к свету, я с удивлением и восторгом вижу, какую волшебную перемену произвели в ней море и солнце.

Где эта прежняя вялость, где бледность, худоба, томность и скука? Живое, веселое, круглое лицо, и сквозь загар здоровый яркий румянец, а по румянцу брызнули золотом и на лоб, и на

щеки, и на нос, облупившийся от солнца, восхитительные веснушки; не те желто-бледные анемические веснушки, какие бывают на макаронных лицах англичанок-учительниц, а те русские милые веснушки – знак полноты жизни и чистоты крови, – которые обыкновенную девичью саратовскую лупетку сделают многократно красивее патентованной и премированной европейской красавицы.

Пока я сижу молча и не спускаю с нее глаз, она рассказывает удивительные вещи. Какой восторг! Она научилась плавать и теперь доплывает до эстакады. Она легко гребет на лодке, но она ездит и на водяном велосипеде. И еще одна гордость: вчера ее взяли рыбаки на рыбную ловлю, и, честное слово, она хоть и промокла вся, но храбро тянула сеть и даже удостоилась рыбацкой похвалы.

– И вообще я убедилась в том, что люди, чем проще, тем они лучше, добрее и занимательнее... Никуда не годятся и все лгут любовные романы, да и зачем терять время и портить глаза за чтением, если жизнь так хороша и разнообразна!

Но тут мадемуазель Наташа (с ударением на последнем слоге) спохватывается и говорит о главной цели своего визита: не знаем ли мы, какое лучшее средство от веснушек и чем мазать нос, если он шелушится? Напрасно я убеждаю ее:

– Наташа, милая Наташа, поверьте моей правдивости, моему вкусу и моей испытанной дружбе: никогда вы еще не были и никогда уже не будете столь прекрасною, как вы прекрасны сейчас.

Но она обижается и надувает губы:

– Ну, да. Я так и знала, что у вас ничего не найдется в запасе, кроме злых шуток. Где моя шляпа?

Проходят дни, а солнце неумоимо, с веселой яростью продолжает свое чародейство. Электричество пересытило воздух. У кошек шерсть стоит дыбом. Нервные люди становятся раздражительны и придиричивы. Странная вещь: недели две тому назад Тулонский военный флот вышел на большие маневры, с учебной стрельбой, дневной и ночью. До сих пор еще и днем и ночью продолжается раскатистая бомбардировка. Неужели это все еще продолжают маневры?! Я прислушиваюсь пристальней и наконец понимаю ясно, что это вовсе не маневры, а просто юг Прованса кругом обложен грозowymi тучами, которые вот-вот готовы разразиться бурей, но почему-то не могут, еще не умеют, не смеют или злобно накапливают свои разрушительные силы. Сколько дней? Может быть, пять – слышал я это угрожающее рокотание неба. Ночью оно было похоже на то, как в зверинце рыкает глухо и грозно запертый в клетку лев. И от этих тяжелых звуков лошади в стойлах перебирают ногами, прядут ушами и потеют в ужасе. И ждешь, ждешь, что он сейчас заревет страшным голосом, ударом лапы разобьет решетку и бешено выпрыгнет на свободу.

Утро встало мутное, без солнца. Тучи были густо, почти черно-синие, и на них какие-то рваные, белые со ржавчиной клочья. Я пошел к нашему другу Оннора купить винограда. Пока он отвечивал мне его, небо потемнело. Семилетняя девочка хозяйина, славная, ласковая девочка, со странным и как будто русским сокращенным именем Надежь, взяла мою руку и тихо сказала:

– Мне страшно.

Странно: этот тихий, жалобный голосок пробудил и во мне мистическое предчувствие приближающегося страха. Пришел старик Оннора с корзиной. Он взглянул на небо и сказал уверенно:

– Пройдет мимо нас, в стороне.

Закапали первые тяжелые и теплые капли. Я заторопился. Когда я проходил мимо соседних дач, Н. Н. Черепнин крикнул мне с балкона:

– Возьмите-ка зонтик!

Но я отказался, сославшись на авторитет Оннора, старого знатока местных погод, и побежал дальше.

Да! Виноградарию все-таки далеко до моряка, и темный инстинкт маленькой Надежь оказался пронзительнее мудрого старческого опыта... Едва я затворил за собою дверь нашей хижины, как началось... Нельзя было сказать про этот внезапный дождь, что он полил или что отверзлись хляби небесные. Скорее я сказал бы, что над нами опрокинулась труба верст сорока в диаметре и с бесконечным запасом воды в неизмеримом резервуаре...

Опишу ли я эту бурю? Сумею ли? Нет и нет. Я не найду для нее на человеческом языке ни

эпитетов, ни сравнений, ни уподоблений. Да и вообще ураган неопишуем. Всего могущественнее живописал его старик Диккенс. Помните, как Давид Копперфильд едет поспешно в Ярмут сквозь страшную бурю, между тем как в Ярмуте в эти минуты происходит еще более страшная человеческая катастрофа?.. Ну и накопило же небо гнева!

Гром и молния падали непрерывно, и порой, казалось, молния не предупреждала гром, а как бы врзалась в его грохот. Хижина наша тряслась. Все те дыры в потолке, сквозь которые мне улыбались прежде по ночам кроткие звезды, обратились в водопроводные краны и стали поливать нашу лачугу из пяти мест сразу. Я растерялся. Вода разлилась по моему рабочему деревянному столу и стала затоплять рукописи как мои, так и чужие, и я видел, как чернила на них расплывались грязными пятнами.

«Пропадут мои рукописи, – думал я, – это еще полбеды, их можно восстановить по памяти... Но поэты и прозаики, которые дали мне свои шедевры на просмотр и помещение в какой-нибудь журнал! Они заключают меня до смерти...» Слава друзьям нашим – женщинам. В минуты катастроф, и крушений, и серьезных опасностей они и находчивее, и практичнее, и деловитее, и умнее нас. Панику обыкновенно начинают мужчины. Под командой друга мы быстро поставили под потолочные течи все, что у нас нашлось емкого: тазы, кувшины, кастрюли. Но вода чересчур быстро наполняла наши сосуды: каждую минуту нам приходилось выплескивать из них содержимое то в окно, то за дверь. Не могли же мы позволить этому потоку размыть наш шалаш и оставить нас под открытым небом?

И помню я один жуткий момент. Нужно было опорожнить за дверь каменный боль, в котором нам обыкновенно приносили воду из колодца, – тяжелый сосуд времен римского владычества. Долго мы ничего не могли поделать с этой углой и обыкновенно до преступной слабости послушной дверью, ибо снаружи на нее напирал ураган силою в ужасное количество баллов. Наконец нам соединенными усилиями удалось в подходящую минуту преодолеть ее упорство. Она поддалась и вдруг распахнулась настежь, бешено хлопнувшись о каменную стену, и мы на мгновение ослепли и потеряли соображение. Казалось, прямо к нам в комнату влетел с ураганом зигзаг огромной молнии невыносимой яркости. И одновременно грянул гром. Он не раскатился и не бухнул. Его удар был мгновенен и сух, как удар кремня о камень, но мощь его была поразительна. Мне почудилось, это над нами раскололось небо, раскололась наша халупа и на две части раскололась моя голова.

Мы едва оправились от потрясения и ужаса. Да, без всяких церемоний я признаюсь в том, что пережил секунду дикого стихийного ужаса, и мне кажется, что солжет тот человек, который поэтически, в байроновском духе, скажет, что он презрительно улыбнулся молнии, которая в шести шагах от него вонзилась в землю, оставив на ней круглую черную дыру.

Немедленно после этого страшного взрыва буря стала стихать. Она не истощила еще своих дьявольских сил, но ее бушующий центр отходил от нас все дальше и дальше, за острова, на другую сторону залива, к Тулону, где Торнадо разразился вовсю. Впрочем, в газетах этих дней подробно печаталось о том, какое наводнение и какую катастрофу наделал в Тулоне этот иррациональный ветер. Гроза пронеслась, глухо рыча, точно огрызаясь. Дождь лил по-прежнему. Мы набрали в кувшин дождевой воды и вскипятили чай. Из Лаванду в этот день никто не приехал: ни поставщики, ни почтальоны. Какая-то жалкая лужица разлилась до размеров Волги и перерезала сообщение. Что за пустяки: у нас был картофель и головка знаменитого провансальского чеснока. А когда мы открывали дверь, то с моря вливался к нам в комнату запах озона, самый прекрасный запах в мире, ибо озон пахнет немного фосфором, и немного снегом, и немного резедою; комбинация же этих запахов очаровательна.

На другой день утром мы с удивлением увидели, что сделал Торнадо с нашим кокетливым, хорошеньким пляжем. Он его совсем исковеркал. Ему мало было нагромоздить огромные горы песка, грязи, водорослей и диких камней. Он врывался в самую глубину моря, проникал до дна и буравил его, выкидывая наверх тяжелую первородную породу. Вся вода перед пляжем стала мутно- и густо-желтой.

Милая моя молодежь приходила купаться, останавливалась далеко от берега, печально покачивала головами и уходила домой.

IV. Сильные люди

Четыре часа свежего розового утра. Я вижу из открытого окна, как выходит на добычу одна из моторных лодок, принадлежащих рыбакам. Слежу ее путь. Вижу, как она остановилась и как через ее накренившийся борт шлепается в море якорь, огромный камень. И тотчас же, медленно подвигаясь, начинают рыбаки «сыпать сети». Поплавок за поплавком ложатся ровно на воду, обозначая тонким четким пунктиром правильную линию. Потом другой камень-якорь и крутой поворот под безукоризненно верным прямым углом, и еще раз, и еще, и вот я вижу удивительную трапецию из черных точек на фаянсово-блестящей синеве моря, трапецию, от изящества которой придет в восторг самый строгий геометр. И какое меткое выражение «сыпать сети».

Это искусство кажется издали совсем пустячным, однако оно дается годами упорной, постоянной работы. Нет. Вернее сказать: оно наследие тысячелетнего опыта далеких предков.

Почти во всякой вольной работе на чистом воздухе есть своя точность в простом свободном движении, свой ритм, своя красота и своя безусловная грация. Мало кто обращал внимание на то, например, как потомственные огородники и садовники «пикируют» молодые растения, то есть пересаживают из парника в грунт. Надо поглядеть на щегольскую аккуратность их грядок и на математическую стройность, с которой они, без помощи линейки или нити, втыкают осторожно в эти гряды, ряд за рядом, нежные хрупкие ростки.

Видели ли вы, как зимою, в лесу, распиливают на доски продольные пильщики огромные сосновые бревна вершков двенадцати – шестнадцати – двадцати в поперечнике? Бревно положено на высокие козлы. Вверху на бревне стоит старший пильщик; внизу, под бревном на земле, – младший. По этому расчету можно судить, как необыкновенно велика продольная пила. Пилят они ритмически, то сгибаясь, то выпрямляясь, поочередно. Верхний движется вперед, едва заметно, по-медвежьи переступая ногами в мягких лаптях, нижний – пятится задом, причем его голова, лицо, борода и вся одежда сплошь засыпаны желтоватыми древесными опилками. В этой работе все удивительно: и, больше чем цирковая, ловкость старшего, безусловно балансирующего по круглой поверхности, и терпение младшего, и сверхъестественный глазомер обоих, и замечательная точность и гладкость их распилки – куда машине, – и ловкость и непринужденная гибкость их движений.

Работа их весьма тяжела: это правда. Минут через десять после начала они сбрасывают с себя зипуны, потом поддевки, потом жилеты и остаются в одних ситцевых рубахах. Мороз, хотя и небольшой – пятнадцать градусов, – но продольным пильщикам жарко, они вспотели, и белый пар валит с них, как от почтовых лошадей. И, как лошади, ржут соседние пары, когда кто-нибудь рядом запустит крутое соленое словцо. Они никогда не простуживаются, никогда не знают усталости, вид у них всегда бодрый, крепкий и веселый, походка грузна, но легка, точно у медведя, а каждый мускул и нерв слушаются их воли мгновенно. Их труд свободен – они не знают над собою ни погонщика, ни указчика, ни советчика. Прежде чем приступить к работе, артельный староста – суровый, но милостивый диктатор – долго, зуб за зуб, торгуется с хозяином: по сколько с хлыста (хлыст – каждое прямое дерево) в зависимости от его диаметра и по сколько за каждую доску такой или иной ширины и длины. А уже после рукобития и литок артель вникала в работу с той яркой жадностью, какая была всегда свойственна бережливому скопидому, русскому мужику-собственнику. В еде себя не урезывали. Харчились за плату у тех же лесников, у которых и ночевали безвозмездно. Тогда бывало жутко и подумать, какое мотовство: на своих чае-сахаре артель платила за обед и ужин, страшно подумать, по полтиннику с едока! В то время, в 1897 году, полтинник за целый рабочий день считался высокой ценой, а в городских трактирах за десять копеек подавали жирные щи с убоиной и хлеба – сколько съешь; ломоть жареной печенки стоил две копейки и копейку на чай. «Шестерка» низко кланялся, подметая грязной салфеткой пол. Ну и ели же продольные пильщики...

Ели истово, медленно, в молчании (шутки полагались только в конце обеда, за пузатым самоваром). Ели так, что радостно на них было глядеть, несмотря на то что рассудок опасно беспокоился за их утробы...

И все-таки я услышал, как однажды днем, в отсутствие артели, Марья, жена лесника Егора, пиввила мужа:

– Ты уж, Егор, там как хочешь, а я в будущий год харчить твоих продольных пильщиков не согласна. Больно емкие. Люты на еду.

Вот вам и начало той свободы, того веселья и той размашистой красоты, с которыми ходят и работают продольные рязанские пильщики: первое – сыты; второе – работают только на себя:

больше распилят хлыстов – больше получают; третье – труд их протекает весь день в лесу, где только сосна и снег; и последнее, – но оно же и главное, – честь и репутация артели. Та артель, о которой я говорю, артель Артема Ванюшечкина, славилась не только в Рязани, но и среди крупных московских лесопромышленников. При такой лесной известности как же можно лицом в грязь ударить? Да и зарабатывали они по три целковых в день.

Я прошу у читателей прощения в том, что мой скромный рассказ невольно выпучился далеко в сторону, в милую северную страну, хотя, наверное, в ней уже давно продольные пильщики вывелись из быта в расход. Что поделаешь? Маленькие буржуи! Кулаки!

Конечно, нигде так ярко не проявляется естественная красота человеческого тела и его движений, как в национальных танцах и играх, пока они не обездушены пародией и модой, да еще в деловом обиходе морских людей.

К счастью, притворяться таким старым, просоленным всеми ветрами мореходом можно только на суше. Тут все проглотят доверчивые люди: и хриплый от команды голос, и походку раскорякой, и вечную короткую трубку с крепчайшим табаком в углу рта, и поминутные плевки за воображаемый борт, и рассказы о свирепых тайфунах в Индийском море или о безумно отчаянном повороте на байдевинд, когда шхуна чуть не налетела на неожиданный коралловый риф. Его слушают развеса уши.

Но стоит такому отважному морскому волку очутиться хотя бы на палубе парохода, идущего только от Одессы до Ялты, как морской волк быстро превращается в мокрую курицу. Это еще не беда, что его начинает тошнить уже в гавани. Настоящие моряки к этой слабости относятся более чем снисходительно.

Ведь известно, что самого великого, величайшего из адмиралов, Нельсона, укачивало даже при легком шторме и что в морской битве при Трафальгаре Нельсон до такой степени страдал морской болезнью, что велел привязать себя к мачте, и так стоя командовал всем флотом и выиграл бой. Беда в том, что сухопутный моряк подвержен самой трусливой мнительности. Он приходит в ужас, когда судно замедлит или ускорит ход, или когда оно дает своим ревуном сигнал далеко мимо проходящему кораблю, или когда винт, выйдя на волне из воды, вдруг застрекочет сухо. Он заранее выбирает для себя спасательный пояс и шлюпку на случай крушения. Он лезет со своими страхами, опасениями и мрачными предположениями решительно ко всем: к пассажирам, лакеям, горничным, он подымет за советами и утешениями даже к дежурному помощнику капитана в священную рубку, и молодой моряк, быстро спроваживая его вниз, на палубу, ощупывает свой правый задний карман брюк и думает: «Вот за такими надо внимательно следить. Если, спаси бог, случилась бы катастрофа, первые они мастера возбуждать панику».

Но пристальный взгляд пассажира, часто и далеко плававшего, или мгновенный взгляд опытного морехода всегда сумеют отличить настоящего моряка от самозванца. Здесь есть ряд примет более или менее объяснимых. У пожилых, очень многое в жизни испытавших капитанов, навсегда остаются в лице и в фигуре знаки воли и власти. Их глаза под тяжелыми веками чуть прищурены: это глаза людей, привыкших подолгу и напряженно вглядываться в даль. В их легких морщинах на висках и вокруг глаз, а особенно в улыбке чувствуется не то спокойное усталое презрение, не то снисходительная ирония.

Молодые высокомерные офицеры, старые сутулые матросы, бочкообразные боцмана и стройные юнги имеют также свои особые явные и тайные приметы во взглядах и движениях, в постановке головы и в походке. Но уловить их – дело навыка и инстинкта. Интереснее всего следить за моряками во время серьезной и спешной работы в море. Вот где соединяются сила и ловкость, спокойствие и быстрота, суровая дисциплина с внешней беззаботностью, где краткий приказ влечет мгновенное исполнение и где вся кипящая жизнь переполнена суровой, простой, не сознающей себя красотой.

Подобно тому как на моряках, так общий профессиональный отпечаток лежит и на рыбаках – не скажу всего мира, но, по крайней мере, всей белой расы. Недаром давным-давно и очень метко сказано: «Рыбак рыбака видит издалека». Конечно, в каждой стране есть своеобразные обычаи и приемы, но есть и много общего: беспечность, простодушие, приметы, суеверия, предрассудки, зоркая наблюдательность, острое чутье к погоде, щедрость к бедным, разгул в кутеже и прочее... Замечательно одно явление: все рыбаки – страшные ругатели и богохульники, но все они одинаково почитают святого Николая-чудотворца, и все они убеждены, что их промысел самый святой, ибо Иисус Христос избрал своих первых апостолов из среды рыбаков. С ними

могут соперничать лишь плотники, по той причине, что отрок Иисус учился плотничьему мастерству у святого Иосифа, да еще пасечники, потому что восковая свеча горит перед святыми алтарями.

Когда-то, давным-давно, так давно, что теперь мне порою кажется, будто это было, по ядерной русской поговорке, «в те времена, когда люди еще топоров не знали, а пальцем говядину рубили», – полюбилось мне каждую осень до ранней зимы болтаться с балаклавскими рыбаками по Черному морю.

Был я тогда еще молод, достаточно силен и вынослив, мог грести без усталости и умел, еще по военному навыку, беспрекословно подчиняться приказанию старшего на баркасе. Вскоре балаклавские рыболовы со мною освоились и как бы усыновили меня. Я до сих пор горжусь тем, что иногда, в полосы обильных уловов, когда не хватало рыбачьих рук, ко мне приходили с просьбой войти в артель. Я с удовольствием входил. По окончании ловли мне за это полагался один пай, а когда я завел трехстенные сети, так называемые «дифаны», то и два пая: один за греблю, другой за снасть. Там пай распределялись строго: атаману два пая, владельцу баркаса один, владельцу снасти – один, рядовым работникам по паю. Сообразно с этим и делили выручку. Я свою долю не брал, а если случался хороший улов, то во славу его вел всю артель в кофейню Юры Капитанаки и угощал ее черным кофеем (две копейки чашка), а в случае же улова превосходного – даже с сахаром (три копейки).

Милые мои греки от удивления перед таким кутежом значительно почмокивали и покачивали головами, и я думаю, они считали меня за человека не совсем нормального. Однако же один из участников южной белой армии передал мне недавно, что при крымской операции довелось ему попасть в Балаклаву и там старый седой рыбак, Коля Констанди, мой бывший строгий учитель и суровый атаман, вспомнил в разговоре мою фамилию. Эта честь меня глубоко тронула.

Мы рыбачили разными способами в юго-западном углу Черного моря, между мысами Херсонес, Фиолент Саленгос, Кристи, Айя, Ласпи и Форес. Мы ловили камбалу, глосов, камсу, морского петуха, скумбрию, кефаль, лобана, барабулю и однажды случайно поймали полупудового белужонка на перемет для камбалы. Глубокою зимою не редкость вытащить белугу в десять пудов весом, а значительно реже попадает белуга и до сорока пудов. Но на эту зимнюю ловлю мне ни разу не приходилось выходить. Я думаю, теперь понятно, с каким нетерпением и с какими великими надеждами ехал я на юг Прованса в Ля-Фавьер, в милую для меня теперь, издали, рыбачью хижину на мысе Гурон. По прежним воспоминаниям мечтал я, что есть у меня какое-то рыбье слово для рыбаков и что совсем не трудно мне будет освоиться с провансальскими рыбаками, ибо души всех рыбаков одинаково несложны и широко открыты.

Увы! Я не учел того, что, кроме рыбачьих жестов и приемов, кроме магнетического взаимного тяготения рыбачьих сердец, существуют еще два разговорных языка, совсем неизбежных для первого знакомства, но и совсем не похожих один на другой: провансальский и русский. Да ведь и надо, пожалуй, с огорчением признать и то, что с годами и с жестокими испытаниями судьбы вянет и потухает в человеке дар того бескорыстного, инстинктивного очарования, которое столь легко и весело сближает людей... Спрашивается: какими же путями мог бы я наладить связь с местными рыбаками? Русские обитатели с ними знакомства не водили; не интересовались. Правда, еще в Париже слышал я об одном русском молодом человеке, который сумел пленить души ля-фавьерских рыбаков и заключить с ними тесную морскую дружбу. Был он родом из Сибири, и, конечно, его, как почти всех сибиряков, звали Иннокентием. Провансальские рыбаки называли его фамильярно и ласково: Innocent. В этом названии есть двойной смысл; если его употреблять с большой буквы – получается почтенное христианское имя, а если с маленькой, то выходит нечто вроде как «простака, или «рубаха-парень», или еще – «малый-простыня». И правда: был он всегда добродушен, ровен, ласков со всеми, радостно готов на товарищескую услугу и, кроме того, оказался настоящим соленым моряком, способным на все роды ловли, неутомимым, смелым, находчивым и со счастливою рукою. Рыбаки искренно к нему привязались и возлюбили его. Эти люди сурового и тяжелого промысла, в котором нет ни капли лжи, обладают тонким и дальним чутьем на того двуногого, чье имя «человек» пишется с большой буквы, и невольно тяготеют к нему.

Но, к своему и моему огорчению, этот милый Иннокентий, или Кена, как звали его дома, вскоре был принужден оставить свои прекрасные морские приключения. Причина этому была очень простая и очень настоятельная. Кому не известно, как широко гуляют рыбаки всех стран и

всех морей; гуляют и на радостях после большого улова, и от огорчения за неудачу. У Иннокентия же был в гульбе размах особенно широкий, сибирского стихийного размера. Сам он совсем ничего не пил, но без счета поливал шампанским пронзительные «буйабезы», которые по ночам при свете костров варились на безлюдных маленьких островках. Словом, прожился вдребезги милый Иннокентий Алексеевич. Конечно, он мог бы поступить в рыбный кооператив, его приняли бы охотно, но где же свобода? Итак, простившись без вздоха с друзьями-рыбаками, он бросил рыбацкую увлекательную жизнь и теперь где-то в департаменте Вар, в никому не ведомом Ля-Фугассе, режет, поливает, взрывает и опрыскивает виноградники. Конечно, Кена когда-нибудь вернется снова к морю. Кто знал однажды прихоти моря, его чудеса и радости, его гнев и сладкую ласку, тот уже пленник моря навеки. Оно притягивает к себе моряков, как луна влюбленных. Недаром море и месяц – близкая родня друг другу.

А я пока что потерял умного проводника и руководителя. Вот и осталось мне только одно сомнительное удовольствие: глядеть из окошка на рыбную ловлю.

Что говорить! Очень хороший народ провансальские рыбаки: красивые, стройные, ласковые, ловкие, мужественные. Но гляжу я на них из моего окошка, вспоминаю далекое-далекое прошлое, ревниво сравниваю славных провансальских рыбаков с моими балаклавскими листригонами, и – что поделаешь – сердце мое тянется к благословенному Крыму, к сине-синему Черному морю.

Пусть я – человек отсталый, но вот не нравятся мне моторные лодки – и конец. Какая прелесть были черноморские парусные баркасы или турецкие, банабакские фелюги! Как изящны были плавные изгибы их линий! Как сладко и весело волновал сердце момент выхода в открытое море! Полощется, и трепещет, и хлопает парус, беспокойно отыскивая ветер. Нашел – и мгновенно со звуком лопнувшей струны весь наполняется ветром и становится во всей своей белизне и благородной выпуклости похожим на божественную грудь молодой прекрасной женщины.

Баркас накренился набок. Журчит вода под килем. Пена плещет через борт. Дрожит туго натянутый шкот, рвется вперед парус. Баркас живет всем своим телом и нервами. Он одушевлен.

А в моторной лодке нет души. Только воняет бензином и в своем противном стрекотании подражает цикадам. Море же не любит ни свиста, ни праздного шума.

Во мне говорит завистливое чувство, подобное тому, какое испытывает мальчишка, которого не приняли в игру. Замолкаю. В будущем году осенью поеду на мыс Гурон (если доживу) и свяжусь с провансальскими рыбаками. Они милые, добрые и сильные люди.

Рыжие, гнедые, серые, вороные

1. Илья Бырдин

Он невысокого роста, но строен, прям и крепко сложен. Серые глаза его посажены несколько близко к носу, но в них зоркость и смелость. Движения точны и гибки. Руки у него маленькие, но, даже при обычном осторожном пожатии, чувствуется их тугая упругость, сталь (вспомните толстовского троечника Балагу). Он прекрасный собеседник; рассказ его жив, быстр и в меру насыщен содержанием. Только у русского, очень, совсем, насквозь русского человека, говорящего о своем привычном и любимом деле, можно заметить такую точность определений и чистоту языка, такую сжатую свободу речи и легкую послушность необходимых слов. Разговор с ним тем еще приятен, что он мало говорит о себе и совсем ничего о своих успехах на ипподроме; разве вытянешь из него насилием-насилием... Так, не от него, а из спортивного французского журнала, из статьи Little Driver'a я узнал о замечательном рекорде нашего славного наездника, который в продолжение одного бегового дня взял в семи заездах семь первых призов. Явление почти невозможное, особенно если вспомнить, что знаменитый французский жокей Парфреман, прозванный на пелюзе «le cocodile» за ту неистовость, с которой он пожирал призы, пространство и своих соперников, взял однажды только пять первых призов в шести дневных скачках.

Благодаря этой-то личной скромности, рассказ наездника так значителен и занимателен. Это история русского коневодства и коннозаводства, это история русского рысака от старинных великих орловцев Сметанки и Барса до чистокровных и чистопородных хреновских, наконец, до нынешней метизации голубой орловской крови с сухой и терпкой кровью американского рысака; это история великих охотников рысистого бега.

Первый, кого вспоминает Николай Кузьмич, это московский лошадиный барышник Илья Бырдин. Во времена Бырдина мой наездник еще и не родился на свет божий, а мне, пишущему эти строки, было тогда лет пять-шесть не более, но имя Бырдина я успел удержать в своей московской памяти. Кроме торговли конями, Бырдин

держал свой собственный завод и пускал *лучших* лошадок на бега, не так ради денег, – призы тогда были игрушечные, – как из честолюбия.

– Москва, – говорит Николай Кузьмич, – усесистая Москва, совсем особенный город. Даже не город, а отдельное ни на что не похожее государство: путаное, смешное, причудливое, черт знает какое широкое, иногда трогательное, иногда жестокое, но все-таки великое! Все друг друга знали. Любого извозчика вы могли бы в наше время спросить: кто первый в Москве по голосу и по красоте служения протодьякон? Вам ответят без запинки, – Шаховцев. Кто главный кулачный боец?

– Никита Плешкин. – У кого лучшая голубиная охота? – У Сережки Вязьмитинова в Малом Голутвенном, что за Москвой-рекой. – В чьем трактире курить не дозволяется и соловьи в клетках? – У Егорова в Охотном. – Чей церковный хор поет умильнее прочих? – Хор Сахарова. – У кого самые вкусные расстегаи? – Ну, конечно, у Тестова, а калачи – у Филиппова. – Кто первый мастер устраивать народные гулянья, балаганы на Девичьем, фейерверки и ледяные горы? – Обязательно Сергей Шмелев. Так и Бырдина знала вся Москва, как непревосходимого ценителя и знатока лошадей.

Николай Кузьмич говорит, что его он не застал, но много ему о Бырдине рассказывал Алексей Федорович Шереметев, бывший лейб-гусар, промотавший очень много состояний, отличный скакун в стипль-чезе и на гиппических конкурсах, а на старости лет предавшийся целиком беговой охоте.

Бырдин был старообрядец, ходил в поддевке, сапоги бутылками, волосы острижены под горшок. Ни для кого не менял своей манеры. Надо сказать, что в те времена рысистой лошастью начали заниматься даже и большие господа. После братьев Орловых был какой-то перерыв. А потом снова заинтересовались. Что-то вроде патриотизма было, или случайная мода подошла.

Тогда только что заводил беговую конюшню молодой граф Воронцов. Бега в ту пору были, извините за выражение, примитивные. Происходили они не на Ходынке, а на Пресне, на пресненских прудах, что против Зоологического сада. Не было тогда ни сулков, ни американок, ни обер-чеков, ни бандажей, ни наглазников; летом гонялись на дрожках, зимою на легоньких санках.

Вот граф Воронцов возьми и влюбись в одного бырдинского жеребенка-трехлетка. Пристал к Бырдину без короткого – продай да продай. Давал две тысячи; по тому наивному и первобытному времени – сумма огромная. Бырдин – нет. Граф разгорячился: десять тысяч. – Нет! Рассердился граф: – сам назначай цену. Отвечаю. – Тогда этот упорный козел, Бырдин, говорит ему спокойно и, – как всем он всегда говорил, – говорит по-московски, на «ты»:

– Видишь ли, граф: ты и молод, ты и красив, и многим взыскан от бога, и государь к тебе ласков, и богат чрезвычайно, и женщинами любим. На кой ляд тебе мой жеребенок? Ведь это каприз у тебя, не больше? А для меня эта лошадка – моя последняя, единая радость. Давай, брат, разойдемся лучше по-хорошему и останемся приятелями. Жеребенка же не продам.

И граф понял, укоротился. Потом друзьями стали. Много Бырдин ему дельными советами помог по устройству завода.

И еще: по рассказу А. Ф. Шереметева, замечательно принял Бырдин на своем заводе государя императора Александра Второго. Царь любил лошадей и знал в них толк. Но все-таки как любитель, как, извините за выражение, дилетант, он предпочитал серых в яблоках. Самая нарядная, но и самая ненадежная масть. В гнедых и рыжих надо верить. Не скажу дурного слова и про вороных. Только без нужды горячи и скоро взмываются. Относится это отчасти и к караковым и к игреневым.

Царю рассказали про Бырдина. Он заинтересовался. Обещал приехать поглядеть бырдинскую конюшню, которая помещалась тут же, на Пресне, вблизи бегового круга. И в самом деле приехал. Тогда еще цари держали твердо свое обещание, кому бы оно ни было дано. И приехал не один, а втроем: с государыней императрицей и с молодым наследником-цесаревичем. Три кресла были особам приготовлены: красный рытый бархат, а ножки в антоновской позолоте, чистого листового золота. Потом эти кресла так и остались Бырдину на память; только он к ним на

спинках укрепил золотые дощечки с именными надписями. И уж, понятно, никому на эти кресла садиться не позволял и сам не садился.

Встретил он царскую фамилию в воротах, обнажив лысую голову. Поклонился истово, по-прежнему, глубоким русским поклоном, коснувшись пальцами земли. Государь ему говорит:

– Здравствуй, Бырдин. Тот отвечает:

– Будь здоров и благополучен, царь великой России, со своей царской семьей и с твоими благими помыслами. Чаю, лошадок моих приехал посмотреть? Сделай милость. Вот тут удобнее присесть. Как прикажешь, батюшка, с фасоном лошадей выводить или без фасона?

Села фамилия. Государь улыбается. Красавец он был необыкновенный! Говорит:

– Ну уж, Бырдин, это твоя воля. Тебе виднее. Давай хоть с фасоном.

– Слушаю, отец наш.

Легонько плеснул ладошками: «Выводи!»

Выводка – штука всегда серьезная. Нечего говорить, бырдинские конюха немножко подготовились. Раскрылись сразу все конюшенные двери. Ведут конюхи лошадей, все по паре. Пара серых, пара вороных, пара золотых, пара рыжих, пара розовых, пара соловых. Пляшут кони, чувствуют на себе взгляд знатоков. И конюхи, как на подбор: красные шелковые рубахи, шляпы с павлиньими перьями, бархатные черные штаны, сапоги лакированные. Коней едва сдерживают на развязках. А Бырдин только слегка ручкой помахивает: «Легше! полегше!» Дело было на масленой неделе. Значит, представьте себе: масленица и Москва! Небо ярко-синее, облака мчатся, как лебеди, солнце палит, точно летом, снег – цвета халвы ореховой, со всех семи холмов московских бегут-бегут веселые, говорливые ручьи; с ледяных сосулечек на карнизах звонко каплет талая капель, будто многоцветные бриллианты падают, воробьи кричат так, что нет мочи; блинами по всему городу пахнет, воздушные шары гроздьями качаются на нитках, все блестит, сверкает, сияет, весной с юга тянет!.. Какова рамка-то для такой картинки, как царская выводка лошадей? Красота!

Очень царь был доволен. Не успевал хвалить лошадок бырдинских. Сказал адъютанту: «Запиши: Бырдину из моего кабинета золотые часы с вензелем». Бырдин же был мужичонко не без лукавства. Надо сказать, что в Москве он только прижился, а сам был ярославец. Ярославцы, вы сами знаете, – русские американцы. Очень они простосердечны. Однако про их простоту недаром сложилась поговорка: ярославская простота, что мордовский лапоть – о восьми концах. Он вдруг и говорит государю:

– Батюшка царь, знаю, что ты, подобно солнцу, всем даришь радость, и тепло, и свет, и негоже твоим подданным делать тебе подарки. Однако позволь, император, заплатить тебе маленький должок.

Государь удивился:

– Что ты, Бырдин, за пустяки говоришь?

– Оно, конечно, пустяки, батюшка, а вот отменил ты крепостное право. Освободились мы, русские мужики, и многие в люди вышли, слава тебе господи.

Сам ты изволил мою конюшенку похвалить. Уж позволь, государь, привести тебе в Питер трех сереньких лошадок?

Император позволил. И правда, доставили бырдинские молодцы в государеву конюшню тройку отменных серых жеребцов.

II. Великий размах

– После бырдинских, извините за выражение, мифологических времен, – так продолжает беседу Н. К. Черкасов, – пошло вскоре рысистое русское дело вперед огромными шагами, точно надело семимильные сапоги-скороходы. Строже стал учет резвости, дойдя от четверти секунды до десятых долей. Беговые дорожки становились с каждым годом все точнее и ровнее. В Москве бега с Пресни перешли на Ходынское поле; в Петербурге – с Невы на Семеновский плац. Беговые дрожки и санки отошли в область преданий. При мне уже на дрожках ездили только приказчики хлебоборных губерний, а на легоньких санках – извозчики да купеческие сынки в Коломне и Серпухове. Установился для состязаний тип американской двухколески, на высоком и низком ходу, с крошечным сиденьем-блюдечком, с цепью стальных шариков в колесной втулке для легкости вращения, как у велосипедистов, с гуттаперчевыми шинами. В такой американке

всякий лишний вес расчетливо удален прочь, и эту двух-колесочку свободно может катить по беговой дорожке веселый семилетний карапуз. Дуговая запряжка и четыре колеса остались на бегах только так, в виде поблажки, в последних заездах, для городских экипажей.

Появились на русских ипподромах наездники-американцы. Высокая марка! Они нашим отечественным русопетам сначала могли пятьдесят очков вперед давать. Заметьте, нарочно упираю на слове «сначала». Американцы, зорко приглядевшись к русскому рысаку и русскому наезднику, высказали о них хотя и суровое, но все-таки очень лестное мнение.

«Если бы у нас в Америке, – говорили они, – выработался такой драгоценный беговой материал, как ваш орловский рысак, то мы давно уже показали бы миру настоящие чудеса во всех рекордах. И наездники русские, в большинстве превосходные, замечательные наездники. У них и любовь к делу, и физическая сила, и чуткая гибкость рук, и несравненный глазомер, и удаль, и находчивость, и зоркость; и понимание лошади. Но, к сожалению, обоим – и коню, и ездоку – не хватает одного пустяка: той тренировки, какая в Америке уже ведется десятилетиями».

Лошадь требует постоянной работы над нею, работы терпеливой, настойчивой, планомерной и строгой. Все ее усилия в беге должны быть механически направлены к трем практическим целям: быстроте, выносливости и долговому дыханию. Красота на заднем плане. В самом деле, поглядите на чистокровного и чистопородного орловца. Что и говорить, писанный красавец! Рост огромный, сам серый в темных яблоках, голова – загляденье, глаз огненный, белый хвост до земли. – Словом, картина, пряник! А как он бежит! Шея круто собрана, передние ноги на ходу он выбрасывает круто вверх, чуть не до морды, да еще вышвыривает их от колен в бока. Жирные мяса трясутся, селезенка екает, снежные комья так и брызжут в стороны. Восторг! Но, однако, шея, собранная колесом, мешает воздуху свободно проходить в легкие. Вычурное выбрасывание ног вверх и в стороны заставляет лошадь тратить силу и энергию на ненужные, непроизводительные усилия. Трясущиеся мяса вместо мускулов – только лишнее бремя...

Поглядите теперь, как бежит лошадь с американским тренингом. Первое, что поражает, – это необычайная легкость ее хода. Спина прямая, шея и голова вытянуты почти горизонтально. Вам кажется, что копытом она как будто не опирается на землю, а лишь отталкивается от нее. Издали какая-то козлиная или собачья рысь, и главное, – совсем неторопливая, а между тем, с каждым этим непринужденным посылом ноги вперед, американец пожирает сажени и свободно обходит племенного топчущего орловца, несмотря на то что, глядя со стороны, орловец – весь полет, стремленье, буря!..

И наружность у американца неважная. Как бы клячеват он, ребра можно все пересчитать, но когда увидишь под тонкой кожей стальные рычаги его плечей и выпуклые длинные мускулы ног и все это сухое тело-машину, в которой нет ни капли жира, – тогда поймешь, что в лошади, кроме лубочной красоты, может быть и красота, восхищающая сердце истинного спортсмена.

То же и о наездниках. Наездник должен – не только лошадь, но и себя самого держать в постоянной тренировке. Вот, например: в Москве было несколько толстозадых наездников, которые, кроме того, одевались в очень тяжелые путаные одежды. Им, видите ли, казалось, что вес важен только для скаковой лошади и что для беговой – разница в весе – пустяки. Нет, настоящий наездник никогда не должен забывать, что каждый сброшенный с его веса фунт – это прибавка одной десятой секунды к резвости в результате.

Еще: настоящий наездник, подготавливая лошадь к бегу, никогда не позволит себе лености, небрежности, пропуска времени и надежды на это дурацкое русское «авось», или «а вдруг», вместо спокойной и надежной уверенности в том, что он и лошадь вполне готовы к состязанию.

И еще: выезжать на беговую дорожку никогда не следует пьяным или выпивши. Тут дело не во вреде для здоровья, а в том, что под влиянием вина, хотя бы у тебя и была голова ясной, ты все-таки мозгом и нервами совсем не тот человек, который вел подготовительную работу с лошадью. Пусть ни один человек на ипподроме – если ты крепок – не заметит твоего состояния. Лошадь непременно заметит! Они в привычках не только постоянны, но и упрямы, и перемены в руках, в послышке, в голосе и в запахе не любят. И они нервнее любой драматической актрисы. Пить?.. Отчего же не выпить при подходящем времени и компании? Иной американский наездник за дружеской беседой, без всякого принуждения, не торопясь, высосет бутылку доброго Мартелевского коньяку VVSOP, и ничего с ним худого не станется.

Тоже вот жокеи: как они перед большими скачками спускают килограмма два с себя веса? Заберутся в так называемые римские бани, где градусов 60 жара по Реомюру, и потеют. А чтобы

процесс потения шел быстрее, им подают шампанское во льду, а они его дуют без зазрения совести. Какие сердца надо иметь лошадиные! Но и у тех и у других – закон: на ипподром выезжать – как стеклышко. Да вот вам пример: в конюшне Лазаревой был негр Ганнибал. Чудесный жокей, прямо сказать – волшебный. Однако глотнул он перед стартом в буфете какого-то крепчайшего состава – так лошадь еще до скачки его с себя сбросила и все ему лицо ногами растоптала. Кончилась в миг одна его карьера, и остался человек навеки уродом. Помнить должен еще наездник, что лошадь гораздо щедрее, чем человек, одарена инстинктом и физическими чувствами. Правда, человек ее часто превосходит зрением, иногда и рассудком. Но слышит лошадь лучше кошки, обоняет тоньше собаки, к ходу времени и к переменам погоды она чувствительна не хуже петуха; в памяти мест, событий и впечатлений нет ей равного на земле животного, чувством темпа она обладает в такой же степени, как цирковой жонглер или первоклассная балерина. Кроме того, она еще нервна, мнительна и пуглива, но при хорошем воспитании и уходе она может сделаться и бесконечно доверчивой, и бесстрашной, и логичной. И надо дельному наезднику не забывать и того, что лошади, в сущности, совсем не свойственна рысь. Натуральные ее аллюры – шаг и галоп; недаром у нее задние ноги гораздо длиннее передних (как и у зайца, например; тот даже и шага не признает). Лошади здоровой, молодой, с добрым характером, внимательно обученной и вдобавок находящейся в хороших руках – не только в охоту, но и в наслаждение бежать рысью со скоростью – верста в две минуты. Однако есть моменты, когда хороший рысак, вопреки даже искреннему желанию и полному старанию бежать рысью, невольно стремится перейти в галоп, который был так свойствен его прапращурам в случае соперничества или опасности. Это бывает, например, тогда, когда рядом с ним, голова в голову, ноздря в ноздрю, бежит равный по силам противник, с настойчивой мыслью обогнать. Тогда от страстного, благородного соревнования лошадь – увы! – мгновенно забывает о тщательном воспитании в чинной рыси, перестает слушаться вожжей, а в результате – пять сбоев в галоп, а там и проскачка.

Но бывает и обратное. Встречаются лошади, прекрасные по своим рысистым качествам, но, как говорится, «без сердца».

Они способны честно и старательно бежать с той предельной резвостью, какую от нее требуют и какую она в силах дать. Но все это только до борьбы. Едва начинает к такой лошади приближаться соперник, она уже волнуется и сдает, а когда противник выравнивается голова в голову, она бросает борьбу совсем. Таким рысаком «без сердца» был, например, знаменитый Крепыш. Это был у него, кажется, единственный порок, не считая того, что он был несколько узкой лошадейю, не широк в ребрах, да, впрочем, и бабка была у него не надежна. От множества причин еще может зависеть неуспех бега: лошади нездоровилось, а этого не успели доглядеть, проснулась в дурном настроении духа, видела, может быть, дурной сон, плохо кована и так далее... Кроме того, ее чертовская память! На беговой дорожке ей памятли все места, где она раньше засбоила, или была обойдена, или испугалась хотя бы занесенной ветром афишки, или была приведена в порядок хлыстом. А во всех перечисленных случаях, так же как и во многих других, только талант наездника спасет положение. Хороший наездник умеет все чувствовать вместе и одновременно с лошадейю. По косящему назад глазу, по настороженно задвигавшимся ушам и еще по какой-то необъяснимой душевной связи с лошадейю он чувствует ее волнение, упрямство, неуверенность, замешательство. У него есть много способов выправить и успокоить лошадь, и самый сильный из них тот, которого не передать словами: если хотите – это гипноз, напряженная передача своей воли воле нервного и чуткого животного. Это умеют делать наездники, либо родившиеся на свет божий с призыванием наездника, либо прошедшие длинный терпеливый искус.

– Мы, русские, – говорит Черкасов, – невольно должны были учиться у американцев, а кто не хотел учиться, тот все-таки подтягивался. Я с гордостью говорю, что моим учителем был Вильям Кэйтон, воистину король рысистого спорта... впрочем, они все трое были несравненные наездники. И папаша Франк Кэйтон, и сыновья Самуэль и Вильям. Другие англичане: Женька Реймер и Стар-Чугунная Голова были сортом куда пониже. Им и до русских было не дотянуться, до Константинова, Кузнецова, Иноземцева, Силкина, Барышникова, Иосифа Линевича, Фина, Ситникова, ну, да и о себе позволю сказать в конце поминания...

Так вот, я и говорю, что для русского рысистого дела наступил какой-то пышный – извините за выражение – Ренессанс. Новые лошадиные крови, новый прием тренировки, новые ре-

корды, новые наездники. Конюшни строились с большой роскошью. Денег не жалели. Какие славные имена рождались и блистали на ипподромах... Могучий, Ирис, Прости, Питомец, Пылюга, Сетный, Крепыш... Зайсан, Летун, Лель, Плутарх, Лаковый, Варвар, Лакомый Кусочек, Боярышня... не перечислишь.

А владельцы! Воронцов, кн. Вяземский, Ознобишин, Неандер, Коноплин, Телегин, Мамонтов, Красовский, Лежнев, Богданов...

Вот о Телегине могу говорить без конца. Он был не только страстный любитель и величайший знаток лошадей. – Нет, он свою охотничью забаву соединял с пользой и славой России...

Об этом замечательном человеке Черкасов действительно рассказывает с увлечением и почти благоговейно. Да и трудно было бы найти во всей истории русского рысистого спорта другую фигуру охотника, коннозаводчика и лошадиного знатока, хотя бы издали похожую на облик Николая Васильевича. Если кто полюбит по-настоящему наше конское дело, то уж это – навсегда, на веки веков. Отстать нельзя. Можно бросить вино, табак, азартную игру; женщины от тебя сами рано или поздно отвернутся. Но истинного любителя – прекрасный вид лошади, ее могучее ржание, ее стремительный бег, ее чистое дыхание, ее бодрый запах – будут волновать и тревожить неизменно до глубокой старости, до самой смерти, и я даже полагаю, что и после нее.

III. Могучий

Николай Васильевич с детства жил около лошадей. У отца его, отставного ротмистра, был свой завод в Курской губернии. Не очень большой, но заботливо поставленный.

Расширить дело старик Телегин не мог. Богаты Телегины были только древними дворянскими предками; да, может быть, и не хватало энергии в возрасте преклонном.

Молодой Телегин с юности предался страсти к лошадям, и глаз на них природа ему отпустила самый пронизательный, так же как и тонкое понимание лошадиной души и характера. Вы скажете: это не мудрено приобрести, живучи на конском заводе? Нет, умение вникать в лошадь – это особый дар, который дается при рождении самой судьбою, подобно дару музыки, живописи и физической силы. Да вот вам пример: родной брат Николая Васильевича, тот знал хорошо лошадь; понимал и любил ее и даже считался недурным спортсменом, но не было в нем этого горящего восторга, этого насквозь видящего взора на лошадь, этой твердой и растяжимой воли, как у брата.

Николай Васильевич по строению ума и по настойчивости мог бы сделать себе большую карьеру в любой отрасли: легко бы мог стать доктором, адвокатом, инженером или пойти по дипломатической части. Однако лошадь взяла верх. И прекрасно сделали: молодой Телегин, что послушался своего призвания, а отец, что не противился душевному влечению сына, и вскоре старик, хотя и не без некоторого возмущения, должен был сознаться, что молодой отпрыск пойдет далее старой ветви.

Надо сказать, что ихний завод вел главным образом серую масть. Не знаю, было ли это пристрастие наследием от предков, или старый Телегин, будучи гвардейским кавалеристом, служил в полку, ездящем на серых конях, но он от этой любимой масти не отступал.

Конечно, серые кони очень хороши, когда выступает целый эскадрон этих красавцев, под всадниками в полной парадной форме, с трубачами впереди. Слова нет, очень нарядны они и в городской шикарной упряжке, при голубой, скажем, сбруе. Но скаковые и беговые знатоки этой горячей масти не очень доверяют. Впрочем, насчет мастей есть у арабов очень недурная сказочка. Да верить ли ей? Два араба, отец и сын, наделали каких-то бед во враждебном племени и должны были спастись как можно скорее. Поехали они. Сын был совсем молодой. Не трус, однако от непривычки к подобным переделкам невольно волновался и торопил лошадь. Отец ему говорит: «Не спеши, береги коня. Придержи его. Будет погоня». Через некоторое время и правда послышался сзади конский топот, видна стала пыль. Сын загорячился, а отец ему:

– Не бойся понапрасну. Обернись назад. Не увидишь ли, какой масти лошади? Сын поглядел и говорит:

– Серые.

– Ладно, натяни поводья. Серые скоро пристанут. Скачут дальше. Через небольшое время отрок снова тревожится:

– О, отец! Слышится мне погоня уже гораздо ближе.

– Будь спокоен. Погляди назад. Какие?

– Караковые, отец мой!

– Не торопись. Этим – не догнать. Отдай лишь чуть-чуть повода. И в третий раз сын восклицает:

– Отец! Отец! Погоня близка. Вижу уже и лица всадников...

– Мать?

– Вороная.

– Еще не время. Надо беречь коней до последней минуты. Отпусти поводья, но держи крепко.

Наконец, топот стал слышен уже настолько близко, что сам эфенди оборотился.

– Вижу, – сказал он, – рыжих и гнедых. Это настоящие лошади. Дай коню шпоры, сын мой, и – Аллах акбар! Бог велик!

Сам старший Телегин в те дни уже не мог отдавать всего своего времени и всех забот заводу, ибо от паралича отнялась у него вся правая половина тела. Передвигался он с великим трудом, не выпуская из здоровой руки костыля, а больше его возили в легонькой колясочке. Сидя в этой-то коляске, он все-таки каждый день смотрел из окна на проводку и проминку и, как что бывало не по нем, стучал костылем о пол.

Вот как-то раз он и дознал, что в Орловской губернии, на заводе у Потебни, продаются отличные жеребцы на племя. Не то чтобы призовики, но высоких кровей; есть и молодые. И вовсе не дорого. Ликвидирует хозяин дело. Позвал он сына.

– Ну, Николай, тебе уже девятнадцать лет стукнуло. В лошадях ты толк мало-мало знаешь. Теперь тебе пришло время оправдать себя. Надо нам на заводе кровь подновить. Поезжай к Потебне за жеребцом. Смотри, вся будущность телегинского завода в твоих руках. Эх, жаль, что сам не могу поехать с тобой, обезножел. Но тебе верю. Полагаюсь не так на твои знания, как на твое сердце. Ступай. Вот деньги. Особенно-то не скупись, если заметишь что ладное.

Отправился Николай Васильевич. Приехал на завод. Хозяин знал его по отцу, встретил радушно, все честь честью. На другой день стали молодому Телегину выводку показывать. Удивительные лошади. Статьи и высококровность первейшие. Но вот вывели одного вороного, чуть караковенького жеребчика, так лет пяти-шести. Тут у Телегина и сердце зашло. Ничего подобного он не только наяву, но и во сне не видел. Совершенная красота? Просто сказать: влюбился он в эту лошадь с первого мгновения, с первого взгляда, так же как вот юноша вдруг влюбляется в девушку. Много их, прекрасных девиц, на виду: пятьдесят, сто... А сто первая уж так мила, что за нее жизнь отдать – одно удовольствие. Однако и признака не показал своего восторга, потому что в лошадином, охотничьем деле простота – качество совсем никуда не годное. Интересовался Николай Васильевич больше как будто серыми. Это, впрочем, никого не удивляло: всем было известно, что хотя на телегинском заводе немало хороших лошадей всяких других мастей, но главное предпочтение отдается серым.

Когда же Потебня стал расхваливать своего вороного жеребчика, то Телегин изображал на лице полное равнодушие. Говорил что-то сомнительное о почке, о ганашах, о путовом суставе... Потебня думал про себя: «Молод еще, неук». Но врезался вороной жеребчик до того в воображение Николая Васильевича, что тот и сон и аппетит потерял. Купить? А что отец скажет? Нарочно затянул срок отъезда. Каждый день ходил смотреть проводку, проминку, прикидку; нарочно, чтобы еще хоть глазком на своего возлюбленного взглянуть. Под конец решил: что бы там со мной ни случилось – куплю жеребца. Хуже смерти на свете ничего не может случиться. «Да ведь и не съест же меня отец?» Отчаянный он вырос юноша, дерзновенный. Характер-то у старика Телегина – ого-го!

Однако пора же было и собираться домой. Хорош гость в гостинку – есть такая неглупая пословица. Телегин сказал хозяину:

– Присмотрел я у вас двух, трех лошадок. Но без отца не смею решиться, боюсь маху дать. Вот отдам подробный отчет папаше, а уж там, как ему заблагорассудится, так, значит, и будет.

Потом, как будто вскользь:

– Вороного вашего жеребчика я бы, пожалуй, у вас купил. Не для завода, – вы сами знаете, что папа больше серыми интересуется – а, признаться, для самого себя, для собственной забавы. Красив он в одиночной запряжке будет. Если сходно, я сейчас бы и выложил наличными.

Но Потebня в лошадях тоже был великий дока. Стали они ладиться. Телегин, хотя и мальчик почти что, но торгуется кремнем. Кончилось тем, что отдал Николай Васильевич все деньги, которые ему ассигновал отец, да еще остался должен полторы тысячи. Известно: раз отчаянный человек закутил вовсю, то ему уж битой посуды не считать. Да и за такую плату никогда не отдал бы Потebня жеребца, если бы не крайность: сын у него служил лейб-гвардии в гусарском полку, самом дорогом из всей гвардии. Дело молодое, зарвался: промотал кучу денег, влез в векселя, пришлось так, что только три выхода: либо выходи из полка, либо пулю в лоб, либо расплачивайся. Потebня считал, что почти даром вороного отдал.

Во всю дорогу, когда везли и вели лошадь, Телегин от нее не отходил. На конюхов не полагался. Да и не мог вдосталь надыхаться на свое сокровище. Домой пришли к вечеру. Николай нарочно растянул время до сумерек. Да еще провел лошадь по задам, огородами, да по-за сараями. Все опасался: не ровен час, отец из окна выглянет.

Пришел к отцу, поздоровался.

– Привел?

– Привел, папа.

– Ладно. Завтра утром пусть выведут. Спокойной ночи.

Ну, какая там «спокойная ночь», когда сердце бьется, как овечий хвост. Настало и утро. Старик велел себя снести на крыльцо, чтобы лучше видеть. Уселся, подбородком на костыль оперся. Сын рядом. Вывели вороного жеребца. Старик от гнева и изумления сначала онемел, никак не мог раздохнуться. Кровь ему в голову бросилась, и глаза наружу вылезли. Потом прохрипел через силу:

– Это что же за чучело, вороное? Откуда? Из погребальной процессии, что ли?

– Тот самый жеребец, которого я купил у Потebни. Поглядите, статьи-то какие.

– Я же тебе приказывал серого! Как ты посмел меня ослушаться?

– Да ведь, папа, лучше этой лошади на всем свете нет... Поглядите статьи.

Тут старик вовсе взбесился. Метнул в Николая Васильевича костылем, на манер как Грозный Иоанн в своего сына. Попасть-то он попал, но, слава богу, костыль был без острого наконечника, а удар старческий, слабый.

– И не смей мне никогда на глаза показываться! А этого траурного уroda татарам на махан велью продать.

Однако недолго оставался Николай Васильевич в немилости. Старик отходчив был. Посылает наконец за сыном. Тот пришел, глаза долу, знает, что глубоко папеньку обидел.

– Становись, бунтовщик, на колени! Проси прощенья!

Тот опустил перед стариком на колени.

– Прости, – говорит, – дорогой папочка. Как увидел я этого жеребца, так сразу с ума сошел. Главное, статьи...

Тогда обнял старый Телегин сына за голову, притянул к себе, поцеловал в лоб.

– И ты меня прости. Ладно уж, признаюсь тебе, что на твоём месте и я бы не утерпел, нарушил бы родительскую волю, хотя скажу тебе, что дедушка твой раз в десять был меня покруче и на руку совсем не легок. Я вот все это время на вороного любовался, и с каждым днем он мне все больше и больше нравился. Правда твоя – статьи! Во многих, многих лошадях я Сметанкины черты подмечал и угадывал, а это – точно родной сын Сметанки. Небось должен остался? Потebня ведь знаток.

– Полторы, папа.

– Дешевле пареной репы. Ну, вот: чтобы свою грубость загладить, дарю тебе эту лошадь, и будешь ты вместо меня всем заводом заведовать. Вижу я, вижу, что ты вознесешь высоко нашу беговую фамилию.

Жеребец же этот был не кто иной, как знаменитый Могучий. Ну-ка, подите, спросите о нем старинных завсегдатаев. При одном имени прослезятся. От него-то и пошел знаменитый телегинский завод. Какие лошади: Ирис, Варвар, Метеор, Тальонь! И ведь дожил, дожил-таки старик Телегин до той поры, когда слава о телегинских лошадях пошла по всей России.

Когда старый Телегин скончался, то разделился Николай Васильевич полюбовно с братом. Себе оставил завод, брату – деньги, дома, землю. Сам жил большею частью при заводе, а брату в столицы, ради спортивного дела, посылал молодых жеребят и маток...

Повел после смерти отца Николай Васильевич свое заводское и беговое дело на широкую

ногу. Блестяще его поставил. Конюхи про него говорили: «Не иначе, как он слово знает». Знать-то он знал, и вовсе не рыбе или воробьиное слово, а для него, как в открытой книге, была понятна каждая капля крови в жилах каждой лошади. Уж он, как мудрец, как профессор, знал до тонкости, какую каплю с какой соединить для получения великолепной беговой лошади. И нельзя сказать, – как говорили иные завистники, – что ему «везло». Нет! Только труд и знание, опыт, любовь к делу... Ну и дар, понятно.

IV. Крутой характер

Другие коннозаводчики и владельцы обычно докладывали крупно, а то прогорали. А вот Телегин на одних призах себе крупное состояние сделал. Лошадей своих Телегин не любил продавать. «Ну зачем я продам лошадь, если мне ее жалко. Как расстанешься, если я ее еще как утробного жеребенка любил? Это – как матери отдать одного из сыновей в солдаты. Какого отдашь? И Сенюшку жалко, и Колюшка мил, и Петенька больно утешен. А мне зачем? Слава богу, одет, обут, сыт. Двух обедов не съем, двух штанов на себя не натяну». И очень часто из этой ревнивой жалости отказывал он очень выгодным покупателям. А давали ему иногда за жеребенка-двухлетку до сорока тысяч тогдашними, золотыми российскими рублями, – целую гору! За лошадьми с кровью Могучего тогда все владельцы конюшен и коннозаводчики гонялись наперегонку. И надо сказать, все его потомство было резво и красиво до умопомрачения.

Был раз такой случай: поставила на Московском ипподроме его лошадка, всем известная рыже-золотая Искра, всероссийский рекорд, 2 м. 7 ½ секунд, побивши старый рекорд на целую секунду с четвертью. Не только Николай Васильевич был доволен – всем коренным москвичам это было праздником. Редко, когда любили знатоки лошадь так нежно и привязчиво, как любила Москва красавицу Искру. Ведь вся ее блестящая карьера прошла на Ходынском поле. И не так за красоту ее обожали, и не за постоянные успехи, как за неизъяснимую прелесть ее наружности, бега и характера, подобно тому как обожали и коноплинскую лошадь Прости.

Верите ли, – никогда она не нуждалась ни в посыле, ни в хлысте. То, что могла она сделать, она радостно и усердно делала в полную меру своих сил, без всяких капризов или фантазии.

Право: ехать на ней было как-то даже жалко. Так казалось, будто ты, большой, тяжелый, неуклюжий, едешь на изящном, легком, умном человеке. Именно такое чувство испытывают русские, когда впервые едут на японце-рикше. И кротость этой чудесной лошадки была какая-то женская или детская, во всяком случае, человеческая.

Вот таков же был, говорят, знаменитый французский стипльчезный крэк Heros XII... Жockey Митчель за всю долгую жизнь этой лошади ни разу не коснулся ее хлыстом. А ведь препятствия в Агйеш! – вторые после Ливерпульских по серьезности и опасности.

И вот, после того как наездник, ехавший на Искре, уже вернулся с весов, а победительницу, надевши на нее попонку, проваживали после усиленного бега, взошел Николай Васильевич в членскую беседку. Навстречу ему приветствия, поздравления, протянутые бокалы с шампанским.

Тут же один из видных членов возьми и брякни словечко невпопад. Ведь знал же он резкий характер Телегина!

Был это Брежнев. В лошадином деле считался он вроде как не у шубы рукав или, иначе, пришей кобыле хвост. Но по натуре был он красив, беззастенчив, а с женщинами даже нагл. Женившись на очень богатой купеческой вдове, выбрался он из ничтожества в семью замоскворецких толстосумов. А еще больше питала деньгами, без отказа, всякую его взбалмошную затею старая мать жены, архимиллионерша, тоже вдова, известная даже среди московских просвирен под прозвищем «бабушка».

При таких-то сдобных условиях не трудно было Брежневу щеголять отличной беговой конюшней, которую обслуживали лучшие тренеры и первые наездники. Но сам он в городе был нелюбим за форс и за развязность. Вот он-то и закричал навстречу Телегину:

– Слышь, Николай Васильевич, при свидетелях говорю, продавай кобылу. Любую цену дам, какую запросишь. Телегин вдруг покраснел и весь напрягся.

– Не купить тебе, – говорит. – Продай всю свою конюшню да кстати и жену с бабушкой, а Искры тебе, как ушей своих, не видать.

Кругло было это сказано. Беговые тузы даже крякнули от удовольствия. Думали, что бата-

лия произойдет. Но Брежнев ничего... съел...

Однако изредка бывали обратные случаи, когда Телегин проявлял неожиданную мягкость и уступчивость.

Однажды наездника Черкасова вызвали спешно в Мраморный дворец. Оказывается, ждали его два молодых князька, двое Константиновичей, тогда еще кадеты и по дяде своему, великому князю Дмитрию Константиновичу, начальнику Государственного коннозаводства, страстные поклонники конской охоты.

– Посмотрите, пожалуйста, какого мы рысачка купили. Скажите по совести, напрямик, ваше мнение.

Черкасов пошел с ними в конюшню, посмотрел рысачка и сказал:

– Раз вы, ваши высочества, от меня истины потребовали, то извольте: лошадь никуда не годится. Вислозада, коротка, узка, с коротким дыханием, на все четыре ноги тронута. Одно лишь есть качество – нарядна; но в работе сразу распухнет и осядет. Обманули вас. Всучили одра. Просто жалко смотреть, как огорчились милые молодые люди... Один говорит:

– Мы хотели наши два автомобиля продать, но папа не позволил. А другой сказал:

– На пасху мы опять будем богаты. Скажите, Черкасов, можно ли у Николая Васильевича Телегина купить за десять тысяч порядочную лошадь? Телегин ведь, конечно, не обманет.

Черкасов сказал, что попробовать, во всяком случае, можно. Важно лишь – какой стих найдет на Николая Васильевича. И действительно, написал о княжеской просьбе в Москву, Телегину.

Великим постом приехал Николай Васильевич в Петербург по тамошним беговым делам. Занимался он как-то с Черкасовым вечером по конюшенной отчетности и вдруг вспомнил:

– Писал ты мне о княжатах, Константиновичах. Расскажи подробно.

Черкасов рассказал. О том, как их с рысаком надули жестоко, о том, как они свои автомобили продать ладили, о просьбе поговорить с Телегиным. Николай Васильевич улыбнулся:

– Охота смертная, да участь горькая. Ну что ж, надо мальчикам удружить. Все они, Константиновичи, в дедушку пошли: просты, доступны, ласковы. Их любят. И беднее всех других великих князей. Надо сделать юношам удовольствие. Давай-ка список просмотрим.

Тут и начались телегинские терзания. Ни с одним из рысаков он расстаться не может. У того отцовская кровь уж очень ценна, у другого дедушка был замечательный призер, та лошадь уже показала себя, другая – еще покажет. Этот жеребец в Могучего пошел, эта кобылка на Ириса похожа. Словом, как ни замахнется хозяин на какое-нибудь имя, так сейчас рука с карандашом опускается. А у Черкасова был заранее намечен один жеребчик по имени Ореол. Раньше он ничем не выделялся, так себе, середина наполовину, но на последних прикидках в черкасовских руках стал постепенно показывать хороший ход и обещающую резвость. Дошла очередь до Ореола. Телегин задумался:

– Ореола разве?

А Черкасов равнодушно:

– Про него ни дурного, ни хорошего сказать нельзя. Пороков нет. Бежит лошадь, но это не Ирис и не Лавр. Трехлетком на верстовом заезде мало чего показал.

– А ну и дадим Ореола. Да и что с мальчуганов драть сразу десять тысяч? Им на конфеты ничего не останется. Так ты распорядись, чтобы расплата шла из призов, которые Ореол возьмет. Да от меня поклон княжатам передай.

И что же вы думаете? Одними весенними призами Константиновичи с Телегиным покви- тались.

Оказал себя Ореол первоклассным рысачком. Телегин как-то потом сказал, шутя, Черкасову, когда речь зашла об Ореоле:

– Признайся, Николай Кузьмич, обвел ты меня тогда с Ореолом вокруг пальца?

– Был тот грех, Николай Васильевич. Мальчишки уж больно симпатичные. Да и любовь к лошадям такая горячая...

– Да ладно, ладно. Рад, что рысак в хорошие руки попал.

Телегин широко на беговое дело смотрел. Это была для него не личная забава, не утеха гордости или тщеславия, не прибыльное занятие. Нет! Лелеял он грандиозные мысли во всероссийском патриотическом плане. Давнишней мечтой его было устроить новый строго нивелированный ипподром, но не в столицах, а где-нибудь на юге, в Одессе, например, или в Севастопо-

ле, где воздух теплее, и легче, и насыщеннее кислородом от близости моря, где нет северных тяжелых атмосферных давлений.

– Там, – говорил он, – русский рысак в условиях, недалеких от калифорнийских, утрет нос американским рысакам и покажет себя в истинном блеске. Вот оно – дело государственное!..

Париж интимный

Помните, как мы были когда-то, давным-давно, резвыми семилетними мальчуганами и как нас впервые учили плавать? Существовало несколько методов в этой науке: плавание на бычьих пузырях и на пробках, плавание на поясе, с поддержкой сверху; иные начинали плавать, держась за плечо опытного пловца, и так далее. Но был и суровый, героический способ обучения. Он состоял в том, что дружеская мощная рука хватает тебя поперек туловища и швыряет, как котенка, в воду. «Так, так. Барахтайся. Только держи голову над водой». Ты барахтаешься. Вода льется тебе и в рот и в нос. Глаза твои дико выпучены от страха и холода. Ты захлебываешься и задыхаешься. «Держи голову выше». И наконец, в самую критическую минуту та же верная, сильная рука быстро извлекает тебя на поверхность. И ты потом еще долго прыгаешь на одной ноге, яростно мотая головой, чтобы вытрясти из ушей набившуюся в них воду, которая при каждом шаге бубнит в голове, как турецкий барабан. И – глядишь – через четыре дня юный пловец, воспитываемый в гуманной дисциплине, еще бьется беспомощно между своими желтыми капризными пузырями, а последователь риторического метода уже плавает свободно и уверенно и притом плавает не по-собачьи, а по-мужски, «по саженкам».

Этот-то второй метод я и предлагаю добрым россиянам, впервые попавшим в столицу мира.

Не уподобляйтесь никогда этим глобтроттерам, этим – по ловкому словечку остроумной Н. А. Тэффи – кукиным детям, которые успевают в течение месяца, при помощи гидов, путеводителей и вранья земляков-старожилов, изучить Париж «как свои пять пальцев». Смешно, грубо и жалко заблуждаются эти просвещенные путешественники. Вот краткий перечень тех впечатлений, которые они вывезут из Парижа на свою родину: Монна Лиза (Джиоконда), Гермафродит, Венера Милосская, Бриллиант Регент, собор Нотр-Дам, Эйфелева башня, Большие бульвары, Ателье Пуаре да еще выставка Независимых, причем парижский кратковременный гость так и не догадается никогда: видел ли он футуристические полотна повешенными как следует или вверх ногами.

Резче всего останутся в его памяти рестораны, мюзик-холлы, ночные кабачки и театрики и полутайные учреждения, где демонстрируются те мерзости, о которых не только апостол Павел запретил человеку глаголати, но которым не нашлось места даже в ужасном тревнике Петра Могилы, в отделе «чин исповедания мирских человек».

Замечательно: с незапамятных времен эти иностранные обозреватели музеев, пейзажей и нравов, так же как когда-то и наши прежние «ле бойяр рюсс», выносили из своего узкого и одностороннего опыта огульное мнение о развратности французских женщин.

Какое наглое и, главное, глупое вранье! Давно известно, что спрос родит предложение, а потому в каждой из современных огромных столиц требовательный, развратный, избалованный и богатый человек всегда найдет свой любимый свинушник. Но нет на свете женщин более порядочных, чем дамы из мелкой французской буржуазии. Они прекрасные, любящие, заботливые матери, внимательные и дружественные жены, отличные, бережливые домохозяйки, замечательныестряпухи. Вспоминается мне, как очень, очень давно говорил я на эту тему в Ялте с милым, ныне покойным, Чеховым. Тонкая наблюдательность его, конечно, вне сравнения. То, что я сейчас пишу, пишется почти с его слов. А под конец нашего разговора он сказал, улыбаясь своей тонкой и немного хмурой улыбкой:

– Знаете что? Весь день француженка строит, украшает и чистит свой дом: ну вот точно как птица гнездо. Все для детей и мужа. А если муж вечером запоздает, то уж она без него ни за что не ляжет спать. Прождет хоть целую ночь. Так вот и в курятнике: куры никак не заснут, если нет петуха, все возятся, а посадите к ним какого-нибудь нету шишку, хоть самого плохонького, сейчас же успокоятся и заснут на насесте.

Настоящего французского парижанина никогда нельзя увидеть болтающимся по улице

праздно. Он или идет из дому в свое бюро, в свою лавку, или возвращается из бюро или из лавки в свой дом. Их «маленький завтрак» – это наш утренний чай: пьют кофе с хлебом из огромных, емких каменных чашек. Их завтрак – наш обед. Их обед – наш ужин. Ужинают поздно и не грузно, а ложатся спать рано, часов около девяти. Утром же в половине седьмого французский буржуа уже фыркает над умывальником. Это – зимою. А весною и летом мелкие буржуа обедают при открытых окнах. С улицы можно увидеть и щегольскую сервировку, и ослепительное столовое белье, дружную, непоколебимую семью. Обедают открыто. У нас, в бывшей России, про обедневшую крестьянскую семью говорили полужалостно, полупрезрительно: «Занавесившись едят». Вот во Франции-то и нет этого «занавесившись», так же как нет и спанья среди дня, этой растлевающей тело и дух распущенности. Перед отходом ко сну буржуазная парижанка-лавочница позволяет себе «взять немного свежего воздуха». Она открывает окно и, облокотившись на подоконник, высовывается на улицу: мало ли чего интересного можно увидеть у соседей справа и слева, в их гостиных и кухнях, да и на самой улице. Но проходит десять – пятнадцать минут, и прелестная полная женская фигура уходит вглубь, с железным шумом хлопывая оконную раму. Она торопится, следуя мужнину зову, «прыгнуть» в «национальную постель» для сладкого отдыха после дня, проведенного в сплошной работе.

Вот вам средние буржуазные французские женщины – подавляющее большинство парижского населения, – все эти жены и подруги мясников, булочников, молочников, слесарей, малюсеньких чиновников, счетчиков, контролеров и так далее. О дамах из финансовой буржуазии не говорю, потому что ее не знаю. Может быть, всего лишь одна сотая процента французских женщин (не парижских) ошеломляет иностранцев фальшивыми бешеными страстями, но и у этого ничтожного меньшинства всегда живет в душе серьезное стремление к дому, к детям, к скромной обеспеченности.

Говорят, французы скупы. Нет, они бережливы. Они знают, что деньги потому делаются круглыми и плоскими, чтобы у вздорных глупцов они легче катились ребром, а у разумных – удобнее складывались в стопки.

Какая же это скупость, если необычайно тяжкая по тому времени контрибуция 1871 года была покрыта народом в течение шести месяцев. Клемансо в 1918 году, в дни перемирия, торжественно заявил: «Победой мы обязаны тому, что французский народ не пожалел для нее ни денег, ни собственной крови».

Говорят, что французы не хотят рожать детей. Нет, в теперешнее сумбурное и зыбкое время они боятся страшной ответственности за ребенка. Но поглядите, какой любовью, предупредительностью и вниманием окружены в Париже дети – это воистину короли Парижа. Право, есть только два народа на свете – Париж и Япония, где так обожают цветы, детей и улыбку.

Общая любовь к детям – это любовь к нации. Вот почему я и думаю: все мы вернемся, и, вероятно, скорее, чем предполагаем и гадаем, – домой, в Россию. О, я совсем не хочу знать о том, как многознающие, многоопытные деятели с крупными, почтенными, давно любимыми именами станут созидать будущую великую Россию. Я бы только хотел, чтобы мы, люди простые, памятливые и чувствительные, не забывали твердить: счастлив и крепок тот народ, который привык к мудрой бережливости, который уважает свой дом, который трудится ревностно и отдыхает вовремя, который в детях видит залог будущего здоровья нации. Ведь такие уроки втуне не проходят?

Однако мысль о международных путешественниках, которые, ничего не видя и ничему не участь, развешивают мимоходом (о, моя бедная родина!) ярлыки странам и народам, увлекла меня далеко в сторону. На днях я вернусь к домашнему Парижу.

Барри

Париж сказочно велик. В сущности, это не один город, а двадцать отдельных городов, не считая множества пригородов, которые, постоянно разрастаясь, инстинктивно тянутся на слияние с центром. С уверенностью можно сказать, что нет ни одного человека на свете, который знал бы весь Париж.

Так и я, ваш покорнейший слуга, никогда бы не удосужился посетить собачье кладбище, расположенное на зеленом островке, в Аньере, неподалеку от моста Клиши, если бы не печальный случай. На днях ночью в преддверии нашего дома умер наш старый (по кошачьему возрас-

ту) милый и добрый кот Ю-ю, даривший девять лет и нашу семью, и близких наших знакомых своею деликатной, ласковой и теплой дружбой. За всю свою жизнь он никого не оцарапал и не огорчил, хотя в юношеские годы загрыз насмерть нескольких рыжих, крупных крыс, тех, что живут обыкновенно в грязных трубах канализации и отличаются силой и злобностью. Конечно, не зазорно посмеяться иногда над чрезмерною сентиментальностью, особенно в наш деловой и черствый век. Но бывает сентиментальность простительная и почтенная. Я бы никогда не решился и подумать о том, чтобы можно было хладнокровно бросить в помойную яму тело усопшего друга или отправить его на салотопенный завод. Вот потому-то мы и отвезли холодные останки нашего Ю-ю на аньерское кладбище для животных. Отворяется с тихим звонком железная калитка.

Лежавший около маленького домика могильщиков, медленно подымается старый, седомордый и бельmistый пес глиняного цвета. Он подходит к новоприбывшим, строго их обнюхивает и лениво возвращается на прежнее место. Рахитичная, замузванная девочка лет трех-четырёх лазает по задворной куче, хромо переступая раскоряченными худенькими ножками. Из сторожки выходит женщина средних лет и тихо разговаривает с нами. У меня почему-то с детства сложилось предвзятое мнение о гробовщиках как о людях вовсе не печальных, склонных к юмору, к философии, к вину и по натуре грубоватых. Женщина, которая провожает нас, наоборот, тиха, приветлива, немногословна и участлива. Всем, чем можно: ласковостью голоса, приятною взора, чуть заметным покачиванием слегка склоненной головы, слабым вздохом, она как будто бы выражает нам свое маленькое, скромное сочувствие.

– Какой породы был ваш бедный, очаровательный кот?

Кладбище не велико. Прямая стрела дорожки прорезывает его посредине. Слева и справа восемь низеньких параллельных аллеек, уставленных маленькими памятниками из белого, розового и красного мрамора, из полированного песчаника разных цветов. Между могилами много зелени: мирты, лавры, сирень, боярышник и крошечные кустики осенних ярких цветов. Все здесь как-то мелко, миниатюрно. Не оттого ли, что людям мнится, будто души кошек и собак гораздо ничтожнее душ человеческих? Но вряд ли мысль о таком различии приходила когда-нибудь в голову творца.

Проходя медленно по аллеям кладбища, скоро добредешь до берега островка. Там крутой спуск вниз. Там сквозь тесные ветви и густые листья диких деревьев видна быстротекущая Сена, слышен ропот и плеск ее вод. Ничто другое не гармонирует так меланхолично с вечным покоем кладбища, как непрерывное, вечное журчание живой воды. И не оттого ли на аньерском кладбище собак и других животных стоит такая почтительная тишина? Никто не говорит, не курит, и улыбки так нежно-задумчивы.

На каждом надгробном монументе есть или скульптурный портрет, или высеченная надпись, чаще – и то и другое. Изваяния трафаретно изящны. Эпитафии трогательны, хотя – нечего греха таить – по большей части слащавы и чуть-чуть глуповаты. Но что поделаешь? Искусство кратких надписей есть самое трудное из искусств. «Тише! Мими не умер, а спит, и он все слышит...», «Живые души не умирают. До свидания, мой маленький...», «Трезору, разделявшему со мною одиночество и нужду», «Прощай, Ки-ки, как тяжело возвращаться в опустелый дом...» Идут ряды возвышенных гиперболических эпитетов: «Несравненному», «Сладкому», «Единственному», «Восхитительному», «Незабвенному» – и так далее. Когда вы входите на кладбище, ваше внимание невольно задерживает большой, высоко поставленный монумент. Уходя, вы непременно остановитесь перед ним еще на несколько минут.

На фоне скалистой горы стоит большой, мощный пес. Лоб его прорезан глубокой вертикальной морщиной. Взгляд пристальный и серьезный. Девочка-ребенок прильнула к собаке, обняла ее и радостно улыбается. Надпись на цоколе гласит: «Барри, сенбернар. Спас жизнь сорока человекам. Был убит сорок первым». Должен сказать, что о знаменитом Барри я услышал впервые около полвека тому назад и до сих пор не перестаю слышать его славное имя. Но подробности о его кончине мне совсем не известны, а в моем полном Ларуссе собака Барри не значится. Может быть, кто-нибудь из читателей «Иллюстрированной России» знает и сообщит нам?

Когда смотришь на монумент Барри и читаешь эту воистину прекрасную краткопись, то чувствуешь, как со всех памятников кладбища стирается все выпреннее, неуклюжее, домодельное, претенциозное и остаются только три старые слова: «Собака – друг человека».

Перед тем как уйти с кладбища, я справился в кабинке могильщиков об одном хорошо мне

знакомом псе, похороненном здесь около года назад. Я не знал ни месяца, ни числа, ни кладбищенского номера. Знал его имя – Марс и фамилию его земных друзей – Гандельман. Могильщики быстро справились в большущих книгах и тотчас же дали мне точное указание. Над прахом милой, доброй собаки, немецкой овчарки, было скромно начертано: «Наш Марс, о ком так горюем».

Этот Марс, помесь собаки с волком, приехавший в Париж из Петербурга через Швецию, был удивительным провидцем душ человеческих, знатоком парижских адресов. Я писал ему письма и гулял с ним по Булонскому лесу. Он хорошо знал меня. Отношения у нас были хорошие и спокойные. Он не любил собачьих нежностей, но при встречах мы радовались.

Вот теперь, когда я прихожу в его бывший дом и в его бывшую семью и надавливаю кнопку электрического звонка, то вдруг ловлю себя на беспокойной мысли: «Чего-то нет, чего-то мне не хватает». И вдруг пойму: «Ах! Не слышу я басистого Марсова голоса... И никогда я его не услышу...»

Париж и Москва

Есть книжки – возьмешь ее, пробежишь две-три страницы из начала, заглянешь в конец, бегло перелистаешь середину, и вот уже у тебя готово довольно верное представление о ее содержании и литературном весе. Но смешон будет тот читатель, который применит этот легкий способ для ознакомления с Библией. Париж – одна из самых огромных, самых старых, самых трудных и в то же время самых живых человеческих книг. Десять лет можно настойчиво вчитываться в ее каменные страницы, чтобы потом сказать: «Теперь у меня есть что-то вроде ключа к изучению Парижа».

И все-таки чрезвычайно дороги для нас первые, мгновенные, непосредственные внешние впечатления. Я, например, через много лет могу воспроизвести в памяти лицо человека, дома, комнаты или улицы в двух видах – таким, каким оно впервые вышло на моментальном снимке моего зрительного аппарата, и таким, каким его впоследствии видел мой привычный, постоянный взгляд. Эти образы очень разнятся друг от друга, но первоначальный милее и ближе нашей душе. И он ярче. Помню, как в первые дни по приезде в Париж я бродил ошупью по его улицам, ошеломленный, оглушенный, растерянный и подавленный его изумительной жизнью. И уже тогда меня занимала и даже раздражала неотвязчивая мысль – что же такое бесконечно знакомое и близкое видится мне смутно в этом страшном и прекрасном городе? Кому не известна эта утомительная работа памяти, когда мелькнет и потеряется в толпе очень знакомое лицо и ты ломаешь голову целый день, стараясь с разбега восстановить имя и прежнюю встречу. И наконец нашел, догадался.

Случайно увидел я в Латинском квартале, над улицей Турнефор, стаю любительских голубей, дружно плававших широкими кругами в высоком бледно-голубом небе, то чернея, то блистая крыльями на поворотах, и сказал: «Вот оно! Москва!»

Тогда мое ощущение этого сходства было почти бессознательно. Но многие из русских, на ком я его проверял, почти соглашались со мною: «И правда, здесь, пожалуй, есть что-то такое неуловимое...» Впоследствии я кое-что понял и объяснил себе, вероятно, не без маленьких натяжек.

В Париже и в Москве идешь по современной улице, блестящей зеркальными стеклами домов и великолепными витринами магазинов, кипящей движением, и вдруг маленький кривой переулок направо, и сразу вступаешь в восемнадцатый, семнадцатый, а то и в шестнадцатый век.

И там и здесь пешеходы не хотят знать левой и правой стороны, людской поток катится, бурлит и крутится без всякого порядка. Но зазевалась на что-то маленькая кучка, и мигом около нее густая черная толпа... А московские битюги так напоминают парижских арденов.

Только в двух старых мировых столицах – в Париже и Москве – все обывательские часы идут не по пушке, и не по ратуше, и не по собору, а так себе, как им самим вздумается. Пройдитесь с хорошо выверенными часами по лавкам или официальным учреждениям этих городов, и вы убедитесь, что часы в них ошибаются в обе стороны на целых полчаса; однако точного указания так и не встретите. Англичанин пришел бы в ужас, если бы его часы отстали или убежали на пять минут. Оттого-то он и является на деловое свидание или на обед с последним ударом

назначенного часа, а для парижан допускается четверть часа опоздания. В Москве простят и целый час.

«Что нам минуты, когда мы считаем время на столетия?»

Так же, как Париж, опоясывают Москву бульвары, и так же в ней много садов и палисадинок. На окнах чердаков и полуподвалов Парижа вы увидите все те же старинные огненные герани и тех же желтых канареек в клетках. И одинаково в скверах и парках кормят любители хлебными крошками зобастых голубей и юрких воробьев.

И еще – нигде так много не целуются на улицах, как в Москве и Париже при встречах и прощаниях. (Я не говорю, конечно, о поцелуйчиках в метро или вечерком у заборов.) Только в Москве целуются всасос, шлепая губами, как мокрыми калошами, а в Париже беззвучно, по два раза, щека об щеку. В Москве целуются мужчины, едва между собою знакомые, в Париже лишь родственники.

И наконец, только у коренных парижан и москвичей я наблюдал ту великолепную, спокойную, многовековую уверенность, с которой они попирают старые святые камни своего города, камни – свидетели радостей и печалей их далеких предков, камни, не раз политые горячей кровью и солеными слезами.

Для парижанина ничего не существует в мире, кроме Парижа и Франции. Францией он гордится с громким патриотическим пафосом. Гордиться Парижем ему так же не придет в голову, как, например, гордиться вслух здоровьем, дыханием, двумя – а не одной – ногами. Он просто, без всякого усилия знает, что лучший город в мире – Париж и что эта аксиома безусловно принята всеми частями света и всеми людьми, обитающими их. Французская провинция всегда немного простовата, а потому и смешна для парижанина.

И москвич также непоколебимо сознает, что прекраснее города, чем Москва, нигде не сыщешь. Москва – всем городам голова. Провинция для него – деревня. Только на Петербург он свысока и недружелюбно кивает головой: «То у вас в Питере, а то у нас в матушке Москве».

И конечно, в Питере все оказывается хуже... Но это уже старый спор, старая обида порфиросной вдовы против царицы.

P. S. Пишу почти *накануне* «Reveillou»⁸¹. За стеклами булочных и кондитерских уже выставлены традиционные пирожные, сделанные под каминное полено.

А в Москве в эту пору, бывало, лежали в ярко освещенных витринах невинные белые ростовские поросенки в заливном виде, с самодовольной улыбкой на морде и с веточкой зеленой петрушки во рту.

В ночь с 24 на 25 декабря настоящему парижанину полагается гулять напролет до утра. Коренной москвич садился обедать после всенощной при первой звезде «вифлеемской» – начинающая с кутьи и грушевого отвара.

А в окнах, кое-где, в разных этажах, сквозь спущенные занавески, уже сияли туманными золотистыми гроздьями огни свечей на елках...

Когда все это было? Точно сто лет назад. Да и было ли?

«Светлана»

Посвящается милым рыбакам Егорушке и «Светланочке»

Коля Констанди, пожилой, весь просоленный балаклавский рыбак, собирается наново вычистить и покрасить свою двухвесельную, стройную, выдавшую многие виды лодку. В помощники он выбирает – великая честь – вашего покорного слугу. Сначала мы тщательно выбираем место, откуда надо будет выволочить лодку на сухой берег, и после долгих размышлений и колебаний останавливаемся на новом берегу, на пустом пространстве между дачей доктора Петькова и рыбокопильным заведением Кефали. Туда-то мы и втащили катом, переворачивая с боку на бок, непокорную лодку. Странно было, что она, столь легкая, веселая и послушная на ходу, в море, оказалась такой непомерно тяжелой и грубой на суше. Только изодрав в кровь ладонь, я

⁸¹ Рождества (фр.)

понял причину этого недоразумения: дно «Светланы» оканчивалось свинцовым килем в пятнадцать пудов весом.

И все-таки эта работа по втаскиванию лодки (или баркаса, как называл ее Коля) была куда как легкой по сравнению с теми чертовскими усилиями, которые мы употребляли на отдираание от лодки моллюсков и ракушек, которые наслоились на бортах лодки за время ее многолетних стоянок во всевозможных бухтах и пристанях. Отколупывать их руками было немыслимо – так мощно они вцеплялись в дерево. Приходилось орудовать молотком и слесарными инструментами. Хорошо было Коле Констанди! По мере того как мы отскребывали эти петалиди-металиди, он кончиком ножа выковыривал их устрицеподобную мякоть и, всхлебывая, жадно поглощал ее. Приглашал и меня Коля полакомиться этим изысканным гастрономическим блюдом, но у меня как-то не хватало мужества и отваги: очень уж пахли эти петалиди нашими московскими улитками и слизняками. Да и вообще греческая кухня, прекрасно изготавливающая рыбу с толченым орехом, с чесноком, изюмом и паприкой, весьма падка на всякие морские гадости, из которых первая – злой и ужасный осьминог.

Покончивши с надоедными ракушками, с которыми мы возились очень долго и без удовольствия, мы перешли к капитальному ремонту лодки. Тут, кстати, судьба послала нам неожиданно третьего помощника.

Я уже давно заметил, что невдалеке от нас, так шагах в ста, постоянно возится босой мальчишка лет одиннадцати-двенадцати, загорелый дочерна, с видом диким, лукавым и пугливо-недоверчивым. Я указал на это явление моему атаману Констанди.

– Это – ничего, так себе, – небрежно ответил атаман. – Этот бамбино⁸² – круглый сирота; живет где попадет. Пойдите-ка, кирийе⁸³, я его сейчас к делу приставлю.

Он свистнул в два пальца призывным боцманским свистом и крикнул:

– Э! Спиरो! Иди-ка сюда! Копейку можешь заработать! Спиро подошел с нахмуренным лицом, шагая боком, точно краб.

– Кали спера⁸⁴, кирийе Коля, – сказал он сипло и вставил палец в нос. – А ты не обманешь?

– Раз сказал – так слово мое крепче железа. Будешь у нас работать и служить и каждый вечер на шабаш получать живую государственную копейку.

Так поступил в нашу маленькую верфь одинокий бездомный мальчуган Спиро, по-русски – Спиридон. Первую свою заработанную копейку тотчас же положил за щеку с манерой молодой запасливой обезьянки, и с этой поры Спиро сделался неутомимым работником и отличным, сообразительным помощником. Должно быть, в нем проснулась древняя кровь тысячелетних предков, отважных листригонов, о которых с почтительным страхом говорил еще Гомеров Одиссей. Это чудо сделали: вековой извилистый и узкий залив, вековой глубокий запах моря, вековая работа над лодкой и те вековые, ныне уже позабытые, горловые восклицания, которыми Коля Констанди поощрял ход работы.

Сначала Спиро служил только на побегушках: бегал ко мне и к Коле домой за едой, к Юре Капитанаки в кофейную за кофеем и за красным терпким вином и в городские лавчонки за необходимым материалом. Случалось посылать его и в Севастополь, за восемь верст. Спиро бывал всегда одинаково быстр, исполнительен и ловок. Он не знал другого аллюра, как широкий галоп, причем на бегу ритмично щелкал себя пятками ниже спины, а совершая длинные пути, никогда не забывал прицепиться к задку чужого экипажа и висеть на нем до того времени, пока кучер не показывал ясного намерения огреть его кнутом – странный и загадочный обычай всех кучеров. Что и говорить: куда же мне было равняться в этом спортивном беге за неутомимым Спиро? Во мне было тогда добрых шесть с половиной пудов чистого веса. Между тем настали в нашей работе серьезные часы и минуты: пошли в ход пакля, смола и дерево. Спиро то и дело стрелял к балаклавскому столяру. Коля ходил весь перемазанный черным, несмываемым клеем и ругался на страшном морском языке.

Наконец-то мы высохли и окрепли, а «Светлана» обрела свою прелестную стройность.

⁸² Мальчик (от ит. bambino).

⁸³ По-гречески: господин. (Примеч. А. И. Куприна.)

⁸⁴ Добрый вечер. (Примеч. А. И. Куприна.)

Оставалось прежде окраски подмалевать ее суриком. В этот период все мы трое перемазались, как североамериканские дикари, в красный цвет от ног до головы. Тогда стояли горячие южные дни, пекло нас, как в печке. Сурик, на что упорный в сушке материал, но и тот не устоял перед знойными лучами балаклавского солнца и вскоре высох. Оставался один самый важный вопрос: в какой же основной цвет решил атаман Констанди выкрасить свой прекрасный баркас «Светлану»? Только через три дня Коля сказал торжественным тоном:

– Баркас будет белый как снег, а на его носу из чистого золота будет выведено его название «Светлана», как у крейсера.

Здесь я, волнуемый самыми лучшими чувствами, позволил себе деликатно возразить:

– Что же, Коля, вы предполагаете сделать из вашего судна? Первокласный баркас для ловли скумбрии, кефали, камбалы, морского петуха и белуги? Или, может быть, для катания по заливу чахлах капризных дачников и дачниц, приезжающих осенью на курортное лечение виноградом? Подумайте-ка: от одного появления в море такого раскрашенного и яркого баркаса вся рыба напугается и побежит – какая в Трапезунд, какая в Одессу.

Коля Констанди был в обыденной, повседневной жизни премилым, прелюбезным человеком, застенчивым, уступчивым, услужливым и кротким. Мне никогда не удавалось залучить его на чашку чая к себе в небольшую квартиру, где я незатейливо обитал с женой. Дальше кухни Коля не переступал, а приходил только с рыбой, которую продавал лишь немного дороже цены, стоявшей на базаре. Но совсем другим делался Коля, когда из бедного, робкого, застенчивого пиндоса-банабаки он превращался в полноправного хозяина баркаса, в собственника снасти и паруса, в безукоризненного рулевого, в неутомимейшего из гребцов и, главное, в атамана судна со властью безграничной и непререкаемой и с правом на пять паев в общей добыче артели. Тут он учил меня морскому и рыбацкому делу жезлом железным и без всякого стеснения, ибо признал и оценил во мне способность к повиновению. Раза три учил он меня милостиво тому, что рыбака, готовящегося выйти в море, никогда не следует спрашивать: куда идешь? – потому что лишь одному богу известно, куда волна, ветер, течение, внезапная буря могут занести несчастного рыбака: в Средиземное море, на Тендровскую косу или в черную глубину моря. Но когда я в четвертый раз по рассеянности повторил эту грубую ошибку, Коля облил меня таким потоком ругани, перед которым побледнели бы и зашатались избранные моряки русского флота, пожарные Москвы, волжские грузчики и сибирские плотогонь. Это средство помогло: я и теперь, через четверть века, ни одного человека никогда не спрашиваю, куда он идет, это у меня уже такой навык. В таком же наставительном духе он заставил-таки меня крепить косою латинский парус, когда у мыса Шайтан-Дёре (Чертова Дыра) нас внезапно захватила и завертела ярая «джигурино» – сумасшедшая, пьяная, бестолковая мертвая зыбь, неизвестно откуда появляющаяся. От ее мерзкого колтыхания начинает травить даже самых испытанных моряков, спокойно переносивших дьявольские бури во всех океанах. Единственное средство избежать джигурину – это поймать ровный ветер и идти с ним куда попало, пока не выйдешь из полосы зыби. Коля, сидевший на руле, закричал мне:

– Крепи парус!

Но как его, черта, крепить, когда волны хлещут до боли в лицо, промокшая парусина тяжела и рвется из рук, не давая ухватить себя. Коля кричит еще раз, и в голосе его я слышу негодование, но все мои усилия никуда не годятся. Тогда озлобившийся атаман изрыгает отчаянную непотребную брань, в которой проклинает все власти, земные и небесные, все органы человеческого тела, все предметы, реальные и отвлеченные, за исключением корабельного компаса и святого угодника Николая. Волосы у меня вздымаются кверху и становятся жесткими. Парус мгновенно хлопает и туго надувается. Быстрым ходом мы уже режем воду. Я думал, что Констанди после сатирического отзыва о вновь перекрашиваемой «Светлане» разразится привычной для него бранью, но странно – его холодное возражение было прилично и сухо и тем более обидно для меня, столь гордившегося званием пайщика в рыболовной артели. Он сказал, внимательно расставляя слова:

– Вот вы только что смеялись с курортных дачников, которые лечатся виноградом. Но что же здесь смешного? Каждому овощу свое время, каждому человеку своя развлечение и своя занятость. Дачник себе занимается виноградом; всю набережную за осенью заплывает; а для них у папы Бисти первокласный ресторан открыт. Юра Капитанаки занимается кофейной для нас, балаклавских жителей, доктор лечит, фельдшер кишку вставляет, жены наши детей нам рожда-

ют. Вот вы книжки составляете какие-то, и через это вам жалованье идет. Ну, конечно, всякому забавно с морем поиграться. Но, однако, как я в вашем писарском деле ни шиша не смыслю, так и вы в нашей тяжелой рыбацкой жизни мало чего понимаете. Ну разве когда приходило вам в башку то, что ладно построенный баркас живет с умелым и опытным рыбаком, как арабская лошадь со своим возлюбленным всадником? Во взаимной любви, в полном доверии и послушании? Или вы полагаете, что у баркаса нет души? Напрасно. Есть эта душа у лодки, как она есть у человека и у лошади. Недаром же во всех больших приморских городах есть чудесный обычай: когда моряка застигнет жестокая, смертельная авария и он чудом спасается на куске разбитого вдребезги судна, то дает он богу обещание – и называется оно экс-вото – сделать благодарственную памятку, и от этого обета, экс-вото, никогда не отступаются. А состоит оно в том, что этот спасенный моряк, при помощи дерева, гвоздей, молотка и парусины, одними руками выпиливает, вытачивает и собирает точное изображение погибшего судна, со всеми его подробностями и величиной, когда в полчеловеческого роста, когда в ладонь, точно, как по фотографии. А сделав его, моряк идет в соборную церковь и отдает главному попу самодельное суденышко. А поп главный сначала строго исповедывает моряка.

Ведь на нас, на моряках и на рыбаках, грехов-то всегда, как ракушек на старом корабле. А после исповеди налагает батюшка на грешника самую тяжелую, неумолимую епитимью, и когда епитимья выдержана, то берет главный поп из очищенных покаянием рук моряка деревянную модель его судна и вешает ее на тончайших шпагатиках у самого алтаря, на поучение и как урок всем верующим. И висит этот экс-вото в святом месте бесконечное число лет. Вот теперь вы и подумайте, кирийе Александр, есть ли в баркасе душа или нет, если сам главный поп, специалист и дока по этим делам, вешает самодельный кораблик рядом со святым алтарем? Что поделаешь? Убедительная и наивная речь Коли Констанди совсем меня растрогала. Я попросил прощения и получил его, мы крепко пожали друг другу руки. Смягчившийся, снова подобревший, Коля еще многое рассказал мне о «Светлане».

– Вот как все произошло и сделалось, – говорил атаман. – Отбывал я воинскую повинность в Черноморском флоте и служил на крейсере «Светлана». Начальство меня очень любило. Да, впрочем, всем давно известно, что мы – греческие человеки – суть наилучшие во всем мире лоцманы, боцманы, моряки и капитаны, и на том же крейсере «Светлана» мы пошли в конце моей службы в Грецию, в гости к прекрасной и великой королеве Елене, имея на борту августейших лиц и самых важных сановников.

Всем было известно, что королева Елена по роду своему была русской великой княжной.

В Афинах весь наш экипаж был представлен королеве, и на ее ласковое приветствие мы громко ответили:

– Здравия желаем, ваше королевское величество. Затем нам, матросам, был дан роскошный обед, во время которого владычица Греции обходила столы и милостиво беседовала с нами. Так она спросила: много ли на «Светлане» русских греков? Ей ответили, что пять, и все из Балаклавы.

Тогда нам всем пятерым перед отходом «Светланы» было вручено в бархатных футлярах по прекрасным серебряным часам с именем и вензелем королевы Елены, и сама она назвала нас русско-греческими земляками. Эти часы до сих пор висят у меня на стенке у кровати и никогда не ходят после того, как выкупались в море у мыса Фиолент. Я и жена моя очень дорожим ими, потому что они имели большое значение в нашей судьбе. Я уже давно был влюблен в соседку нашу, Стефаниду Стельянуди, и она на меня поглядывала не без ласки. Но старик Стельянуди был богат, а мы, Констанди, были люди хорошей фамилии и честной жизни, но бедняки, и потому-то я свататься никак не решался. Но когда я окончил службу во флоте и пришел домой с двумя значками на груди, с кое-какими деньгами, нажитыми во время службы и путем отказа от порционной чарки водки, да еще с часами – подарком самой греческой королевы, то Стельянуди стал смягчаться. Особенно его рассиропили часы, лично пожалованные царицей Греции. Мы, греки, уж такие люди, что успех и награду каждого грека принимаем к самому сердцу. Благословил нас старик Стельянуди и в приданое нам дал новый баркас, заказанный, по его собственным указаниям, знаменитому севастопольскому мастеру. В один и тот же день было наше венчание и освящение баркаса, который мы все трое единогласно окрестили «Светланой». Ну уж и хорошо суденышко! Хоть оно мне и родня, но не могу не похвалить! – И тут Коля продолжительно и сладостно зачмокал языком – способ греков выражать высшее наслаждение.

После этого задушевного разговора у нас с Колей не осталось ни пушинки, ни тени взаимного неудовольствия. Обмазывая белой краской «Светлану», он спросил меня, не могу ли я нарисовать или извлечь из какого-нибудь издания те буквы, из которых можно будет составить слово «Светлана» в необходимую величину.

Я согласился помочь в этом Коле и взаправду принялся яростно за розыски. Но через три дня, ранним утром, когда я еще пил в халате утренний кофе, кто-то властно постучался в мою дверь.

– Войдите.

Вошел давно мне знакомый полицейский пристав Цемко, с бумагами под мышкой и с каменным выражением лица.

– Извольте прочитать и в извещении расписаться.

Это была бумага ко мне от крупного севастопольского начальника, и она кратко гласила: «Именуящему себя литератором поручику в отставке такому-то предлагается через двадцать четыре часа выехать из Балаклавы, со строгим воспрещением впредь появляться в районе радиуса Севастополь – Балаклава. В получении этого предложения – расписаться».

Я спокойно, без лишних вопросов и протестов, подчинился воле властей предрешающих: в течение получаса уложил все свои вещи в два походных чемодана и сказал:

– Я готов.

Пристав Цемко любезно нанял мне парного извозчика до севастопольского вокзала и – прощай, прощай навсегда, моя милая Балаклава. Прощай, купленный мною и любовно возделанный участок «Кефаловрисы», прощайте, дорогие друзья, балаклавские рыбаки, все эти Констанди, Паратино, Капитанаки, Стельянуди, Вати-киоти, Мурузи и другие храбрые грекондосы, с которыми я разделял прелесть опасности и труды морской жизни. Прощай, стройная лодка «Светлана». Мне уже так и не привелось больше увидеть этого безмятежного края. Вот как каким злосчастьям приводит рыцарский закон: «Всегда стой за меньшинство».

Воспоминания

Памяти Чехова

Он между нами жил...

Бывало, в раннем детстве, вернешься после долгих летних каникул в пансион. Все серо, казарменно, пахнет свежей масляной краской и мастикой, товарищи грубы, начальство недоброжелательно. Пока день – еще крепишься кое-как, хотя сердце нет-нет – и сожмется внезапно от тоски. Занимают встречи, поражают перемены в лицах, оглушают шум и движение.

Но когда настанет вечер и возня в полутемной спальне уляжется, – о, какая нестерпимая скорбь, какое отчаяние овладевают маленькой душой! Грызешь подушку, подавляя рыдания, шепчешь милые имена и плачешь, плачешь жаркими слезами, и знаешь, что никогда не насытишь ими своего горя. И вот тогда-то понимаешь впервые весь потрясающий ужас двух неумолимых вещей: невозвратимости прошлого и чувства одиночества. Кажется, что сейчас же с радостью отдал бы всю остальную жизнь, перенес бы всяческие мучения за один только день того светлого, прекрасного существования, которое никогда не повторится. Кажется, ловил бы каждое милое, заботливое слово и заключал бы его навсегда в памяти, впивал бы в душу медленно и жадно, капля по капле, каждую ласку. И жестоко терзаешься мыслью, что по небрежности, в суете и потому, что время представлялось неисчерпаемым, – ты не воспользовался каждым часом, каждым мгновением, промелькнувшим напрасно.

Детские скорби жгучи, но они растают во сне и исчезнут с завтрашним солнцем. Мы, взрослые, не чувствуем их так страстно, но помним дольше и скорбим глубже. Вскоре после похорон Чехова, возвращаясь с панихиды, бывшей на кладбище, один большой писатель сказал простые, но полные значения слова: – Вот похоронили мы его, и уже проходит безнадежная острота этой потери. Но понимаете ли вы, что навсегда, до конца дней наших, останется в нас ровное, тупое, печальное сознание, что Чехова нет?

И вот теперь, когда его нет, особенно мучительно чувствуешь, как драгоценно было каждое его слово, улыбка, движение, взгляд, в которых светилась его прекрасная, избранная, аристо-

кратическая душа. Жалеешь, что не всегда был внимателен к тем особенным мелочам, которые иногда сильнее и интимнее говорят о внутреннем человеке, чем крупные дела. Упрекаешь себя в том, что из-за толкотни жизни не успел запомнить, записать много интересного, характерного, важного. И в то же время знаешь, что эти чувства разделяют с тобою все те, кто был близок к нему, кто истинно любит его, как человека несравненного душевного изящества и красоты, кто с вечной признательностью будет чтить его память, как память одного из самых замечательных русских писателей. К любви, к нежной и тонкой печали этих людей я обращаю настоящие строки.

I

Ялтинская дача Чехова стояла почти за городом, глубоко под белой и пыльной Аутской дорогой. Не знаю, кто ее строил, но она была, пожалуй, самым оригинальным зданием в Ялте. Вся белая, чистая, легкая, красиво несимметричная, построенная вне какого-нибудь определенного архитектурного стиля, с вышкой в виде башни, с неожиданными выступами, со стеклянной верандой внизу и с открытой террасой сверху, с разбросанными то широкими, то узкими окнами, – она походила бы на здания в стиле *moderne*, если бы в ее плане не чувствовалась чья-то внимательная и оригинальная мысль, чей-то своеобразный вкус. Дача стояла в углу сада, окруженная цветником. К саду, со стороны, противоположной шоссе, примыкало отделенное низкой стенкой старое, заброшенное татарское кладбище, всегда зеленое, тихое и безлюдное, со скромными каменными плитами на могилах. Цветничок был маленький, далеко не пышный, а фруктовый сад еще очень молодой. Росли в нем груши и яблони-дички, абрикосы, персики, миндаль. В последние годы сад уже начал приносить кое-какие плоды, доставляя Антону Павловичу много забот и трогательного, какого-то детского удовольствия. Когда наступало время сбора миндальных орехов, то их снимали и в чеховском саду. Лежали они обыкновенно маленькой горкой в гостиной на подоконнике, и, кажется, ни у кого не хватало жестокости брать их, хотя их и предлагали. А.П. не любил и немного сердился, когда ему говорили, что его дача слишком мало защищена от пыли, летящей сверху, с Аутского шоссе, и что сад плохо снабжен водою. Не любя вообще Крыма, а в особенности Ялты, он с особенной, ревнивой любовью относился к своему саду. Многие видели, как он иногда по утрам, сидя на корточках, заботливо обмазывал серой стволы роз или выдергивал сорные травы из клумб. А какое бывало торжество, когда среди летней засухи наконец шел дождь, наполнявший водою запасные глиняные цистерны!

Но не чувство собственника сказывалось в этой хлопотливой любви, а другое, более мощное и мудрое сознание. Как часто говорил он, глядя на свой сад прищуренными глазами:

– Послушайте, при мне здесь посажено каждое дерево, и, конечно, мне это дорого. Но и не это важно. Ведь здесь же до меня был пустырь и нелепые овраги, все в камнях и в чертополохе. А я вот пришел и сделал из этой дичи культурное, красивое место. Знаете ли? – прибавлял он вдруг с серьезным лицом, тоном глубокой веры. – Знаете ли, через триста – четыреста лет вся земля обратится в цветущий сад. И жизнь будет тогда необыкновенно легка и удобна. Эта мысль о красоте грядущей жизни, так ласково, печально и прекрасно отозвавшаяся во всех его последних произведениях, была и в жизни одной из самых его задушевных, наиболее лелеемых мыслей. Как часто, должно быть, думал он о будущем счастье человечества, когда по утрам, один, молчаливо подрезывал свои розы, еще влажные от росы, или внимательно осматривал раненный ветром молодой побег. И сколько было в этой мысли кроткого, мудрого и покорного самозабвения!

Нет, это не была заочная жажда существования, идущая от ненасытного человеческого сердца и цепляющаяся за жизнь, это не было – ни жадное любопытство к тому, что будет после меня, ни завистливая ревность к далеким поколениям. Это была тоска исключительно тонкой, прелестной и чувствительной души, непомерно страдавшей от пошлости, грубости, скуки, праздности, насилия, дикости – от всего ужаса и темноты современных будней. И потому-то под конец его жизни, когда пришла к нему огромная слава, и сравнительная обеспеченность, и преданная любовь к нему всего, что было в русском обществе умного, талантливого и честного, – он не замкнулся в недостижимости холодного величия, не впал в пророческое учительство, не ушел в ядовитую и мелочную вражду к чужой известности. Нет, вся сумма его большого и тяжелого житейского опыта, все его огорчения, скорби, радости и разочарования выразились в этой пре-

красной, тоскливой, самоотверженной мечте о грядущем, близком, хотя и чужом счастье. – Как хороша будет жизнь через триста лет! И потому-то он с одинаковой любовью ухаживал за цветами, точно видя в них символ будущей красоты, и следил за новыми путями, пролагаемыми человеческим умом и знанием. Он с удовольствием глядел на новые здания оригинальной постройки и на большие морские пароходы, живо интересовался всяким последним изобретением в области техники и не скучал в обществе специалистов. Он с твердым убеждением говорил о том, что преступления, вроде убийства, воровства и прелюбодеяния, становятся все реже, почти исчезают в настоящем интеллигентном обществе, в среде учителей, докторов, писателей. Он верил в то, что грядущая, истинная культура облагородит человечество.

Рассказывая о чеховском саде, я позабыл упомянуть, что посередине его стояли качели и деревянная скамейка. И то и другое осталось от «Дяди Вани», с которым Художественный театр приезжал в Ялту, приезжал, кажется, с исключительной целью показать больному тогда А. П. – чу постановку его пьесы. Обоими предметами Чехов чрезвычайно дорожил и, показывая их, всегда с признательностью вспоминал о милом внимании к нему Художественного театра. Здесь у места также упомянуть, что эти прекрасные артисты своей исключительной деликатной чуткостью к чеховскому таланту и дружной преданностью ему самому много скрасили последние дни незабвенного художника.

II

Во дворе жили: ручной журавль и две собаки. Надо заметить, что Антон Павлович очень любил всех животных, за исключением, впрочем, кошек, к которым он питал непреодолимое отвращение. Собаки же пользовались его особым расположением. О покойной Каштанке, о меликовских таксах Броне и Хине он вспоминал так тепло и в таких выражениях, как вспоминают об умерших друзьях. «Славный народ – собаки!» – говорил он иногда с добродушной улыбкой.

Журавль был важная, степенная птица. К людям он относился вообще недоверчиво, но вел тесную дружбу с Арсением, набожным слугой Антона Павловича. За Арсением он бегал всюду, по двору и по саду, причем уморительно подпрыгивал на ходу и махал растопыренными крыльями, исполняя характерный журавлиный танец, всегда смешивший Антона Павловича.

Одну собаку звали Тузик, а другую – Каштан, в честь прежней, исторической Каштанки, носившей это имя. Ничем, кроме глупости и лености, этот Каштан, впрочем, не отличался. По внешнему виду он был толст, гладок и неуклюж, светло-шоколадного цвета, с бессмысленными желтыми глазами. Вслед за Тузиком он лаял на чужих, но стоило его поманить и почмокать ему, как он тотчас же переворачивался на спину и начинал угодливо извиваться по земле. Антон Павлович легонько отстранял его палкой, когда он лез с нежностями, и говорил с притворной суровостью:

– Уйди же, уйди, дурак... Не приставай... И прибавлял, обращаясь к собеседнику, с досадой, но со смеющимися глазами:

– Не хотите ли, подарю пса? Вы не поверите, до чего он глуп.

Но однажды случилось, что Каштан, по свойственной ему глупости и неповоротливости, попал под колеса фаэтона, который раздавил ему ногу. Бедный пес прибежал домой на трех лапах, с ужасающим воем. Задняя нога вся была исковеркана, кожа и мясо прорваны почти до кости, лилась кровь. Антон Павлович тотчас же промыл рану теплой водой с сулемой, присыпал ее йодоформом и перевязал марлевым бинтом. И надо было видеть, с какой нежностью, как ловко и осторожно прикасались его большие милые пальцы к ободранной ноге собаки и с какой сострадательной укоризной бранил он и уговаривал визжавшего Каштана:

– Ах ты, глупый, глупый... Ну как тебя угораздило?.. Да тише ты... легче будет... дурачок...

Приходится повторить избитое место, но несомненно, что животные и дети инстинктивно тянулись к Чехову. Иногда приходила к А.П. одна больная барышня, приводившая с собою девочку лет трех-четырех, сиротку, которую она взяла на воспитание. Между крошечным ребенком и пожилым, грустным и больным человеком, знаменитым писателем, установилась какая-то особенная, серьезная и доверчивая дружба. Подолгу сидели они рядом на скамейке, на веранде; А.П. внимательно и сосредоточенно слушал, а она без умолку лепетала ему свои детские смешные слова и путалась ручонками в его бороде. С большой и сердечной любовью относились к

Чехову и все люди попроще, с которыми он сталкивался: слуги, разносчики, носильщики, странники, почтальоны, – и не только с любовью, но и с тонкой чуткостью, с бережностью и с пониманием. Не могу не рассказать здесь одного случая, который передаю со слов очевидца, маленького служащего в Русском о-ве пароходства и торговли, человека положительного, немногословного и, главное, совершенно непосредственного в восприятии и передаче своих впечатлений.

Это было осенью. Чехов, возвращавшийся из Москвы, только что приехал на пароходе из Севастополя в Ялту и еще не успел сойти с палубы. Был промежуток той сумятицы, криков и бестолочи, которые всегда поднимаются вслед за тем, как опустят сходни. В это-то суматошное время татарин-носильщик, всегда услуживавший А. П. – чу и увидевший его еще издали, раньше других успел взобраться на пароход, разыскал вещи Чехова и уже готовился нести их вниз, как на него внезапно налетел бравый и свирепый помощник капитана. Этот человек не ограничился одними непристойными ругательствами, но в порыве начальственного гнева ударил бедного татарина по лицу.

«И вот тогда произошла сверхъестественная сцена, – рассказывал мой знакомый. – Татарин бросает вещи на палубу, бьет себя в грудь кулаками и, вытаращив глаза, лезет на помощника. И в то же время кричит на всю пристань: – Что? Ты бьешься? Ты думаешь, ты меня ударил? Ты – вот кого ударил! И показывает пальцем на Чехова. А Чехов, знаете ли, бледный весь, губы вздрагивают. Подходит к помощнику и говорит ему тихо так, отдельно, но с необычайным выражением: «Как вам не стыдно!» Поверите ли, ей-богу, будь я на месте этого мореплавателя, – лучше бы мне двадцать раз в морду плюнули, чем услышать это «как вам не стыдно». И на что уж моряк был толстокож, но и того проняло: заметался-заметался, забормотал что-то и вдруг испарился. И уж больше его на палубе не видели».

III

Кабинет в ялтинском доме у А.П. был небольшой, шагов двенадцать в длину и шесть в ширину, скромный, но дышавший какой-то своеобразной прелестью. Прямо против входной двери – большое квадратное окно в раме из цветных желтых стекол. С левой стороны от входа, около окна, перпендикулярно к нему – письменный стол, а за ним маленькая ниша, освещенная сверху, из-под потолка, крошечным оконцем; в нише – турецкий диван. С правой стороны, посредине стены – коричневый кафельный камин; наверху, в его облицовке, оставлено небольшое, не заделанное плиткой местечко, и в нем небрежно, но мило написано красками вечернее поле с уходящими вдаль стогами – это работа Левитана. Дальше, по той же стороне, в самом углу – дверь, сквозь которую видна холостая спальня Антона Павловича, – светлая, веселая комната, сияющая какой-то девической чистотой, белизной и невинностью. Стены кабинета – в темных с золотом обоях, а около письменного стола висит печатный плакат: «Просят не курить». Сейчас же возле входной двери направо – шкаф с книгами. На камине несколько безделушек и между ними прекрасно сделанная модель парусной шкуны. Много хороших вещей из кости и из дерева на письменном столе; почему-то преобладают фигуры слонов. На стенах портреты – Толстого, Григоровича, Тургенева. На отдельном маленьком столике, на веерообразной подставке, множество фотографий артистов и писателей. По обоим бокам окна спускаются прямые, тяжелые темные занавески, на полу большой, восточного рисунка, ковер. Эта драпировка смягчает все контуры и еще больше темнит кабинет, но благодаря ей ровнее и приятнее ложится свет из окна на письменный стол. Пахнет тонкими духами, до которых А.П. всегда был охотник. Из окна видна открытая подковообразная лощина, спускающаяся далеко к морю, и самое море, окруженное амфитеатром домов. Слева же, справа и сзади громоздятся полукольцом горы. По вечерам, когда в гористых окрестностях Ялты зажигаются огни и когда во мраке эти огни и звезды над ними так близко сливаются, что не отличаешь их друг от друга, – тогда вся окружающая местность очень напоминает иные уголки Тифлиса...

Всегда бывает так: познакомишься с человеком, изучишь его наружность, походку, голос, манеры, и все-таки всегда можешь вызвать в памяти его лицо таким, каким его видел в первый раз, совсем другим, отличным от настоящего. Так и у меня, после нескольких лет знакомства с А.П., сохранился в памяти тот Чехов, каким я его увидел впервые, в общей зале Лондонской гостиницы в Одессе. Показался он мне тогда почти высокого роста, худощавым, но

широким в костях, несколько суровым на вид. Следов болезни в нем тогда не было заметно, если не считать его походки, – слабой и точно на немного согнутых коленях. Если бы меня спросили тогда, на кого он похож с первого взгляда, я бы сказал: «на земского врача или на учителя провинциальной гимназии». Но было в нем также что-то простоватое и скромное, что-то чрезвычайно русское, народное – в лице, в говоре и в оборотах речи, была также какая-то кажущаяся московская студенческая небрежность в манерах. Именно такое первое впечатление выносили многие, и я в том числе. Но спустя несколько часов я увидел совсем другого Чехова, – именно того Чехова, лицо которого никогда не могла уловить фотография и которое, к сожалению, не понял и не прочувствовал ни один из писавших с него художников. Я увидел самое прекрасное и тонкое, и самое одухотворенное человеческое лицо, какое только мне приходилось встречать в моей жизни.

Многие впоследствии говорили, что у Чехова были голубые глаза. Это ошибка, но ошибка до странного общая всем, знавшим его. Глаза у него были темные, почти карие, причем раек правого глаза был окрашен значительно сильнее, что придавало взгляду А.П., при некоторых поворотах головы, выражение рассеянности. Верхние веки несколько нависали над глазами, что так часто наблюдается у художников, охотников, моряков – словом, у людей с сосредоточенным зрением. Благодаря пенсне и манере глядеть сквозь низ его стекол, несколько приподняв кверху голову, лицо А.П. часто казалось суровым. Но надо было видеть Чехова в иные минуты (увы, столь редкие в последние годы), когда им овладевало веселье и когда он, быстрым движением руки сбрасывая пенсне и покачиваясь взад и вперед на кресле, раздражался милым, искренним и глубоким смехом. Тогда глаза его становились полукруглыми и лучистыми, с добрыми морщинками у наружных углов, и весь он тогда напоминал тот юношеский известный портрет, где он изображен почти безбородым, с улыбающимся, близоруким и наивным взглядом несколько исподлобья. И вот – удивительно – каждый раз, когда я гляжу на этот снимок, я не могу отделаться от мысли, что у Чехова глаза были действительно голубые.

Обращал внимание в наружности А.П. его лоб – широкий, белый и чистый, прекрасной формы: лишь в самое последнее время на нем легли между бровями, у переносья, две вертикальные, задумчивые складки. Уши у Чехова были большие, некрасивой формы, но другие такие умные, интеллигентные уши я видел еще лишь у одного человека – у Толстого.

Однажды летом, пользуясь добрым настроением Антона Павловича, я сделал с него несколько снимков ручным фотографическим аппаратом. Но, к несчастью, лучшие из них и чрезвычайно похожие вышли совсем бледными, благодаря слабому освещению кабинета. Про другие же, более удачные, сам А.П. сказал, посмотрев на них:

– Ну, знаете ли, это не я, а какой-то француз.

Помнится мне теперь очень живо пожатие его большой, сухой и горячей руки, – пожатие, всегда очень крепкое, мужественное, но в то же время сдержанное, точно скрывающее что-то. Представляю также себе и его почерк: тонкий, без нажимов, ужасно мелкий, с первого взгляда – небрежный и некрасивый, но, если к нему приглядеться, очень ясный, нежный, изящный и характерный, как и все, что в нем было.

IV

Вставал А.П., по крайней мере летом, довольно рано. Никто даже из самых близких людей не видал его небрежно одетым; также не любил он разных домашних вольностей, вроде туфель, халатов и тужурок. В восемь-девять часов его уже можно было застать ходящим по кабинету или за письменным столом, как всегда, безукоризненно, изящно и скромно одетого.

По-видимому, самое лучшее время для работы приходилось у него от утра до обеда, хотя пишущим его, кажется, никому не удавалось заставить: в этом отношении он был необыкновенно скрытен и стыдлив. Зато нередко в хорошие теплые утра его можно было видеть на скамейке за домом, в самом укромном месте дачи, где вдоль белых стен стояли кадки с олеандрами и где им самим был посажен кипарис. Там сидел он иногда по часу и более, один, не двигаясь, сложив руки на коленях и глядя вперед, на море.

Около полудня и позднее дом его начинал наполняться посетителями. В это же время на железных решетках, отделяющих усадьбу от шоссе, висли целыми часами, разинув рты, девицы в белых войлочных широкополых шляпах. Самые разнообразные люди приезжали к Чехову:

ученые, литераторы, земские деятели, доктора, военные, художники, поклонники и поклонницы, профессора, светские люди, сенаторы, священники, актеры – и бог знает кто еще. Часто обращались к нему за советом, за протекцией, еще чаще с просьбой о просмотре рукописи; являлись развязные газетные интервьюеры и просто любопытствующие; были и такие, которые посещали его с единственной целью «направить этот большой, но заблудший талант в надлежащую, идейную сторону». Приходила просящая беднота – и настоящая и мнимая. Эти никогда не встречали отказа. Я не считаю себя вправе упоминать о частных случаях, но твердо и наверно знаю, что щедрость Чехова, особенно по отношению к учащейся молодежи, была несравненно шире того, что ему позволяли его более чем скромные средства.

Бывали у него люди всех слоев, всех лагерей и оттенков. Несмотря на утомительность такого постоянного человеческого круговорота, тут было нечто и привлекательное для Чехова: он из первых рук, из первоисточников, знакомился со всем, что делалось в данную минуту в России. О, как ошибались те, которые в печати и в своем воображении называли его человеком равнодушным к общественным интересам, к мятущейся жизни интеллигенции, к жгучим вопросам современности. Он за всем следил пристально и вдумчиво; он волновался, мучился и болел всем тем, чем болели лучшие русские люди. Надо было видеть, как в проклятые, черные времена, когда при нем говорили о нелепых, темных и злых явлениях нашей общественной жизни, – надо было видеть, как сурово и печально сдвигались его густые брови, каким страдальческим делалось его лицо и какая глубокая, высшая скорбь светилась в его прекрасных глазах.

Здесь уместно вспомнить об одном факте, который, по-моему, прекрасно освещает отношение Чехова к глупостям русской действительности. У многих в памяти его отказ от звания почетного академика, известны и мотивы этого отказа, но далеко не все знают его письмо в Академию по этому поводу – прекрасное письмо, написанное с простым и благородным достоинством, со сдержанным негодованием великой души.

«В декабре прошлого года я получил извещение об избрании А. М. Пешкова в почетные академики, и я не замедлил повидаться с А. М. Пешковым, который тогда находился в Крыму, первый принес ему известие об избрании и первый поздравил его. Затем, немного погодя, в газетах было напечатано, что, ввиду привлечения Пешкова к дознанию по 1035 ст., выборы признаются недействительными, причем было точно указано, что это извещение исходит из Академии наук, а так как я состою почетным академиком, то это извещение частью исходило и от меня. Я поздравлял сердечно, и я же признавал выборы недействительными – такое противоречие не укладывалось в моем сознании, примирить с ним свою совесть я не мог. Знакомство с 1035 ст. ничего не объяснило мне. И после долгого размышления я мог прийти только к одному решению, крайне для меня тяжелому и прискорбному, а именно, просить о сложении с меня звания почетного академика.

А. Чехов».

Странно – до чего не понимали Чехова! Он – этот «неисправимый пессимист», – как его определяли, – никогда не уставал надеяться на светлое будущее, никогда не переставал верить в незримую, но упорную и плодотворную работу лучших сил нашей родины. Кто из знавших его близко не помнит этой обычной, излюбленной его фразы, которую он так часто, иногда даже совсем не в лад разговору, произносил вдруг своим уверенным тоном:

– Послушайте, а знаете что? Ведь в России через десять лет будет конституция. Да, даже и здесь звучал у него тот же мотив о радостном будущем, ждущем человечество, который отозвался во всех его произведениях последних лет. Надо сказать правду: далеко не все посетители щадили время и нервы А.П-ча, а иные так просто были безжалостны. Помню я один случай, поразительный, почти анекдотически невероятный по тому огромному запасу пошлости и неделикатности, который обнаружило лицо артистического как будто бы звания. Было хорошее, не жаркое, безветренное летнее утро. А.П. чувствовал себя на редкость в легком, живом и беспечном настроении. И вот появляется, точно с неба, толстый господин (оказавшийся впоследствии архитектором), посылает Чехову свою визитную карточку и просит свидания. А.П. принимает его. Архитектор входит, знакомится и, не обращая никакого внимания на плакат: «Просят не курить», не спрашивая позволения, закуривает вонючую, огромную рижскую сигару. Затем, от-

весив, как неизбежный долг, несколько булыжных комплиментов хозяину, он приступает к приведшему его делу.

Дело же заключалось в том, что сынок архитектора, гимназист третьего класса, бежал на днях по улице и, по свойственной мальчикам привычке, хватался на бегу рукой за все, что попадалось: за фонари, тумбы, заборы. В конце концов он напоролся рукой на колючую проволоку и сильно оцарапал ладонь. «Так вот, видите ли, глубокоуважаемой А.П., – заключил свой рассказ архитектор, – я бы очень просил вас напечатать об этом в корреспонденции. Хорошо, что Коля ободрал только ладонь, но ведь это – случай! Он мог бы задеть какую-нибудь важную артерию – и что бы тогда вышло?» – «Да, все это очень прискормно, – ответил Чехов, – но, к сожалению, я ничем не могу вам помочь. Я не пишу, да никогда и не писал корреспонденции. Я пишу только рассказы». – «Тем лучше, тем лучше! Вставьте это в рассказ, – обрадовался архитектор. – Пропечатайте этого домовладельцу с полной фамилией. Можете даже и мою фамилию проставить, я и на это согласен... Или нет... все-таки лучше мою фамилию не целиком, а просто поставьте литер: господин С. Так, пожалуйста... А то ведь у нас только и осталось теперь два настоящих либеральных писателя – вы и господин П.» (и тут архитектор назвал имя одного известного литературного закройщика). Я не сумел передать и сотой доли тех ужасающих пошлостей, которое наговорил оскорбленный в родительских чувствах архитектор, потому что за время своего визита он успел докурить сигару до конца, и потом долго приходилось проветривать кабинет от ее зловонного дыма. Но едва он наконец удалился, А.П. вышел в сад совершенно расстроенный, с красными пятнами на щеках. Голос у него дрожал, когда он обратился с упреком к своей сестре Марии Павловне и к сидевшему с ней на скамейке знакомому:

– Господа, неужели вы не могли избавить меня от этого человека? Прислали бы сказать, что меня зовут куда-нибудь. Он же меня измучил!

Помню также, я это, каюсь, отчасти моя вина, – как приехал к нему выразить свое читательское одобрение некий самоуверенный штатский генерал, который, вероятно желая доставить Чехову удовольствие, начал, широко расставив колени и упершись в них кулаками вывороченных рук, всячески поносить одного молодого писателя, громадная известность которого только еще начинала расти. И Чехов тотчас же сжался, ушел в себя и все время сидел с опущенными глазами, с холодным лицом, не проронив ни одного слова. И только по быстрому укоряющему взгляду, который он бросил при прощании на знакомого, приведшего генерала, можно было видеть, как много огорчения принес ему этот визит. Так же стыдливо и холодно относился он и к похвалам, которые ему расточали. Бывало, уйдет в нишу, на диван, ресницы у него дрогнут, и медленно опустятся, и уже не поднимаются больше, а лицо делается неподвижным и сумрачным. Иногда, если эти неумеренные восторги исходили от более близкого ему человека, он старался обратить разговор в шутку, свернуть его на другое направление. Вдруг скажет ни с того ни с сего, с легким смешком:

– Ужасно люблю читать, что обо мне одесские репортеры пишут.

– Почему так?

– Смешно очень. Всё врут. Ко мне прошлой весной явился один из них в гостиницу. Просит интервью. А у меня как раз времени не было. Я и говорю: «Извините, я теперь занят. Да, впрочем, пишете, что вздумается. Мне все равно». Ну, уж он и написал. Меня даже в жар бросило. А однажды он с самым серьезным лицом сказал:

– Что вы думаете: меня ведь в Ялте каждый извозчик знает. Так и говорят: «А-а! Чехов? Это который читатель? Знаю». Почему-то называют меня читателем. Может быть, они думают, что я по покойникам читаю? Вот вы бы, батенька, спросили когда-нибудь извозчика, чем я занимаюсь...

V

В час дня у Чехова обедали внизу, в прохладной и светлой столовой, и почти всегда за столом бывал кто-нибудь приглашенный. Трудно было не поддаться обаянию этой простой, милой, ласковой семьи. Тут чувствовалась постоянная нежная заботливость и любовь, но не отягощенная ни одним пышным или громким словом – удивительная деликатность, чуткость и внимание, но никогда не выходящие из рамок обыкновенных, как будто умышленно будничных отношений. И кроме того, всегда замечалась истинно чеховская боязнь всего надутого, припод-

нятого, неискреннего и пошлого.

Было в этой семье очень легко, тепло и уютно, и я совершенно понимаю одного писателя, который говорил, что он влюблен разом во всех Чеховых. Антон Павлович ел чрезвычайно мало и не любил сидеть за столом, а все, бывало, ходил от окна к двери и обратно. Часто после обеда, оставшись в столовой с кем-нибудь один на один, Евгения Яковлевна (мать А.П.) говорила тихонько, с беспокойной тоской в голосе:

– А Антоша опять ничего не ел за обедом. Он был очень гостеприимен, любил, когда у него оставались обедать, и умел угощать на свой особенный лад, просто и радушно. Бывало, скажет кому-нибудь, остановившись у него за стулом:

– Послушайте, выпейте водки. Я, когда был молодой и здоровый, любил. Собираешь целое утро грибы, устанешь, едва домой дойдешь, а перед обедом выпьешь рюмки две или три. Чудесно!..

После обеда он пил чай наверху, на открытой террасе, или у себя в кабинете или спускался в сад и сидел там на скамейке, в пальто и с тросточкой, надвинув на самые глаза мягкую черную шляпу и поглядывая из-под ее полей прищуренными глазами.

Эти же часы бывали самыми людными. Постоянно спрашивали по телефону, можно ли видеть А. П – ча, постоянно кто-нибудь приезжал. Приходили незнакомые с просьбами о карточках, о надписях на книгах. Бывали здесь и смешные курьезы.

Один «тамбовский помещик», как окрестил его Чехов, приехал к нему за врачебной помощью. Тщетно А.П. уверял, что он давно бросил практику и отстал в медицине, напрасно рекомендовал обратиться к более опытному доктору, – «тамбовский помещик» стоял на своем: никаким докторам, кроме Чехова, он не хочет верить. Волей-неволей пришлось дать ему несколько незначительных, совершенно невинных советов. Прощаясь, «тамбовский помещик» положил на стол два золотых и, как его ни уговаривал А.П., ни за что не соглашался взять их обратно. Антон Павлович принужден был уступить. Он сказал, что, не желая и не считая себя вправе брать эти деньги как гонорар, он возьмет их на нужды ялтинского благотворительного общества, и тут же написал расписку в их получении. Оказывается, только того и нужно было «тамбовскому помещику». С сияющим лицом, бережно спрятал он расписку в бумажник и тогда уж признался, что единственной целью его посещения было желание приобрести автограф Чехова. Об этом оригинальном и настойчивом пациенте А.П. рассказывал мне сам – полусмеясь, полусердито.

Повторяю, многие из этих посетителей порядком донимали Чехова и даже раздражали его, но, по свойственной ему изумительной деликатности, он со всеми оставался ровен, терпеливо-внимателен, доступен всем, желавшим его видеть. Эта деликатность доходила порою до той трогательной черты, которая граничит с безволием. Так, например, одна добрая и суетливая дама, большая поклонница Чехова, подарила ему, кажется в день его именин, огромного сидячего мопса, сделанного из раскрашенного гипса, аршина в полтора высотой от земли, то есть раз в пять больше натурального роста. Мопса этого посадили внизу на площадке, около столовой, и он сидел там с разъяренной мордой и оскаленными зубами, пугая всех забывавших о нем своей неподвижностью.

– Знаете, я сам этого каменного пса боюсь, – признавался Чехов. – А убрать его как-то неловко, обидятся. Пусть уж тут живет.

И вдруг, с глазами, загоравшимися лучистым смехом, он прибавлял неожиданно, по своему обыкновению:

– А вы заметили, что в домах у богатых евреев такие гипсовые мопсы часто сидят около камина?

В иные дни его просто угнетали всякие хвалители, порицатели, поклонники и даже советчики. «У меня такая масса посетителей, – жаловался он в одном письме, – что голова ходит кругом. Трудно писать». Но все-таки он не оставался равнодушным к искреннему чувству любви и уважения и всегда отличал его от праздной и льстивой болтовни. Как-то раз он вернулся в очень веселом настроении духа с набережной, где он изредка прогуливался, и с большим оживлением рассказывал:

– У меня была сейчас чудесная встреча. На набережной вдруг подходит ко мне офицер-артиллерист, совсем молодой еще, подпоручик. «Вы А.П. Чехов?» – «Да, это я. Что вам угодно?» – «Извините меня за навязчивость, но мне так давно хочется пожать вашу руку!» И покраснел. Такой чудесный малый, и лицо милое. Пожали мы друг другу руки и разошлись.

Всего лучше чувствовал себя А.П. к вечеру, часам к семи, когда в столовой опять собирались к чаю и легкому ужину. Здесь иногда – но год от году все реже и реже – воскресал в нем прежний Чехов, неистощимо веселый, остроумный, с кипучим прелестным юношеским юмором. Тогда он импровизировал целые истории, где действующими лицами являлись его знакомые, и особенно охотно устраивал воображаемые свадьбы, которые иногда кончались тем, что на другой день утром, сидя за чаем, молодой муж говорил вскользь, небрежным и деловым тоном:

– Знаешь, милая, а после чаю мы с тобой оденемся и поедем к нотариусу. К чему тебе лишние заботы о твоих деньгах?

Придумывал он удивительные – чеховские – фамилии, из которых я теперь – увы! – помню только одного мифического матроса Кошкодавленко. Любил он также, шутя, старить писателей. «Что вы говорите, – Бунин мой сверстник, – уверял он с напускной серьезностью. – Телешов тоже. Он уже старый писатель. Вы спросите его сами: он вам расскажет, как мы с ним гуляли на свадьбе у И. А. Белоусова. Когда это было!» Одному талантливому беллетристу, серьезному, идейному писателю, он говорил: «Послушайте же, ведь вы на двадцать лет меня старше. Ведь вы же раньше писали под псевдонимом Нестор Кукольник...» Но никогда от его шуток не оставалось заноз в сердце, так же как никогда в своей жизни этот удивительно нежный человек не причинил сознательно даже самого маленького страдания ничему живущему.

После ужина он неизменно задерживал кого-нибудь у себя в кабинете на полчаса или на час. На письменном столе зажигались свечи. И потом, когда уже все расходились и он оставался один, то еще долго светился огонь в его большом окне. Писал ли он в это время или разбирался в своих памятных книжках, заноса впечатления дня, – это, кажется, не было никому известно.

VI

Вообще мы почти ничего не знаем не только о тайнах его творчества, но даже и о внешних, привычных приемах его работы. В этом отношении А.П. был до странного скрытен и молчалив. Помню, как-то мимоходом он сказал очень значительную фразу:

– Только спаси вас бог читать кому-нибудь свои произведения, пока они не напечатаны. Даже в корректуре не читайте.

Так он и сам поступал постоянно, хотя иногда делал исключения для жены и сестры. Раньше, говорят, он был щедрее на этот счет.

Это было в то время, когда он писал очень много и очень быстро. Он сам говорил, что писал тогда по рассказу в день. Об этом же рассказывала и Е. Я. Чехова. «Бывало, еще студентом, Антоша сидит утром за чаем и вдруг задумается, смотрит иногда прямо в глаза, а я знаю, что он уж ничего не видит. Потом достанет из кармана книжку и пишет быстро-быстро. И опять задумается...» Но в последние годы Чехов стал относиться к себе все строже и все требовательнее: держал рассказы по нескольку лет, не переставая их исправлять и переписывать, и все-таки, несмотря на такую кропотливую работу, последние корректуры, возвращавшиеся от него, бывали кругом испещрены знаками, пометками и вставками. Для того чтобы окончить произведение, он должен был писать его не отрываясь. «Если я надолго оставлю рассказ, – говорил он как-то, – то уже не могу потом приняться за его окончание. Мне надо тогда начинать снова». Где он черпал свои образы? Где находил свои наблюдения и сравнения? Где он выковывал свой великолепный, единственный в русской литературе язык? Он никому не поверял и не обнаруживал своих творческих путей. Говорят, после него осталось много записных книжек; может быть, в них со временем найдутся ключи к этим сокровенным тайнам? А может быть, они и навсегда останутся неразгаданными? Кто знает! Во всяком случае, мы должны довольствоваться в этом направлении только осторожными намеками и предположениями. Я думаю, что всегда, с утра до вечера, а может быть, даже и ночью, во сне и бессоннице, совершалась в нем незримая, но упорная, порою даже бессознательная работа – работа взвешивания, определения и запоминания. Он умел слушать и расспрашивать, как никто, но часто, среди живого разговора, можно было заметить, как его внимательный и доброжелательный взгляд вдруг делался неподвижным и глубоким, точно уходил куда-то внутрь, созерцая нечто таинственное и важное, совершавшееся в его душе. Тогда-то А.П. и делал свои странные, поражавшие неожиданностью, совсем не идущие к разговору вопросы, которые так смущали многих. Только что говорили и еще продолжают говорить о неомарксистах, а он вдруг спрашивает: «Послушайте, вы никогда не были на конском заводе?»

Непрерывно поезжайте. Это интересно». Или вторично предлагает вопрос, на который только что получил ответ.

Внешней, механической памятью Чехов не отличался. Я говорю про ту мелочную память, которою так часто обладают в сильной степени женщины и крестьяне и которая состоит в запоминании того, кто как был одет, носит ли бороду и усы, какая была цепочка от часов и какие сапоги, какого цвета волосы. Просто эти детали были для него неважны и неинтересны. Но зато он сразу брал всего человека, определял быстро и верно, точно опытный химик, его удельный вес, качество и порядок и уже знал, как очертить его главную, внутреннюю суть двумя-тремя штрихами.

Однажды Чехов с легким неудовольствием говорил о своем хорошем знакомом, известном ученом, который, несмотря на давнюю дружбу, несколько утеснял А.П. – ча своей многословностью. Как только приедет в Ялту, сейчас же является к Чехову и сидит с утра до обеда; в обед уедет к себе в гостиницу на полчаса, а там опять приезжает и сидит до глубокой ночи и все говорит, говорит, говорит... И так каждый день.

И вдруг, быстро обрывая этот рассказ, точно увлекаемый новой, интересной мыслью, А.П. прибавлял оживленно:

– А ведь никто не догадывается, что самое характерное в этом человеке. А я вот знаю. То, что он профессор и ученый с европейским именем, – это для него второстепенное. Главное то, что он считает себя в душе замечательным актером и глубоко верит в то, что только по воле случая он не приобрел на сцене мировой известности. Дома он постоянно читает вслух Островского.

Однажды, улыбаясь своему воспоминанию, он вдруг заметил:

– Знаете, Москва – самый характерный город. В ней все неожиданно. Выходим мы как-то веселым утром с публицистом С–ным из Большого Московского. Это было после длинного и веселого ужина. Вдруг С–н тащит меня к Тверской, здесь же, напротив. Вынимает пригоршню меди и начинает оделять нищих – их там десятки. Сунет копеечку и бормочет: «О здравии раба божия Михаила». Это его Михаилом зовут. И опять: «Раба божия Михаила». А сам в бога не верит... Чудак... Тут я должен подойти к щекотливому месту, которое, может быть, не всем понравится. Я глубоко убежден в том, что Чехов с одинаковым вниманием и с одинаковым проникновенным любопытством разговаривал с ученым и с разносчиком, с просящим на бедность и с литератором, с крупным земским деятелем, и с сомнительным монахом, и с приказчиком, и с маленьким почтовым чиновником, отсылавшим его корреспонденцию. Не оттого ли у него в рассказах профессор говорит и думает именно как старый профессор, а бродяга как истый бродяга? И не оттого ли у него тотчас же после его смерти отыскалось такое множество «закадычных» друзей, за которых он, по их словам, был готов в огонь и в воду?

Думается, что он никому не раскрывал и не отдавал своего сердца вполне (была, впрочем, легенда о каком-то его близком, любимом друге, чиновнике из Таганрога), но ко всем относился благодушно, безразлично в смысле дружбы и в то же время с большим, может быть, бессознательным интересом.

Свои чеховские словечки и эти изумительные по своей сжатости и меткости черточки брал он нередко прямо из жизни. Выражение «не нравятся мне это», перешедшее так быстро из «Архиерея» в обиход широкой публики, было им почерпнуто от одного мрачного бродяги, полупьяницы, полупомешанного, полупророка. Также, помню, разговорились мы с ним как-то о давно уже умершем московском поэте, и Чехов с яркостью вспомнил и его, и его сожительницу, и его пустые комнаты, и его сенбернара Дружка, страдавшего вечным расстройством желудка. «Как же, отлично помню, – говорил А.П., весело улыбаясь, – в пять часов к нему всегда входила эта женщина и спрашивала: «Лиодор Иваныч, а Лиодор Иваныч, а что, вам не пора пиво пить?» Я тогда же неосторожно сказал: «Ах, так вот откуда это у вас в «Палате № 6». «Ну да, оттуда», – ответил А.П. с неудовольствием.

Были у него также знакомые из тех средостенных купчих, которые, несмотря на миллионы, и на самые модные платья, и на внешний интерес к литературе, говорили «едеял», «принципально». Иные из них часами изливались перед Чеховым: какие у них необыкновенно тонкие, «нервные» натуры и какой бы замечательный роман мог сделать «гинеяльный» писатель из их жизни, если бы все рассказать. А он ничего, сидел себе, и молчал, и слушал с видимым удовольствием, – только под усами у него скользила чуть заметная, почти неуловимая улыбка.

Я не хочу сказать, что он искал, подобно многим другим писателям, моделей. Но мне думается, что он всюду и всегда видел материал для наблюдений, и выходило у него это поневоле, может быть, часто против желания, в силу давно изощенной и никогда не искоренимой привычки вдумываться в людей, анализировать их и обобщать. В этой сокровенной работе было для него, вероятно, все мучение и вся радость вечного бессознательного процесса творчества.

Ни с кем не делился он своими впечатлениями, так же как никому не говорил о том, что и как собирается он писать. Также чрезвычайно редко сказывался в его речах художник и беллетрист. Он, отчасти нарочно, отчасти инстинктивно, употреблял в разговоре обыкновенные, средние, общие выражения, не прибегая ни к сравнениям, ни к картинам. Он берег свои сокровища в душе, не позволяя им расточаться в словесной пене, и в этом была громадная разница между ним и теми беллетристами, которые рассказывают свои темы гораздо лучше, чем их пишут. Происходило это, думаю, от природной сдержанности, но также и от особенной стыдливости. Есть люди, органически не переносящие, болезненно стыдящиеся слишком выразительных поз, жестов, мимики и слов, и этим свойством А.П. обладал в высшей степени. Здесь-то, может быть, и кроется разгадка его кажущегося безразличия к вопросам борьбы и протеста и равнодушия к интересам злободневного характера, волновавшим и волнующим всю русскую интеллигенцию. В нем жила боязнь пафоса, сильных чувств и неразлучных с ними несколько театральных эффектов. С одним только я могу сравнить такое положение: некто любит женщину со всем пылом, нежностью и глубиной, на которые способен человек тонких чувств, огромного ума и таланта. Но никогда он не решится сказать об этом пышными, выпренными словами и даже представить себе не может, как это он станет на колени и прижмет одну руку к сердцу и как заговорит дрожащим голосом первого любовника. И потому он любит и молчит, и страдает молча, и никогда не отважится выразить то, что развязно и громко, по всем правилам декламации, изъясняет фат среднего пошиба.

VII

К молодым, начинающим писателям Чехов был неизменно участлив, внимателен и ласков. Никто от него не уходил подавленным его огромным талантом и собственной малозначительностью. Никому никогда не сказал он: «Делайте, как я, смотрите, как я поступаю». Если кто-нибудь в отчаянии жаловался ему: «Разве стоит писать, если на всю жизнь останешься «нашим молодым» и «подающим надежды», – он отвечал спокойно и серьезно: – Не всем же, батенька, писать, как Толстой.

Внимательность его бывала иногда прямо трогательной. Один начинающий писатель приехал в Ялту и остановился где-то за Ауткой, на окраине города, наняв комнатку в шумной и многочисленной греческой семье. Как-то он пожаловался Чехову, что в такой обстановке трудно писать, – и вот Чехов настоял на том, чтобы писатель непременно приходил к нему с утра и занимался у него внизу, рядом со столовой. «Вы будете внизу писать, а я сверху, – говорил он со своей очаровательной улыбкой. – И обедать будете также у меня. А когда кончите, непременно прочтите мне или, если уедете, пришлите хотя бы в корректуре». Читал он удивительно много, и всегда все помнил, и никого ни с кем не смешивал. Если авторы спрашивали его мнения, он всегда хвалил, и хвалил не для того, чтобы отвязаться, а потому, что знал, как жестоко подрезает слабые крылья резкая, хотя бы и справедливая, критика и какую бодрость и надежду вливает иногда незначительная похвала. «Читал ваш рассказ. Чудесно написано», – говорил он в таких случаях грубоватым и задушевым голосом. Впрочем, при некотором доверии и более близком знакомстве, и в особенности по убедительной просьбе автора, он высказывался, хотя и с осторожными оговорками, но определеннее, пространнее и прямее. У меня хранятся два его письма, написанные одному и тому же беллетристу по поводу одной и той же повести. Вот выдержка из первого: «Дорогой N., повесть получил и прочел, большое вам спасибо. Повесть хороша, прочел я ее в один раз, как и предыдущую, и получил одинаковое удовольствие...»

Но так как автор не удовольствовался одной похвалой, то вскоре он получил от А.П. другое письмо: «Вы хотите, чтобы я говорил только о недостатках, и этим ставите меня в затруднительное положение. В этой повести недостатков нет, и если можно не соглашаться, то лишь с особенностями ее, некоторыми. Например, героев своих, актеров, вы трактуете по старинке, как трактовались очи уже лет сто всеми писавшими о них, – ничего нового. Во-вторых, в первой

главе вы заняты описанием наружностей – опять-таки по старинке, описанием, без которого можно обойтись. Пять определенно изображенных наружностей утомляют внимание и в конце концов теряют свою ценность. Бритые актеры похожи друг на друга, как ксендзы, и остаются похожими, как бы старательно вы ни изображали их. В-третьих, грубоватый тон, излишества в изображении пьяных. Вот и все, что я могу вам сказать, в ответ на ваш вопрос о недостатках; больше уж ничего придумать не могу».

К тем из писателей, с которыми у него возникала хоть какая-нибудь духовная связь, он всегда относился бережно и внимательно. Никогда он не упускал случая сообщить известие, которое, он знал, будет приятно или полезно. «Дорогой N., – писал он одному знакомому, – сим извещаю вас, что вашу повесть читал Л. Н. Толстой и что она ему *очень* понравилась. Будьте добры, пошлите ему вашу книжку по адресу: Кореиз, Таврич. губ., и в заглавии подчеркните рассказы, которые вы находите лучшими, чтобы он, читая, начал с них. Или книжку пришлите мне, а я уж передам ему».

К пишущему эти строки он также проявил однажды милую любезность, сообщив письмом, что в «Словаре русского языка», издаваемом Академией наук, в шестом выпуске второго тома, который (то есть выпуск) я сегодня получил, показались, наконец и Вы. Так, на странице такой-то и т. д.».

Все это, конечно, мелочи, но в них сквозит так много участия и заботливости, что теперь, когда нет уже больше этого изумительного художника и прекрасного человека, его письма приобретают значение какой-то далекой, невозвратимой ласки. – Пишите, пишите как можно больше, – говорил он начинающим беллетристам. – Не беда, если у вас не совсем выходит. Потом будет выходить лучше. А главное – не тратьте понапрасну молодости и упругости: теперь вам только и работать. Смотрите: вот вы пишете чудесно, а лексикон у вас маленький. Нужно набираться слов и оборотов, а для этого необходимо писать каждый день. И он сам неустанно работал над собой, обогащая свой прелестный, разнообразный язык отовсюду: из разговоров, из словарей, из каталогов, из ученых сочинений, из священных книг. Запас слов у этого молчаливого человека был необычайно громаден.

– Слушайте: ездите почаще в третьем классе, – советовал он. – Я жалею, что болезнь мешает мне теперь ездить в третьем классе. Там иногда услышишь замечательно интересные вещи.

Удивлялся он также тем писателям, которые по целым годам не видят ничего, кроме соседнего брандмауэра из окон своих петербургских кабинетов. И часто он говорил с оттенком нетерпения:

– Не понимаю, отчего вы – молодой, здоровый и свободный – не поедете, например, в Австралию (Австралия была почему-то его излюбленной частью света) или в Сибирь? Как только мне станет получше, я непременно опять поеду в Сибирь. Я там был, когда ездил на Сахалин. Вы и представить себе не можете, батенька, какая это чудесная страна. Совсем особое государство. Знаете, я убежден, что Сибирь когда-нибудь совершенно отделится от России, вот так же, как Америка отделилась от метрополии. Поезжайте же, поезжайте туда непременно...

– Отчего вы не напишете пьесу? – спрашивал он иногда. – Да напишите же, в самом деле. Каждый писатель должен написать, по крайней мере, четыре пьесы. Но тут же он соглашался, что драматический род сочинений теряет с каждым днем интерес в наше время. «Драма должна или вырождаться совсем, или принять совсем новые, невиданные формы, – говорил он. – Мы себе и представить не можем, чем будет театр через сто лет».

Бывали у А.П. иногда маленькие противоречия, которые в нем казались особенно привлекательными и в то же время имели глубокий внутренний смысл. Так было однажды с вопросом о записных книжках. Чехов только что с увлечением убеждал нас не обращаться к их помощи, полагаясь во всем на память и на воображение. «Крупное само останется, – доказывал он, – а мелочи вы всегда изобретете или отыщете». Но вот спустя час кто-то из присутствующих, прослуживший случайно год на сцене, стал рассказывать о своих театральных впечатлениях и, между прочим, упомянул о таком случае. Идет дневная репетиция в садовом театре маленького провинциального городка. Первый любовник, в шляпе и в клетчатых панталонах, руки в карманах, расхаживает по сцене, рисуясь перед случайной публикой, забредшей в зрительную залу. Энгелю-комик, его «театральная» жена, тоже находившаяся на сцене, обращается к нему:

«Саша, как это ты вчера напевал из «Паяцев»? Насвищи, пожалуйста». Первый любовник поворачивается к ней, медленно меряет ее с ног до головы уничтожающим взором и говорит

жирным актерским голосом: «Что-о? Свистать на сцене? А в церкви ты будешь свистать? Так знай же, что сцена – тот же храм!» После этого рассказа А.П. сбросил пенсне, откинулся на спинку кресла и захохотал своим громким, ясным смехом. И тотчас же полез в боковой ящик стола за записной книжкой. «Постойте, постойте, как вы это рассказывали? Сцена – это храм?..» И записал весь анекдот.

В сущности, даже и противоречия во всем этом не было, и сам А.П. потом объяснил это: «Не надо записывать сравнений, метких черточек, подробностей, картин природы – это должно появиться само собой, когда будет нужно. Но голый факт, редкое имя, техническое название надо занести в книжку – иначе забудется, рассеется».

Нередко вспоминал Чехов те тяжелые минуты, которые ему доставляли редакции серьезных журналов до той поры, пока с легкой руки «Северного вестника» он не завоевал их окончательно.

– В одном отношении вы все должны быть мне благодарны, – говорил он молодым писателям. – Это я открыл путь для авторов мелких рассказов. Прежде, бывало, принесешь в редакцию рукопись, так ее даже читать не хотят. Только посмотрят с пренебрежением. «Что? Это называется – произведением? Да ведь это короче воробьиного носа. Нет, нам таких *штучек* не надо». А я вот добился и другим указал дорогу. Да это еще что, так ли со мной обращались! Имя мое сделали нарицательным. Так и острили, бывало: «Эх вы, Че-хо-вы!» Должно быть, это было смешно».

Антон Павлович держался высокого мнения о современной литературе, то есть, собственно говоря, о технике теперешнего письма. «Все нынче стали чудесно писать, плохих писателей во все нет, – говорил он решительным тоном. – И оттого-то теперь все труднее становится выбиться из неизвестности. И знаете, кто сделал такой переворот? Мопассан. Он, как художник слова, поставил такие огромные требования, что писать по старинке сделалось уже больше невозможным. Попробуйте-ка вы теперь перечитать некоторых наших классиков, ну хоть Писемского, Григоровича или Островского, нет, вы попробуйте только, и увидите, какое это все старье и общие места. Зато возьмите, с другой стороны, наших декадентов. Это они лишь притворяются больными и безумными, – они все здоровые мужики. Но писать – мастера».

В то же время он требовал от писателей обыкновенных житейских сюжетов, простоты изложения и отсутствия эффектных колленец. «Зачем это писать, – недоумевал он, – что кто-то сел на подводную лодку и поехал к Северному полюсу искать какого-то примирения с людьми, а в это время его возлюбленная с драматическим воплем бросается с колокольни? Все это неправда, и в действительности этого не бывает. Надо писать просто: о том, как Петр Семенович женился на Марье Ивановне. Вот и все. И потом, зачем эти подзаголовки: психический этюд, жанр, новелла? Все это одни претензии. Поставьте заглавие попроще, – все равно, какое придет в голову, – и больше ничего. Также поменьше употребляйте кавычек, курсивов и тире – это манерно».

Еще учил он, чтобы писатель оставался равнодушен к радостям и огорчениям своих героев. «В одной хорошей повести, – рассказывал он, – я прочел описание приморского ресторана в большом городе. И сразу видно, что автору в диковинку и эта музыка, и электрический свет, и розы в петлицах, и что он сам любит на них. Так – нехорошо. Нужно стоять вне этих вещей, и хотя знать их хорошо, до мелочи, но глядеть на них как бы с презрением, сверху вниз. И выйдет верно».

VIII

Сын Альфонса Доде в своих воспоминаниях об отце упоминает о том, что этот талантливый французский писатель полушутя называл себя «продавцом счастья». К нему постоянно обращались люди разных положений за советом и за помощью, приходили со своими огорчениями и заботами, и он, уже прикованный к креслу неизлечимой, мучительной болезнью, находил в себе достаточно мужества, терпения и любви к человеку, чтобы войти душой в чужое горе, утешить, успокоить и ободрить.

Чехов, конечно, по своей необычайной скромности и по отвращению к фразе, никогда не сказал бы о себе ничего подобного, но как часто приходилось ему выслушивать тяжелые исповеди, помогать словом и делом, протягивать падающему свою нежную и твердую руку. В своей удивительной объективности стоя выше частных горестей и радостей, он все знал и видел. Но

ничто личное не мешало его проникновению. Он мог быть добрым и щедрым, не любя, ласковым и участливым – без привязанности, благодетелем – не рассчитывая на благодарность. И в этих чертах, которые всегда оставались неясными для его окружающих, кроется, может быть, главная разгадка его личности.

Пользуясь позволением одного моего друга, я приведу коротенький отрывок из чеховского письма. Дело в том, что этот человек переживал большую тревогу во время первой беременности горячо любимой жены и, по правде сказать, порядочно докучал А.П. своей болью. И вот Чехов однажды написал ему:

«Скажите вашей жене, чтобы не беспокоилась, все обойдется благополучно. Роды будут продолжаться часов 20, а потом наступит блаженнейшее состояние, когда она будет улыбаться, а вам будет хотеться плакать от умиления. 20 часов – это обыкновенный максимум для первых родов».

Какое тонкое внимание к чужой тревоге слышится в этих немногих, простых строчках. Но еще характернее то, что когда впоследствии, уже сделавшись счастливым отцом, этот мой приятель спросил, вспомнив о письме, откуда Чехов так хорошо знает эти чувства, А.П. ответил спокойно, даже равнодушно:

– Да ведь, когда я жил в деревне, мне же постоянно приходилось принимать у баб. *Все равно – и там такая же радость.*

Если бы Чехов не был таким замечательным писателем, он был бы прекрасным врачом. Доктора, приглашавшие его изредка на консультации, отзывались о нем, как о чрезвычайно вдумчивом наблюдателе и находчивом, проницательном диагносте. Да и не было бы ничего удивительного в том, если бы его диагноз оказался совершеннее и глубже диагноза, поставленного какой-нибудь модной знаменитостью. Он видел и слышал в человеке – в его лице, голосе, походке – то, что было скрыто от других, что не поддавалось, ускользало от глаза среднего наблюдателя.

Сам он предпочитал советовать, в тех редких случаях, когда к нему обращались, средства испытанные, простые, по преимуществу домашние. Между прочим, чрезвычайно удачно лечил он детей.

Верил он в медицину твердо и крепко, и ничто не могло пошатнуть этой веры. Помню я, как однажды он рассердился, когда кто-то начал свысока третировать медицину по роману Золя «Доктор Паскаль».

– Золя ваш ничего не понимает, и все выдумывает у себя в кабинете, – сказал он, волнуясь и покашливая. – Пусть бы он поехал и посмотрел, как работают наши земские врачи и что они делают для народа.

И кто же не знает, какими симпатичными чертами, с какой любовью сквозь внешнюю жестокость и как часто описывал он этих чудных тружеников, этих неизвестных и незаметных героев, сознательно осуждающих свои имена на забвение? Описывал, даже не щадя их.

IX

Есть изречение: смерть каждого человека на него похожа. Невольно вспоминаешь его, когда думаешь о последних годах жизни Чехова, о последних его днях, даже о последних минутах. Даже в самые его похороны судьба внесла, по какой-то роковой последовательности, много чисто чеховских черт.

Боролся он с неумолимой болезнью долго, страшно долго, но переносил ее мужественно, просто и терпеливо, без раздражения, без жалоб, почти без слов. За последнее время лишь мимоходом, небрежно упоминает он в письмах о своем здоровье. «Здоровье мое поправилось, хотя все еще хожу с компрессом...», «Только что перенес плеврит, но теперь мне лучше...», «Здоровье мое неважно... пишу понемногу...»

Не любил он говорить о своей болезни и сердился, когда его расспрашивали. Только, бывало, и узнаешь что-нибудь от Арсения. «Сегодня утром очень плохо было – кровь шла», – скажет он шепотом, покачивая головой. Или Евгения Яковлевна сообщит по секрету с тоской в голосе:

– А сегодня Антоша опять всю ночь ворочался и кашлял. Мне через стенку все слышно.

Знал ли он размеры и значение своей болезни? Я думаю, знал, но бестрепетно, как врач и мудрец, глядел в глаза надвигающейся смерти. Были разные мелкие обстоятельства, указывавшие на это. Так, например, одной даме, жаловавшейся ему на бессонницу и нервное расстройство, он сказал спокойно, с едва лишь уловимым оттенком покорной грусти:

– Видите ли: пока у человека хороши легкие – все хорошо.

Умер он просто, трогательно и сознательно. Говорят, последние его слова были: «Ich sterbe!»⁸⁵ И последние его дни были омрачены глубокой скорбью за Россию, были взволнованы ужасом кровопролитной, чудовищной японской войны... Точно сон, припоминаются его похороны. Холодный, серенький Петербург, путаница с телеграммами, маленькая кучка народа на вокзале, «вагон для устриц», станционное начальство, никогда не слыхавшее о Чехове и видевшее в его теле только железнодорожный груз... Потом, как контраст, Москва, стихийное горе, тысячи точно осиротевших людей, заплаканные лица. И, наконец, могила на Новодевичьем кладбище, вся заваленная цветами, рядом со скромной могилой «вдовы казака Ольги Кукаретниковой».

Вспоминается мне панихида на кладбище на другой день после его похорон. Был тихий июльский вечер, и старые липы над могилами, золотые от солнца, стояли не шевелясь. Тихой, покорной грустью, глубокими вздохами звучало пение нежных женских голосов. И было тогда у многих в душе какое-то растерянное, тяжелое недоумение.

Расходились с кладбища медленно, в молчании. Я подошел к матери Чехова и без слов поцеловал ее руку. И она сказала усталым, слабым голосом:

– Вот горе-то у нас какое... Нет Антоши...

О, эта потрясающая глубина простых, обыкновенных, истинно чеховских слов! Вся громадная бездна утраты, вся невозвратимость совершившегося события открылась за ними. Нет! Утешения здесь были бы бессильны. Разве может истощиться, успокоиться горе тех людей, души которых так близко прикасались к великой душе избранника?

Но пусть облегчит их неутолимую тоску сознание, что их горе – и наше общее горе. Пусть смягчится оно мыслью о незабвенности, о бессмертии этого прекрасного, чистого имени. В самом деле: пройдут годы и столетия, и время сотрет даже самую память о тысячах тысяч живущих ныне людей. Но далекие грядущие потомки, о счастье которых с такой очаровательной грустью мечтал Чехов, произнесут его имя с признательностью и с тихой печалью о его судьбе.

Памяти А.И. Богдановича

Существует прекрасный, полный героической трогательности рассказ об одном адъютанте Наполеона. В разгаре сражения он подскочил к императору, пославшему его с каким-то поручением, сделал точный, спокойный доклад, но вдруг начал бледнеть и шататься в седле. «Etes vous blessé, monsieur?» – спросил Наполеон. «Pardon, Sir, je suis mort»⁸⁶ – ответил офицер и упал мертвым на шею коня. Мне вспоминается этот рассказ, когда я думаю о последних днях и о смерти Ангела Ивановича Богдановича. До тех пор пока была возможность держаться на ногах, он мужественно отдавал журналу последние крохи жизненной энергии, преодолевая давнишнюю тяжкую болезнь, страдания от которой стали под конец невозможно жестокими. Оставив редакцию, он в тот же день слег в постель и через несколько недель умер.

Однажды вечером, вот уже год тому назад, я застал его в редакции. Он был один и сидел за корректурой, нагнувшись, совсем приблизив к листу свои слабые глаза в темных очках. Низко опущенный абажур лампы оставлял всю комнату в зеленоватом сумраке, но в светлом круге, падавшем на стол, особенно четко выделялся прямой пробор мягких волос, бледное, бескровное, исхудалое лицо, светлая бородка, заостренная книзу, и сухая белая рука, нервно чертившая на полях корректурные знаки. Помню, меня поразило тогда его голос; прежде такой отрывистый, решительный, несколько суховатый, – он звучал теперь глухо и грустно, с какой-то новой, не-

⁸⁵ Я умираю! (нем.).

⁸⁶ — Вы ранены, сударь?

— Простите, ваше величество, я мертв (франц.).

привычной, кроткой медлительностью. Тишина, усталость, болезнь и близкая смерть веяли в этот безмолвный вечерний час над его склоненной головой.

Может быть, мало найдется людей, чья судьба преследовала бы с таким, ожесточенным постоянством, как Богдановича. В ранней молодости – суровые бедствия студенческой жизни, безыменная, самоотверженная, не ждущая признания и не ищущая благодарности борьба за освобождение народа, и за нею полицейская травля, обыски, ужасы военного суда восьмидесятых годов, крепость и ссылка; позднее – тяжелая, скудно оплачиваемая, изматывающая душу работа в провинциальной прессе, еще позднее – десять лет огромной журнальной деятельности в свирепую эпоху гонения на печать и – что еще хуже! – в пресловутую эпоху свободы печати. Цензурные условия и политическое прошлое принуждали Богдановича скрываться за скромными инициалами А. Б. и таким образом отказаться даже от того удовлетворения авторскому самолюбию, которое так невинно и понятно, а для Ангела Ивановича было так заслуженно. Но маленький, худой, бледный человек, обладавший несокрушимой волей, твердо шел вперед наперекор судьбе. Он достиг многого: скромные инициалы привлекли круг отзывчивых и благодарных читателей, имя Богдановича приобрело надлежащий вес и значение в литературном мире, счастливая семейная жизнь обещала отдых и спокойствие. Тогда судьба нанесла последний, уже непоправимый удар – мучительную, неизлечимую, затяжную болезнь – последствие крепостного заключения и суровой борьбы за жизнь. Никогда и никто из нас не слышал от него ни одной жалобы. На вопросы о здоровье он отвечал точно вскользь, коротко и небрежно, куда-то в сторону, прекращая этим дальнейшее любопытство или участие. Точно так же никогда он не говорил ни слова о себе самом, о своей жизни или о личных делах. Даже обычное, так излюбленное людьми местоимение «я» он заменил в разговорах с сотрудниками собирательным редакционным «мы».

Вообще я не знал более молчаливого человека, чем Богданович, и думаю, что немногословность его проистекала равномерно как из серьезной замкнутости сильного, трезвого и осторожного характера, так и от долголетней привычки к упорной кабинетной работе. На редакционных собраниях он подолгу не произносил ни одного слова, слушая или делая вид, что слушает, вертя в это время в пальцах карандаш или нервно покручивая в одну сторону кончик бороды. Но, когда ему приходилось высказываться, он говорил сжато и быстро, никогда не останавливаясь ни на мгновение для подыскания слова. В эти короткие минуты он не позволял перебивать себя. Он произносил спокойно: «Виноват, я сейчас кончу», и продолжал свою речь оттуда, где остановился, с той непоколебимой деловой логичностью, ясностью изложения и знанием вопроса, которым трудно бывало противостоять. Перед большой же публикой он, насколько я знаю, никогда не выступал, боясь за свои нервы.

Работоспособность его была поразительна. Он читал в рукописях статьи почти по всем отделам журнала, держал их корректуры, вел громадную деловую переписку, принимал известных авторов, а также дебютантов в литературе, что, между прочим, одинаково трудно, длительно и неудобно, писал рецензии и критические статьи, распределял материал для очередной книжки, сносился с типографией, торопил брошюровочную. Казалось, в нем жила какая-то ненасытная потребность заваливать себя сверх головы работой. Кто-то сказал про него в шутку: если бы у Богдановича оставалось время, он бы сам набирал статьи, верстал их и печатал. Как настоящий беспримерный труженик, он не терпел праздной болтовни и высоко ценил деловое время. Поэтому разговоры его с авторами отличались лаконичностью. Если писатель во что бы то ни стало жаждал прочесть ему немедленно же, вслух, свою повесть размером в три-четыре печатных листа, – он говорил коротко, но твердо: «Оставьте здесь рукопись, мы сами прочтем». Возвращая статью автору-неудачнику, он говорил: «Это нам не подходит», а на настойчивые просьбы сказать откровенно, почему именно не подходит, он наконец отвечал с серьезной, деловой откровенностью: «Потому что плохо написано». Авторам-графоманам и болезненно обидчивых дам-романисток он избегал, как огня.

Такой образ действия очень понятен со стороны, но совершенно непонятен авторам, и вот о Богдановиче пошло ходячее мнение, как о человеке с угловатым, нетерпеливым и высокомерным характером, на что, впрочем, он не обращал никакого внимания. Однако он один из первых приветствовал исключительные таланты Горького и Андреева и воспринял от купели юношеские произведения многих беллетристов, пользующихся теперь большой известностью, а тогда – робких, застенчивых, уступчивых и признательных новичков. *Те, кому следует, поймут меня.*

Правда, он никогда не нежничал, не льстил, не предсказывал писателю будущности, не распределял мест в литературном пантеоне. Он просто говорил: «Это нам подходит», или: «Ваша рукопись сдана в набор». Эту краткость и сухость тоже относят на счет его нелюдимости, мизантропии, самомнения и так далее. А между тем это была только привычная манера делового и страшно занятого человека. Я утверждаю, что под его внешней холодной и сухой манерой обращения таилась истинная, сердечная привязанность к носителям даже незначительных талантов. Для него бывало большой радостью, когда «наш» сотрудник попадал в книжки «Знания», получая таким образом некоторый патент на экзамен, выдержанный во второй класс. И – хотя это всегда отзывалось впоследствии проигрышем для журнала – он всячески содействовал, насколько это от него зависело, тому, чтобы экзаменуемый получил удовлетворительный балл и был принят.

Но были два предмета его постоянных волнений и нежной заботливости – это «наш журнал» и «наш читатель». Оба они были для А. И. реальными, почти живыми существами. Им он отдавал всю свою душу, о них думал с утра до вечера, ради них усугублял свою осторожную недоверчивость испытанного журналиста. Поэтому он и бывал так упрямо беспощаден к перебежчикам, к людям с подмоченной репутацией, к писателям-флюгерам, готовым писать как, где и что угодно: здесь его антипатии стояли незыблемой стеной. Наконец – и только при нарушении интересов любимого журнала – на Богдановича изредка, раза два-три в год, находили припадки настоящей, не знающей границ ярости, тем более страшной, что она оттенялась всегдашним спокойствием. В одном из подобных настроений Богданович однажды так объяснился с придирчивым цензором, что редакция журнала с этой поры не решалась более утруждать его объяснениями по делам печати. Бескорыстный джентльмен, уступчивый в вопросах денежных и издательских, он становился деспотичным и вспыльчивым, когда дело касалось репутации и чести его знамени – журнала.

Несмотря на громадный труд по журналу, Ангел Иванович читал поразительно много и, что еще дороже, обладал исключительно памятью, в которой множество самых разнообразных знаний укладывалось легко и в порядке. Никто легче его не обличал плагиаторов. Это был настоящий энциклопедический ум, живой справочник, в котором умещались даже такие сведения, которые были совсем далеки от специального медицинского образования А.И-ча и от его писательской профессии. Он удивлял иногда точными обширными познаниями в военном искусстве, в конском и атлетическом спорте, в православном богослужении, хотя сам был католиком, в естественных науках, в математике, в медицине, в истории, в музыке, в политической экономии, в живописи и во многом другом. Но мнения свои он высказывал всегда кратко и притом в самой скромной форме: «Если я не ошибаюсь...», «насколько помню...», «как мне кажется».

Многим из знавших Богдановича лишь издали, поверхностно, покажется невероятным, чтобы этот болезненный, глубоко серьезный, молчаливый человек мог страстно любить наиболее яркие, самые цветные стороны жизни. Еще за пять лет до своей смерти он неизменно ходил смотреть откуда-то с Канавки на военные майские парады и совершенно искренне, даже наивно восхищался голосом дьякона Малинина на Смоленском кладбище во время заупокойной обедни по В.П. Острогорском. Он с удовольствием, в виде отдыха, читал Шерлока Холмса, Дюма-отца и вообще романы с приключениями; он был поклонником физического здоровья, мускульной силы, ловкости, красоты, нормальной чувственности, отваги, легендарного героизма и переносил эти симпатии на свои суждения о литературе. Я помню, как трогательно, наивно и смешно, с необыкновенной серьезностью он отозвался заочно об одном романисте, принесшем в журнал свое произведение: «Роман так себе, мы его напечатаем, но ужасно жалко, что автор такой плюгавый на вид». Яркость и сочность красок, здоровая и простая художественность, сила изображения и меткость взгляда более всего прельщали его в произведениях беллетристики. Но болезнь и усталость брали свое, все более суживая круг личной жизни. За последний год мы ни разу не видали даже тени улыбки на строгом лице Богдановича. В обращении его с людьми проглядывала утомленность и сумрачная, но мягкая грусть. Журнальные невзгоды, вроде колебаний подписки, неизбежных внутренних неурядиц, административных нападков и так далее, уже не возбуждали в нем, как раньше, мгновенных, хотя и редких взрывов негодования – он принимал их с покорной тоской, затаенной под внешней выдержанной холодностью. И самая политическая ненависть, прежде так глубоко возмущавшая и колебавшая его усталую душу, под конец улеглась и устоя-

лась в бесповоротное презрение и молчаливую брезгливость. Угадывал ли он, предчувствовал ли свой близкий конец? Никто из нас не сумеет ответить на это, потому что никого он не пускал в свою замкнутую душу. Но до последних минут главным центром его сознания, важнейшим интересом его угасавшей жизни были все те же два одухотворенные в его глазах существа – «наш журнал» и «наш читатель». Им он остался верен до смерти.

Храбрый солдат покидает свой пост только тогда, когда из его рук само вываливается знамя и глаза заволакивает холодный туман. Преклонимся перед этим образом героизма. Но также снимем шляпы и опустим головы перед ежедневным, незаметным, будничным самоотвержением, идущим вплоть до могилы. Это я говорю тому читателю, на служение которому Богданович сжег свою жизнь.

Памяти Н. Г. Михайловского (Гарина)

(Читано на вечере, посвященном памяти Н. Г. Михайловского)

Вопреки обыкновению всех воспоминателей я не могу похвастаться ни близкой дружбой с покойным Николаем Георгиевичем, ни долголетним знакомством с ним, ни знанием интимных сторон его жизни. Но мне хочется уловить и передать в немногих словах те живые черты, которые остались в моей памяти от нескольких встреч с этим человеком необычайно широкой души, красивого, свободного таланта и редкого изящества.

Странно-многозначительны, почти фатальны по сопоставлению, были – моя первая встреча с ним и последняя.

Познакомился я с Н.Г. Михайловским в расцвете его кипучей деятельности, в дни счастливых, удачных начинаний и грандиозных планов, в пору особенного блеска и плодовитости его таланта. Это было в Ялте, весной, на даче С.Я. Елпатьевского, на большой белой террасе, которая точно плавала над красивым гористым южным городом, над темными узкими кипарисами и над веселым голубым морем. Был сияющий, радостный, великолепный день. Издалека, из городского сада, доносились бодрые звуки медного оркестра. Легкие турецкие кочермы и фелюги лениво покачивались, точно нежась в малахитовой воде бухты. Сладко благоухали тяжелые синие гроздья цветущей глицинии. И во многолюдном обществе, собравшемся за завтраком на белой террасе в этот веселый полдень, было какое-то праздничное веселье, сверкало молодой, яркий смех, кипела беспричинная, горячая радость жизни.

Тут присутствовало несколько писателей, два художника, начинающая художница, очень известная певица, два марксиста – оба, точно по форме, в пенсне, в синих блузах, подпоясанных кожаным кушаком, и в широкополых войлочных шляпах, – местный помещик-винодел с женою, оба красивые, молодые, несколько инженеров-практикантов и еще кто-то из совсем зеленой, смешливой непоседливой молодежи.

И я отлично помню, как вошел Николай Георгиевич. У него была стройная, худощавая фигура, решительно-небрежные, быстрые, точные и красивые движения и замечательное лицо, из тех лиц, которые никогда потом не забываются. Всего пленительнее был в этом лице контраст между преждевременной сединой густых волнистых волос и совсем юношеским блеском живых, смелых, прекрасных, слегка насмешливых глаз – голубых, с большими черными зрачками. Голова благородной формы, сидела изящно и легко на тонкой шее, а лоб – наполовину белый, наполовину коричневый от весеннего загара – обращал внимание своими чистыми, умными линиями.

Он вошел и уже через пять минут овладел разговором и сделался центром общества. Но видно было, что он сам не прилагал к этому никаких усилий. Таково было обаяние его личности, прелесть его улыбки, его живой, непринужденной, увлекательной речи.

В эту пору Николай Георгиевич был занят изысканием для постройки электрической железной дороги через весь Крымский полуостров, от Севастополя до Симферополя через Ялту. Этот огромный план давно уже привлекал внимание инженеров, но никогда не выходил из области мечтаний. Михайловский первый вдохнул в него живую душу и по чести может быть назван его отцом и инициатором. Он нередко говорил своим знакомым, полушутя-полусерьезно, о том, что постройка этой дороги будет для него лучшим посмертным памятником и что два лишь дела он хотел бы видеть при своей жизни оконченными: это – электрический путь по Крыму и по-

весть «Инженеры». Но – увы! – первое начинание было прекращено внезапной паникой японской войны, а второе – смертью.

Каким он был инженером-строителем, я не знаю. Но специалисты уверяют, что лучшего изыскателя и инициатора – более находчивого, изобретательного и остроумного – трудно себе представить. Его деловые проекты и предположения всегда отличались пламенной, сказочной фантазией, которую одинаково трудно было как исчерпать, так и привести в исполнение. Он мечтал украсить путь своей железной дороги гrotами, замками, башнями, постройками в мавританском стиле, арками и водопадами, хотел извлечь электрическую энергию из исторической Черной речки и действительно думал создать беспримерный волшебный памятник из простого коммерческого предприятия.

Таким он был во все свои дни. Веселый размах, пылкая, нетерпеливая мысль, сказочное, блестящее творчество. Этот человек провел яркую, пеструю, огромную жизнь. Он то бывал миллионером, то сидел без копейки денег, в долгах. Он исколесил всю Россию, участвовал в сотнях предприятий, богател, разорялся и повсюду оставлял золотые следы: следы своей необузданной, кипящей мысли и своих денег, которые лились у него между пальцами.

По какому-то особенному свойству души он не умел отказывать ни в одной просьбе, и этим широко пользовались все, кому действительно была нужда и кому просто было не лень. И эта черта в нем происходила не так от беспорядочной широты натуры, как от сердечной, теплой, истинной доброты. Он умер совершенным бедняком, но для всех, близко его знавших, не тайна, что незадолго до смерти он сам, по личному почину, предложил и отдал около десяти тысяч на одно идейное дело. Но часто, очень часто среди этих жизненных перемен он мечтал со вздохом о том, какое было бы для него счастье, если бы он мог навсегда развязаться со всеми делами, проектами и постройками и отдаться целиком единственному любимому делу – литературе. Ее одну он любил всей своей душой, любил с трогательной нежностью, скромно и почтительно. Два месяца спустя после нашего знакомства я провел несколько вечеров у него в Кастрополе, где был сосредоточен его инженерный штаб, и мы неоднократно говорили с ним на литературные темы. Я должен сказать, что ни у одного из писателей я не встречал такого бескорыстия, такого отсутствия зависта и самомнения, такого благожелательного, родственного отношения к собратям по искусству. Мне ярко памятны эти дни в Кастрополе на берегу моря. К обеду и ужину все инженеры и студенты вместе с Н. Г-чем и его семьей сходились к общему столу в длинную аллею, сплетенную из виноградных лоз. Отношения у Н. Г-ча ко всем товарищам, начиная с главного помощника и кончая последним чертежником или конторщиком, были одинаково просты, дружественны и приятны, с легким оттенком добродушной шутки. Помню одну характерную мелочь. Среди младших товарищей Михайловского была одна барышня с дипломом инженера. Она только что приехала из Парижа, окончив *École des Ponts et chaussées*⁸⁷. И была, кажется, первой женщиной в России, исполнявшей инженерные работы. Она была очень мила, застенчива, трудолюбива, носила широкие шаровары, но работа в горах, на солнечном припеке, давалась ей с трудом. Надо сказать – дело прошлое, – инженеры порядочно-таки травили как ее, так и вообще высший женский труд – и травили не всегда добродушно. И я часто бывал свидетелем, как Н. Г-ч умел мягко, но настойчиво прекращать эти шутки, когда замечал, что они причиняют боль этой барышне.

По вечерам мы долго, большим обществом, сидели у него на балконе, не зажигая огня в темных сумерках, когда кричали цикады, благоухала белая акация и блестели при луне листья магнолий. И вот тут-то иногда Н. Г. импровизировал свои прелестные детские сказки. Он говорил их тихим голосом, медленно, с оттенком недоумения, как рассказывают обыкновенно сказки детям. И мне не забыть никогда этих очаровательных минут, когда я присутствовал при том, как рождается мысль и как облекается она в нежные, изящные формы. Повторяю, я мало знал покойного писателя. К тому немногому, что я сказал, я могу прибавить, что Н. Г. бесконечно любил детей. Несмотря на то что у него было одиннадцать своих ребятишек, он с настоящей, истинно отеческой лаской и вниманием относился и к трем своим приемным детям. Он любил цветы, музыку, красоту слова, красоту природы, женскую нежную красоту. У него – современного литератора – была душа эллина. Лишь что-нибудь исключительно пошлое, вульгарное, ме-

⁸⁷ Школу дорожных инженеров (франц.).

щанское могло внести в его всегдашнюю добродушную легкую насмешку злобу и презрение.

Таков он был в то лето, перед войною. Затем я видел его мельком раза три-четыре: на железной дороге, в гостях, где-то на литературных собраниях, но ни разу больше мне не удалось разговаривать с ним. Но последняя наша встреча потрясла меня своей неожиданностью.

Это было зимою. Я присутствовал на вечере, в обществе писателей и художников, в помещении издательства «Шиповник». Говорили, что и Гарин должен прийти немного позднее; но раньше он предполагал зайти на несколько минут в редакцию какой-то газеты, помещавшейся в том же доме, этажом выше. И вот вдруг приходит сверху растерянный слуга и говорит, что Михайловский умер скоропостижно в редакции. Я пошел туда. Он лежал на диване, лицом вверх, с закрытыми тяжелыми, темными веками. Лицо его точно постарело без этих живых, молодых глаз, но было таинственно-прекрасно и улыбалось вечной улыбкой знания.

Пожилая дама сидела у него в ногах и без слов, неподвижно и молча глядела ему в лицо, точно разговаривая с ним мысленно. Я пожал его руку. Она была холодна и тверда. И – помню – сознавая его смерть умом, я никак не мог понять сердцем, почему холод и оцепенение смерти овладели именно этим живым, энергичным телом, этой пылкой творческой мыслью, этой изящной, избранной душой.

О том, как я видел Толстого на пароходе «Св. Николай»

(Читано 12 октября 1908 г. на вечере имени Толстого в Тенишевской зале)

Не так давно я имел счастье говорить с человеком, который в раннем детстве видел Пушкина. У него в памяти не осталось ничего, кроме того, что это был блондин, маленького роста, некрасивый, вертлявый и очень смущенный тем вниманием, которое ему оказывало общество. Уверяю вас, что на этого человека я глядел, как на чудо. Пройдет лет пятьдесят – шестьдесят, и на тех людей, которые видели Толстого при его жизни (да продлит бог его дни!), будут также глядеть, как на чудо. И потому я считаю не лишним рассказать о том, как весной тысяча девятьсот пятого года я видел Толстого.

Сергей Яковлевич Елпатьевский предупредил меня, что завтра утром Толстой уезжает из Ялты. Ясно помню чудесное утро, веселый ветер, море – беспокойное, сверкающее – и пароход «Святой Николай», куда я забрался за час до приезда Льва Николаевича. Он приехал в двухконном экипаже с поднятым верхом. Коляска остановилась. И вот из коляски показалась старческая нога в высоком болотном сапоге, ища подножки, потом медленно, по-старчески, вышел он. На нем было коротковатое драповое пальто, высокие сапоги, подержанная шляпа котелком. И этот костюм, вместе с седыми иззелена волосами и длинной струящейся бородой, производил смешное и трогательное впечатление. Он был похож на старого еврея, из тех, которые так часто встречаются на юго-западе России.

Меня ему представили. Я не могу сказать, какого цвета у него глаза, потому что я был очень растерян в эту минуту, да и потому, что цвету глаз я не придаю почти никакого значения. Помню пожатие его большой, холодной, негнущейся старческой руки. Помню поразившую меня неожиданность: вместо громадного маститого старца, вроде микеланджеловского Моисея, я увидел среднего роста старика, осторожного и точного в движениях. Помню его утомленный, старческий, тонкий голос. И вообще он производил впечатление очень старого и больного человека. Но я уже видел, как эти выцветшие от времени, спокойные глаза с маленькими острыми зрачками бессознательно, по привычке, вбирали в себя и ловкую беготню матросов, и подъем лебедки, и толпу на пристани, и небо, и солнце, и море, и, кажется, души всех нас, бывших в это время на пароходе. Здесь был очень интересный момент: доктора Волкова, приехавшего вместе с Толстым, приняли благодаря его косматой и плоской прическе за Максима Горького, и вся пароходная толпа хлынула за ним. В это время Толстой, как будто даже обрадовавшись минутной свободе, прошел на нос корабля, туда, где ютятся переселенцы, армяне, татары, беременные женщины, рабочие, потертые дьяконы, и я видел чудесное зрелище: перед ним с почтением раступались люди, не имевшие о нем никакого представления. Он шел, как истинный царь, который знает, что ему нельзя не дать дороги. В эту минуту я вспомнил отрывок церковной песни: «Се бо идет царь славы». И не мог я также не припомнить милого рассказа моей матери, старинной, убежденной москвички, о том, как Толстой идет где-то по одному из московских пере-

улков, зимним погожим вечером, и как все идущие навстречу снимают перед ним шляпы и шапки, в знак добровольного преклонения. И я понял с изумительной наглядностью, что единственная форма власти, допустимая для человека, – это власть творческого гения, добровольно принятая, сладкая, волшебная власть.

Потом прошло еще пять минут. Приехали новые знакомые Льва Николаевича, и я увидел нового Толстого – Толстого, который чуть-чуть кокетничал. Ему вдруг сделалось тридцать лет: твердый голос, ясный взгляд, светские манеры. С большим вкусом и очень выдержанно рассказывал он следующий анекдот: – Вы знаете, я на днях был болен. Приехала какая-то депутация, кажется, из Тамбовской губернии, но я не мог их принять у себя в комнате, и они представлялись мне, проходя пред окном... и вот... Может, вы помните у меня в «Плодах просвещения» толстую барыню? Может быть, читали? Так вот она подходит и говорит: «Многоуважаемый Лев Николаевич, позвольте принести вам благодарность за те бессмертные произведения, которыми вы порадовали русскую литературу...» Я уже вижу по ее глазам, что она ничего не читала моего. Я спрашиваю: «Что же вам особенно понравилось?» Молчит. Кто-то ей шепчет сзади: «Война и мир», «Детство и отрочество»... Она краснеет, растерянно бегаёт глазами и, наконец, лепечет в совершенном смущении: «Ах да... Детство отрока... Военный мир... и другие...»

В это время пришли какие-то англичане, и вот я опять увидел нового Толстого, выдержанного, корректного, европейского аристократа, очень спокойного, щеголявшего безукоризненным английским произношением.

Вот впечатление, которое вынес я от этого человека в течение десяти – пятнадцати минут. Мне кажется, что, если бы я следил за ним в продолжение нескольких лет, он так же был бы неуловим. Но я понял в эти несколько минут, что одна из самых радостных и светлых мыслей – это жить в то время, когда живет этот удивительный человек. Что высоко и ценно чувствовать и себя также человеком. Что можно гордиться тем, что мы мыслим и чувствуем с ним на одном и том же прекрасном русском языке. Что человек, создавший прелестную девушку Наташу, и курчавого Ваську Денисова, и старого мерина Холстомера, и суку Милку, и Фру-Фру, и холодно-дерзкого Долохова, и «круглого» Платона Каратаева, воскресивший нам вновь Наполеона, с его подрагивающей ляжкой, и масонов, и солдат, и казаков вместе с очаровательным дядей Брошкой, от которого так уютно пахло немножко кровью, немножко табаком и чихирем, – что этот многообразный человек, таинственною властью заставляющий нас и плакать, и радоваться, и умиляться – есть истинный, радостно признанный властитель. И что власть его – подобная творческой власти бога – останется навеки, останется даже тогда, когда ни нас, ни наших детей, ни внуков не будет на свете.

Вот приблизительно и все, что я успел продумать и перечувствовать между вторым и третьим звонком, пока отвалил от ялтинской пристани тяжелый, неуклюжий грузовой пароход «Св. Николай».

Вспоминаю еще одну маленькую, смешную и трогательную подробность.

Когда я сбежал со сходен, мне встретился капитан парохода, совсем незнакомый мне человек.

Я спросил:

– А вы знаете, кого вы везете?

И вот я увидел, как сразу просияло его лицо в крепкой радостной улыбке, и, быстро пожав мою руку (так как ему было некогда), он крикнул:

– Конечно, Толстого!

И это имя было как будто какое-то магическое объединяющее слово, одинаково понятное на всех долготах и широтах земного шара.

Конечно, Льва Толстого!

От всей полноты любящей и благодарной души желаю ему многих лет здоровой, прекрасной жизни. Пусть, как добрый хозяин, взрастивший роскошный сад на пользу и радость всему человечеству, будет он долго-долго на своем царственном закате созерцать золотые плоды – труды рук своих.

Уточкин

Я познакомился с ним в Одессе, на Большом Фонтане, летом 1904 года, и с тех пор никогда

не мог себе вообразить Уточкина без Одессы и Одессу без Уточкина. И в самом деле, покойный Сергей Исаевич был в этом городе так же известен всем от мала до велика, как знаменитый покойный адмирал Зеленой или как бронзовое изваяние дюка Ришелье на Николаевском бульваре. Он сам нередко, заикаясь и нервно гримасничая, по обыкновению, говаривал совершенно серьезным тоном: «Я с-страшно п-п-популярен в-в Одессе», и, выдержав паузу, добавлял: «К-когда я еду на м-машине, то все м-мальчишки кричат: «Ут-точкин, рыжий п-пес!» Но те же мальчишки обожали его за беззаботную веселость, щедрость, удаль, проказливость и широту натуры. И вообще долгое время был он кумиром, баловнем и местной гордостью живой, пылкой южной городской толпы, которая, однако, равнодушно отвернулась от него в полосу неудач и болезней. Что поделаешь: это – судьба любимцев и обычай публики!

Вся жизнь его была пестра, подвижна, тревожна и по-своему блестяща; вся на краю риска, часто лицом к лицу со смертью! В самом раннем детстве подвергся он потрясающему перепугу во время ночного пожара, что и отразилось на всю его жизнь тяжелым заиканием. Учился плохо, и не так по лености, как вследствие необычайно пылкого темперамента. Перебывал во множестве учебных заведений и, кажется, ни одного не окончил.

Могущественным, неотразимым очарованием влек его к себе спорт всевозможных видов, и в каждой отрасли он добивался совершенства. В школе: городки, лапта, турник, перышки, пуговки, голуби, прыганье, теннис, футбол. Впоследствии – спортивный бег, плавание, гребная и парусная гонка. В период возмужалости последовательно – фехтование, борьба, бокс, велосипед, мотоциклетка, автомобиль, воздушный шар и, наконец, роковой для него аэроплан. В велосипедных состязаниях он выступал, как профессионал, сделал себе громкое имя на русских и заграничных ипподромах, установил в свое время несколько видных рекордов и зарабатывал большие деньги. Держал сначала велосипедный, а потом автомобильный магазин и еще что-то; но держал тоже из своеобразного соревнования, потому что неизбежно прогорал.

Порою играл безудержно в карты, всегда бывал влюблен без ума и памяти, испытывал на себе действие разных наркотиков – и все это ради живой, ненасытимой жажды сильных впечатлений. И во все свои увлечения он умел вносить тот неуловимый отпечаток оригинальности, изящества, простодушного лукавства и остроумия, который делал его столь обаятельным. Он, как никто, умел поэтизировать спорт и облагораживать даже ремесло.

Необычайны были самые приемы его тренинга. Так, тренируясь к большим велосипедным гонкам, он каждое утро, чуть свет, приходил к памятнику Ришелье, от подножия которого идет вниз, в порт, одна из самых длинных лестниц в мире, перемежаемая через определенное число ступеней широкими трехсаженными площадками. Там его уже дожидались приятели, уличные чистильщики сапог, отчаянные мальчишки. Вся эта компания, вместе с Уточкинским, выстраивалась на верхней площадке и по данному сигналу устремлялась вниз. Добежав до конца, до железной церкви, надо было без остановки повернуть назад и лететь во весь дух вверх, к Дюку. Здесь С. И. раздавал призы – первый, второй, третий, а невыигравшим – утешительные гривеники. Так он «открывал себе дыхание». По той же лестнице он спускался до портовой эстакады на своем гоночном, маленьком сером автомобиле, задерживаясь каким-то чудом на площадках. А готовясь к беговым состязаниям, он однажды на пари (об этом слышал каждый беговой одесит) пробежал от Куликова поля до Большого Фонтана – что-то около восемнадцати станций и двенадцати верст, – рядом с паровым трамваем, обогнав его на несколько сажен.

Конечно, все эти выходки, вместе с профессиональными ушибами и падениями, не проходили ему даром. Мне неоднократно приходилось купаться вместе с ним в море, я мог убедиться, как изуродовано было шрамами и синяками его мускулистое, крепко сбитое, очень белое тело. История широкого рубца, змеившегося на четверть аршина ниже правой лопатки, показалась мне довольно значительной. Во время одного из одесских погромов Уточкин увидел на улице старую еврейку, преследуемую разъяренной кучкой пьяных негодяев. Мгновенно, повинувшись, как всегда, первому велению инстинкта, он бросился между женщиной и толпой с растопыренными руками. «Я с-слышу сзади: не т-трогай... это с-свой... Ут-точкин! И вдруг чувствую в с-спине ск-в-в-озняк. И п-потерял п-память». Больше месяца пролежал С. И. в больнице за свой, может быть, бессознательный, но прекрасный человеческий порыв. Кто-то сзади воткнул ему в спину кухонный нож, прошедший между ребрами.

Так же и во время последнего несчастного перелета (Петербург – Москва) показал Уточкин с великолепной стороны свое открытое, правдивое и доброе сердце. Тогда – помните? – один из

авиаторов, счастливо упавший, но поломавший аппарат, отказал севшему с ним рядом товарищу в бензине и масле: «Не мне – так никому». Уточкин же, находясь в аналогичном положении, не только отдал Васильеву свой запас, но сам, едва передвигавшийся от последствий жестокого падения, нашел в себе достаточно мужества и терпения, чтобы пустить в ход пропеллер Васильевского аэроплана.

В последний раз видел я Уточкина в больнице «Всех скорбящих», куда отвозил ему небольшую, собранную через газету «Речь», сумму. Физически он почти не переменялся с того времени, когда он, в качестве пилота, плавал со мною на воздушном шаре. Но духовно он был уже почти конченный человек. Он в продолжение часа, не выпустив изо рта крепкой сигары, очень много, не умолкая, говорил, перескакивая с предмета на предмет, и все время нервно раскачивался вместе со стулом. Но что-то потухло, омертвело в его взоре, прежде таком ясном. И я не мог не обратить внимания на то, что через каждые десять минут в его комнату через полуоткрытую дверь заглядывал дежурный врач-психиатр.

Он был выше среднего роста, сутуловат, длиннорук, рыжеволос, с голубыми глазами и белыми ресницами, весь в веснушках. Одевался всегда изысканно, но, как это часто бывает с очень мускулистыми людьми, – платье на нем сидело чуть-чуть мешковато. Усы и бороду брил и носил прямой тщательный пробор, что придавало его лицу сходство с лицом английского боксера, циркового артиста или жокея. Был очень некрасив, но в минуты оживления – в улыбке – очарователен. Из многих виденных мною людей он – самая яркая, по оригинальности и по душевному размаху, фигура.

Замечу еще одно. Спортивная жизнь не мешала ему очень много читать и, благодаря исключительной памяти, – многое помнить. У него был несомненный вкус. Он первый обратил мое внимание на Гамсуна и Бласко Ибаньеса. В промежутках между полетами он говорил: «Летать – одно наслаждение. Если там, наверху, чего-нибудь и боишься, то только земли».

Спи же в ней, спокойное, мятежное сердце, вечный искатель, никому не причинивший зла и многих даривший радостями.

Отрывки воспоминаний

Кажется, это было в 1900 году. В Крыму, в Ялте, тогда уже обосновался Антон Павлович Чехов, и к нему, точно к магниту, тянуло других, более молодых писателей. Чаше других здесь бывали: Горький, Бунин, Федоров, доктор-писатель Елпатьевский и я.

Иногда мы ездили верхом в лес, в ущелье Уч-Кош. Горький никогда не принимал участия в этих прогулках. Он если не всегда, то очень часто чувствовал себя нездоровым, да, вероятно, и стеснялся, не считая себя хорошим наездником.

Все начинающие писатели, в том числе и я, были тогда особенно заняты фигурой и произведениями А.П. Чехова, и молодой Горький мало кого интересовал. Лично я задумался над талантом Горького, когда прочел его рассказ «Челкаш» о контрабандистах в Одесском порту. Меня поразили яркость красок писателя и точность переживаний самого Челкаша и гребца в шлюпке труса Гаврилы. С удивительной наблюдательностью были нарисованы грузчики, контрабандисты, воры и босяки. Я два раза перечитал этот рассказ и подумал: «Из Максима Горького выйдет толк, а может быть, и что-нибудь очень большое».

Много позже, в Петербурге, когда Максим Горький уже пользовался большой известностью, ко мне пришел писатель Бунин и сказал, что со мной хочет поближе познакомиться Алексей Максимович, который в то время основывал большое книгоиздательство «Знание».

Я отправился к Горькому на Знаменскую улицу. На этот раз он показался мне и физически и духовно неожиданно выросшим и крепким.

Скоро в издательстве «Знание» вышла моя первая большая повесть, скорее роман «Поединок».

Я принес первые главы рукописи, и Горький попросил меня прочитать вслух несколько страниц. Когда я читал разговор подпоручика Ромашова с жалким солдатом Хлебниковым, Алексей Максимович растрогался, и было странно видеть этого большого, взрослого человека с влажными глазами.

Последний раз я видел А. М. Горького в Петрограде, в самый разгар революции. Он был главным редактором издательства «Всемирная литература», созданного по его инициативе. Я

часто ездил из Гатчины к нему и писал для него статьи. В то время Горький готовил для издания на русском языке полное собрание сочинений А. Дюма (отца). Зная, как я люблю этого писателя, Алексей Максимович поручил мне написать предисловие к этому изданию. Когда он прочел мою рукопись, то ласково поглядел на меня и сказал: Ну, конечно... Я знал, кому нужно поручить эту работу.

Не могу забыть еще одного, как будто мелкого, но характерного эпизода. Ко мне из цирка Чинизелли пришли артисты и просили похлопотать за голодающих лошадей и других животных. С помощью А. М. Горького мне удалось очень быстро достать все необходимое для цирка.

Вся жизнь А. М. Горького, его творчество, память о нем заставляют меня еще и еще раз с болью вспоминать о пребывании моем в эмиграции, когда я сам себя лишил возможности деятельно участвовать в работе по возрождению моей родины. Должен только сказать, что я давно уже рвался в Советскую Россию, так как, находясь среди эмигрантов, не испытывал других чувств, кроме тоски и тягостной оторванности.

Советское правительство дало мне возможность снова очутиться на родной земле, в новой для меня Москве, наполненной прекрасным жаром строительства. Обо всем этом мне захотелось сказать, когда я стал вспоминать о моих встречах с А. М. Горьким, человеком, безгранично любившим Россию.

Теперь, в день годовщины смерти Алексея Максимовича Горького, я низко склоняю голову перед всем, что он сделал для своей Советской страны и для своего народа.

Статьи и фельетоны

Загадочный смех

Нам довелось на днях быть в драматическом театре на одном из представлений «Власти тьмы». О постановке и значении этого беспримерного произведения мы говорить не будем – о них уже достаточно много трактовали петербургские, московские, одесские, киевские и другие газеты. Но мы должны сознаться: нас не меньше самой пьесы занимало отношение к ней публики.

Киевская публика вообще довольно-таки равнодушна к драматическому искусству. В этом отношении с ней может конкурировать разве одна только Одесса, где последовательно прогорело несколько антреприз. Все знают и говорят, что соловцовская труппа хорошо подобрана, тесно «по-мейнингейски» спелась, имеет несколько крупных талантов, и тем не менее театр большей частью пустует. Чтобы привлечь публику, приходится прибегать либо к постановке беспардонных фарсов, вроде пресловутого «Ножа моей жены» и «Тетки Чарлея», либо выдвигать колоссальных боевых слонов, какими явились в прошлом году *m-me Sans Gene*⁸⁸, а в нынешнем «Царь Борис» и «Власть тьмы». Впрочем, и то на успех сбора можно рассчитывать только тогда, если в опере не поет г. Мишуга, а в цирке не показывают каких-нибудь новых козлов и свиней.

После первого и второго актов «Власти тьмы» мы не могли в публике заметить ничего, кроме недоумения и, пожалуй, некоторого разочарования. Оба эти впечатления, по нашему мнению, можно было заранее предсказать. Зрители, свыкшиеся в течение многих лет с условными сценическими эффектами, вроде разговоров *à part*⁸⁹, монологов, обращенных исключительно к зрителям, классических завываний в драматических местах, «горького» смеха и «страшного» шепота, – вдруг увидели, что перед ними ходят не бутафорские, а самые настоящие мужики, говорят настоящим «мужицким» языком, живут мужицкою жизнью. Публика была озадачена и, повторяем, была в этом права, потому что пьесы, полной такой беспощадной правдивости, еще не появлялось на русской сцене.

Но вот наступают третий и четвертый акты, в которых с поразительной быстротой вырастает трагический интерес пьесы.

⁸⁸ мадам Сан-Жен (франц.).

⁸⁹ про себя, вполголоса (франц.).

В этих актах есть сцены, поразительные по своему ужасу, равные с шекспировскими по своей классической простоте. Аким уходит из сыновнего дома, потому что там много «пако-стей», а потом возвращается, чтобы сказать, что «душа надобна». Никита испытывает первые приступы тяжелого бескомпромиссного мужицкого раскаяния: «скуплю мне... тошно мне...» Потом не передаваемая никакими словами тяжелая, как кошмар, сцена закапывания «живого ребенка» в погреб. Потом панический страх Анютки, прислушивающейся в избе к тому, что делается на дворе, и кричащей Митричу, что ее кто-то сзади за плечи лапами хватает... Целый ряд потрясающих, невиданных сцен – и что же? Матрена передает сыну ребенка (правда, довольно аляповато сделанного из тряпья) – весь театр облетает веселый смех. Анютка в избе мучается боязнью, что ребеночка закопают живьем, – смех. Никита дрожит при воспоминании о том, как трещали под доской маленькие косточки, – хохот! И это не раз и не два, а десятки раз, до конца пьесы, вплоть до того, как Аким просит господина урядника погодить и дать сыну закончить перед миром свою исповедь.

Что же знаменует этот неожиданный смех? Предположим, что труппа играла из рук вон плохо, предположим, что обстановка была карикатурна, что суфлер мешал актерам, что кто-то из действующих лиц забавно перепутал свою роль. Но все-таки ход пьесы остается тот же, потрясающий ее смысл не изменяется ни на волос, и все с той же простотой и ясностью разворачивается перед зрителем ужасная картина окутанных чудовищной тьмою и мечущихся в ней людей. Как же можно, даже при специальном желании, не только смеяться, глядя на эти тяжелые сцены, но даже оставаться холодным к ним?

А между тем и обстановка не заставляет желать ничего лучшего, прекрасная труппа играет так согласно и «цельно», как никогда еще она, кажется, не играла; премьеры болеют нервами, исполняя свои роли.

И смеются ведь не мужчины, потому что мы видели некоторых из них выходящими в антрактах с побледневшими и задумчивыми лицами, – смеются почти исключительно молодые женщины и девушки. Что заставляет их смеяться в то время, когда мужик Никита давит доской своего только что родившегося сына? Бессердечность ли это? Тупость ли ума, чувств и нервов? Непонимание ли чужой народной жизни? Для нас эти вопросы – ряд загадок.

– Да какое же имеете вы право наконец навязывать публике ваши мнения и чувства? – спросит нас, может быть, недовольный читатель. Мы ответим на это:

конечно, никакого. Но требовать от публики уважения к самой себе, требовать того, чтобы неуместный дикий смех не мешал зрителям, любящим сцену, – слушать, а актерам – играть, нам кажется, право всякого, заплатившего свои хотя бы и тридцать пять копеек за место. И пренебрегать этим правом – неприлично и дурно.

Рецензия на повесть Р. Киплинга «Смелые мореплаватели»

Р. Киплинг. Смелые мореплаватели (М., 1903)

Давно известно, что самый трудный и ответственный род литературы – это произведения, предназначенные для детства и юношества. Русская литература, которую уж никак нельзя назвать бедной и которая с каждым годом завоевывает все более и более почетное положение на мировом рынке, почти ничего не дала в этом направлении. Попыток, правда, и теперь достаточно много, но все они приурочены к предпраздничной широкой торговле детскими книгами и представляют из себя или жалкие и грубые компиляции с иностранного, или неуклюжие доморощенные произведения, в которых даже детский ум, несмотря на свою нетребовательность, гибкость и легкую приспособляемость ко всяким перспективам и освещением, невольно чувствует фальшивое заигрывание, подделку, слащавое и болтливое сюсюканье.

О детях, правда, у нас изредка пишут, и пишут тонко, умно, с нежным, добрым юмором, но, мне кажется, я не ошибусь, сказав, что из современных наших художников только один г. Мамин-Сибиряк умеет и может писать те прелестные рассказы для детей, тайна которых заключается в том, что они одинаково неотразимо захватывают и взрослых.

Последнее условие можно считать самым безошибочным признаком того, что произведение написано талантливо и что оно найдет верный путь к детскому сердцу, и в этом отношении рассказ «Смелые мореплаватели» смело можно поставить рядом с «Дэвидом Копперфильдом» и

прекрасным рассказом Марка Твена «Принц и нищий», который так широко, во множестве переводов и в тысячах экземпляров расходуется среди читающей публики.

Интересно, что как Твен, так и Киплинг положили в основу своих рассказов почти один и тот же замысел. Оба автора заставляют своих героев – юношей, богато взысканных милостями судьбы, но совершенно незнакомых с суровым существованием серой и бедной массы, зависящей в будущем от этих счастливицков, – пройти временно, благодаря сплетению всяких случайностей, железную школу жизни, полной нужды, опасностей, огорчений и обид.

В обоих произведениях занавес опускается как раз после счастливого возвращения скитальцев в родные дома; как станут поступать в будущем умудренные опытом и просветленные видом народной нужды и народной силы юные герои, – авторы этого не говорят, но читатель остается при непоколебимой уверенности, что оба юноши заплатят народу сторицей за ту науку, которую они почерпнули из его недр. Здесь, впрочем, не место говорить о рассказе Твена, героем которого является наследный английский принц, но я не могу отказать себе в удовольствии вкратце сообщить содержание «Смелых мореплавателей».

Гарвей Чэн, мальчик лет пятнадцати, сын американского миллионера, которому принадлежит полдюжины железных дорог и половина лесных дворов на берегу Тихого океана, едет на почтовом пароходе в Европу с целью кончить свое образование, которое еще не начиналось, как насмешливо замечает один филаделфиец. Как на пассажиров, так и на читателя этот молодой человек производит довольно противное впечатление. Он курит, хвастает своими карманными деньгами, которые без нужды постоянно вынимает и пересчитывает, говорит жестокие и глупые вещи и фамильярничает со взрослыми – серьезными и занятыми людьми. Однако путешествие его кончается плохо. Сильная качка и крепчайшая черная сигара, предложенная ему шутником-немцем, делают то, что Гарвей в страшном припадке морской болезни лишается сознания и падает за борт. Но будущий миллионер не погиб (что, в сущности, является почти невероятным). Его спас рыбак с глочестерской шхуны «Мы здесь», и с этого момента для Гарвея началась жизнь, исполненная самых неожиданных и подчас весьма тяжелых испытаний.

Рассказам его о богатстве отца никто не верит: весь экипаж твердо убежден, что мальчик во время падения ударился о борт головой и что с тех пор у него «приключилась неприятность в верхнем этаже». Шкипер судна, по имени Диско Труп, – старый, честный морской волк, – был даже вынужден однажды, как он выразился, собственноручно «прочистить Гарвею мозги», когда молодой человек, забывшись, высказал подозрение, что его карманные деньги вытащены кем-то из экипажа шхуны. Именно с этого эпизода, окончившегося кровопролитием из Гарвеева носа, и началось нравственное перерождение молодого Чэна. Гарвей – по натуре чистый, смелый и добрый мальчик, но избалованный безалаберным воспитанием чувствительной матери – сначала поневоле, а потом с горячим увлечением втягивается, под руководством своего сверстника, веселого и бойкого Дэна, в трудовую, но полную своеобразной поэзии жизнь рыбаков в открытом океане. Он безропотно, с сознанием выполняемого долга моет палубу, подает старшим матросам обед, ловит и чистит рыбу, ворует у кока жареный горох, учится ставить парус, управлять рулем и бросать лот-линь. Понемногу он делается признанным членом экипажа, имеет свое место за столом, участвует в долгих разговорах в бурную погоду, когда все охотно слушают «волшебные сказки» об его прежней жизни, и вообще нападает на мысль, что его настоящее положение много лучше того, когда он выслушивал насмешки над собой в курительной комнате почтового парохода. И чем больше он узнает своих невольных спутников среди опасностей и трудов долгого плаванья, тем большей любовью и уважением проникается он, а вместе с ним и читатель к этим простым и великодушным людям, соединяющим детскую чистоту сердец с хладнокровной отвагой закаленных моряков и откровенное невежество с житейской мудростью. И когда наконец, после долгих и разнообразных приключений, рассказ о которых неудержимо захватывает читателя, Гарвей опять встречается с отцом и матерью, уже отчаявшимися его отыскать, то перед ними совсем другой юноша – серьезный, бодрый, с несокрушимым здоровьем и с деловым уважением к чужому и своему труду. Само собою разумеется, что автор вложил много трогательного и забавного в счастливую развязку своего рассказа, который, в общем, производит такое же сильное, ясное и свежее впечатление, как и навеявшая его морская стихия. Переведена книга отличным языком и снабжена многими рисунками.

Н.Н. Брешко-Брешковский. Опереточные тайны (Петербург, 1905)

Вообще г. Брешко-Брешковский питает слабость к таким заглавиям, от которых, по выражению одного провинциального антрепренера, собаки воют и дамы в обморок падают. «Шепот жизни», «В царстве красок», «Из акцизных мелодий», «Тайна винокуренного завода», «Опереточные тайны» и т. д. и т. д. Вероятно, такие заглавия действуют раздражающим образом на любопытство читающей публики из Апраксина рынка. Недаром же столь колоссальным успехом пользуется и до сих пор добрый старый роман под соблазнительным заглавием: «История о славном и храбром рыцаре Францапе Венециале и о прекрасной королеве Ренцывене, с присовокуплением истории о могучем турецком генерале Марцымирисе и о маркграфине Бранденбургской Шарлоте». А «Гуак, или Непреоборимая верность»? А «Английский милорд Георг»? А «Суматоха в коридоре, или Храбрый генерал Анисимов»? Книжечки эти разошлись по России не в одном миллионе экземпляров. Но пусть же г. Брешко-Брешковский не забывает, что успех их – это лавры подкаретной литературы.

«Опереточные тайны» представляют собой крошку из стареньких-престареньких кусочков, бывших в употреблении, по крайней мере, уж лет пятьдесят тому назад. Здесь и опереточный премьер с «яркими чувственными губами» и с «сочным бархатным баритоном», насвистывающий «бравурные» мотивы, и покровитель искусства корнет Белокопытов, и богач Крайндель (в прежних пьесах – толстый банкир), и пропившийся, но глубоко честный в душе старый актер Штейн, – словом, персонажи сильно подержанные. Как новость, затесался в этот роман художник Тарасович, который на сцене во время антрактов – что уже вовсе невероятно – пишет опереточные этюды. Затем, конечно, ужины, шампанское и, как всегда у Брешко-Брешковского, женщины с адски-зверски-пламенными темпераментами и с телами, похожими на «теплый, упругий, мраморный бархат». У Гоголя есть учитель истории, который, пока толкует об ассириянах и вавилонянах, еще туда-сюда, но как дойдет до Александра Македонского, то сам себя не помнит. Так и г. Брешко-Брешковский: когда речь заходит у него о женщинах, начинается какое-то разнузданное, истеричное, припадочное вранье, в котором даже нет настоящей здоровой чувственности, а просто так себе – упражнения чисто головного характера, тот нелепый, хвастливый и дикий разговор о женщинах, которым на гауптвахте сокращают свой досуг арестованные за буйство подручки. Помилуйте! «Чувственные губы, точно кровью вымазанные, жаждут крови». «Вся эта женщина была одно грешное, ослепительное, трепещущее от желаний тело, которое каждым нервом своим, казалось, вопияло (хорош глагол, нечего сказать!): «Возьми меня, ласкай, упивайся мною». «Она замерла в ожидании». «Дико, чудовищно не броситься и не покрыть ее поцелуями»... «Красавица созерцала свой пышный бюст»... Ну, и так далее. Литература... хе-хе-хе... для старичков-с... Общий же вывод из романа, как, впрочем, и из всех произведений г. Брешко-Брешковского, – это то, что автор любит женщин, и притом полных. Ему и книги в руки. Боюсь, что невольно делаю рекламу г. Брешко-Брешковскому. Есть такие издания, вроде, например, «Тайны супружеского алькова», «Интимная красота женщины», «Верное средство в любви» и тому подобные. Писать о них, хотя бы и неодобрительно, это значит способствовать их распространению. Вот поэтому-то я и оговариваюсь: в произведениях г. Брешко-Брешковского звучит не страсть, а – *пassez le mot*⁹⁰ – голая порнография, и притом холодно-риторичная, искусственно взвинченная, вымученная. Любители, купив его книжку, разочаруются. Притом я бы и вовсе не упоминал о романах г. Брешко-Брешковского, если бы, к крайнему моему сожалению, не видел, что этот автор все-таки может писать, и писать недурно. Он знает хорошо быт юго-западных окраин, не лишен наблюдательности, чувствует природу. Даже и в «Опереточных тайнах» есть два-три интересных свежих места, например, описание провинциального городка в самом начале романа, полторы странички в последней главе – ссора опереточного премьера с женой, рассказ о том, как Штейн бьет стекла в ресторане. Но эти крошки дарования тонут в огромном море пошлости, трафаретных приемов и преувеличенной, скучной лжи. Все это, впрочем, и раньше говорилось г. Брешко-Брешковскому. Говорилось ему также и о том, что неприлично упоминать в современных повестях фамилии ныне здравствующей

⁹⁰ Извините за выражение (*франц.*).

щих людей, а у него на каждом шагу – то известный художник Новоскольцов, то знаменитый певец Северский, то обаятельный Немирович-Данченко. Неужели автор не понимает, как это должно коробить читателя? Но, очевидно, г. Брешко-Брешковского не переделаешь. По-видимому, этот молодой писатель отлился в окончательную форму и застыл в ней. И есть грубая, но меткая русская поговорка: «черного... не отмоешь добела».

Памяти Чехова (статьи)

Прошел ровно год с того дня, когда в маленьком немецком городке, вдали от истекающей кровью родины, умер Чехов, несравненный художник, гордость нашей литературы – угас светлый прекрасный человеческий дух. И последние его волнения, последние слова, последние тоскливые мысли были о России. Какие страшные грозы пронесли над нами за этот ужасный и, может быть, величайший в нашей истории год! Потоки крови на войне, Ляоян, падение Порт-Артура, четырнадцать дней Мукденского боя, позорная паника, гибель флота у Цусимы. Этот год промчался, как один чудовищный, кровавый, бессонный и безумный день, и вот нам поневоле кажется, что только вчера похоронили мы Чехова.

Но тихой и покойной грустью смягчены воспоминания о нем. Так, вероятно, после землетрясения, разрушившего громадный город, грустили его жители о погибшем прекрасном храме.

Наше воображение пресытилось кровавыми картинами смерти, тысячами трупов, неутолимыми материнскими слезами, грозным заревом пылающих деревень, и нежная поэзия Чехова с его усталыми, спящими полями, облитыми кротким светом вечерней зари, с его росистыми утрами на берегах медленных, заросших камышами рек, с ночными дорогами среди искрящихся снегов, с пахучими летними полднями и шумными веселыми дождями, с прекрасными женскими лицами, так очаровательно улыбающимися сквозь светлые слезы, – вся эта драгоценная прелесть чеховской поэзии представляется нам далекой, бесконечно милой сказкой. И теперь, когда наступает время великих, грубых, твердых, дерзновенных слов, жгущих, как искры, высеченные из кремня, – благоуханный, тонкий, солнечный язык чеховской речи кажется нам волшебной музыкой, слышанной во сне. Но события проходят, и всему наступает конец. Во всех нас живет неумиряющая вера в то, что Россия выйдет из кровавой бани обновленной и светлой. Мы вздохнем радостно могучим воздухом свободы и увидим над собой небо в алмазах. Настанет прекрасная новая жизнь, полная веселого труда, уважения к человеку, взаимного доверия, красоты и добра. И тогда-то имя Чехова засияет во мраке непреходящего бессмертия. Ибо он был истинным глубоко русским художником, каким до него был разве только один Пушкин. Никто так тонко и проникновенно не чувствовал грусти и шири русской природы. Русская жизнь зачерпнута им повсеместно до самого дна и отражена с мельчайшей правдивостью. Не его вина, если эта жизнь в художественном изображении выходила серой, тоскливой, низменной, неустроенной и дикой. Арестантского халата не напишешь кармином и берлинской лазурью. Он никогда не морализовал, не «обливал ядом презренья», не «жег смехом гражданской сатиры», не «клеймил» гневным словом. Он, как врач, вооруженный громадным знанием, чуткостью, хладнокровным опытом и необычайной наблюдательностью, вдумчиво прислушивался к течению русской жизни и рассказывал нам о наших болезнях, о равнодушии, лени, невежестве, грязи, халатности, мелком зверином эгоизме, трусости, дряблости. И как тонкий грустный скептик, изверившийся в паллиативе, он *не досказывал*, что одряхлевшему и обленившемуся больному, не встающему с кресла, всего нужнее недоступный для него свободный воздух и быстрые сильные движения. Но диагноз его был безошибочен. Если под Садова, по выражению Мольтке, победил школьный учитель, то с мукденских полей и сопков бежали, топча друг друга в безумной панике: чеховский мужик, оголодавший, одичавший, ослепленный тьмою и рабством, чеховский мещанин, развращенный жизнью городских окраин, чеховское милое, доброе, нелепое, вымирающее слабосильное дворянство, чеховский чиновник, офицер, интеллигент, разъединенные ничегонеделанием, выпивкой, винтом, сплетней, самохвальством, пустой и бесстыдной ленью.

И это Вершинины пускали себе пули в лоб на батареях, и его Астровы сходили с ума, подавленные ужасами кровавого побоища.

Но пусть даже исчезнут, переведутся эти люди – детища мрачного тупого безвременья, – Чехов всегда будет дорог для нас, как великий, недостижимый мастер слова, как удивительный художник прекрасного русского языка. Вместе с замечательной простотой и скромностью фразы

он сумел соединить ее изысканное разнообразие, непостижимую гибкость оборотов, изящную и благородную смелость формы, точность и новизну эпитетов – всю эту неувядаемую прелесть чеховской речи, которой долго еще будут удивляться и учиться писатели будущих времен.

Слова Чехова – это лучшие цветы, растущие на его могиле. Да будут же они благословенны вместе с его незабвенной памятью!

О Кнуте Гамсуне

I

«Большая книга вышла из печати, целое королевство, маленький шумный мир настроений, голосов и образов. Ее раскупали и читали. Имя его было у всех на устах, счастье не покидало его... Эту книгу он написал на чужбине, вдали от воспоминаний пережитого на родине, и она была крепка и сильна, как вино». «Милый читатель, это история Дидриха и Изелины. Она была написана в доброе время, во дни ничтожных работ, когда все легко переносилось, написана с сильной нежностью к Дидриху, *которого бог поразил любовью*».

Это все говорится о книге Иоганнеса, сына мельника, которого так же, как и всех героев Гамсуна, бог поразил прекрасной, трагической, пронизавшей всю его жизнь любовью («Виктория»). Но так и кажется поневоле, что Гамсун говорит здесь о другой книге, о своем «Пане», создавшем автору его теперешнюю, чуть ли не всемирную известность.

Первый перевод этого замечательного романа появился у нас около восьми лет тому назад – боюсь ручаться за точность – в книгоиздательстве «Скорпион», в очень хорошем переводе Полякова. Потому ли, что широкая публика относилась тогда еще недоверчиво к этому издательству с таким претенциозным названием и исключительным направлением или благодаря изысканной аристократической своеобразности, непринужденной простоте и глубине, пестроте настроений и новизне формы, которыми блистает это произведение, – но только первое издание его перевода расходилось довольно медленно. Правда, покойный Чехов один «из первых приветствовал его, называя этот роман чудесным и изумительным еще в то время, когда о Гамсуне очень мало знали даже на его родине, в Норвегии. И если теперь имя Гамсуна действительно на устах у всех образованных русских читателей, то это явление приятно заметить, как рост художественного понимания и повышения вкуса.

Что такое «Пан» как литературное произведение? Если хотите, – это роман, поэма, дневник, это листки из записной книжки, написанные так интимно, точно для одного себя, это восторженная молитва красоте мира, бесконечная благодарность сердца за радость существования, но также и гимн перед страшным и прекрасным лицом бога любви. Роман написан так, как пишет гений: не справляясь о родах и видах литературы, не думая о границах дозволенного, приличного, принятого и привычного, без малейшей мысли об авторитетах предшественников и требованиях критиков. Оттого-то этот роман так и напоминает аромат дикого, невиданного цветка, распустившегося в саду неожиданно, влажным весенним утром. Остов романа так прост, что его трудно передать, не вызвав недоумения у того, кто еще не читал его. Некто Томас Глан, лейтенант, охотник, странный человек с тяжелым, звериным взглядом, проводит раннюю весну, лето и осень в горном лесу на севере Норвегии, над морем. Его друзья – лес и великое уединение. Он живет в одинокой лесной хижине, почти в берлоге, вместе с собакой Эзопом, добывая пропитание охотой и спускаясь вниз, в маленький городишко Сирилунд, для того, чтобы купить хлеба и соли. Случайно он знакомится с дочерью местного торговца. Ее зовут Эдвардой. Она подросток, только что начавший формироваться в женщину; она еще держится с той особенной неуклюжестью, которая свойственна этому девическому возрасту, ступая ногами внутрь, но у нее на бледном лице пламенный рот, и вся она, как и Глан, из тех немногих людей, над которыми любовь повисает, как рок, и отмечает их на всю жизнь неизгладимую печатью. Они любят друг друга, но гордость, ревность, каприз, подозрительность – все эти средства вековой вражды двух полов – обращают их чувство в сплошное взаимное мучительство. Они расстаются: Эдварда выходит замуж за титулованное ничтожество, Глан предается оргиям в своих экзотических скитаниях, – но им суждено до конца дней стонать под гнетом единственной, неразделенной страсти. В романе есть еще несколько лиц: отец Эдварды, хромой доктор, влюбленный в нее,

и маленькая самоотверженная женщина – Ева, с ее трогательной, наивной и горячей любовью к Глану. Но главное лицо остается почти не названным – это могучая сила природы, великий Пан, дыхание которого слышится и в морской буре, и в белых ночах с северным сиянием, ползущим вверх по небу, и в железных очах осени, в шепоте листьев, и в их молчании, и в зове птиц и насекомых, и в тайне любви, неудержимо соединяющей людей, животных и цветы. Нет возможности передать подробно содержание этой книги, с ее удивительным, самобытным, волнующим тембром, с ее прихотливыми отступлениями, с ее страстными легендами и горячим весенним бредом, где сон и сон во сне так тонко мешаются с действительностью, что не различишь их. Читаешь роман во второй, в пятый, десятый раз и все находишь в нем новые сокровища поэзии – точно он неисчерпаем.

II

Та же самая неразделенная, невознагражденная, мучительная любовь, какая была между Эдвардой и Гланом, проходит почти через все произведения Гамсуна, как будто бы этот сюжет наиболее близок его душе. В «Пане» есть маленькая притча о юноше и двух девушках. Одна отдала ему все, что он просил, и ей это ничего не стоило, и он даже не благодарил ее; но у другой он выпрашивал ласки, как раб, как нищий, и, если бы ей понадобилась его жизнь, он жалел бы, что она не попросила большего. Этот мотив, слегка видоизменяемый, звучит и в «Виктории», и в романе «Под осенними звездами», и в «Драме жизни», и в некоторых небольших рассказах. Даже внешность Эдварды, ее манера ступать на ходу носками внутрь, ее красный рот, бледность, высокие бедра – повторяются часто, точно автор видит перед собою все тот же знакомый образ.

Вот другой роман – «Виктория». Это история бесконечно глубокой, нежной, восторженной и мучительной любви между сыном мельника и дочерью господ из соседнего замка, – любви, которая начинается с детских игр, длится всю жизнь и вдруг расцветает бессмертным сиянием перед смертью Виктории в ее последнем письме.

Иоганнес делается известным писателем. Гамсун даже приподнимает перед читателем ту таинственную, закрытую для всех завесу, за которой совершается незримая работа ума и фантазии, выливающаяся в талантливых произведениях. Но для Виктории Иоганнес остается все тем же мальчиком с мельницы, так же как и она для него – барышней из замка, недостижимым, высшим существом. Только смерть открывает ей глаза и показывает, как ничтожны в сравнении с любовью все остальные земные воши, понятия и условности.

«Теперь я вас больше не увижу, – пишет умирающая Виктория, эта прежняя барышня из замка, – и я раскаиваюсь, что не бросилась перед вами на землю и не целовала ваших ног и земли, по которой вы ходили, и не высказала вам всю свою бесконечную любовь...»

«...Да, Иоганнес, я любила вас, всю свою жизнь я любила только вас», – Виктория пишет эти слова, и бог читает их из-за моего плеча».

«...Будьте счастливы, Иоганнес, благодарю вас за каждый день. Когда я буду отлетать от земли, я буду благодарить вас до последней минуты и про себя шептать ваше имя».

«...У меня не хватает больше сил писать. Прощай, любовь моя...»

Это плачет ее душа в последние минуты жизни. И теперь еще понятнее становятся те огненные слова, которыми Гамсун в этом же романе говорит о любви, вкладывая их в уста несуществующего монаха Вендта:

«Что такое любовь? Ветерок, проносящийся над розами, нет, электрическая искра в крови.

Любовь – это пламенная адская музыка, заставляющая танцевать даже сердца стариков. Это маргаритки, широко распускающие свои лепестки с наступлением ночи, это анемона, которая закрывается от дуновения и от прикосновения умирает.

Такова любовь.

Она может погубить человека, поднять его и снова заклеить позором; сегодня она любит меня, завтра тебя, а в следующую ночь его, – так она непостоянна. Но она так же тверда, как несокрушимая скала, и горит неугасаемым пламенем до самой смерти, потому что любовь вечна. Что же такое любовь?

О, любовь – это летняя ночь с небесами, усеянными звездами, и с благоухающей землей. Почему же она заставляет юношу идти окольными тропинками и почему заставляет она старика одиноко страдать в его комнате? Ах, любовь превращает сердце человека в роскошный бес-

стыдный сад, где растут таинственные, наглые грибы.

Разве не она заставляет монаха пробираться в чужие сады и заглядывать ночью в окна спящих? Разве не она делает безумными монахинь и помрачает разум принцесс?

Она заставляет склоняться голову короля до самой земли, так что волосы его метут дорожную пыль, а уста его бормочут бесстыдные слова, и он смеется и высовывает язык.

Такова любовь.

Нет, нет, она совсем другая, и она не похожа ни на что на свете...

...Любовь – это первое слово, произнесенное богом, первая мысль, осенившая его.

Когда он произнес: «Да будет свет!» – появилась любовь. И все, что он сотворил, было так прекрасно, что он ничего не хотел переделывать. И любовь стала первоисточником мира и его властелином; но все пути ее покрыты цветами и кровью, цветами и кровью».

Как и почти всегда у Гамсуна, в «Виктории» есть третье лицо, любящее покорно и самоотверженно, той любовью, которая ни на что не надеется и готова отдать все. Это маленькая Камилла, когда-то спасенная Иоганнесом из воды на глазах у Виктории.

III

В «Пане» и «Виктории» Гамсун находит разные аккорды для изображения любви. В чувстве Глана и Эдварды слышится могучий призыв тела, трепет и опьянение страсти, весеннее бурное брожение в крови. Любовь Иоганнеса и Виктории вся обвеяна нежным, целомудренным благоуханием.

Но у Гамсуна – этого истинного поэта любви и природы – есть также и «роскошные сады, где растут таинственные, наглые грибы». В «Голосе жизни» молодая прекрасная женщина из общества в день смерти своего старого мужа приводит ночью, прямо с улицы, человека, писателя, знакомого ей только по имени, к себе в дом и со всем безумием страсти отдается ему в спальне, где еще стоят две постели, рядом с комнатой, где еще лежит на столе покойник. И опять новые приемы в этом маленьком, всего в пять страниц, рассказе: ни одного сомнения, ни колебания, ни недомолвок, язык сжат и почти груб, и вот, несмотря на кажущуюся вымышленность фабулы, получается рассказ удивительной выпуклости и правдивости, стоящий лучших рассказов Мопассана. В романе «Голод» передана потрясающая, кошмарная история человека, выброшенного обстоятельствами за борт благополучного существования. Внешний ужас положения не в голоде и его мучениях, среди большого столичного города, не в судорожных, истеричных поисках за работой, не в ночлегах на улице, а в тех реальных мелочах жизни, которые свирепее физических страданий: в неперевавленном бифштексе, в волосах, которые вылезают от голода и лежат прядями на одежде и в умывальном тазу, вызывая насмешки горничной, в жалких, унижительных попытках заложить очки и пуговицы от жилета, в этих драных панталонах, которые приходится смачивать водой, чтобы они казались чернее и новее, в тощем укушенном пальце, из которого голодный человек высасывает свою кровь и плачет при этом от жалости к самому себе.

Но в сто крат ужаснее то, что делается внутри этого человека, раздавленного голодом и одиночеством. С трепетом присутствуешь при том, как его несчастный мозг, обескровленный голодом, приближается в ярких и страшных галлюцинациях к безумию, как болезненно разрушается и падает воля, как обостренное внимание напряженно и тяжело привязывается к изнуряющим мелочам вне и внутри себя. Страницы, в которых описывается ужас темноты, налегшей на человека в камере для бесприютных при полицейском участке, – одни из самых потрясающих страниц в мировой литературе...

Но и в это удивительное произведение Гамсун вплетает любовный эпизод, по своему психологическому значению, может быть, самый глубокий из всего написанного им о любви.

Этот оборванный бродяга, похожий на нищего, находящийся от долгого голода в постоянной власти болезненных фантастических грез, встречается случайно на улице с красивой молодой женщиной – «Илайали», как он называет ее мысленно, по странному капризу. Он поражает ее воображение и, наконец, чувство своим необычным видом, своим странным языком, какой-то диковинной обособленностью от всех людей, которых она встречала до сих пор. Она готова считать его пьяным, немного сумасшедшим, может быть, вором или убийцей и тем не менее почти отдается ему, но когда она узнает о том, что он только голодный, то страсть сменяется у нее отвращением, жалостью и ужасом.

Гамсун как будто бы чуждается внешних сторон быта, обходя их или пренебрегая ими. Но он может быть и прекрасным наблюдателем. У него есть неоцененная особенность: рассказывая о чужой стране и чужих людях, находить те именно характерные, мелкие черты, которые до него никому не бросались в глаза, и рисовать их сжато, в двух-трех словах. Таков он в рассказах: «В Прерии», «Уголок Парижа», «В стране чудес» и так далее.

«В стране чудес» – это путешествие по России и главным образом по Кавказу. Увы! Талантливый писатель все-таки не избежал здесь исторической клюквы и самовара.

IV

Гамсун не создаст школы. Он слишком оригинален, а подражатели его всегда будут смешны. Он пишет так же, как говорит, как думает, как мечтает, как поет птица, как растет дерево. Все его отступления, сказки, сны, восторги, бред, которые были бы нелепы и тяжелы у другого, составляют его тонкую и пышную прелесть. И самый язык его неподражаем – этот небрежный, интимный, с грубоватым юмором, непринужденный и несколько растрепанный разговорный язык, которым он как будто бы рассказывает свои повести, один на один, самому близкому человеку и за которым так и чувствуется живой жест, презрительный блеск глаз и нежная улыбка. Но имя Гамсуна останется навсегда вместе с именами всех тех художников прошедших и грядущих веков, которые возносят в бесконечную высь ценность человеческой личности, всемогущую силу красоты и прелесть существования и доказывают нам, что «сильна, как смерть, любовь»; и что ничтожны и презренны все усилия окутать ее цепями условности. И я без преувеличения скажу, что «Пан» и «Песнь Песней» – это только звенья одной и той же цепи вечных художественных произведений, ведущих к освобождению любви. Я ничего не знаю из биографии Кнута Гамсуна, да и нахожу, что лишнее для читателя путаться в мелочах жизни писателя, ибо это любопытство вредно, мелко и пошло. Но у меня есть его портрет. Длинное, худое, красивое, несколько суровое лицо, пенсне, внешность доктора или адвоката, но под спутанными, волнистыми, белокурыми волосами, почти закрывающими лоб, пристальные глаза смотрят тяжелым, звериным взглядом лейтенанта Глана.

Редиард Киплинг

Страна, делающая лучшую в мире сталь, варящая лучший во всем свете эль, изготавливающая лучшие бифштексы, выводящая лучших лошадей, создавшая священную неприкосновенность семейного очага, изобретшая почти все виды спорта; страна, национальный гимн которой кончается прекрасными словами, заставляющими нас, русских, плакать от бессильного волнения,

– Никогда, никогда, никогда
Англичанин не будет рабом, –

только такая страна, страна мудрого и бессердечного эгоизма, железной англосаксонской энергии, презрительной государственной обособленности и беспримерно жестокой колониальной политики, страна, гордо пишущая местоимение «Я» с большой буквы, но ревниво охраняющая каждую мелочь старины, начиная с официального целования руки у короля и кончая веткой остролистника на рождественском столе, – только такая страна могла породить свою теперешнюю национальную славу – Редиарда Киплинга.

Трое английских писателей – Киплинг, Уэльс и Конан-Дойль – завоевали в настоящее время, всемирное внимание. В их труде с особенной яркостью сказывается та добросовестная техника, та терпеливая, выработанная веками культуры выдумка, об отсутствии которой у русских писателей меланхолически вздыхал Тургенев.

Но бесконечно увлекательный, умный, изобретательный Уэльс все-таки имел предшественников в лице многих авторов фантастически научных путешествий и приключений. Но Конан-Дойль, заполонивший весь земной шар детективными рассказами, все-таки умещается вместе со своим Шерлоком Холмсом, как в футляре, в небольшое гениальное произведение Э. По – «Преступление в улице Морг». Киплинг же совершенно самостоятелен. Он оригинален, как

никто другой в современной литературе. Могущество средств, которыми он обладает в своем творчестве, прямо неисчерпаемо. Волшебная увлекательность фабулы, необычайная правдоподобность рассказа, поразительная наблюдательность, остроумие, блеск диалога, сцены гордого и простого героизма, точный стиль или, вернее, десятки точных стилей, экзотичность тем, бездна знаний и опыта и многое, многое другое составляют художественные данные Киплинга, которыми он властвует с неслыханной силой над умом и воображением читателя. И тем не менее на прекрасных произведениях Киплинга нет двух самых верных отпечатков гения – *вечности* и *всечеловечества*. В его рассказах – особенно если прочитаешь все, без перерыва, залпом – чувствуется не гений, родина которого мир, а Киплинг-англичанин, *только* англичанин, и притом англичанин наших дней. И как бы ни был читатель очарован этим волшебником, он видит из-за его строчек настоящего культурного сына жестокой, алчной, купеческой, современной Англии, джингоиста, беспощадно травившего буров ради возвеличения британского престижа во всех странах и морях, «над которыми никогда не заходит солнце» поэта, вдохновлявшего английских наемных солдат на грабеж, кровопролитие и насилие своими патриотическими песнями. Кровь так и хлещет во всех произведениях Киплинга, но что значат несколько тысяч человеческих жизней, если ими покупается величие и мощь гордой Англии? И – повторяю – только узость идеалов Киплинга, стесненных слепым национализмом, мешает признать его гениальным писателем.

Читая его, невольно вспоминаешь и другого английского писателя – Диккенса, этого «самого христианского из всех писателей», как выразился о нем Достоевский, Диккенса, умевшего видеть совсем с другой точки зрения добрую, старую, веселую Англию. Нигде не будут чужими и навсегда останутся памятными и близкими, как ушедшие из жизни добрые верные друзья, его бесчисленные персонажи, очерченные с беззлобным, простосердечным, теплым юмором: м-р Пиквик в золотых очках, оба Уэллера, капитан Куттль с железным крючком, тетушка Копперфильда и ее старый, добродушный друг, маленькая Доррит, м-р Микобер, славные моряки, честные купцы, преданные веселые слуги, проказливые студенты. Даже отрицательные типы Диккенса, вроде Урии Гипа, черствого Домби, плутоватого м-ра Джингля в зеленом фраке, жестокого Мордстона, разных старых каторжников, воров и мошенников, являются нам смягченными, благодаря горю, раскаянию или примиряющей смерти. И как мила и добродушна эта домашняя, уютная, патриархальная Англия Диккенса с ее семейными праздниками, почтовыми дорогами, гостеприимными трактирами, с архаическими судами и конторами, с прелестными старыми обычаями и крепким, соленым, как морской ветер, добротным юмором.

Но Киплинга не волнуют и не умиляют эти тихие, бытовые, семейные картины. По натуре он завоеватель, хищник и рабовладелец, самый яркий представитель той Англии, которая железными руками опоясала весь земной шар и давит его во имя своей славы, богатства и могущества. Большинство его рассказов переносит нас в Индию, где с наибольшей силой и жестокостью сказывается неутолимая английская алчность. Киплинг смело и ревниво верит в высшую культурную миссию своей родины и закрывает глаза на ее несправедливости. Посмотрите на офицеров и на чиновников в этих рассказах. Все они – люди долга, самоотверженные служаки, глубокие патриоты. Они мокнут в болотах, болеют лихорадкой, изнывают в нестерпимом зное, падают от изнеможения над работой или сходят с ума. В маленьком железнодорожном чиновнике, в офицере, в лесничем, в продовольственном комиссаре Киплинг искусной рукой открывает черты такого скромного самопожертвования и такого бескорыстного героизма, – и все это во благо и процветание далекой отчизны, – что сердце английского читателя не может не сжаться от радостной гордости и умиления. Другая среда, не менее любовно описываемая Киплингом, – это английские солдаты в Индии. Надо ли говорить о том, что Томми Аткинс выходит из-под пера великого мастера в самых задушевных, привлекательных красках? Он, правда, грубоват, и немного ворчун, и не прочь выпить лишнее, но зато обожает своего начальника-офицера, как существо высшей, полубожеской расы, всегда готов положить жизнь за товарища, рад войне, точно празднику, и с гордым достоинством носит звание слуги «Вдовы», как он с интимной почтительностью называет свою королеву. Об одном только не упоминает Киплинг при всем своем пристрастии к доброму, славному Томми – это о жестокости его к побежденным и о его истеричности.

Затем остается еще третий элемент в индийских рассказах Киплинга: местное население. Но и оно служит в его чудесных руках все той же узкой и великой цели – прославлению и воз-

величению английской завоевательной миссии. Цветные слуги, готовые на смерть за своих обожаемых сагибов, искусные шпионы из индусов, с детства приучаемые к своей позорной службе, туземные полки, свирепствующие в избиении строптивых сородичей, – вот что вызывает сочувствие и благословение Кипплинга. Но всякий бунтовщик, дерзающий восставать против попечительной и разумной английской власти, презрительно рисуется автором как разбойник, вероломный трус и мошенник.

Таким-то образом в Кипплинге англичанин заслоняет художника и человека. Но это и все, что ему можно поставить в упрек и что – повторяю – кидается в глаза лишь при слишком пристальном и усердном изучении этого автора. Но, независимо от своего патриотического пристрастия, Кипплинг развертывает перед нами всю сказочную, феерическую Индию, ослепляя нас яркими красками, подавляя и ошеломляя каким-то чудовищным водопадом из людей, стран, событий, костюмов, обычаев, преданий, войны, любви, племенной мести, безумия, бреда, величия и падения. Он ведет нас через всю Индию, показывая нам то жизнь офицеров и солдат в казармах и в горных лагерях, то ужасы голодного года, то афридия, рыщущего по всей стране из города в город за врагом, которого он должен непременно задушить одними голыми руками, без оружия, то индийскую гетеру, «представительницу самой древней профессии», то погонщика слонов, то охоту на тигра, то магометанский байрам и резню мусульман с индусами в стенах старого города, то страшный кошмар переутомленного чиновника, то разлив Ганга, стремящийся разрушить мост, то древних богов Индии, держащих совет на острове, то уголок гаремной жизни, то маяк, то владетельного раджу, по-европейски образованного и по-азиатски жестокого, то беспечную, полную крови и приключений жизнь трех английских солдат: Лиройда, Мультиани и Ортериса, к которым автор так часто возвращается во многих рассказах.

И как нам ни странно, как от нас ни далека эта пряная, фантастическая пестрая жизнь – Кипплингу невольно веришь во всем, что он рассказывает. Эта *правдоподобность*, достоверность рассказа и составляет ту тайну очарования, которая приковывает к книгам Кипплинга несокрушимыми волнующими узами. Для этого у Кипплинга, при всей необычности, исключительности фабулы, есть много приемов, из которых многие вряд ли поддаются учету. У него, например, есть особая, своеобразная манера вводить читателя в среду и интересы своих героев. Для этого он начинает повествование так просто, так небрежно и даже иногда сухо, как будто вы давным-давно знаете и этих людей, и эти причудливые условия жизни, как будто сегодня Кипплинг продолжает вам рассказывать о том, что вы сами видели и слышали вчера. Благодаря такому «вводу» вы долго испытываете какое-то недоумение, почти непонимание, заставляющее вас беспокойно напрягать память и часто возвращаться назад, к уже прочитанным строчкам. Но маленькими, беглыми, точно случайными штрихами автор, незаметно для вас самих, все яснее и яснее очерчивает местность, среду, взаимные отношения людей и фигуры самих людей, и когда вы, наконец, против воли совершенно ориентировались, то вы уже целиком захвачены рассказом, вы свой всем его героям, вы его не читаете, а живете в нем.

Кроме того, Кипплинг увлекает и заставляет верить себе благодаря еще одной стороне своего таланта. Он обладает самыми колоссальными и разнообразными знаниями. Ему знакомы мельчайшие бытовые черты из жизни офицеров, чиновников, солдат, докторов, землемеров, моряков; он знает самые сложные подробности сотен профессий и ремесел; ему известны все тонкости любого спорта; он поражает своими научными и техническими познаниями. Но он никогда не утомляет своим огромным багажом. Он лишь пользуется им в такой мере и так искусно, что вы готовы поверить, что именно сам Кипплинг ловил треску вместе с рыбаками на севере Атлантического океана, и нес службу на маяке, и метался в жестокой индийской лихорадке, и участвовал в кровавых карательных экспедициях, и строил мосты, и вел, как машинист, железнодорожные поезда, и т. д. и т. д. А в этом доверии заключается одна из тайн поразительного обаяния его рассказов и его большой и заслуженной славы.

О Гоголе

Вы хотите получить от меня к Гоголевскому юбилею юмористический рассказ, но, право, у меня не хватает смелости написать его, так же как трагедию – к юбилею Шекспира, комедию нравов – к Грибоедовским дням или лирическое стихотворение в память Гейне. Помните, у Щедрина: сидит репортер, смотрит на бюст Гете и мечтает: «Вот этак бы писануть!»

Дело другого рода – вопрос о влиянии Гоголя на меня и на моих сверстников. Влияния не было никакого. Да и вообще Гоголь одинок, без продолжателей и преемников. Сатира его, правда, отразилась в обличительной литературе шестидесятых – семидесятых годов, да и до сих пор отражается в современной публицистике в виде вечной цитаты об унтер-офицерской вдове, которая и т. д... Но художественная красота его творчества совершенно оторвана от современной литературы.

Такова же судьба и Пушкина – у него не было ни одного яркого последователя. Он прошел по земле, как бог, не оставив за собою тени. Зато поглядите, какая пропасть учеников и подражателей у Толстого, Достоевского и Чехова, даже у Андреева и Горького, даже, наконец, у Бальмонта и Блока!

Причина, по-моему, проста: Пушкин и Гоголь введены в курс преподавания в средне-учебных заведениях, а Толстой и Достоевский – эти два гиганта мировой литературы – находятся у начальства под сомнением и еще представляют всю прелесть запретного плода. Да! Только благодаря бездарности и невежеству русских педагогов, их робкому трепету, их чиновничьей трусости, их уважению не к душе русской литературы, а к циркулярам МНП, их неумению читать вслух, их принудительной и карательной системе обучения, их безвкусию – мы не изучаем, не знаем, почти не читаем творений этих двух отцов и подвижников русской изящной словесности. Мы вышли из школы, а в памяти у нас механически застряла «Птичка божия», «Чуден Днепр» и что-то еще о Петрушкином запахе. А перечитывать уже трудно! И не потому ли умный и честный Писарев замахнулся с такой буйной дерзостью на Пушкина, что его отравил в детстве какой-нибудь тупоумный педагог?

К Пушкину я вернулся двадцати пяти лет от роду и ныне чту его память, как магометанин Каабу. А Гоголя я открыл четыре года и три месяца тому назад в одну бессонную ночь, когда взял из шкафа первую попавшуюся книгу наудачу. С тех пор с умилением, с нежностью, с веселым смехом, с радостной злобой читаю и перечитываю Гоголя. Учиться же у него мне теперь поздно, так же как и моим литературным однолеткам.

Но эти ночные часы я никогда не забуду. Так, однажды, приехав с большим обществом на Иматру, я потихоньку отделился от всех, пошел какой-то узенькой тропинкой, заблудился и наконец с большим трудом, пробираясь сквозь частый кустарник, вышел к водопаду, идя на его все растущий шум. И я взглянул на него не с моста, не при разноцветном электрическом освещении, не сверяясь с красным путеводителем, а зоркими и удивленными глазами первобытного человека, впервые, во время охоты, случайно открывшего эту пенистую, бугристую, ревушую, стремглав несущуюся вниз реку.

О Чехове

С уверенностью можно сказать, что Чехов, более чем кто-либо, показал всю гибкость, красоту, изящество и разнообразие русского языка. Однако он никогда не прибегал к выковыиванию новых, искусственных слов. Заслуга его в том и заключается, что он, не переставая, учился языку, где только мог. И нельзя утверждать, что эта незримая работа давалась ему очень легко. Юношеские его рассказы далеко не свободны от южнорусских оборотов и речений, между тем как последние произведения изумительны по чистоте языка. Чеховские корректуры свидетельствуют наглядно о громадной, терпеливой обработке стиля. Впрочем, поглядите также и на рукописи Пушкина. У Чехова еще долго будут учиться языку русские писатели.

Язык Толстого напоминает постройку, возводимую великанами: чтобы о ней судить, нужно глядеть на нее издали. Язык Чехова – нежное и тонкое плетение, которое можно рассматривать и в лупу.

Часто Чехов любил говорить: «Знаете что? В России через десять лет будет конституция».

Теперь Чехову было бы пятьдесят лет – возраст мудрости. Если бы его пощадила судьба, он пережил бы с нами и ужасный конец войны, так волновавший его предсмертное сознание, и дни свобод, и дни крови, и теперешние дни – дни усталости, недоверия, предательства и общественного отупения. Бог знает как отразились бы грозные, смешные, жестокие, нелепые и печальные явления последнего поколения в его большой и чуткой душе. Но пророчество его исполнилось самым странным образом.

Широкая публика недоросла до Чехова. Часто слышишь, как в библиотеке спрашивают:

«Дайте что-нибудь посмешнее, например, Чехова». Так Чехов у публики и слывет смешным писателем. А между тем в большинстве его юмористических рассказов (за исключением самых ранних) всегда скрыта глубокая и печальная мысль. Разве в конце концов не трагичен образ чиновника, который нечаянно чихнул на лысину чужого генерала и умер от перепуга, или мужика, бессознательно отвинтившего рельсовые гайки на грузила и не понимающего, за что его судят? Или, может быть, это уж такое свойство русского юмора – таить в себе горечь и слезы?

Пути русской литературы всегда были отмечены, точно придорожными маяками, внутренним сиянием отдельных личностей, душевным теплом тех праведников, без которых «несть граду стояния». В этом смысле Чехов непосредственно примыкает к скорбным и кротким обликам Гаршина и Успенского.

В смерти Чехова заключался какой-то глубокий символ настоящего литературного разброда. Точно вот ушел он, и вместе с ним исчезла последняя препона стыда, и люди разнуздались и заголились.

Конечно, здесь нет связи, а скорее совпадение. Однако я знаю многих писателей, которые раньше задумывались над тем, что бы сказал об этом Чехов. Как поглядел бы на это Чехов?

Чехов говорил о театре так: «Лет через сто – или совсем не будет театра, или он примет такие формы, каких мы даже себе не можем представить. В таком же виде, как он есть теперь, он доживает последние дни».

Странно однажды ответил Чехов знакомому, который вышучивал при нем спиритизм:

«Я не порицаю, не утверждаю, но и не смеюсь. Разве мы понимаем, например, настоящую суть телеграфа? Однако посылаем депеши».

(1910)

В смерти Чехова заключался какой-то глубокий символ теперешнего литературного разброда. Точно вот ушел он, и вместе с ним исчезла последняя препона стыда, и люди разнуздались и заголились.

Может быть, в том, о чем я говорю, нет внутренней логической связи, а есть только совпадение или приказ духа времени, но я знаю многих писателей, которые раньше, прежде чем писать, задумывались над тем, что бы сказал или подумал Чехов о написанном ими.

Широкая публика и до сих пор еще не доросла до Чехова. Часто слышим, как в библиотеках спрашивают:

– Дайте что-нибудь посмешнее, например, Чехова. Так Чехов у публики и слывет смешным писателем, а между тем в большинстве его юмористических рассказов (за исключением самых ранних) всегда скрыта глубокая и печальная мысль. Разве в самом деле не трагичен образ человека, который нечаянно в театре чихнул на плешь чужого генерала и потом, тщетно извиняясь перед ним и надоев ему до отвращения, умер от перепуга. А тот мужик, который бессознательно отвинтил рельсовые гайки на грузила и не понимает, за что его судят, и в то же время следователь не понимает мужика. Разве это не грозное пророчество? Или в самом деле свойство русского юмора – таить в себе горечь, слезы и пророчество? Толстой, великий капризник, любил и ценил Чехова больше, чем все его современники, и, конечно, гораздо больше, чем все его профессиональные критики, но ведь, согласитесь с тем, что у обоих – в том, что создали, – яснее всего звучат честность и правда. Оттого-то их обоих и перечитывают по многу раз, учась у них самой легкой вещи – любви к жизни.

У меня осталась в моем гатчинском доме фотография, снятая с Толстого и Чехова. Место снимка «Гаспра» (имение графини Паниной). Толстой, седой, бородатый, в белом халате, пьет утренний кофе. Чехов сидит рядом, положив ногу на ногу. Толстой так увлекся разговором, что совсем забыл о своем утреннем завтраке. Он сжал в правой руке чайную ложку (конец над большим пальцем), как будто он грозит ею. У Чехова милая-милая и только чуть-чуть лукавая улыбка (кстати, я никогда не видел улыбки прелестнее чеховской). И Толстой как будто бы говорит Чехову: «Во-первых, Антон Павлович, надо писать по возможности просто». А потупленный, улыбающийся взгляд Чехова как будто отвечает:

– Лев Николаевич, это же труднее всего на свете!

Читать Чехова было всегда радостно для Льва, величайшего из всех львов. Больше мне

сказать нечего, да и стоит ли?

Ведь соседство с Толстым было бы Чехову совсем не неприятно.
(1929)

Умер смех

Уже последние известия о здоровье Марка Твена были тревожны. Тяжело больной, почти умирающий, приехал он на родину. С парохода его снесли на носилках. На особом поезде он был доставлен в свой дом. А сегодня мы узнали по телеграфу о его смерти.

Смерть его, как человека, совсем не вызывает сожаления. Это был ясный, безоблачный закат. Умереть, прожив красиво, гармонично и правдиво целых три четверти века, умереть, сохранив до конца своих дней свежесть мысли, тонкость улыбки и нежность души, умереть у себя дома, зная, что любящая дружеская рука закроет тебе глаза в самую последнюю, может быть, тяжелую минуту, умереть, не оставив за собою ни одного вздоха, ни разочарования по пережитой славе – да! так умереть мог только избраннык и любимец судьбы.

Но горько и страшно думать о том, что вместе с Клеменсом ушла – и, я думаю, безвозвратно – та смеющаяся печаль, та окропленная светлыми слезами веселость, которую мы зовем юмором.

«Видимый миру смех и незримые слезы».

«А моим герольдом будет юмор со смеющейся слезкой в щите!»

Мы, теперешние люди, оглушенные ревом автомобилей, звонками телефонов, хрипом граммофонов и гудением экспрессов, мы, ослепленные электрическими огнями вывесок и кинематографов, одурманенные газетой и политикой, – разве мы смеемся когда-нибудь? Мы – или делаем кислую гримасу, которая должна сойти за усмешку, или катаемся от щекотки в припадках истерического хохота, или судорожно лаем на жизнь, отплеываясь желчью. Но тот светлый смех, за который Достоевский назвал Диккенса «самым христианским из писателей» и который так пленял Пушкина в ранних гоголевских повестях, – этот смех почти на наших глазах растаял и испарился. Он начался громоподобным веселым смехом гомеровских богов, смехом, заставлявшим колебаться горы, и окончился вчера, в тот момент, когда на лице Марка Твена легла вечная улыбка мудрости.

Что нас смешит теперь? Оперетка, в которой все герои поменялись нижним бельем? Французский анекдот из области спальни и клозета? Зрелище толстого старика, проваливающегося в кинематографе из третьего этажа в подвальный? Имитация национального говора? Пародия? Шарж? Пародия на шарж? Право, если где и остался сейчас грубый, примитивный, пожалуй, даже не в меру просоленный юмор – так это в старых клоунских пантомимах.

У Твена, у этого настоящего потомка англосаксонской расы, было многое от Диккенса, так же как у Диккенса – от Шекспира и Стерна. Точное, здоровое и прилежное наблюдение жизни, мужественное сердце, спокойная любовь к родине – и рядом с нею широкая всечеловечность, свободное понимание прелести шутки, порою – простонародная грубоватость, чисто мужская покровительственная нежность к детям и женщинам, легкое преувеличение в сторону лирического и трогательного и чрезмерное – в сторону смешного и порочного, а в глубине – неистощимая любовь к человеку.

Так мыслить, и чувствовать, и смеяться мы уже не умеем и не можем. Твен и по годам был нам дедушкой. Надолго, если не навсегда, мы осуждены переходить от двухсложного анекдота к бешеной сатире. Но истинный, здоровый и беззлойный смех умер в трескотне и пыли города.

Об этом думали уже многие и думали часто. Но, мне кажется, никогда мы, до кончины М. Твена, не постигали так просто и жестоко простой мысли о повсеместной смерти смеха.

О нищих

Довлеет дневи злоба его.

Первый человек, который на заре нашей сознательной жизни подумал о завтрашнем дне, был погубителем человечества. Обеспокоенный своим будущим, он раньше всего припрятал от чужих глаз кусок мяса, хотя сам и был сыт в это время.

На другой день он отказал голодному брату в пище, солгал, что ему самому не хватает.

На третий день он украл, на четвертый – убил, на пятый он объявил соседям, что вот этот шалаш, эти стада, эти женщины и эти дети принадлежат только ему и горе тому, кто коснется их; а на шестой, соединившись с сильными и приняв над ними власть, он изгнал из своего леса и своих полей более слабых соседей, отняв у них жен и имущество.

На седьмой день ему остались одни пустыки: выдумать брак, семью, формы власти, закон, суд, загробную жизнь, религию, тюрьму, пытку, смертную казнь, государство, таможи, усовершенствованные орудия, войну, мораль, полицию, автомобиль и кинематограф.

Вот истинная история нашей культуры – история, основанная на том, что человек однажды испугался завтрашнего дня и вместо того, чтобы в развитии своих бесконечных сил пойти по пути, достойному вселюбящего и прекрасного бога, пошел по пути нищего, который всегда был и будет грязным, плаксивым и похотливым калекой, завистливым, жестоким и подозрительным трусом, хитрым, наглым и пресмыкающимся рабом, бесцельным убийцей.

Подобно нашему отдаленному предку, зарывшему, озираясь, кусок оленины в мох у корней дерева, мы ревниво накапливаем богатства и власть, каждый для себя.

А когда умрем – к чему нам наши нищенские, тайно зарытые в тюфяк, сгнившие и вышедшие из употребления деньги? Власть и богатство – самые яркие формы нашей нищенской цивилизации.

Это вовсе не значит, что культура была не нужна человечеству.

Это значит только, что человечество пошло не по своей дороге, о чем свидетельствуют единогласно пророки, мудрецы и святые и о чем оно само, по-видимому, скоро начнет догадываться.

Заметка о Джеке Лондоне

Как это ни странно, но в Америке, в стране штампа, деловых людей и бездарностей, появился новый писатель – Джек Лондон. Судя по его биографии, довольно несвязно переданной переводчицей, он сам был рабочим в приполярном Клондайке, стало быть, рыл землю, добывал золото и дружил или ссорился с вымирающими индейскими племенами.

И этим биографическим чертам невольно веришь, когда читаешь рассказы талантливого писателя. В них чувствуется живая, настоящая кровь, громадный личный опыт, следы перенесенных в действительности страданий, трудов и наблюдений. Потому-то экзотические повести Лондона, облеченные веянием искренности и естественного правдоподобия, производят такое чарующее, неотразимое впечатление. Этот американец гораздо выше Брет-Гарта; он стоит на одном уровне с Кипплингом – этим удивительным бытописателем знойной Индии. Есть между ними, не касаясь тона, стиля и манеры изложения, и еще разница: Д. Лондон гораздо проще, и эта разница в его пользу. Покамест у нас есть только два тома его рассказов: «Белое безмолвие» и «Закон жизни».

«Белое безмолвие» – это трудно сказать что: повесть или поэма из жизни золотоискателей в Клондайке, где совершаются переезды в тысячу верст на собаках и на оленях, при морозе в шестьдесят градусов, где человеческая жизнь почти ни во что не считается, где даже случайно сказанное слово держится крепко, как закон. Один из самых очаровательных его рассказов заключается в простой, несложной и очень изящной фабуле: два золотоискателя – англичанин и ирландец – поссорились из-за пустыков. Решили стреляться. Но старый, опытный человек, на руках которого, вероятно, запеклось много человеческой крови, не позволяет товарищам делать этого. И он прибегает к очень простому и остроумному решению. Он говорит:

– Стреляйтесь, но кто из вас останется живым, того я застрелю. А слово этого человека было известно во всей области на протяжении десятков тысяч верст и даже среди индейских племен. К счастью, импровизированная дуэль разошлась.

Но когда товарищ этого арбитра спросил его на ухо: «А в самом деле, застрелил бы ты его?» – тот ответил: «Право, я сам не знаю».

Я выбрал наудачу первый попавшийся рассказ Джека Лондона. Но все они в том же тоне и в веселом, беззастенчивом содержании.

Приведу вкратце содержание и другого рассказа из первого тома – «Белое безмолвие», по заглавию которого назван и весь том. Два золотоискателя и жена одного из них, метиска-полуиндианка, совершают героически тяжелый путь на собаках через весь материк. До бли-

жайшего жилья им осталось несколько сотен верст. Припасы на исходе, да и те расхищают собаки, до такой степени озлобленные голодом и непосильным трудом, что их приходится подчинять себе, как диких зверей. Вокруг путников снег и тишина – «белое безмолвие». И вот одного из товарищей – женатого – постигает роковое несчастье. На него падает столетняя сосна и придавливает к земле, раздробив ему позвоночник. Напрасно он упрашивает своих спутников оставить его на произвол судьбы, потому что припасы идут к концу. Они остаются при нем целые сутки, до его последнего вздоха. Самая смерть его проста, трогательна и, несмотря на страшные мучения, героически спокойна. Для того чтобы волки не сожрали трупа, его товарищ прибегает к старому, но необычному для нас способу похорон. Он связывает две верхушки деревьев и прикрепляет к ним труп своего друга. Затем он и женщина продолжают путь.

«Закон жизни» – это история вымирания индейских племен под натиском американской, или, все равно, как ее там назвать, европейской культуры. Вся душа и все сердце Лондона на стороне этих вымирающих дикарей – гостеприимных, кротких, воинственных, терпеливо переносящих всякую боль, верных в дружбе, но не стесняющихся съесть труп своего отца. Но спокойный ум европейца невольно заставляет его симпатизировать завоевателям этой удивительной и совсем своеобразной страны. Тут-то Лондон начинает двоиться: в нем чувствуется фальшь, исходящая не из сердца, а от европейского услужливого ума. И тем не менее в этом томе есть прекрасные, мужественно-жестокие, удивительные рассказы.

«Закон жизни», несомненно, лучшая вещь. И как она проста по содержанию!

Индейское племя уходит на новые места. Остается один лишь дряхлый старик. Его не берут с собою, он будет помехой для охотников и лишним ртом в племени. И вот он остается один среди снежной пустыни. У него немного пищи и костер, который вот-вот погаснет, а кругом уже собираются волки. Но у старика нет ни страха, ни злобы, ни сожаления. Это закон жизни, – говорит он. Так же и он сам, будучи когда-то вождем, поступал с больными и стариками. Закон жизни! Медленно, шаг за шагом, перебирает он всю свою жизнь... Наконец костер тухнет... Таков в большинстве рассказов этот оригинальный и чрезвычайно талантливый писатель, завоевывающий себе мировую известность. В России он мало знаком, потому что его мало или лениво переводят. Главные его достоинства: простота, ясность, дикая, своеобразная поэзия, мужественная красота изложения и какая-то особенная, собственная увлекательность сюжета.

Фараоново племя

Мы присутствуем при вырождении цыганской песни, вернее – при ее скучной, медленной старческой кончине. Пройдет еще четверть века, и о ней не останется даже воспоминания. Древние, полевые, таборные напевы, переходившие из рода в род, из клана в клан по памяти и по слуху, исчезли и забылись, никем не подобранные любовно и не записанные тщательно. Старинные романсы вышли из моды – их не воскресить. Современные романсы живут, как мотыльки-однодневки: сегодня их гнусают шарманки и откашливают граммофоны, а завтра от них нет и следа.

Жалеть об этом или не жалеть? Правда, с цыганщиной как-то уж чересчур тесно связано наше безобразное и нелепое прошлое: время крепостничества и дикого барства, времена выкупных платежей, взяточничества, всяких концессий и откупов, интендантских оргий и банковских растрат. Но и в прошлом было кое-что милое, о чем поневоле вздохнешь с тайной и сладостной грустью: были Пушкин, Лермонтов, Тургенев и молодой офицер Толстой, были декабристы и масоны, были романтические девушки и отважные мужчины, были женские шляпы кибиточками, мушки, шаловливые анекдоты прабабушек, мебель красного дерева, клавесины, давно забытая учтивость, медленные и важные танцы, похищение невест и дуэли через платок, была грациозно-неуклюжая, уютная и живая старина. Была и цыганская песня. И о ней так же невольно вздохнешь, как вздохнешь о глупых слезах и о радостях детства, о смешных и прекрасных восторгах первой любви, о пылком и великодушном задоре ранней молодости, о безумно растроченных силах, которые когда-то казались неисчерпаемыми.

Почти сто лет держалось увлечение цыганской песней. Недаром же этому увлечению отдали искреннюю и страстную дань два самых великих русских человека девятнадцатого столетия: один – озаривший его начало, другой – увенчавший его конец. Один – Пушкин, другой – Толстой.

Совсем недавно, всего лишь несколько дней тому назад, какой-то внимательный поклонник светлой памяти Пушкина нашел наконец знаменитый нащокинский домик. История этого домика, конечно, известна каждому. Павел Воинович Нащокин, друг молодого Пушкина, из барской прихоти выстроил и постоянно украшал, со свойственной ему широтой натуры, оригинальную игрушку, точную копию своего московского двухэтажного дома, копию, которая свободно умещалась на ломберном столе.

Конечно, эта вещь драгоценна как памятник старины и кропотливого искусства, но она несравненно более дорога нам как почти живое свидетельство той обстановки, мебели, забав, безобидных кутежей, цыганского пения, беззаботных шуток и в то же время внимательной и истинной дружбы – словом, той среды, в которой попросту и так охотно жил Пушкин. И мне кажется, что за жизнью этого человека, ушедшего больше чем за историю – в легенду, гораздо точнее и любовнее можно следить по нащокинскому домику, чем по современным ему портретам, бюстам и даже по его посмертной маске.

Вот бильярдная, где один из игроков мелит кий, а другой – играет. Позы и костюмы игроков сделаны так искусно, что производят совсем живое впечатление. Вот столовая, кухня, винный погреб, гостиная, и каждая деталь поражает вниманием, терпением и тщательной обработкой. Все, начиная от человеческих фигур и кончая обыкновенной обеденной утварью, соблюдено тщательно и любовно.

Вот Пушкин в его излюбленном, недостижимом кабинете читает стихи, полусидя, полустоя, опершись на стол. На нем киргизская шитая шапочка, в руках лист рукописи, на переднем плане сидит Гоголь, сгорбившись, охватив колена руками, благоговейный и задумчивый. Дальше чья-то фигура – говорят, что это портрет Нащокина.

И еще одна замечательная подробность: гостиная, старинные клавикорды, аккомпаниаторша... впереди на небольшой софе сидит Ольга Андреевна, подруга Нащокина, дочь знаменитой Стешы, Степаниды Сидоровны, с гитарой в руках, а еще дальше, точно невольно остановился в полушаге и вдумчиво затих Пушкин, очарованный цыганской песней.

«Новый год встретил я с цыганами, – пишет Пушкин князю Вяземскому от 2 января 1831 года, – и с Танюшею, настоящей Татьяной-пьяной. Она пела песню, в таборе сложенную, на голос: «Приехали сани».

Д. – Митюша,
В. – Петруша,
Г. – Федюша:
Давыдов с ноздрями,
Вяземский с очками,
Гагарин с усами,
Девоч испугали
И всех разогнали

и проч.

Знаешь ли ты эту песню?»

Этот Новый год был мальчишником великого поэта, объявленного тогда женихом красавицы Гончаровой. А дальше его ждали узы семейной жизни, тяжесть придворного положения, долги, разочарования, усталость, вражда, клевета, рознь с друзьями. Но раньше он был своим человеком, любимым гостем, кумом и сватом у московских цыган в Грузинах, где и до сих пор цыганские хоры имеют постоянное пристанище. Сама Татьяна сравнительно недавно умерла в глубокой старости. Она многое забыла из своей пестрой и большой жизни, но Пушкина ярко помнила и говорила о нем со слезами.

Толстой неоднократно в своих произведениях возвращается к цыганской песне. В «Войне и мире», в «Двух гусарах» проходят цыгане. Появляются они и в «Живом трупце», и надо сказать, что сцены у цыган – лучшие места пьесы. Незадолго до своей смерти Толстой, так прямолинейно отрицавший величие цивилизации, обмолвился в беседе с одним журналистом словами, смысл которых приблизительно таков, что из всех завоеваний человеческих культур, в сущности ненужных и вредных, ему жаль было бы расстаться с музыкой и... «вот еще с цыганской песней»... Это под конец жизни. А в прежнее время, говорят, Тургенев жаловался на Толстого, ко-

торый вскоре после Севастопольской кампании остановился у него на несколько дней и отравлял ему существование неправильным образом жизни и цыганскими хорами.

Упомянем еще о другом Толстом – Алексее, поэте, о Полонском, Лескове, Апухтине, Фете, Писемском. Вспомним многих носителей знатных имен, клавших к ногам цыганок свои гербы и родовые состояния, увозивших их тайком из табора, стрелявшихся из-за них на дуэлях... Было, стало быть, какое-то непобедимое, стихийное очарование в старинной цыганской песне, очарование, заставлявшее людей плакать, безумствовать, восторгаться, делать широкие жесты и совершать жестокие поступки. Не сказывалась ли здесь та примесь кочевой монгольской крови, которая бродит в каждом русском? Недаром же русские и любят так трагично, и поют так печально, и так дико бродят по необозримым равнинам своей удивительной, несуразной родины!

Теперь, повторяю, цыганская песня умирает. То, что мне доводилось слышать у цыган лет двадцать пять тому назад в Пензе, в Москве в манеже и в Москве же у Яра и в Стрельне, – было, увы, последними блестками цыганского пения: «Я вас люблю», «В час роковой», «Очи черные», «Береза». Тогда уже старые знатоки вздыхали о прежних временах, о знаменитой Пише, о Груше, о Стеше, о другой Стеше и о Зине, о настоящих фамилиях Соколовых, Федоровых, Шишкиных, Масальских. «Что за хор певал у Яра, он был Пишей знаменит, и Соколовская гитара до сих пор в ушах звенит».

Но то, что мы теперь слышим с эстрад и с подмостков под названием цыганского романса, совсем потеряло связь с табором, с духом и кровью загадочного кочевого племени. «Ухарь-купец» и «Ай да тройка» заели цыганское пение. Подите летом в цыганский табор, расположенный где-нибудь в лесу под Москвой или Петербургом. Вы услышите нелепые слова на мотив немецких вальсов, увидите кафешантанские жесты. Старинной песни вы не допроситесь – ее не знают, знает разве какая-нибудь древняя, полуслепая, полуглухая старуха, высохшая и почерневшая, как прошлогодняя корка черного хлеба. Но и она только прослезится, если ей напомнить слова, и безнадежно махнет рукой: «Теперь над этими песнями смеются... Глупые, говорят, песни... Теперь пошли все модные...» Но как были прекрасны эти глупые песни! Бог знает, из каких прошедших тысячелетий, из каких южных стран вынес их этот загадочный, таинственный народ, это фараоново племя, как называют его в Средней России! Из Индии? Египта? Южной Европы? В бродячей жизни, среди чуждых языков, менялись и мешались слова, выпадали строки и строфы, но какой горячей кровью, страстной тоской и пламенной любовью, какой древней, первобытной красотой веет от восточной вязи этих песен... Именно в этой экзотической прелести и заключалось обаяние цыганских песен, действовавших, как колдовство, в этих песнях, подобных красным розам на снегу.

Такую песню я слышал трижды. Сначала – лет шесть-семь тому назад. Я с двумя приятелями проводил глухую, скучную сугробную зиму в одном диком монастырском посаде. На его окраине ютились зазимовавшие цыгане – два или три табора. Цыгане давно уже от холода, бедности, тоски, оседлой жизни и безделья перессорились между собою и враждовали – табор против табора, изба против избы. Но любовь к песне понемногу объединила всех: мужчин и женщин, запевал и плясуньи. Старый цыган Иван Николаевич был большим и редкостным любителем полевых старинных песен, он и управлял хором. По ночам его маленькая, косая, тесная, темная избенка наполнялась народом. Угощение было самое простое: чай, бублики, немного вина, колбаса, сыр, леденцы детям.

Запевала дочь Ивана Николаевича – Маша, некрасивая, длинноносая, с лицом, порченным оспой, и с прекрасными темными глазами, горящими, пугливыми, ласковыми. Она заводила какую-нибудь таборную песню, а ее отец, перегнувшись через стол, пристально вонзался в нее черными глазами, сверкавшими среди желтых белков, и в любимых местах умоляюще шептал: «Романе, Маша, романе» (по-цыгански). И вдруг вместе с хором подхватывал припев своим ужасным, охрипшим, но необыкновенно верным голосом, и вся маленькая комната утопала в странном, диком и восхитительном сплетении множества женских и мужских голосов. Слов почти никаких не было в припеве, – были звуки, похожие на звон колокольчика, на стоны, на радостные выкрики... И вот вылетала плясунья Дуняша, синеволосая красавица в красной шелковой рваной кофте, и хор, разгоряченный песней и пляской, доходил до безумия. Тогда хотелось невольно плакать и веселиться.

Пели они, помню, «Акодяка Романе», «Кановела», «Соса Гриша», «Как за речкой», «Шел-мэ-верстэ», «Протазоре, прокариэ», «Протазоре» – необычайной красоты песня. Она по-

ходит и на пасхальные греческие ирмосы, и на русскую плясовую, в то же время каким-то древним вакхическим восторгом охватывает она душу. Пели также однажды «Староверочку». Тогда за нами увязался местный отставной полицеймейстер, добродушный человек, немного фрондер, любитель литературы и отвлеченных разговоров за столом... «Староверочка» – диковинная песня с грустным запевом и с дьявольским хором, где тоска причудливо мешается с бешеным разгулом. Цыгане особенно разошлись в этот вечер, и я помню, как под их крики, взвизгиваний и причудливые, бесконечно разнообразные переборы несложной, но неуловимой мелодии быстро слинял наш почтенный гость. Он вышел из избы, бледный, пошатываясь, и едва-едва нашел в темных сенях выходную дверь. Я провожал его и слышал, как он растерянно бормотал, на шаривая дверную ручку: «Да... вот так староверочка... вот так штучка».

Другой раз я слышал – увы! – лишь в граммофоне – Варю Панину. Заочно понимаю, какая громадная сила и красота таилась в этом глубоком, почти мужском голосе.

В третий раз пришлось нам случайно забрести на Черную речку, в квартиру покойного Николая Ивановича Шишкина. Чавалы и цыганки как-то очень скоро оценили, что их слушают настоящие любители... Начал хор с модных песен, а кончил настоящей цыганской таборной песней. Я никогда не забуду этого внезапного, сильного, страстного и сладкого впечатления. Точно в комнате, где пахло модными духами, вдруг повеял сильный аромат какого-то дикого цветка – повилики, полыни или шиповника. И не я один это почувствовал. Я слышал, как притихли понемногу очарованные зрители, и долго ни одного звука, ни шороха не раздавалось в громадной комнате, кроме этого милого, нежного, тоскующего и пламенного мотива, лившегося, как светлое красное вино. Из тридцати присутствовавших вряд ли один понимал слова песни, но каждый пил душою ее первобытную, звериную, инстинктивную прелесть.

Ой да, ой да беда
Прэлэндэ накачалась:
Чай разнесчастна
Навязалась.

Бог весть, где и как родился этот унылый, странный и роковой напев. Первоначальные слова песенки сильно пострадали от устной передачи во время столетних кочевок. Но смысл ее прост, и силен, и прекрасен, как любовные песни туарегов, конаков или полинезийцев. Я тогда же попросил доставить мне перевод. Вот он приблизительно:

Ах, какая беда
На нас напала,
Несчастливая девушка
Меня полюбила.

Дальше, вероятно, выпал один куплет. Но видно, что существует какая-то преграда взаимной любви. Цыган эту преграду опрокидывает просто и решительно. Он грозит табору:

Ой, если не отдадите
Мне ее по чести
Увезу
Насильно...

Затем, по-видимому, в песне опять идет перерыв. В последнем куплете цыган уже увозит свою милую:

Ой, мои серые,
Серые да еще гнедые-рыжие,
Над нами только бог,
Пусть благословит!

Такова эта маленькая песня, вложенная в мелодию, похожую на арабские мотивы, мело-

дию, которая кажется очень легкой сначала, но которую не повторишь... И сквозь нее точно видишь и чувствуешь эту ночную погоню, этих взмыленных и одичавших лошадей с блестящими глазами – серых, рыжих и гнедых, своих или украденных, это все равно, крепкий запах лошадиного пота и здорового человеческого тела и выкраденную девушку, которая, разметав по ветру волосы, прижалась к безумно скачущему похитителю...

Какая странная штука судьба! На другой день Николай Иванович умер. Умер, как любимец судьбы, во сне, от паралича сердца. И в той же самой квартире, где под его гитару пелись огненные цыганские песни, я поцеловал его холодный мертвый лоб.

Вольная академия

Кому только не известно прелестное предание о пушкинском любимом кольце? Об этом талисмানে простосердечно-суеверного гения, об этой памяти тяжелой и неверной любви, о прекрасной реликвии, которая от поэта должна была переходить с рук на руки, временно принадлежа достойнейшему?

Пусть эта легенда немного приукрашена, немного исторически неверна, как и всякая легенда, но все-таки некоторые точные данные позволяют ей верить, а народная молва – цвести. Так, например, достоверны записки Даля, присутствовавшего при последних минутах невольника чести. Пушкин сам снял с пальца кольцо и, прося сохранить, передал ему. Конечно, Даль, близко знавший Пушкина, преданный ему душевно, был, наверно, точным исполнителем его воли. Если бы кольцо надлежало возвратить его прежней владелице, надменной одесской красавице, «ласковой волшебнице», то оно бы дошло по назначению, и о нем пропал бы всякий слух. Не могло кольцо также перейти к Жуковскому и Вяземскому. Во-первых, уже потому, что, по тогдашнему ужасному времени, грустная радость хранить подарок, хотя бы и мертвого, но все-таки опального Пушкина равнялась опасности равнодушия двора, потере положения в обществе, и если не мстительному преследованию, то полному тяжкому одиночеству. А во-вторых: и Вяземский и Жуковский были все-таки учителями, покровителями и, пожалуй, даже приемными отцами Пушкина в литературе и, стало быть, его предшественниками, поколением отмирающим, уходящим. Поэтому весьма возможно, что Даль дал на сохранение кольцо Николаю Ивановичу Тургеневу, истинному другу покойного поэта, человеку преданному, смелому в дружбе, широко просвещенному, знатоку и ценителю поэзии. От Н. И. Тургенева оно, естественно, перешло к другому Тургеневу, Ивану Сергеевичу. По крайней мере, мы положительно знаем, что кольцо действительно было у И. С. Тургенева, о чем он, впрочем, неоднократно упоминает в своей переписке.

Но к этому времени уже сама собой создалась в обществе милая сказка о преемственности оригинального дара. Станным кажется, почему Тургенев не вручил кольца Льву Толстому. Нам известно, что при жизни оба они не особенно любили друг друга и не раз тяжело и мучительно для обоих сталкивались. Но мы также знаем, что в одном из своих последних, предсмертных писем Тургенев в горячих, до сих пор незабываемых и глубоко волнующих словах отдал честь и уважение «великому писателю земли русской». Из этого можно заключить, что только потому он, умирая, не передал талисмана Толстому, что у него самого кольца в то время не было, и слух о том, что кольцо осталось у m-me Виардо в Буживале, нам уже не кажется простой сплетней. А о нежной легенде Тургенев уже знал.

С тех пор кольцо точно куда-то закатилось, в какую-то темную щель. А легенда не только не умирает, но с каждым годом становится все чище, все очаровательнее. И вот только на днях реликвия опять всплыла из забвения наружу в ее уже несомненной материальной ясности. По опубликованному ныне духовному завещанию поэта К. Р., которому не особенно плохие стихи не мешали быть в то же время прекрасным и достойным человеком, – пушкинское кольцо вместе со многими ценными документами и редкими рукописями препровождено на вечное хранение в Дом Пушкина, под присмотр Академии наук, откуда ему, конечно, уже никогда не выбраться на свет божий. И теперь не только не интересно гадать, кому бы отдал кольцо Толстой, но даже не хочется интересоваться: был ли это железный гладкий обруч, или бирюза с золотой надписью из Корана, или старинный изумруд вырезной в виде инталъе. Покойся с миром, бесценное сокровище, в своей запечатленной усыпальнице!

А как было бы сказочно прекрасно, если бы оно продолжало свое дальнейшее волшебное

странствование. Пусть о русском писателе, особенно современном, бог знает что болтает развязная критика и досужая обывательская сплетня. Пусть даже есть частица горькой правды в рассказах об их неуравновешенной жизни, об их личной зависти и ссорах, об их подчеркнутом стремлении к гонорарным интересам и т. д., но мы непоколебимо чувствуем, что в душе каждого одаренного художника слова живет и глубокое уважение к искусству, и бескорыстное признание чужого таланта. И какой бы это был пример – чуть ли не единственный в истории мировой литературы! – эта Вольная академия справедливости, скромности, теплой любви к своему призванию и своему труду.

А ведь русская литература – как бы ни уродовали, ни терзали и ни оскопляли ее известные обстоятельства – всегда была подвижнической... Она убедительно показывала, как живуч, силен и плодороден оплеванный народ, который мог на своем черноземе взрастить Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Тургенева, Толстого, Гаршина, Чехова, Короленко, Горького, Бунина. Ах, разве пламенный, вечно мятущийся Горький – такой несправедливый к мужику, – разве не в народе почерпнул он свой меткий и крепкий язык? И мысль о Вольной академии все же таки не кажется нам несбыточной. Ведь существует же до сих пор в Париже очень оригинальная Вольная академия имени братьев Гонкур, основанная на их же средства. Раз в год собираются несколько давно признанных писателей на интимно-скромный обед в память братьев Гонкур, во время которого непринужденно и любовно намечают имена тех молодых писателей, которые за последнее время обратили на себя внимание не газетной или общественной шумихой, а художественной чистотой и красотой своих произведений. Членами Гонкуровской академии были и Доде, и Мопассан, и наш Тургенев. Затем голосуют выбор избранника и по-товарищески вручают ему несколько тысяч франков. (Приблизительно то же, хотя и в чересчур русских рамках, знают наши художники кисти.) От такого дара никогда не откажется даже самый гордый человек. Согласитесь, что ведь это не подачка из рук неведомого и часто невежественного покровителя искусств, подобная тем пирогам, которые купеческие вдовы в сорокоуст раздают нищим.

А пора, давно пора русскому писателю перестать быть прихлебателем и попрошайкой. Так же как давно пора перестать думать ему, что он малое дитя, нуждающееся в попечении дядек и мамок или в исправительном заведении для малолетних преступников, и непременно кончать жизнь под забором или в сумасшедшем доме.

Начните уважать себя, и вас начнут уважать вдвое! Приглядитесь, нас уже начинают ценить и любить за границы. И это не только из вежливости во время войны в союзных державах. Оглянитесь: вокруг вас буйно поднимается молодая поросль писателей! Щадя их скромность, остерегаюсь назвать их имена. Впрочем, читатель и сам знает и ценит этих писателей. Выплывает целая плеяда новых людей, страстных, искренних, с гибким и точным языком, с широкой образностью, с глубоким знанием так неудачно похороненного, недавно воскресшего быта. Пусть меж ними нет еще пока ни Толстого, ни Достоевского, но ведь зато никогда еще и не было тех великих и страшных событий, какие мы за последние пятнадцать лет переживаем, событий, заменяющих собою все. А мне хочется думать, и я верю, что где-нибудь, в мерзлом окопе или в развалившейся халупе, сидит он, никому еще не ведомый, еще не чующий своего великого призвания, но уже бессознательно впивает своими широко открытыми глазами и умным послушным мозгом все слова, звуки, запахи, впечатления... А может быть, все, о чем я сейчас грежу, несбыточно? Потому что проходит ладожский лед, набухают почки, скоро прилетят скворцы. Настанет милая северная весна... Ближе пасха... А в эту пору все мы, русские, невольно размякаем и становимся чувствительны и мечтательны. И, как всегда, готовы ждать чуда...

Чтение мыслей

На днях г. Лернер по поводу моей заметки в «Журнале журналов» – «Вольная академия» уличил меня в незнании истинной истории пушкинского кольца, вернее – нескольких колец Пушкина. Уличил не без основания. Увлечшись легендой, я правда смешал А. И. Тургенева с Н. И. Тургеневым (из них первый присутствовал при предсмертных мучениях поэта и потом провозил его тело в деревню, а второй был в это время за границей), а Даль, в моей передаче, получил перстень с изумрудом из рук самого Пушкина, а не от его вдовы. Каюсь. Виноват в небрежности, торопливости, рассеянности и забывчивости. Виноват тем более, что все биографические источники мне когда-то были известны. Просто мною овладела первоначальная изустная леген-

да.

И на таком извинении я бы и окончил мой ответ г. Лернеру, если бы этому бесспорному знатоку Пушкина не пришлось в голову сделать несколько неприличных и недостойных серьезного писателя выпадов по моему адресу. Но не для г. Лернера я должен сделать возражения против некоторых пунктов этой статьи.

Во-первых. Никогда, нигде и никому я не писал и не говорил следующей гнусной фразы: *«Какой бы то ни было ценой я куплю кольцо Пушкина»*; да и сама эта фраза совершенно противоречит моей идее *преемственности* кольца. Г-н Лернер эти слова приписывает мне дважды, а дважды сказанная неправда есть ложь. Ведь не из репортерской же заметки взял г. Лернер это тяжкое обвинение. Во-вторых. Г-н Лернер приписывает мне честолобивое желание обладать талисманом великого поэта, как значком чемпиона от литературы. Я могу назвать много писателей, несравненно более меня достойных этой своеобразной и прекрасной почести, налагающей на носителя тяжелое и ответственное бремя. Про себя же я всегда говорил и думал, что моя работа – второй сорт. И в статье о «Вольной академии» я громко говорил о новых, молодых, растущих талантах. В-третьих. Академические лавры Бунина не дают мне спать. Почему было, кстати, не сказать, что я завидую Еноху, взятому на небо живым? Бунин – настоящий академик, и я не удивлюсь, если он в недалеком будущем получит даже почетные пальмы Французской академии, подобные тем, которые получил раньше Мамин-Сибиряк за «Аленушкины сказки». Бунин – тонкий стилист, у него громадный багаж хороших, здоровых, метких, настояще русских слов; он владеет тайной изображать, как никто, малейшие настроения и оттенки природы, звуки, запахи, цвета, лица; архитектура его фраз необычайно разнообразна и оригинальна; богатство определений, уподоблений и эпитетов умеряется у него строгим выбором, подчиненным вкусу и логической необходимости; рассказ его строен, жив и насыщен; художественные трудности кажутся достигнутыми непостижимо легко... И многое, многое другое. А Енох отличился праведной жизнью. Ни то, ни другое мне не свойственно, а потому, вопреки г. Лернеру, я сплю спокойно. И все это г. Лернер приписал мне по какому-то наитию, руководимый странной, непрошеной прозорливостью, будто читая в моем сердце. Ах, давно искусство чтения в сердцах составляет почтенную, но скользкую профессию. Господин Лернер, как присяжный чтец мыслей, все знает, все разберет и все решит. Сделав мимоходом нахлобучку Бунину, погрозив, на всякий случай, начальственным перстом Арцыбашеву, он круто, не доказывая и не допуская возражений, решает, что никто из ныне живущих писателей не был бы достоин ношения пушкинского талисмана. – Никто? – Предположим. – И теперешняя молодежь в будущем? – Допустим. – А еще более молодое, еще, может быть, не народившееся поколение? Или с Чеховым, к удовольствию г. Лернера, иссяк родник русских талантов? Нет, в это мы не верим. Иначе точка, тьма, отчаяние... Преемственность талисмана подобна дару пророчества, королевскому сану или благодати священства. Носители его могут быть несовершенны, но представляемая ими идея не теряет величия.

А впрочем, превратись милая легенда о кольце в действительность, г. Лернер скажет: «Пойдем в участок... то бишь в Академию, там начальство разберет, кому и что. Оно уж знает».

Джек Лондон

В первых двух десятилетиях двадцатого столетия ничей литературный успех не может равняться с той всемирной, почти мгновенной славой, которая осияла Джека Лондона, вероятно, неожиданно для него самого. И положил эту сладкую и мучительную обузу к его ногам вовсе не журнальный критик, этот профессиональный, медленный, строгий и трусливый сортировщик рыночного товара, а все тот же чуткий, внимательный, хотя и требовательный и жестокий читатель, ведущий уже давно критику на буксире своих капризных, однако чутких увлечений.

Вот одно из доказательств правоты нашего мнения. Русская жреческая критика обратила впервые свое громоздкое и снисходительное внимание на Джека Лондона только после появления его романа «Мартин Идеи». Роман этот вовсе не плох, скажем более: он вполне достоин своего мощного автора. Но близоруким специалистам кинулись в глаза лишь те этапы, через которые проходит простой, безграмотный человек для того, чтобы необычайными усилиями воли достигнуть и славы, и богатства, и влияния. Но они совсем забыли о том, что двигателем его почти неправдоподобных (и, конечно, все-таки возможных) подвигов над собою и людьми была

лишь затаенная любовь к женщине высшей расы. И, несомненно, они не поняли и никогда не поймут того, что Мартин Идеи с первых строк романа – моряк в грубом платье, пропитанном запахом моря; Мартин Идеи, которому душно в больших комнатах богатого дома, заставленного книгами, роскошной мебелью и безделушками, что этот Идеи в сотни раз ценнее, интереснее, смелее и умнее – умом инстинкта – того высокообразованного и славного, но с опустошенной душой Мартина Идена, что вылез в конце романа ночью из пароходного иллюминатора и сознательно потопил себя в глубинах Атлантического океана. И никогда им (критикам) не пришло в голову задуматься: что же такое этот замечательный роман? Дидактическое сочинение, написанное по требуемому серьезному шаблону, или собрание горьких автобиографических черт самого Лондона, вкусившего славы?

А мы в это время успели уже по несколько раз перечитать и «Белое безмолвие», и «Жители Форт-Майля», и «Закон жизни», и «Женское сердце», и многие другие рассказы, от которых билось сердце, холодели руки, зажигались глаза, и душа переполнялась благодарностью к Лондону, к этому прекрасному художнику, пришедшему из темноты и холода и принесшему нам оттуда преклонение перед красотой мира и могуществом человека. И мы, встречая во многих из этих поэм Севера одних и тех же героев (как их назвать иначе?) – Чарли Ситкинского, Томаса Стивена, Луи Савуа, Меккензи, Мэйсона, великолепного Кида, – мы думали в простоте своей: милосердный бог и потомство простят этим людям и то, что они не раздевались по многу месяцев, и то, что они, по неимению лишнего времени, не штудировали Каутского, и пили много виски, и часто сквернословили и богохульствовали, и то, что на их руках можно было отыскать следы не только звериной и птичьей крови. И мысли наши о них тем более значительны, что мы не сомневаемся в том, что Джек Лондон *сам лично* видел их, сидел у их костров, слушал их эпические воспоминания, пил с ними кофе с самодельными мучными лепешками и с кусками свиного сала, поджаренного прямо на огне, на шомполе. И в особенности эта-то именно достоверность рассказов Д. Лондона и придает его творчеству необыкновенную, волнуемую прелесть убедительности. Все, кто читают, – а русские читатели в очень большой степени, – как будто изверились (виною литература девятнадцатого столетия) в том, что в человечестве испарилось и выдохлось, пропало навеки героическое начало. Мы уже начали было думать, что человек должен умирать от сквозного ветра, падать в обморок при виде зарезанного цыпленка, не верить в дружбу и в слово, не уважать чужих женщин, не любить *чужих* детей, прятать от *чужих* припасы и золото. Мы как будто никогда и не знали, что человек, *каждый человек* может быть вынослив больше, чем дикий зверь, умеет презирать самые тяжелые страдания и смеяться в лицо смерти, но так же справедливо, по неписаному высшему праву, и отнять жизнь у ближнего, и отдать за него свою.

Всех героев Лондона влечет далеко за пределы Полярного круга, в жестокий Клондайк, в страну вечной снежной тишины, где пути в тысячи миль не обозначены ни жильем, ни дорогами, где ночуют в снегу при морозе в шестьдесят пять градусов ниже нуля, – влечет их вовсе не жадность к золоту или мехам, а ненасытная страсть к приключениям, этот благородный протест против духоты, кислоты, себялюбия, трусливости и расслабленности столичных городов. И разве не из этого редкостного теста были замешаны Ливингстон, и Стэнли, и Плиний, и открыватели Северного полюса (вспомним Нансена и Андре!), и первые воздухоплаватели, положившие в цемент великого будущего свою кровь и раздробленные кости?

Нам, именно нам, русским, вечно мятущимся, вечно бродящим, всегда обиженным и часто самоотверженным стихийно и стремящимся в таинственное будущее, – может быть, страшное, может быть, великое, – нам особенно дорог Джек Лондон. И оттого-то у свежей могилы – земной поклон этому удивительному художнику. За веру в человека.

Умер Джек Лондон скоропостижно. И стоит подумать над словами, оброненными кем-то: «Смерть каждого человека похожа на его жизнь».

Дюма-отец

Этот очерк был написан мною в 1919 году по данным, которые я усердно разыскивал в С.-Петербургской публичной библиотеке. Света ему так и не довелось увидеть: при отходе, вместе с северо-западной армией, от Гатчины я ничего не успел взять из дома, кроме портрета Толстого с автографом. Поэтому и пишу сейчас наизусть, по смутной памяти, кусками. Труд этот был бескорыстен. Что я мог бы получить за четыре печатных листа в издательстве «Всемирной

литературы»?.. Ну, скажем, четыре тысячи керенками. Но за такую сумму нельзя было достать даже фунта хлеба. Зато скажу с благодарностью, что писать эту статью – «Дюма, его жизнь и творчество» – было для меня в те дни... и теплой радостью, и душевной укрепой.

Удивительное явление: Дюма и до сих пор считается у положительных людей и у серьезных литераторов легкомысленным, бульварным писателем, о котором можно говорить лишь с немного пренебрежительной, немного снисходительной улыбкой, а между тем его романы, несмотря на почти столетний возраст, живут, вопреки законам времени и забвения, с прежней неуязвимой силой и с прежним добрым очарованием, как сказки Андерсена, как «Хижина дяди Тома», и еще многим, многим дадут в будущем тихие и светлые минуты. Про творения Дюма можно сказать то же самое, что сказано у Соломона о вине: «Дайте вино огорченному жизнью. Пусть он выпьет и на время забудет горе свое». Вот что писал к Дюма после полочки от него «Трех мушкетеров» Генрих Гейне, тогда уже больной и страждущий:

«Милый Дюма, как я благодарен Вам за Вашу прекрасную книгу! Мы читаем ее с наслаждением. Иногда я не могу утерпеть и восклицаю громко: «Какая прелесть этот Дюма!» И Мушка⁹¹ прибавляет со слезами на глазах: «Дюма очарователен». И попугай говорит из клетки: «Да здравствует Дюма!» В одном из своих последних романов Джек Лондон восклицает по поводу своего героя, измученного тяжелой душевной драмой: «Какое великое счастье, что для людей, близких к отчаянию, существует утешительный Дюма».

У нас, в прежней либеральной России, ходить в цирк и читать Дюма считалось явными признаками отсталости, несознательности, безыдейности. Однако я знал немало людей «с убеждениями», которые для виду держали на полках Маркса, Чернышевского и Михайловского, а в укромном уголке хранили потихоньку полное собрание Дюма в сафьяновых переплетах. Леонид Андреев, человек высокого таланта и глубоких страданий, не раз говорил, что Дюма – самый любимый его писатель. Молодой Горький тоже обожал Дюма.

В расцвете своей славы Дюма был божком капризного Парижа. Когда его роман «Граф Монте-Кристо» печатался ежедневно главами в большой парижской газете, то перед воротами редакции еще с ночи стояли длиннейшие хвосты. Уличных газетчиков чуть не разрывали на части. Популярность его была огромна. Кто-то сказал про него, что его слава и обаяние занимают второе место за Наполеоном. Золото лилось к нему ручьями и тотчас же утекало сквозь его пальцы. Ни в личной щедрости, ни в своих затеях он не знал предела широте. В его мемуарах есть подробное описание того роскошного праздника, который он дал однажды всему светскому, литературному и артистическому Парижу. Это – рассказ, как будто написанный пером Рабле. Все не только знаменитые, но просто хоть немного известные лица тогдашнего Парижа перечислены в нем. И воображаю тот эффект, который получился, когда после пиршества, глубокою ночью, Дюма и его гости вышли на улицу, чтобы устроить грандиозное шествие под музыку с факелами в руках, и когда полицейская стража кричала «Вив нотр Дюма». Доброта его была безгранична и всегда тонко-деликатна. Изредка его посещал один престарелый писатель, когда-то весьма известный, но скоро забытый, как это часто бывает в Париже, где лица так же быстро стираются, как ходячая монета. При каждой встрече Дюма неизменно и ласково приглашал его к себе. Но старый писатель был человек щепетильный и, из опасения показаться прихлебателем, своих посещений не учащал, хотя и был беден, жил в холодной мансарде и питался скудно. Эта своеобразная гордость не укрылась от Дюма, и однажды он, с трудом разыскав писателя, сказал ему:

– Дорогой собрат, окажите мне величайшую помощь, за которую я буду вам благодарен до самой могилы. Видите ли, я в моем творчестве всегда завишу от перемены погоды. Но, кроме чувствительности, я еще и очень *мнителен* и самому себе не доверяю. Вот теперь господин Реомюр установил на новом мосту аппарат, который называется барометром и без ошибки предсказывает погоду. Так, будьте добры, ходите ежедневно на новый мост и потом извещайте

⁹¹ Матильда — последняя подруга Гейне. Когда поэт умер и опечаленные друзья говорили ей о том, какого великого художника лишился мир, она сказала: «Оставьте. Умер мой Анри». (Прим. А. И. Куприна.)

меня о предсказаниях барометра. А чтобы мне не волноваться, а вам не делать двух длинных концов, то уж, будьте добры, поселитесь в моем доме, в котором так много комнат, что он кажется пустым, а я боюсь пустоты. Ваше общество мне навсегда приятно. Писатель после этого очень долго прожил у Дюма. Каждый день ходил он на Поп-Неф за барометрической справкой, в полной и гордой уверенности, что делает большую помощь этому доброму толстому славному Дюма, а Дюма всегда относился к нему с бережным вниманием и искренней благодарностью. Конечно, «простотой» и широтой Дюма нередко злоупотребляли. Однажды пришел к нему какой-то молодой человек столь странной и дикой внешности, что прислуга сначала не хотела о нем докладывать, тем более что он держал на спине огромный тюк, завязанный в грязную рогожку. Но так как подозрительный юноша настаивал на том, что он явился к г. Дюма по самому важному делу и что г. Дюма, узнав, в чем оно состоит, будет очень рад и благодарен, – то лакей решился известить хозяина, а тот велел впустить сомнительного гостя.

Молодой человек вошел, низко поклонился, пробормотал какое-то арабское приветствие и принялся разворачивать свой грязный тюк. Дюма смотрел с любопытством. Каково же было его удивление, когда на ковер вывалилась огромная шкура африканского льва, шкура вся вытертая, траченная молью, кое-где продырявленная.

Молодой человек опять отвесил низкий поклон, опять что-то пробормотал по-арабски и, выпрямившись, указал пальцем на шкуру.

– Великий писатель, – сказал он торжественно. – Этот ужасный лев, которого называли «человекоубийца», навел ужас на все окрестности Каира. Твой славный отец, генерал Дюма, убил его собственноручно, а шкуру подарил на память моему деду, потому что он был другом и покровителем нашей семьи и нередко, к нашей радости и гордости, гостил у нас целыми неделями и месяцами. Дар его был для нас самой драгоценной реликвией, с которой мы не расстались бы ни за какие сокровища мира. Но, увы, теперь дом наш пришел в упадок и разорение, и вот моя престарелая мать сказала мне: «Не нашему нищенскому жилищу надлежит хранить эту реликвию. Иди и отдай ее наиболее достойному, то есть славному писателю Дюма, сыну славного генерала Дюма». Прими же этот дар, эфенди, и, если хочешь, дай мне приют на самое малое время.

Дюма тонко ценил смешное – даже в наглости. Молодой человек прогостил у него, говорят, полтора года, а так как был вороват и ленив, а от безделья совсем распустился и обнаглел без меры, то однажды и был выброшен за дверь вместе с знаменитой шкурой.

Все великие достоинства, равно как и маленькие недостатки, Дюма имели какой-то наивный, беззаботный, не только юношеский, но как бы детский, мальчишеский, проказнический характер задора, веселья и горячий, жадной, инстинктивной влюбленности в жизнь. Мало кому известно, например, о том, что Дюма оставил после себя среди чуть ли не пяти сотен томов сочинений очень интересную поваренную книжку.

«Лесть, богатства и слава мира» не портили его доброй души, неудачи и клевета не оставляли в его мужественном сердце горьких, неизлечимых заноз. Я не знаю, можно ли честолюбие считать одним из смертных грехов. Да и кто этому пороку в большой или малой степени не подвержен? Дюма был очень честолюбив, но опять-таки как-то невинно, по-детски: немножко смешно, немножко глупо и даже трогательно. Огромного веса своей литературной славы он точно не замечал. Один только раз он проговорился о том, что со временем люди будут учить историю Франции по его книгам. Нужно сказать, что он был прав. Если отбросить романтические завитки, то действительно эпоха от Франциска I до Людовика XVI показана и рассказана им с неизгладимой яркостью и силой... Нет! Его влекли к себе другие аплодисменты, другие пальмы и другие лавры. Одно время Дюма во что бы то ни стало захотел сделаться депутатом парламента. Зачем? Может быть, однажды утром он открыл в себе неожиданно громадные политические способности? Во всяком случае, у него замысел чрезвычайно быстро переходил в слово, а слово мгновенно обращалось в дело. Собрав вокруг себя небольшую, но преданную ему кучку друзей, Дюма вторгся – уж не помню теперь, в какой департамент и в какую коммуку. Трудно теперь и представить себе, что говорил и что обещал своим будущим избирателям этот вулканический, пламенный фантастический гений, величайший импровизатор. Добрые осторожные буржуа устраивали ему пышные встречи, шумные манифестации, роскошные обеды... Но при подаче голосов дружно провалили его, ибо предпочли ему местного солидного аптекаря.

После этого поражения, поздно вечером, взволнованный и огорченный Дюма возвращался

к себе в гостиницу вместе со своими негодующими друзьями. Путь их лежал через старый мост, построенный над узкой, но быстрой речонкой. Было уже почти темно. Навстречу им шел, слегка покачиваясь, какой-то местный гражданин. Увидев Дюма, он радостно воскликнул:

– А, вот он, этот знаменитый негр!

«Тогда я, – говорит Дюма в своих мемуарах, – взял его одной рукой за шиворот, а другой за штаны, в том месте, где спина теряет свое почетное наименование, и швырнул его, как котенка, в воду. Слава богу, что прохвост отделался только холодным купанием. У меня же сразу отлегло от сердца».

Так печально и смешно окончилась политическая карьера очаровательного Дюма. Почти подобное и даже, кажется, более жестокое поражение потерпел Дюма в ту пору, когда его неумное воображение возжаждало академического крещения. С той же яростной неутомимостью, с которой он жил, мыслил и писал, Дюма стремительно хватался за каждый удобный случай, который помог бы ему войти в священный круг сорока бессмертных. Но кандидатура его никогда не имела успеха, как впоследствии у Золя.

И вот однажды выбывает из числа славных сорока академик N, для того чтобы переселиться в вечную Академию. Немедленно после его праведной кончины Дюма мечется по всему Парижу, ища дружеской и влиятельной поддержки, чтобы сесть на пустующее академическое кресло в камзоле, расшитом золотыми академическими пальмами. Бесстрашно приехал он также и к Жозефу Мишо – тогда очень известному литератору, автору веских статей о крестовых походах и, кстати, человеку желчному и острому на язык.

Для чего была Академия Дюма – этому человеку, пресыщенному славой? Но к Мишо он заявился, даже не будучи с ним лично знакомым, да еще в то время, когда почтенный литератор завтракал со своими друзьями.

Доложив о себе через лакея, он вошел в столовую, одетый в безукоризненный фрак, с восьмилучевым цилиндром под мышкой. Мишо встретил его с той ледяной вежливостью, с которой умеют только чистокровные парижане встречать непрошенных гостей. Дюма горячо, торопливо и красноречиво изложил мотив своего посещения: «Столь великое и авторитетное имя, как ваше, дорогой учитель, и тра-та-та и та-та-та- тра...»

Мишо выслушал его в спокойном молчании, и, когда Дюма, истощив весь запас красных слов, замолчал, старый литератор сказал:

– Да, ваше имя мне знакомо. Но, позвольте, неужели N, такой достойный литератор и ученый, действительно умер? Какая горестная утрата!

– Как же, как же! – заволновался Дюма. – Я к вам приехал прямо с Монпарнасского кладбища, где предавали земле прах славного академика, кресло которого теперь печально пустует.

– Ага, – сказал Мишо и сделал паузу. – Так вы, вероятно, приехали сюда на погребальных дрогах.

Милый, добрый, чудесный Дюма! Может быть, в первый раз за всю свою пеструю жизнь он не нашел ловкой реплики и поторопился уехать. Академиком же ему так и не удалось сделаться.

Питал он также невинную слабость к разным орденам, брелокам и жетонам, украшая себя ими при каждом удобном случае. Все экзотические львы, солнца, слоны, попугай, носороги, орлы и змеи, иные эмблемы, даже золотые, серебряные и в мелких бриллиантиках украшали лацканы и петлички парадных его одежд. Прекрасный писатель, который теперь почти забыт, но до сих пор еще неувядаемо ценен, Шарль Нодье, который очень любил Дюма и многое сделал для его блистательной карьеры, говорил иногда своему молодому другу:

– Ах, уж мне эти негры! Всегда их влекут к себе блестящие побрякушки!

Но прошло несколько лет. Дюма впал в роковую бедность. Кругом неугасимые долги. Падало вдохновение... В эту зловещую пору пришли к Дюма добрые люди с подписным листом в пользу старой, некогда знаменитой певицы, которая потеряла и голос, и деньги, и друзей и находилась в положении более горьком, чем положение Дюма.

– Что я могу сделать? – вскричал Дюма, хватая себя за волосы. – У меня всего-навсего два медных су и на миллион франков векселей... А впрочем, постойте, постойте... Вот идея! Возьмите-ка эти мои ордена и продайте. Почем знать, может быть, за эту дрянь и дадут что-нибудь.

И в эту же эпоху бедствий он отдал бедному писателю, просившему о помощи, пару роскошных турецких пистолетов.

Несомненно: Дюма останется еще на многие годы любимцем и другом читателей с пылким воображением и с не совсем остывшей кровью. Но, увы, также надолго сохранится и убеждение в том, что большинство его произведений написаны в слишком тесном сотрудничестве с другими авторами.

Повторять что-нибудь дурное, сомнительное, позорное или слишком интимное о людях славы и искусства – было всегда лакомством для критиков и публики. Помню, как в Москве один учитель средней школы на жадные расспросы о Дюма сказал уверенно:

– Дюма? Да ведь он не написал за всю жизнь ни одной строчки. Он только нанимал романистов и подписывался за них. Сам же он писать совсем не умел и даже читал с большим трудом.

Видите, куда повело удовольствие злой сплетни? Конечно, всякому ясно, что выпустить в свет около пятисот шестидесяти увесистых книг, содержащих в себе длиннейшие романы и пятиактные пьесы, – дело невысказанное для одного человека, как бы он ни был борзописен, какими бы физическими и духовными силами он ни обладал. Если мы допустим, что Дюма умудрялся при титанических усилиях писать по четыре романа в год, то и тогда ему понадобилось бы для полного комплекта его сочинений работать около ста сорока лет самым усердным образом, подхлестывая себя неистово сотнями чашек крепчайшего кофея. Да. У Дюма были сотрудники. Например: Огюст Макэ, Поль Мерис, Октав Фейе, Е. Сустре, Жерар де Нерваль, были, вероятно, и другие...

...Но вот тут-то мы как раз и подошли к чрезвычайно сложным, запутанным и щекотливым литературным вопросам. С самых давних времен весьма много было говорено о вольном и невольном плагиате, о литературных «неграх», о пользовании чужими, хотя бы очень старыми, хотя бы совсем забытыми, хотя бы никогда не имевшими успеха сюжетами и так далее. Шекспир по этому поводу говорил:

– Я беру мое добро там, где его нахожу.

Дюма на ту же самую тему сказал с истинно французской образностью:

– Сделал ли я плохо, если, встретив прекрасную девушку в грязной, грубой и темной компании, я взял ее за руку и ввел в порядочное общество?

И не Наполеон ли обронил однажды жестокое слово:

– Я пользуюсь славой тех, которые ее недостойны.

Коллективное творчество имеет множество видов, условий и оттенков. Во всяком случае, на фасаде выстроенного дома ставит свое имя архитектор, а не каменщик, и не маляры, и не землекопы.

Чарльз Диккенс, которого Достоевский называл самым христианским из писателей, иногда не брезговал содействием литературных сотоварищей, каковыми бывали даже и дамы-писательницы: мисс Мэльхолланд и мисс Стрэттон, а из мужчин – Торкбери, Гаскайн и Уильки Коллинс. Особенно последний, весьма талантливый писатель, имя и сочинения которого до сих пор ценны для очень широкого круга читателей.

Распределение совместной работы происходило приблизительно так: Диккенс – прекрасный рассказчик, передавал иногда за дружеской беседой нить какой-нибудь пришедшей ему в голову или от кого-нибудь слышанной истории курьезного или трогательного характера. Потом этот намек на тему разделялся на несколько частей, в зависимости от количества будущих сотрудников, и каждому из соавторов, в пределах общего плана, предоставлялось широкое место для личного вдохновения. Потом отдельные части повести соединялись в одно целое, причем швы заглаживал опытный карандаш самого Диккенса, а затем общее сочинение шло в типографский станок. Эти полушутливые вещицы вошли со временем в Полное собрание сочинений Диккенса. Сотрудники в нем переименованы, но вот беда: если не глядеть на фамилии, то Диккенс сразу бросается в глаза своей вечной прелестью, а его сотоварищей по перу никак не отличишь друг от друга.

В фабрике Дюма были, вероятно, совсем иные условия и отношения. Прежде всего надо сказать, что, если кто и был в этом товариществе настоящим «негром», то, конечно, он, сорокалетний, неутомимый, неукротимый, трудолюбивейший Александр Дюма. Он мог работать сколько угодно часов в сутки, от самого раннего утра до самой поздней ночи, иногда и больше. Из-под пера так и падали с легким шелестом бумажные листы, исписанные мелким отличнейшим почерком, за который его обожали наборщики (кстати, и его восхищенные первочитатели).

Говорят, он пыхтел и потел во время работы, ибо был тучен и горяч. По его бесчисленным сочинениям можно судить, какое огромное количество требовалось ему сведений об именах, характерах, родстве, костюмах, привычках и т. д. его действующих персонажей. Разве хватало у него времени просиживать часами в библиотеке, бегать по музеям, рыться в пыли архивов, разыскивать старые хроники и мемуары и делать выписки из редких исторических книг? Если в этой кропотливой работе ему помогали друзья (как впоследствии Флоберу), то оплатить эту услугу было бы одинаково честно и ласковой признательностью, и денежными знаками или, наконец, и тем и другим.

Правда, Дюма порою мало церемонился с годами, числами и фактами, но во всех лучших его романах безошибочно чувствуется его собственная, хозяйская, авторская рука. Ее узнаешь и по характерному искусству диалога, по грубоватому остроумию, по яркости портретов и быта, по внутренней доброте... Правда и то, что очень часто, особенно в последние свои годы, Дюма прибегал к самому щедрому и самому бескорыстному сотруднику – к ножницам. Но и здесь, сквозь десятки чужих страниц географического, этнографического, исторического и вообще энциклопедического свойства, все-таки блистает прежний Дюма, пылкий, живой, увлекательный, роскошный.

Это не Октав Фейе и не Жерар де Нерваль, а Огюст Макэ заявил публичную претензию на Дюма, которому он чем-то помог в «Трех мушкетерах». Оттуда и пошел разговор о «неграх». Но после первого театрального представления одноименной пьесы, переделанной из романа и прошедшей с колоссальным успехом, Дюма, под бешеные аплодисменты и крики, насильно вытащил упировавшегося Макэ к рампе, потребовал молчания и сказал своим могучим голосом:

– Вот Огюст Макэ, мой друг и сотрудник. Ваши лестные восторги относятся одинаково и к нему и ко мне.

И у Макэ потекли из глаз слезы.

Подобно тому как роман, так и театр сделался привычной стихией старшего Дюма. И немало сохранилось театральных воспоминаний и закулисных анекдотов, в которых сверкают остроумие Дюма, его находчивость, его вспыльчивость и его великодушие. К сожалению, эта сторона его жизни не нашла внимательного собирателя, отдельные рассказы о ней разбросаны а множестве старых периодических изданий.

Театральные пьесы Дюма отличались необыкновенной сценичностью, они держали зрителя на протяжении всех пяти актов в неослабном напряжении, заставляя его и смеяться, и ужасаться, и плакать. В продолжение многих лет он был кумиром всех театральных сердец.

Писал свои пьесы Дюма с необыкновенной легкостью и с непостижимой быстротой. Но на репетициях он нередко делал в тексте вставки и сокращения, к обиде режиссера и к большому неудовольствию артистов, которым всегда очень трудно бывает переучивать наново уже раз заученные реплики. Но на Дюма никто не умел сердиться долго. Был в нем удивительный дар очарования... Шла сложная постановка его новой пьесы «Антони». На первых репетициях он, как и всегда, внимательно глядел на сцену, делая время от времени незначительные замечания. Но, по мере того, как работа над пьесой подвигалась к концу и уж недалек был день костюмной репетиции, обыкновенно предшествующей репетиции генеральной, – друзья Дюма стали с удивлением замечать, что драматург реже и реже смотрит на рампу и что его глаза все чаще и настойчивее обращены на правую боковую кулису, за которой всегда помещался один и тот же дежурный пожарный, молодой красивый человек, скорее мальчик. Причина такого пристального внимания была никому не понятна.

На костюмной репетиции Дюма был еще более рассеянным и все глубже вперял взоры в правую боковую кулису. Наконец, по окончании третьего акта, когда настала обычная маленькая передышка, он поманил к себе рукою режиссера и, когда тот подошел, сказал ему:

– Пойдемте-ка за сцену.

И он потащил его как раз к загадочной правой кулисе, где по-прежнему стоял, позевывая, юный помпье. Дюма ласково положил руку на плечо юноше.

– Объясните мне, *mon vieux*⁹², одну вещь, – сказал он.

– К вашим услугам, господин Дюма.

⁹² дружище (франц.).

– Только прошу вас, говорите откровенно. Не бойтесь ничего.

– Я ничего и не боюсь. Я – пожарный.

– Это делает вам честь, – похвалил Дюма. – Видите ли, я уже много раз наблюдал за тем, как вы слушали на репетициях мою пьесу, и, даю слово: внимание ваше мне было лестно. Но одно явление удивляло меня. Почему перед третьим актом вы всегда покидали ваше постоянное место и куда-то исчезали, чтобы прийти к началу четвертого?

– Сказать вам правду, господин Дюма? – застенчиво спросил пожарный.

– Да. И самую жестокую.

– Конечно, господин Дюма, я ничего не понимаю в вашем великом искусстве, и человек я малообразованный. Но что я могу поделать, если этот акт меня совсем не интересует. Все другие акты прелесть как хороши, а третий кажется мне длинным и вялым. Но, впрочем, может быть, это так и нужно?

– Нет! – вскричал Дюма. – Нет, мой сын, длинное и скучное – первые враги искусства. Возьми, мой друг, эту круглую штучку в знак моей глубокой благодарности.

И, обернувшись к режиссеру, он сказал спокойно:

– Идемте переделывать третий акт! Помпье прав! Этот акт должен быть самым ярким и живым во всей пьесе. Иначе она провалится. Идем!

Тот, кто хоть чуть-чуть знаком с тайнами и с техникой театральной кухни, тот поймет, что переделывать весь третий акт накануне генеральной репетиции – такое же безумие, как перестроить план и изменить размеры третьего этажа в пятиэтажном доме, в который жильцы уже начали ввозить свою мебель и кухонную посуду. Но когда Дюма загорался деятельностью, ему невозможно было сопротивляться. Артисты били себя в грудь кулаками, артистки жалобно стонали, режиссер рвал на себе волосы, суфлер упал в обморок в своей будке, но Дюма остался непреклонным. В тот срок, пока репетировали четвертый и пятый акты, он успел переработать третий до полной неузнаваемости, покрыв авторский подлинник бесчисленными пометками и вставками. Задержав артистов после репетиции на полчаса, он успел еще прочитать им переделанный акт и дать необходимые указания. За ночь были переписаны как весь акт, так и актерские экземпляры, которые артистами были получены ранним утром. В полдень сделали две репетиции третьего акта, а в семь с половиной вечера началась генеральная репетиция «Антони», замечательной пьесы, которую публика приняла с неслыханным восторгом и которая шла сто раз подряд.

Актеры, правда, достаточно-таки и серьезно поворчали на Дюма за его диктаторское поведение. Но в театре успех покрывает все. Да и актерский гнев, всегда немного театральный – недолговечен. Один из артистов говорил впоследствии:

– Только один Дюма способен на такие чудеса. Он разбил ударом кулака весь третий акт «Антони» и вставил в дыру свой волшебный фонарь. И вся пьеса вдруг загорелась огнями и за-сверкала...

Да, Дюма знал секреты сцены и знал свою публику. Не раз полушутя он говорил:

– На моих пьесах никто не задремлет, а человек, впавший в летаргию, непременно проснется.

Но однажды подвернулся удивительный по редкому совпадению и по курьезности двойной случай.

В каком-то театре шли попеременно один день – пьеса Дюма, другой день – пьеса очень известного в ту пору драматурга, бывшего с Дюма в самых наилучших отношениях. На одном из представлений они оба сидели в ложе. Шла пьеса не Дюма, а его друга. И вот писатели чувствуют, что в партере начинается какое-то движение, слышится шепот, потом раздается задушенный смех. Наконец зоркий Дюма слегка толкает своего приятеля в бок и говорит с улыбкой:

– Погляди-ка на этого лысого толстяка, что сидит под нами. Он заснул от твоей пьесы, и сейчас мы услышим его храп.

Но нужно же было произойти удивительному стечению обстоятельств! На другой день оба друга сидели в том же театре и в той же ложе, но на этот раз шла пьеса Дюма. Жизнь иногда проделывает совсем неправдоподобные штучки. В середине четвертого акта, сидя почти на том же самом кресле, где сидел и прежний лысый толстяк, – какой-то усталый зритель начал клевать носом и головою, очевидно готовясь погрузиться в сладкий сон.

– Полюбуйся! – язвительно сказал друг, указывая на соню.

– О нет! Ошибаешься! – весело ответил Дюма. – Это твой, вчерашний. Он еще до сих пор не успел проснуться.

Конечно, живя много лет интересами театра, создавая для него великолепные пьесы, восторгаясь его успехами, волнуясь его волнениями и дыша пряным, опьяняющим воздухом кулис и лож, Дюма, с его необузданным воображением и пылким сердцем, не мог не впасть в иллюзии, обычные для всех владык, поклонников и рабов театра. Заблуждение этих безумцев, впрочем, не очень опасных, заключается в том, что за настоящую, подлинную жизнь они принимают лишь те явления, которые происходят на деревянных подмостках ослепительного пространства, ограниченного двумя кулисами и задним планом, а будничное, безыскусственное бытие, жизнь улицы и дома, жизнь, в которой по-настоящему едят, пьют, проверяют кухаркины счета, любят, рожают и кормят детей, – кажется им банальной, скучной, плохо поставленной, совсем неудачной пьесой, полной к тому же провальных длиннот. И кто же решится осудить их, если в эту плохую и пресную пьесу без выигрышных ролей они вставляют настоящие театральные бурные эффекты? Это только поправка.

И зачем же нам удивляться тому, что все увлечения, амурные и связи у Дюма были исключительно театральными характера?

Есть словесное, а потому и не особенно достоверное показание великого русского писателя, которого имя я не смею привести именно по причине скользкой опоры. Говорят, что этот писатель как-то приехал к Дюма по его давнишнему приглашению и, как полагается европейцу, послал ему через лакея свою визитную карточку. Через минуту он услышал издали громоподобный голос Дюма:

–...Очень рад. Очень рад. Входите, дорогой собрат. Входите. Только прошу простить меня: я сейчас в рабочем беспорядке.

– О! Не стесняйтесь! Пустяки... – сказал русский писатель.

Однако когда он вошел в кабинет, то совсем не пустяками показалась его дворянскому шепетильному взору картина, которую он увидел. Дюма, без сюртука, в расстегнутом жилете, сидел за письменным столом, а на коленях у него сидело прелестное, белокурое божье создание, декольтированное и сверху и снизу, оно нежно обнимало писателя за шею тонкой обнаженной рукой, а он продолжал писать. Четвертушки исписанной бумаги устилали весь пол.

– Простите, дорогой собрат, – сказал Дюма, не отрываясь от пера. – Четыре последних строчки, и конец. Вы ведь сами знаете, – говорил он, продолжая в то же время быстро писать, – как драгоценны эти минуты упоения работой и как иногда вдохновение внезапно охладевает от перемены комнаты, или места, или даже позы... Ну, вот и готово. Точка. Приветствую вас, дорогой мэтр, в добром городе Париже... Милая Лили, ты займи знаменитого русского писателя, а я приведу себя в приличный вид и вернусь через две минуты...

В течение всего вечера Дюма был чрезвычайно любезен, весел и разговорчив. Он, как никто, умел пленять и очаровывать людей. Среди разговора русский классик сказал полушутя:

– Я застал в вашем кабинете поистине прекрасную группу, но я все-таки думаю, дорогой мэтр, что эта поза не особенно удобна для самого процесса писания.

– Ничуть! – решительно воскликнул Дюма. – Если бы на другом колене сидела у меня вторая женщина, я писал бы вдвое больше, вдвое охотнее и вдвое лучше.

На что его изящная подруга возразила, кротко поджимая губки:

– Посмотрела бы я на эту вторую!

Все недолговечные романы Дюма проходили точно под большим стеклянным колпаком, на виду и на слуху у великого парижского амфитеатра, всегда жадно любопытного к жизни своих знаменитостей, как, впрочем, в меньшей степени, любопытны и все столичные города. Каждое его увлечение сопровождалось помпой, фейерверком, бенгальскими огнями и блистательным спектаклем, в который входили: и неистовые восторги, и адски клопочущая ревность, и громовые ссоры, и сладчайшие примирения, тропическая жара перемежалась полярной стужей, за окончательным разрывом следовало через день нежнейшее возвращение, бывали упреки, брань, крики и слезы и даже, говорят, небольшие потасовки. И так же театрально бывало действительно последнее, на этот раз неизбежное расставание. Бывшая подруга и вдохновительница собирала в корзины свои тряпки, шляпки и безделушки, а Дюма носился по комнате в одном жилете, с растрепанными волосами, с домашней лесенкой в руках, похожий на ретивого обойщика. Он приставлял эту стремянку то к одной, то к другой стене, торопливо взбирался по ней и, действуя

поочередно молотком и клещами, срывал ковры, картины, бронзовые и мраморные фигурки, старое редкое оружие. Спеша ускорить отъезд замешкавшейся временной супруги, он лихорадочно помогал ей.

– Все! – кричал [он]. – Возьми себе все. Все. Все. Оставьте мне только мой гений.

Возможность такого курьезного случая я считаю вполне достоверной. Известный переводчик И. Д. Гальперин-Каминский, близко и хорошо знавший Дюма-сына, не раз повторял мне то, что он слышал из уст Александра Александровича Дюма П. Дюма-младший был свидетелем такой трагикомической сцены в ту пору, когда он был еще наивным и невинным мальчиком и не особенно ясно понимал различие слов.

– Меня очень удивляло, – говорил он впоследствии г. Каминскому, – почему папа с такой яростной щедростью дарит много чудесных дорогих вещей и в то же время настойчиво требует, чтобы ему оставили какой-то его жилет. Я думал: «А может быть, это жилет волшебный?»⁹³

Нелепо пышным апофеозом, блестящим зенитом была та пора в жизни Дюма-отца, когда он купил в окрестностях Парижа огромный кусок земли и при ней чей-то старинный замок. Этот замок Дюма окрестил «Монте-Кристо» и перестроил его самым фантастическим образом. В нем было беспорядочное смешение всех стилей. Дорические колонны рядом с арабской вязью, рококо и готика, ренессанс и Византия, персидские ковры и гобелены... И множество больших и малых клеток с птицами и разными зверьками. Чудовищнее всего была огромная столовая. Она была устроена в форме небесного купола из голубой эмали, а на этом голубом фоне сияло золотое солнце, светились разноцветные звезды и блуждала серебряная, меланхолическая, немного удивленная луна...

Шато «Монте-Кристо» с его бесчисленными комнатами всегда, с утра до вечера, было битком набито нужными и ненужными, а часто и совсем неизвестными людьми. Каждый из них ел, пил, спал и развлекался, как ему было удобнее и приятнее. Право, если такой жизненный обиход можно с чем-нибудь сравнить, то только с жизнью русских вельмож восемнадцатого столетия.

Но уже в эти роскошные дни бедный Дюма, перевалив незаметно для себя самую высокую вершину своей жизненной горы, начинал катиться вниз с роковым ускорением. Этот беспечнейший из писателей никогда не знал размеры своих долгов и по-детски верил в то, что его кредит безграничен. Но уже показывались в его бюджете роковые предостерегающие трещины... И здесь к месту один почти трогательный анекдот.

Рядом с владениями Дюма купил землю и соседний замок какой-то миллионер-нувориш. Чтобы достойно отпраздновать новоселье, этот свежеиспеченный «проприо» привез из Парижа большую и пеструю компанию вместе с обильным грузом шампанского вина. Но он забыл позаботиться о том, чтобы заранее запастись льдом, а пирушка предполагалась от вечерней зари до утренней. Лед возможно было достать только в одной гостинице, которая находилась как раз на меже имений миллионера и Дюма.

Однако миллионер давно уже слышал о том, что хозяин этой остелери – человек характера независимого, грубоватого и брыкливого. На денежные соблазны он мало обращал внимания, был очень богат, чувствовал себя в своем кабачке независимым королем и вскоре собирался за дорого продать насиженное место, чтобы удалиться на заслуженный и комфортабельный покой.

Но, с другой стороны, «проприо» знал и то, с каким обожанием относились люди попроще к Дюма не только за его обольстительные сочинения, доступные каждому сердцу, но и за его личное обаяние. Взвесив эти условия, нувориш позвал лакея и сказал ему:

– Послушайте, Жан, вы пойдете сейчас в гостиницу «Пуль а ля Кок» и купите у хозяина весь лед, какой у него найдется. А так как он меня совсем не знает, то вы скажите, что пришли от господина Дюма. И когда он даст вам лед, то вы положите ему на прилавок вот этот большой луидор. Понятно?

– Совершенно понятно. Бегу.

Он очень быстро сделал все, что ему было приказано, прибежал в гостиницу «Пуль а ля Кок» и сказал хозяину:

– Господин Дюма приказал мне просить у вас льда, сколько найдется.

⁹³ Созвучие слов «genie» и «gilet». (Прим. А.И. Куприна.)

– Вы, вероятно, недавно служите у господина Дюма? – спросил приметливый хозяин.

– Совсем недавно. Со вчерашнего дня.

– Не правда ли, прекрасный человек ваш патрон?

– О да, вы правы. Прекрасный!

И все шло благополучно. Хозяин бережно завернул в бумагу и в тряпки четыре глыбы льда и аккуратно перевязал пакет веревкой. Но когда лакей брякнул о стойку двойным луидором, то патрон вдруг весь побагровел, затрясся от злости и заорал:

– Негодяй! Как смел ты меня обмануть! Да знаешь ли ты, лжец, что наш славный господин Дюма никогда и нигде не платит? – и швырнул в лицо лакею двойной тяжелый луидор.

Все быстрее и быстрее катилась вниз, по уклону, изумительная судьба Дюма-старшего. Замок «Монте-Кристо» был продан с аукциона. Всюду, где ни жил творец «Трех мушкетеров», всюду описывали его имущество, ставали печати на его вещи и мебель. Ежедневно предъявляли ему векселя, денежные претензии и вызывали его – самого непрактичного человека на свете – в коммерческий суд. Бесчисленные поклонники, прихлебатели и льстецы давно покинули великого Дюма.

В эту пору посетил его один из редких преданных друзей. Жалкая квартира Дюма была мала, сыра и темновата. Кроме того, находясь в самом людном месте Парижа, она вся беспрестанно содрогалась и дрожала от ломовой езды. Беседуя с хозяином, приятель обратил внимание на маленький золотой десятифранковик, лежавший на мраморном подзеркальнике. Дюма поймал его взгляд и сказал:

– Да. Это символ. Когда я приехал из далекой провинции завоевывать Париж, столицу мира, то у меня не было в карманах ничего, кроме маленького луидора. Посмотри: теперь карьера моя описала параболу, но от нее у меня ничего не осталось, кроме такого же луи... Странная штука жизнь!..

И какая жестокая! – можно прибавить к этим печальным словам Дюма. Ум его оставался ясным, твердым, но фантазия, воображение и вдохновение безвозвратно покинули эту прежде столь пламенную творческую голову.

Подобно сказочному, фантастическому, гигантскому шелкопряду, выматывал Дюма из себя в продолжение многих десятков лет драгоценную шелковую нить и ткал из нее волшебные узоры. Суровый закон природы: нить, казавшаяся бесконечной, вымоталась. Творческий источник медленно иссяк. За все в жизни надо расплачиваться – таково таинственное и неумолимое правило возмездия. Наполеон, которому тесен казался весь земной шар, умирает на крошечном, проклятом самим богом скалистом островке. Бетховен глохнет. Гейне, вся жизнь которого была радость, веселье, смех и любовь, покорно подчиняется в свои последние дни параличу и слепоте. Дюма, плодовитейшего из всех бывших, настоящих и будущих писателей, неумолимая судьба карает бесплодием. И всего ужаснее то, что этим чудесным людям судьба оставляет чересчур много времени, в течение которого они могли бы сознательно созерцать и ощущать собственное разрушение... Не слишком ли это, всемилостивейшая госпожа судьба? Последние годы, месяцы и дни Дюма-отца скрасил заботой, лаской и вниманием Дюма-сын. Он в те времена уже стал не только модным, но даже знаменитым европейским писателем. С неопишуемой нежностью и деликатностью он перевез отца из его закоптелой парижской квартиры в свою виллу, которая была расположена где-то на южном побережье. Название места я позабыл, но помню, что из виллы открывался прекрасный вид на море, а под ее террасами был разбит очаровательный цветник.

Трогательный рассказ: наутро после приезда Дюма к сыну за утренним кофе Дюма-младший спросил отца:

– Как ты спал, папа? Надеюсь, что ты хоть немного отдохнул от адского парижского шума и грохота. Старый Дюма немного замялся:

– Видишь ли... Видишь ли... Я вовсе не спал...

– Может быть, перемена места? Может быть, какое-нибудь неудобство?

– Ах, нет, милый, совсем не то. Ночлег мой был поистине царский, но... но...

Этот великолепный, храбрый, самоуверенный Дюма как будто бы стеснялся и конфузился.

– Мне стыдно сказать. Я захватил с собою из Парижа одну маленькую книжонку и как начал с вечера ее читать, так и читал до самого утра.

Младший Дюма спросил:

– Может быть, папа, это не секрет. Как заглавие твоей книжки?

– «Три мушкетера», – ответил тихо отец.

Закат Дюма был тих и беззлобен. Те попечения, которыми окружил его сын, были гораздо более ценными и вескими, чем все его сочинения.

Удивительную историю рассказывал впоследствии младший Дюма:

– Однажды я застал отца на его любимой скамейке в цветнике. Нагнувшись и склонив голову на ладони, он горько плакал. Я подбежал к нему.

– Папа, дорогой папа, что с тобой? Почему ты плачешь?

И он ответил:

– Ах, мне жалко бедного доброго Портоса. Целая скала рухнула на его плечи, и он должен поддерживать ее. Боже мой, как ему тяжело.

(1930)

Дюма – человек бурных излияний. Его политические убеждения, так же как его дружба и как его ненависть (когда он ее чувствует), не обходятся у него без топотни и крика. Нет ничего забавнее, как читать в его «Мемуарах» страницы, посвященные июльским дням (30 г.). «Произвели революцию те, которых я видел в деле и которые видели меня на баррикадах». Дюма на всех перекрестках: при захвате артиллерийского музея, в атаке Лувра – везде его узнают по его султану! Здесь уже чувствуются доспехи Франциска I и аркебуз Карла IX, потому что его романтизм прошедшего нашел свою среду. Вперед! Лицом к пулям, к митральезам. «Пушечный выстрел – прямо в меня!» Сколько веселья, пыла, чванства, какое игривое смешение вызова и гасконады! Мишле, говоря об императрице Марии-Терезе, вскричал: «У нее утроба полна тиранами!» Как же в словах и жестах этого великолепного Дюма, этого разрушителя баррикад, не заметить д'Артаньяна, де Коллона и Портоса, которыми он полон. И заметьте хорошенько, что это не только дон Родриго, но также и Гаргантюа и Грангузье. Та же эпопея, та же лира. «Я умирал от голода и особенно от жажды. Мне отыскали бутылку бордоского вина, которую я опустошил почти одним глотком. Мне принесли огромную миску шоколаду, и я его проглотил».

Таков Дюма, смотрящий, как и большинство романтиков, на жизнь через призму театра. Сейчас мы увидим его едущим в Италию к Красным Рубашкам завоевывать Неаполь и играющим около Гарибальди роль мухи на кибитке. Знаменитый кондотьер, прибыв в Неаполь, назначил Дюма сюринтендантом изящных искусств и устроил его на средства муниципалитета в Киа-тамоне, в прелестном palazzetto на берегу моря. Однако согласная гармония скоро распалась. Дюма становился слишком неудобным. Он вызывал публичные манифестации. Он врывался в двери военного совета, чтобы выразить Гарибальди народную волю. «Народ волнуется!» – кричал он, просовывая в полуоткрытую дверь свое большое, доброе, взволнованное лицо. На что командир тысячи отвечал резко: «Пусть волнуется!», иными словами: «Идите к дьяволу!»

Впрочем, – размышляет Блэз де Бюри, – разве в настоящее время не все романтические писатели лезут в общественные дела и, надо признаться, без особенного блеска...

...Кто-то назвал его человеком шестнадцатого столетия. В этом определении есть своеобразная меткость. Александр Дюма совсем не укладывается в созданные ему обычные рамки. Он скорее был сродни просвещенным кондотьерам времени Возрождения.

XIX

Дюма писал много и очень скоро. Первую книжку романа «Кавалер красного замка» он написал на пари в пятьсот восемь часов, включая сюда еду, питье и отдых, в общем около трех печатных листов. Пьеса «Наполеон Бонапарт» в восьми действиях и двадцати четырех картинах, содержащая в общей сложности девятьсот строк, была им, по настоянию директора театра «Одеон» г. Арели, написана всего за восемь дней. Часто, увлеченный работой, он целый день не выходил из кабинета. Тогда завтрак и обед ему накрывали на маленьком передвижном столике, возле письменного стола, но нередко уносили их нетронутыми. Писал он без помарок, строгими линиями, чистым, ясным и красивым почерком.

Слог его быстр, легок, изворотлив и подвижен. Повсюду Дюма отдает предпочтение живому диалогу с короткими вопросами и ответами. Побочным обстоятельствам и второстепенным сведениям о своих героях он не дает много места, предпочитая выяснить их двумя-тремя <фразами> в разговоре. У него есть промахи, вроде грубостей, повторений, тусклых мест, сделанных

без подъема, неловких переходов и т. д. Но всматриваться тщательно в его стиль так же бесполезно и ненужно, как разглядывать вблизи театральные декорации, которые кажутся крикливой мазней на расстоянии аршина и образуют волшебную картину с другого конца зрительного зала.

Он писал свободным тоном, без затруднений, не углубляясь, довольствуясь беглым чтением, в путешествии одним впечатлением, что не мешает, когда он не спешит, знать и тонкость своего ремесла, и говорить о стиле других авторов с глубоким пониманием...

XX

Строгий Брандес так говорит о Дюма: «Он наполнял сцену, газеты и книжные лавки своими произведениями. Печатные машины кричали и стонали, чтобы только угнаться за его быстрым пером. Следует только жалеть о том, что мальчишеское легкомыслие помешало ему пройти хорошую школу».

А Пелисье важно замечает: «Если бы Дюма не разбрасывал так щедро своих богатых сил, он достиг бы звания одного из величайших писателей своего века».

Но мы скромно думаем, что если бы какая-нибудь школа и сумела наложить узду на буйное творчество Дюма, то она только изуродовала бы его прекрасный талант.

Что же касается до глубокомысленного мнения Пелисье, то мы хотели бы спросить: где же наконец в писательской иерархии эти пограничные мысли, отделяющие великолепного от великого, великого от талантливой и талантливой писателя от того, которого просто приятно почитать на ночь? Кто берет на себя смелость учреждать эту шкалу ненужного местничества? И кто посмеет упрекнуть человека, если он чистосердечно признается, что Эдгар По, Киплинг и Мопассан ему ближе и понятнее, чем Гомер, Гете и Данте?

Дюма иногда говорил: «Я насилюю историю». И правда, ему случалось бесцеремонно обращаться с историческими фактами, пригоняя их к развивающемуся плану романа. Но он никогда не искажал духа истории и не отступал от правды в изображении исторических лиц. Его Карл IX, Генрих III, Людовик XIII, Людовик XIV, Людовик XV, Людовик XVI, Катерина Медичи, Анна Австрийская, Мария-Антуанетта, Ришелье и Мазарини не только верны истории, но каким-то чудом, истинно гениальным проникновением их образы угаданы и закреплены еще глубже, еще живее и человечнее, чем доступно сухой науке, и никакой учебник не запечатлеет их так резко в памяти, как его романы. Дамы шестнадцатого столетия *действительно* имели жестокое и противное для нас обыкновение сохранять головы и сердца своих возлюбленных, погибших за них на дуэли или на эшафоте; кавалер де ля Молль *действительно* умер на плахе, частью из любви к Марголине Валца, частью жертвой придворной интриги; Шарль де Бюсси *действительно* оборонялся против двенадцати наемных убийц, выбросился из окна, повис телом на остриях садовой решетки и был *действительно* пристрелен из аркебуза по приказанию завистливого и ревнивого Франсуа Анжуйского. Но когда вы читаете скупую историческую хронику, преобразенную в пылком воображении Дюма, когда вы видите давно ушедших людей...

...А сознаться в этом запретном грехе они до сих пор не решились. И потому-то очень жалко, что в русской литературе до сих пор не появилось настоящей, умной, смелой и справедливой книги об этом щедром, веселом, героическом и великом Дюма.

(1918)

Нансеновские петухи

В своих замечательных записках о Северной экспедиции Фритьоф Нансен рассказывает, между прочим, про злосчастную судьбу петуха, находившегося со своим верноподданническим гаремом на борту «Фрама». Оказалось, что бесконечная полярная ночь совершенно перепутала в его петушином сознании все представления о времени и о явлениях природы. Он так привык к тому, чтобы вслед за его звонким криком послушно всходило великолепное солнце, что в первый раз, когда оно не выкатилось из-за горизонта, петух гневно ударил шпорой и уже приготовился сказать, подобно своему знаменитому тезке: – Мне кажется, что я ждал?

Но солнце не появилось даже с опозданием. Петуху пришлось повторить свой возглас еще раз, и еще, и еще. Солнце не повиновалось. Через несколько ужасных дней петух сошел с ума. Он стал кричать почти без перерыва, побуждаемый к этому светом зажигаемой лампы,

чьим-нибудь резким движением, внезапным шумом; чаще же орал без всякого повода.

Дальнейшая его судьба нам неизвестна. Вероятно, никем не услышанный и не понятый, забывший свои прямые обязанности, презираемый даже собственным, прежде столь раболепным курятником, потерявший сон и аппетит, он дошел до полной степени изнурения, нашел свой жалкий конец в матросской похлебке или в животах лапландских ласк.

Признаться, этот конец мне, любителю чувствительного, не по душе. Я бы все-таки хотел увидеть, как вместе с предсмертным криком петуха из-за морского горизонта брызнули первые золотые лучи солнца... Он все-таки победил! Не в обиду будь сказано трагической тени нансеновского шантеклера – описание его последних дней очень напоминает мне времяпровождение иных русских деятелей за границей. С большой одной разницей. О чем думал в полярные ночи повелитель солнца – несчастный и нетерпеливый, – этого мы никогда не узнаем. Легче представить себе мысли Наполеона на Св. Елене. Но мысли эмигрантских, ненастоящих шантеклеров весьма доступны исследованию, ибо они почти ежедневно, черным по белу, печатаются в газетах.

Посудите сами. Они с непоколебимой ясностью, совершенно так же, как нансеновский петух, чувствуют и сознают тот густой мрак, который окутал не только Россию, но и весь мир, и так же, как и он, потеряли понятие о месте и времени выхода солнца. Живой петух, по крайней мере, всегда устремлял, по великому инстинкту, свой страстный взор на восток. Эти, скорее похожие на жестяного флюгерского петушка, вертятся во все стороны, скрипя на заржавленном стержне, и постоянно ориентируются:

«Большевизм эволюционирует. Подождем немного! Он сам себя съест». «Надо, надо, поскорее надо смелым и умным людям ехать в Советию принять участие в новом строительстве, чтобы потом взорвать большевистскую власть в самой ее сердцевине и предотвратить анархию!»

«Снимите немедленно союзную блокаду, заведите свободную, товарообменную торговлю, и – поглядите – большевики падут в одночасье!» (Почему?) И наконец:

«Ничего не нужно предпринимать! Могучий народ сам, повинувшись внутренним силам справедливости и негодования, восстанет и стряхнет с себя коммунистическое иго. Тогда нам останется только прийти и владеть. Смотрите! Смотрите! Он уже подымается. Он уже поднялся!» (Ах, как старо! «Но настанет пора, и проснется народ, разогнет он широкую спину» и т. д. Когда это было?) Так вращается жестяной нансеновский петух и каждую скрипучую песенку кончает неизменным припевом:

«Но мы не сомневаемся в мощи и демократичности великого русского народа. Мы верим, что близок час освобождения. И когда, воскреснув после годов мучительного опыта, он займет опять подобающее ему твердое место на земном шаре, – тогда, в этот торжественный час, мы не должны забывать, кто был нам братом и кто врагом».

О, певцы зимой погоды летней! Слушаешь их и не знаешь, где здесь кончается глупость, и где звучит старая, дырявая политическая шарманка, и где начинается оплачиваемое место.

Толстой

Толстой любил и высоко ставил Стендаля. Что бы он сказал, если бы ему дали прочитать Пруста?

Мне удивительно до сих пор: почему он так жестоко набросился однажды на Шекспира? Случайно ли он столкнулся с Вольтеровым мнением или невольно почти повторил его?

Толстого и теперь еще упрекают Платошей Каратаевым: «Какого расписного мужичка изобрел!» Нет: Каратаев – это правда. Но и «Власть тьмы», над которой веют дыхания греческой судьбы, – тоже одна правда.

Сколько раз в своих творениях заглядывал он пристально в тайну смерти! И всегда этот переход *туда* мнился ему светлым, легким, радостным. Жаль: никогда не узнать, что он встретил там.

Французский роман – это красивое правильное здание, где соотношения частей строго выверены, а стены украшены со вкусом и по трафарету. Приятно поглядеть с определенного места.

Толстой не то. «Война и мир» сначала кажется циклопической постройкой, и только отойдя вдаль, почувствуешь в ней ту великую гармонию, которой не знает обычная архитектура. И только подойдя вплотную к огромным стенам, увидишь несравненную тонкую резьбу, где каж-

дая подробность дышит в своей простоте красотой и правдой. Не оттого ли Толстого мы читаем по многу раз, находя все новые и новые прелести, и при этом измеряем, как вырастает в нас с годами понимание прекрасного.

Гюи Мопассан восхищался Толстым. На одном из гонкуровских обедов он сказал с суровой печалью: «Я сегодня окончил читать роман «Анна Каренина». Так написать не мог бы никто другой в целом мире...» Интересно, что бы он сказал о «Войне и мире».

И Толстой ставил высоко Мопассана. Он прекрасно перевел мопассановскую «Франсуазу», ни на йоту не исказив малейшего оттенка мысли или слова. Он лишь осторожно прикрыл в одном месте беспечно открытую наготу.

Про Толстого говорят, что он был иногда противоречив, а порою пристрастен. Но вот бывают иногда в Париже такие дни, когда от утра до вечера погода меняется раз двадцать: то снег хлопьями, то жарит невыносимо солнце и тротуары просохли, то безоблачно-синее, то все загроможденное свинцовыми тучами небо. Не скажем же мы, что стихия противоречива? Она всегда одинакова, но мы видим ее с разных сторон. А пристрастен он был лишь в сторону добра. «Кто лучший русский писатель?» – задали ему раз этот вечный и глупейший вопрос. «Семенов», – ответил он. «А в Европе?» – «Поленц...» – ответил он. Оба эти писателя писали о народе, писали ни хорошо, ни дурно, но явно с добрыми, сочувственными целями.

Невинное пристрастие!

Как писать о Толстом и его творчестве? Чехов рассказывает:

– Было задано в младшем классе сочинение на тему: «Море». Одна девочка написала всего лишь три слова: «Море, оно большое...»

Я думаю и о Толстом: чем меньше слов, тем яснее.

Илья Репин

К годовщине со дня смерти

Чтобы почувствовать и понять все величие океана, надо видеть его не с плоского берега, а в открытом пространстве, когда вокруг нет ничего, кроме синей могучей стихии, всегда живой, всегда в движении.

Подобно этому измеряется и чудесная власть человеческого гения. Нельзя о ней судить по ничтожным воспоминаниям современников, по близоруким отзывам невежественных критиков, по пристрастным и часто глупым рассказам друзей, по успехам и неудачам у крикливой толпы. Все это – прибрежный мусор и грязная пена. Судья великому человеку – только время, безупречное в своих приговорах. Более чем половину столетия Репин был славой России и гордостью живописного искусства. Еще до сих пор мы, в изгнании и в рассеянии сущие, говоря о нашем незабвенном прекрасном доме, упоминаем со вздохом и во множественных числах: «Да. У нас были Пушкины, Толстые, Репины, Глинки, Чайковские. Какое богатство! Весь мир произносит их имена с благоговением!»

Относительно всего мира сказано, конечно, слишком широко. Но теперь уже можно со спокойной уверенностью сказать, что имя и творчество Репина переживут столетия, и сам Репин останется великим, непревосходимым учителем до той поры, до которой живут полотно и краски.

Лев Толстой высказал однажды по поводу литературного творчества тираду, изумительную как по простоте, так и по глубине:

– Чтобы хорошо писать, надо, во-первых, уметь писать, во-вторых, знать то, о чем пишешь, и, в-третьих, знать, для чего пишешь.

Эти условия, если прибавить к ним еще простоту и правдивость, всегда требуемые Толстым, надо приложить к каждому искусству, и Репин никогда не переставал им следовать благодаря тонкому инстинкту.

Подобно Толстому, он в своих картинах избегал придумывания и фантазии и брал для своих персонажей живых, знакомых людей. Так, позировали ему для больших холстов Иероним Ясинский, Гаршин, художник Кравченко, профессора Рубец и Эварницкий, Мамин-Сибиряк и другие.

Но брал Репин у них лишь нужную ему внешнюю оболочку: характерное лицо, подходя-

щую фигуру, гомерический смех и выразительную улыбку, меланхолическую задумчивость, черты гнева и веселья, создавая из них то царевича, смертельно раненного Иоанном Грозным, то палача, остановленного Николаем-угодником за момент перед роковым ударом, то дюжего протодиакона в крестном ходе, то дуэлянтов с секундантами и врачом в офицерском поединке, то этих гоголевских запорожцев, с буйным весельем смакующих каждое соленое и проперченное словцо в своем коллективном послании турецкому султану. Очень жаль, что нельзя привести в моей короткой статье подлинного текста этого лапидарного ответа: его не выдержат ни бумага, ни добрые нравы наборщиков. А между тем в нем скрыт ключ к простому и правдивому пониманию всей огромной картины великого художника. Ведь недаром же он был родом из Чугуева, и запорожская бурливая кровь была ему сродни.

Он написал за свою долгую жизнь много портретов. Часть из них хранилась у собственников, и теперешняя судьба их неизвестна. Другая часть – достояние государственных музеев и галерей. Нельзя сказать, что у Репина ценнее и прекраснее: его картины или портреты? И вряд ли этот вопрос имеет большое значение. Но почему-то давно установилось общественное мнение, что именно человеческий портрет является для художника высшей мерой творчества и наивысшим достижением в художественном искусстве.

О портретах Репина нельзя говорить. Их надо видеть. Очаровательное и поражающее их сходство с натурой, так же как и точное и полное мастерство в работе – не суть преобладающие достоинства репинских портретов. Главное их великолепие и отличие заключаются в том, что Репин умел взглянуть внутрь человека, в глубину его души и характера, и понять их, и неведомой силой запечатлеть их на холсте для почти бесконечной жизни.

Художник Серов, в юности ученик Репина, разговаривая как-то с величайшим из карикатуристов П.Е. Щербовым, высказал такую мысль:

– А ведь если подумать хорошенько, то все мы, пишущие портреты с людей, – отчасти карикатуристы. Ведь когда пишешь с искренним увлечением, то невольно замечаешь и воспроизводишь на полотне преобладающие пороки и достоинства моделей.

Но в том-то и дело, что по душевному своему строению Серов склонен был видеть яснее минусы человека, а Репин, с его благодушным приятием жизни, охотнее видел добро.

Одним из лучших его шедевров был, конечно, «Государственный совет» – картина изумительная по великому количеству фигур, по блестящей композиции и по вдохновенности работы. Теперь можно думать, что, работая над «Государственным советом», Репин с восторгом и горестью трудился над собственным надгробным памятником и над памятником былой великодержавной России.

Он совсем немного получил за этот гигантский труд: что-то около сорока тысяч рублей. Его хороший знакомый Б.А.Г. предлагал ему двойную цену за повторение этой чудесной картины для Ростовского музея.

– Я бы с удовольствием сделал и для вас, и цена неплохая, – сказал Репин, – но я чувствую, что «Совета» я уже больше не могу... Не в моих силах.

Дай какой художник в мире мог бы это сделать?

Москва родная

Что больше всего понравилось мне в СССР? За годы, что я пробыл вдали от родины, здесь возникло много дворцов, заводов и городов. Всего этого не было, когда я уезжал из России. Но самое удивительное из того, что возникло за это время, и самое лучшее, что я увидел на родине, это – люди, теперешняя молодежь и дети.

Москва очень похорошела. К ней не применим печальный жизненный закон, – она делается старше по возрасту, но моложе и красивее по внешнему виду. Мне это особенно приятно: я провел в Москве свое детство и юные годы.

Необыкновенно комфортабельно метро, которое, конечно, не идет даже в сравнение с каким-либо другим метро в Европе. Впечатление такое, что находишься в хрустальном дворце, озаренном солнцем, а не глубоко под землей. Таких широких проспектов, как в Москве, нет и за границей. В общем, родная Москва встретила меня на редкость приветливо и тепло.

Но, конечно, главной «достопримечательностью» Москвы является сам москвич. Насколько я успел заметить, большинству советских людей присуще уважение к старости. Я плохо вижу,

и поэтому часто, когда мне надо было переходить шумную улицу, я останавливался в нерешительности на тротуаре. Это замечали прохожие. Юноша или девушка предлагали свою помощь и, поддерживая под руки, помогали Мне с женой перейти «опасное место».

Во время прогулок по Москве меня очень трогали также приветствия. Идет навстречу незнакомый человек, коротко бросает: «Привет Куприну!» – и спешит дальше. Кто он? Откуда меня знает? По-видимому, видел фотографию, помещенную в газетах в день моего приезда, и считает долгом поздороваться со старым писателем, вернувшимся с чужбины. Это брошенное на ходу «Привет Куприну» звучало замечательно просто и искренне.

Со мной иногда заговаривали на улице. Однажды к нам подошла просто одетая женщина и сказала, подав руку:

«Я – домработница такая-то. Вы – писатель Куприн? Будем знакомы».

В Александровском сквере, где мы с женой присели отдохнуть на лавочке, нас окружили юноши и девушки. Отрекомендовавшись моими читателями, они завязали разговор. А я-то думал, что молодежь СССР меня совсем не знает. Я взволновался тогда почти до слез. Потом ко мне как-то подошла группа красноармейцев. Старший вежливо приложил руку к козырьку и осторожно осведомился: не ошибается он, – точно ли я Куприн? Когда я ответил утвердительно, красноармейцы забросали меня вопросами: хорошо ли я устроен, доволен ли я приемом в Москве? Я рассказал им, как нас хорошо устроили, и красноармейцы тогда удовлетворенно и с гордостью заключили: «Ну, вот видите, какая у нас страна!»

Я побывал в кино в «Метрополе». Шла цветная картина «Труня Корнакова». Каюсь, я следил за экраном только краем глаза. Мое внимание было занято публикой. Можно сказать, что в картине «Труня Корнакова» мне больше всего понравилось, как ее воспринимает зритель. Сколько простого, непосредственного веселья, сколько темперамента! Как бурно и ярко отзывались зрители – в большинстве молодежь – на те события, которые проходили перед ними! Какими рукоплесканиями награждались режиссер и актеры! Сидя в кинотеатре, я думал о том, как было бы хорошо, если бы советской молодежи понравился мой «Штабс-капитан Рыбников». Тема этого рассказа – разоблачение японского шпиона, собиравшего во время русско-японской войны в Петербурге тайную информацию, – перекликается с современностью, и я дал поэтому согласие Мосфильму на переделку этого рассказа для кино.

Этим летом на даче в Голицыне у меня перебивало в гостях много советских юношей и девушек. Это – дети моих родственников и знакомых, выросшие, возмужавшие за те годы, что меня здесь не было. Меня поразили в них бодрость и безоблачность духа. Это – прирожденные оптимисты. Мне кажется даже, что у них по сравнению с юношами дореволюционной эпохи стала совсем иная, более свободная и уверенная походка. Видимо, это – результат регулярных занятий спортом.

Меня поразила также высокий уровень образованности всей советской молодежи. Кого ни спроси – все учатся, конспектируют, делают выписки, получают отметки. А как любят в СССР Пушкина! Его читают и перечитывают. Он стал подлинно народным поэтом. Вот забавная и вместе с тем трогательная деталь. В Голицыне у одной знакомой нам колхозницы родился сын. Она назвала его Александром. Мы спросили ее, почему она выбрала это имя. Она ответила, что назвала его так в честь Пушкина. Имя ее мужа – Сергей, и сын, таким образом, как и Пушкин, будет называться Александром Сергеевичем.

Сами по себе интересны обстоятельства, при которых Александр Сергеевич появился на свет. В Голицыне строился родильный дом, который должен был быть закончен к пятнадцатому августа. Александр Сергеевич, однако, пожелал родиться четырнадцатого августа. Родственники повезли будущую мать на станцию, чтобы отправить в ближайшую больницу, но попали к поезду, который не останавливается в Голицыне. Тогда начальник станции, зная, что женщине необходима срочная врачебная помощь, специально ради нее остановил поезд, и ее вовремя доставили в больницу. Разве могла крестьянка дореволюционной России мечтать о том, чтобы для нее и для ее будущего ребенка останавливали поезд? Меня бесконечно радуют советские дети. Я восхищен тем, что страна уделяет им столько внимания и что советское правительство так оберегает беременность. Это очень мудро. О детях важно заботиться, потому что в них – будущее страны. Внимание к женщине и к ее ребенку дает ей моральную силу воспитывать достойных граждан СССР.

Голицыно, где мы проводили лето, встретило нас разноголосым ребячьим хором. В этом

живописнейшем подмосковном поселке расположилось несколько десятков детских садов. Я очень люблю детей и был чрезвычайно рад такому приятному соседству. По утрам, выходя на террасу, я сообщал жене, что «галчата» уже проснулись. Потом из нашего садика я видел, как они чинно, парами проходят мимо, все пузатенькие, краснощекие, улыбающиеся.

Бывало, что привезенная из Парижа кошка Ю-ю (названная так в честь кота – героя одного из моих рассказов) с разбегу вспрыгивала ко мне на плечо, и это всегда вызывало бурный восторг детишек. Они подбегали к изгороди, и мы с Ю-ю, таким образом, служили невольной причиной нарушения дисциплины. Вечером, в восемь часов, в Голицыне наступала тишина: детей укладывали спать, и сразу становилось скучно.

Кстати, какое прекрасное сочетание понятий – детский сад. Именно сад! Сад, где расцветают юные души. За границей дети совсем не такие, как здесь. Они слишком рано делаются взрослыми.

В прошлое вместе с городовым и исправником ушли и классные наставники, которые были чем-то вроде школьного жандарма. Сейчас странно даже вспомнить о розгах. Чувство собственного достоинства воспитывается в советском человеке с детства. Те, кто читал мою повесть «Кадеты», помнят, наверное, героя этой повести – Буланина и то, как мучительно тяжело переживал он это незаслуженное, варварски дикое наказание, назначенное ему за пустячную шалость. Буланин – это я сам, и воспоминание о розгах в кадетском корпусе осталось у меня на всю жизнь...

Мне очень хочется писать для чудесной советской молодежи и пленительной советской детворы. Не знаю только, позволит ли мне здоровье в скором времени взяться за перо. Пока думаю о переиздании старых вещей и об издании произведений, написанных на чужбине. Мечтаю выпустить сборник своих рассказов для детей.

Многое хочется увидеть, о многом хочется поговорить. После переезда в Москву я предпочитаю побывать в музеях, посмотреть в театрах и кино «Господа офицеры» (пьесу, переделанную из моего «Поединка»), «Тихий Дон», «Любовь Яровую», «Анну Каренину», «Петра I». Обязательно съезжу в цирк, любителем которого остаюсь по-прежнему.

В заключение пользуюсь возможностью передать через вашу газету мою глубочайшую благодарность всем моим юным корреспондентам, поздравившим меня с возвращением на родину.

Мне пишут сейчас люди, которых я совершенно не знал раньше; пишут они с такой сердечностью и теплотой, точно мы – давнишние друзья, дружба которых была прервана, но сейчас возобновилась. Некоторые из них – мои старые читатели.

Другие – читатели молодые, о существовании которых я и не подозревал. Всех их радует то, что я наконец вернулся в СССР. Душа отогревается от ласки этих незнакомых друзей.

Даже цветы на родине пахнут по-иному. Их аромат более сильный, более пряный, чем аромат цветов за границей. Говорят, что у нас почва жирнее и плодороднее. Может быть. Во всяком случае, на родине все лучше!